ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 4 2009

Николай Шамсутдинов
Покорители

Роман Солнцев
Нестрашный суд

Ирина Левитес
Боричев Ток, 10

Алёна Бондарева
Танец Анитры

ДЕНЬ
НОЧЬ

Главный редактор
Марина Саввиных

Заместители главного редактора
Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Иван Клиновой
Елена Тимченко
Михаил Стрельцов

Редакционная коллегия
Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Владимир Балашов
Саяногорск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Михаил Гундарин
Барнаул
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Валентин Курбатов
Псков
Александр Лейфер
Омск
Евгений Мамонтов
Владивосток
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Александр Силаев
Красноярск
Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Секретарь
Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик
Олег Наумов

Корректор
Екатерина Волкова

Издательский совет
П. И. Пимашков
Глава города Красноярска
В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея
М. С. Невмержицкая
директор Красноярского бибколлектора
Т. Л. Савельева
директор Краевой научной библиотеки
В. Н. Манаев
директор издательства «Гротеск»

В создании журнала принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором его с 1993 по 2007 гг. был Роман Солнцев. Впервые журнал был зарегистрирован как частное издание в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации в 1993 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Редакция сердечно благодарит Главу города Сургута Александра Леонидовича Сидорова за помощь в издании этого номера.

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 4 (73) | осень | 2009

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть.
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН юбилей
Николай Шамсутдинов
2 **Покорители**

ДиН память
Роман Солнцев
51 **Нестрашный суд**
Эльвира Частикова, Валерий Прокошин
71 **Вечный диалог**
Валерий Прокошин
74 **Рай остался внутри шалаша**

ДиН повесть
Ирина Левитес
77 **Боричев Ток, 10**
Алёна Бондарева
91 **Танец Анитры**

ДиН стихи
Вячеслав Брус
90 **Грустен дух родных пенат…**
Сергей Денисенко
111 **Только волны за кормой, только—чаечки…**
Борис Панкин
113 **Никакой чертовщины**
Арсений Анненков
115 **В продуваемой комнате переговоров**
Александр Командин
165 **Растут стихи…**
Руслан Сидоров
167 **А помнишь, как апрельской ночью…**
Ирина Перунова
169 **Мотыльковая душа**
Александр Петрушкин
170 **Омега всех одиночеств**
Степан Рыжаков
172 **Переговорам в Атагах**

ДиН антология
Константин Симонов
112 **Из окруженья…**
София Парнок
136 **Седая Ева**
Павел Коган
180 **За своею бедой**
Иван Савин
188 **На посохе—сова…**

Библиотека современного рассказа
Арсен Титов
117 **Старогрузинские новеллы**
Юрий Тотыш
128 **Алик**
Дмитрий Бирюков
137 **Город вечной свадьбы**
Елена Супранова
144 **Тюха**
Семён Каминский
148 **Ангелы по пять**
Наталья Гарбер
156 **Улыбка в наследство**

ДиН диалог
Юрий Беликов
Владимир Зубков
173 **Ванна начала XX века, или Чаепитие с принцессой Прусской**

ДиН публицистика
Игорь Кузнецов
179 **Гайдар и Толстой: детская литература на «графских развалинах»**
Владимир Монахов
181 **Дайте мне мысль— и я переверну весь мир**

ДиН дебют
Дарья Серенко
189 **Крылатое соло**

ДиН ирония
Сергей Кузнечихин
190 **Две сказки о птицах**
Владимир Любицкий
192 **Две звезды**
Антон Мисурин
193 **Под соловьиное аллегро**

ДиН дети
195 **Синяя тетрадь**

201 ## ДиН авторы

Николай Шамсутдинов

Покорители

26 августа 2009 года исполнилось 60 лет замечательному сибирскому поэту и журналисту, переводчику и общественному деятелю, лауреату литературных премий им. А. М. Горького и Д. Н. Мамина-Сибиряка, *Николаю Меркомаловичу Шамсутдинову*. С начала девяностых годов Николай Шамсутдинов живёт в Тюмени, но заслуги его перед отечественной (да и не только отечественной!) культурой давно уже не умещаются в региональные рамки. Стихи Шамсутдинова охотно печатают литературные журналы России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Весной 1991 года Н. Шамсутдинов, единственный из тюменских литераторов, был приглашён в Данию, где прочитал цикл лекций в Королевских университетах. В настоящее время Николай Меркомалович возглавляет Тюменское отделение Союза российских писателей и областной Фонд защиты творческой интеллигенции.

Ещё в 1988 году Шамсутдинов написал поэму о покорителях Ямала — произведение острое, масштабное; Виктор Петрович Астафьев рекомендовал его для опубликования в «Новый мир», но в те годы (конец восьмидесятых) напечатать поэму в столичном журнале не удалось. Слишком острой, должно быть, показалась тогдашней редакции её болевая нота. «Покорители» более чем на десяток лет были убраны писателем в стол. И вот теперь, в год 85-летия Астафьева, *благодаря поддержке администрации города Сургута*, в котором поэт жил и работал почти 20 лет, журнал «День и ночь» — присоединяясь к многочисленным поздравлениям юбиляра — осуществляет публикацию «Покорителей», заодно предоставляя читателям возможность познакомиться с лирическими стихотворениями Николая Шамсутдинова, своеобразными, изощрёнными и волнующими.

Редакция «ДиН»

Только разум спасёт нас…

Поэма Николая Шамсутдинова «Покорители» — гимн сибирской природе и вопль изболевшейся души. Уроженец Ямала, мать которого занималась сбором пушнины во время войны, вспоённый водами рек Оби и Иртыша, вскормленный рыбой этих великих рек, он был свидетелем «освоения нефтяной целины» и, как сам с горечью признаётся в письме ко мне, «с упоением писал о покорителях тайги и тундры».

Но прошли годы, и наступило горькое прозрение всех жителей Сибири, в том числе и северных её окраин, потому что освоение «незаметно» перешло в покорение, а затем и в избиение сибирских, казалось бы, необъятных и недоступных пространств.

Если бы поэма Шамсутдинова касалась проблем местных, была проникнута тревогой только о своей малой родине, она и тогда имела бы острое публицистическое звучание и обвинение всем ныне странствующим по тайге и тундре «покорителям» природы, осуществляющим грандиозные планы разработки богатейших земель Полярного Урала, в недрах которого представлена вся периодическая система Менделеева.

Нет, поэма «Покорители», написанная уверенной рукой, восходит от экологических к общечеловеческим проблемам, ибо нет сейчас болей и тревог не всеобщих, не всечеловеческих, внеземных. Всё и вся связано между собой, и озоновая дыра, возникшая над Антарктидой, так же губительна для Ямала, как и содранная с ямальской тундры «кожа» болезненна для всего растительного и живого мира нашей прекрасной планеты.

Кто мы? Что мы? Единое целое с беззащитной земной жизнью? Её палачи и погубители, у которых нет и не может быть будущего, или всё-таки разумные существа, способные не только «покорять», брать, истреблять, но, как разумные же существа, несущие нравственную ответственность за будущее своих детей? Что мы оставим им? Холодную пустыню, ограбленную землю, срубленные леса, «среду обитания» или обжитый, благоустроенный дом?

Об этом пора не только думать, но и действовать, уже сейчас, всем, кто работает на земле и раскочегаривает «прогресс», кто не утратил ещё тревожного права называть себя человеком, ответственным за всё, что им уже сотворено хорошего и плохого за человеческую историю. Поэма-боль, поэма-крик, поэма-смятение нашего разума, воззвание к нему, ибо только разум способен спасти нас и летящую в безбрежном пространстве планету, по нашей вине и разнузданности всё более впадающую в инвалидное состояние.

Виктор Астафьев

Покорители

В. П. Астафьеву

I

Может быть, я — единственный из поколенья
Там рождён, где, к студёному морю впритык,
Стыл веками,
безмолвно вмерзая в забвенье,
Убаюкан пургой, «нефтяной материк»…
Не слукавлю, добавив, что сердце забилось,
Когда, с лихтерных палуб ступив тяжело,
Гулом техники, многоголосьем — вломилось
Время в юность мою, и меня повлекло
По маршрутам, стоянкам… Я, крепко вживаясь
В тесный быт кочевой, не жалел ни о чём,
И запевная трасса, на лист низвергаясь,
Там и стала мне звонким Кастальским ключом.

Сам лепил своё время я, не понаслышке
Мне знакомо оно — вот и память опять
Высекает из прошлого лица, как вспышки, —
И за сутки считать мне — не пересчитать,
С кем пластался на лесоповале, из кружки
Второпях кипяток, обжигаясь, глотал,
Размочив сухари, и, бывало, к подушке,
Засыпая, в январскую ночь примерзал.
Они в память врастают? Нет — крепче! — вмерзают,
Понабилось их в пристальных строчках моих —
Помню всех. И они мне ответно мерцают
В перекличке ревущих костров…

Но иных
В неподкупном огне я отчётливо вижу —
Тех, кого понадёжней хотел бы забыть,
Кого, прямо скажу, ненавижу
За страдания о́тчины!

Мне бы лепить
Милый облик из бликов на коже, из яблок,
Озаряющих дачу, смятенье даря,
Из смеющихся губ, тонких пальцев, озяблых
В гущине златокованого сентября.
И когда рассветает, когда под глазами
Меркнут нежные тени, — смиреннее кровь
Утомлённо течёт под губами,
Намывая усталость…

Но вновь
В шелест ясного сада вгрызается скрежет,
Развернув меня к теме лицом, и опять,
Хоть обиженно в строчке любимая брезжит,
Но глубинное что-то велит начинать—
До зари поднимаясь, в работу впрягаться…
Чтобы отчину не потерять—отстоять,
Нужно так в непреклонное дело ввязаться,
Чтоб ни лестью, ни руганью не оторвать…

II

Тишиною спелёнут, глухой, беспробудной,
Скучный край, подоткнувши сугробы, дремал,
В океан упираясь промозглою тундрой,
Подпирая студёным дыханьем Урал.
Неродящую землю схватив мерзлотою,
Он урёмы баюкал, а то в ледостав
Прополаскивал небо сияньем, уздою,
Ледяною, железною,—реки взнуздав.
Его скудную землю не трогали плугом,
Только в диких степях его, смерти сродни,
Заходя от Тамбея, кобенилась вьюга,
В сутемь вдавливая огни.

Но уже горизонт накипал парусами,
Вымпелами проворных заморских держав,
Ведь, просвистанный лисами и соболями,
На закраинах
                край и застав не держал.
Но, царапая бледное небо крестами,
Увязая в ливонских болотах, едва
Отойдя от опричнины, в дебри за Камнем
Погрузила железную руку Москва,
Казаков со строгановских вотчин спустила,
Дабы от чужеземцев тот край оградить,—
Полно им на Шемахе да Волге, решила,
Караваны зорить, жемчугами сорить.

И ещё потаённые топи молчали,
А уже, насаждая исконный закон,
Разговор завели, распаляясь, пищали,
Осенённые пасмурным шёлком знамён.
А навстречу им, ровно огни, полыхая,
От Ишима к Туре, окликая Иртыш,
Заплясав, затопили простор малахаи
Лис отборных да красных, не трогай—сгоришь!
И травою, рассыпавшей росы-мониста,
Угрожая студёною сталью клинков,
Сыпанули лавины—размашистым свистом,
Разъярённою скороговоркой подков.

И пошло!
Не одна мать в рыданьях забьётся…
То пищаль огрызнётся, а то тетива
Загудит—в сердце порскнет стрела, и сомкнётся
Над померкшим лицом ножевая трава.
Так схлестнулись две крови!

Но, сельбища сея,
Вознося исступлённое золото глаз,
Крыл пространство обветренным шумом, на север
Увлекаем казацкими саблями, Спас.
Он острогами путь переметил, без шуток
Поливая обильною кровью снега,
А за ним, поспешая, творя первопуток,
Прошмыгнула купецкая следом деньга,
Чтоб алчбу утолить поначалу мехами,
Осмотреться, прикинуть и, взбухнув стократ,
В дрожь бросая округу, уже с барышами,
На почтенье и зависть, вернуться назад.
Но едва ли с того капитал наберётся?..
На подмогу, покуда торговля кипит,
Хлынул пьяной рекою, в таёжном народце
Выжигая ум и здравомыслие, спирт.

Красный зверь-то—по сердцу царап!—обжигает,
Нарастает дыханьем дремучих страстей.
И лабазы всё пуще росли, подминая
Родовые угодья о ленных людей.

За острожными тыньями, хоть и не сразу,
Зачинались и в небо росли, всё тесней
Табунясь у заплывших, у тучных лабазов,
Избы тульских кровей да рязанских кровей,
Ведь какая-то жадная сила, нимало
Не скудея с годами, как встарь, тяжела,
Сёла целые—с отчих гнездовий снимала
И на отсвет удачи—на север влекла.
А навстречу им—потные звери в запряжке
Изогнулись за взмыленным коренником—
С ясаком!—наплывали оленьи упряжки,
И бубнил по тайге бубенец: «С ясаком!»
Ай, богат да изряден ясак!—проливная,
Щедро сбрызнутая по хребту серебром,
Так и льётся лиса по рукам, оплывая
Вороным, невесомым, холодным огнём.
И, застлавши глаза, обжигающий, дивный,
Под горячим дыханием влажно дрожа,
Сердце нежно покусывает—соболиный,
Так и прыщет мохнатыми звёздами—жар…

III

Он сквозь годы прошёл, этот жар… Потому ли,
Как и встарь, стервенея, в крутой оборот
Так природу берёт, не жалея ни пули,
Ни червонцев, ни водки, наезжий народ?
Поглядишь, как иной вас коммерции учит,
Прёт в заветные поймы с ружьём и вином,
Да и сплюнешь со злостью—ведь это же купчик
Ворохнулся и смял сострадание—в нём.
Это вскинулся хищник—вцепиться в добычу,
Навалиться, подмять её и тяжело
Закогтить её—всю!—под заёмным обличьем
Воспалённое, алчное пряча мурло.
И в кромешную ночь, воровскою порою,
Чтоб отборным орехом бюджет подкрепить,
Взять кедрач, да и выхлестать бензопилою,
В безымянную пустошь его обратить.

Он при деле—и зимник, быть может, роднит нас,
Может, вместе мостим мы таёжную гать…
Только, высосав душу, свербит ненасытность,
И темней распалённая жажда—урвать!
И здоровье в порядке, и нервы в порядке,
Крепко спит, ведь он сердцем не врос, наконец,
В мир тревог наших, наших раздумий, по хватке,
По бессовестной, низменной сути,—пришлец.

Мне известен такой…
«Мандарин», с вертолёта,
Люк закупорив грузною тушей, он бил
Беззащитных лосей и смеялся: «Охота!..»—
Бил и после описывал бойню, дебил.
Бил на выбор зверей, как заправский сезонник,
В налитое плечо уперев карабин.
Обжигал покрасневшую щёку, в казённик
Досылая исправно патрон, магазин…
Бил, рискуя свалиться, над зимней тайгою
На холодных ремнях зависая, но—бил,
Бил,
отпинывал гулкие гильзы ногою,
Беззащитных молочных телят не щадил…

Ах, с каким упоеньем он бил их: «Раздолье!»—
(Это нужно увидеть…), чтоб, в синем дыму,
В перезвоне и лязге, хмельное застолье
Славословия, чавкая, пело ему.
Он царил, применившись к звериному бегу,
Умножая безрадостный список потерь…
Ему кровь веселил по кровавому снегу
Обречённо влачащийся, загнанный зверь.

«Мандарин…»—я сказал…
Нет! скорей, как налётчик,—
«Хоть денёк,—рассуждал он, осклабясь,—да наш…»
И ведь выбил бы чахлое стадо, да лётчик
Заложил, упреждая, гневный вираж.

Что же в памяти эта картина воскресла?
Я в одном леспромхозе услышал, что вот
Его—выплеснули из солидного кресла,
И пыхнул ему гарью в лицо вертолёт…
Ну и что ж? Он, видать по всему, пообтёрся
В передрягах, и всё-то ему нипочём…
Он сховал карабин, но зато обзавёлся,
К пересудам и вымыслам,—фоторужьём.
И уже он строчит о природе заметки—
Не раскаянье, а конъюнктура велит,
И довольно частенько в заштатной газетке
«Друг природы…»—под снимками пляшет петит.

И, должно быть, я всё ж чересчур субъективен,
Но не верю в перевоплощение я:
Как под пристальным дулом, перед объективом,
Сжавшись, оцепенела природа моя:
Её речки, проталинки, ельники, мари—
Всё, с чем каждою чуткой кровинкою слит,
До корней своих… И не поэтому ль в хмари
Моё сердце и чаще, чем прежде, болит,
Что я—и соплеменник ваш, и современник,
«Покорители» севера,—значит, вдвойне
Виноват за свершённое… Нет, не бездельник,
Просто на пустячки отвлекался…

Но мне
Нужно вас показать и назвать! А смогу ли?
А по силам ли мне, ведь, хоть криком кричи,
Не прикроешь бумагою зверя—от пули,
Только словом одним—не спасёшь кедрачи.
Ну, так, что ж, отстраниться и, в мире суровом,
Их оставить одних на убойном ветру
И предать, обречённых?! Ах, если бы словом
Можно было убийцу подвигнуть к добру…
И, один на один с белым полем бумажным,
От бессилия мучаюсь я, но опять
Всё ищу это слово—о главном и важном,
И никто не подскажет мне, где же искать…

IV

Только-только, затеплив студёное утро,
Алым светом восток незаметно нагруз…
Но царит на пространстве размашистой тундры,
Обливая исконные выпасы, гнус.

В одеяло плотней завернёшься—привычка:
Хоть и мал, до костей пробирает, остёр,
Гнус. Но шумно взъерошится ранняя спичка,
И давнет исцеляющим жаром—костёр,
И тебя, ослабевшего духом, поддержит,
Кровопийц приструнит… Хоть берёт на измор
Беспощадная тварь, у костра уже брезжит,
Затекая в слабеющий сон, разговор:
—Да-а-а-а,—и сочный шлепок,—это, язви, природа?!
Мох да хляби, и живности нет… А давно ль
Глухаря, куропатки—хоть бей с вертолёта!..
Дай-ка мази немножко…
—Просну-улся… Отколь?
—Вот в газетах трубили: «Романтика! Север!»,—
А всего-то зверья—лишь комар да мошка…
Чёрт, опять сигареты я где-то посеял…
—А газетчик к чему ж?
—Принесло лешака!
Ишь, пригрелся… поди, ничего и не слышит.
Приблудился к колонне, какой с него прок?
Так, случись что, и не пожалеет, распишет…
—А ты не гомозись, и роток—на замок…
—Эх, тоска-а-а!..
Вот мы в Нягани просеки били,
Там лосей, не поверишь, как зайцев!
—Да ну-у-у…
—Что «да ну-у-у»! Пятерых, говорю, завалили…
Ты представь—пятерых! И лосиху… Одну…
—По лицензии?
—Ду-у-ура…

И, словно бы в замети
Той, давнишней, зимы, всё во мне напряглось,
Ведь протаял из давнего прошлого в памяти
Сбитый наземь стальною удавкою лось.

Помню непримиримый прищур Волобуева,
Красный снег. Зверь оплыл серой тучей на гать,
И звезда чёрной крови зияла во лбу его—
Топором вырубали рога и, видать,
Не спешили, подонки, не трусили, зная,
Что на звон топора их никто не придёт…
Вырубали рога, с каждым взмахом вгоняя
Обух—в припорошенный созвездьями свод.
(Снег под ними повизгивал, точно магнезия…)
Запалили костёр, так поведала молвь,
И огонь, матерея, с щербатого лезвия
Жадно слизывал окостеневшую кровь,
Багровел и чадил на ветру…

И, похоже,
Слив тяжёлые пальцы свои в кулаки,
Врос в раскисший сугроб Волобуев, и кожу
Натянули на жёстком лице желваки.

…Гнус наглел… А меж тем, обрастая смешками,
В похвальбе неуёмной, смакуя разор,
Шелестел доверительный шёпот мехами,
Да подранков и жертвы считал разговор:
— Ну, так слушай… Мы зазимовали в посёлке,
Да ты помнишь, за базою, на берегу.
Слышал я, там — охо-ота, да, веришь ли, волки
Поджимали — не высунешь носа в тайгу.

Ну, так что оставалось нам? — карты да бражка,
Так и пухли со скуки. А тут, поутру,
Глянь я мельком в окошко — оленья упряжка
У соседнего дома… Я — мигом к «бугру»,
Так и так, мол… должно быть, родня из Угута
К Айваседе… упряжкой… Как хошь, понимай,
Но такие дела, мол, и — раннее утро…
Спит посёлок… И он мне мигает: «Давай!»…
Рад стараться! — я тотчас к упряжке… На зиле…
Борт откинул… Стоят… Вот потеха была! —
Подхватили олешек мы и погрузили
Вместе с нартами… В кузов…
И выдох: «Дела-а-а…»
— И куда ж вы их?
— Ясно дело, загнали
В мехколонне соседней на мясо — товар,
Ты и сам понимаешь…
— А если б поймали?
— Да поди догони нас! К тому же, навар —
Ящик водки…
— А что же хозяин?
— Подался
За озёра — пропажу искать. До сих пор,
Видно, ищет…

Но тут у палатки взорвался
Чадный рык вездехода и встрял в разговор,
Разом скомкав его… И давнул в мою спину
Дизель жаром, и, спрыгнув с крыла, невысок,
Он прошёл мимо нас, «покоритель», закинув
За плечо невесомый, как видно, мешок.

— Да-а, добытчик, однако… — и так прознобила
Голос лютая зависть, —
ишь, наторговал, —
и заморосило:

— Деньги… Стойбище… Ханты… Продал… Обменял.
— Кто такой? Как ни встречу, он вечно с мехами,
То лиса, понимаешь, то просто—песец…
Неприступный, сурьезный такой… Не механик?
— Нет,—протяжная пауза,—просто… купец…

Это он!—на глаза нахлобучивший веки,
Оценивший давно эту землю в рублях.
Как тут быть?—забродила алчба в человеке,
И взбрыкнул неожиданно купчик в кровях.
До чего ж оборотист наезжий народец,
Есть, мол, водка, давай, мол, и рыбка, и мех,—
До сих пор для иных автохтон—инородец,
И споить его, и облапошить—не грех,
Благо, прост и доверчив… А то, как в карманы,
В заповедники руки—хватай!—запустить,
Оголить их… Барыш! И чужие капканы,
Когда нарыск песцовый густеет,—зорить.
И разбойничьей снастью, бахвалясь уловом,
Реку выпростать в раже, потуже набить
Битой птицей да зверем кладовые—словом,
От корней до макушки тайгу обдоить.

Я понять постарался б, когда бы в прокорме
Было дело… А здесь—баловство? Перестань,
Вечный данник природы, забывший про корни,
Вымогать у природы кровавую дань!
Но взывать к его совести—это полдела…
Нужно вдарить в набат, да погромче, пока
И детей не подмяла алчба, не разъела
Души их психология временщика!
Да и сами собою едва ль перестанут
Оккупанты природу мытарить…

Итак,
Наступает стальная страда, к океану
Отжимая звериные кормища… Как
От земли своей не заслониться зевотой?
Как земного доверия не потерять?
Как проблемы индустрии с прочной заботой
О природе
по чистым законам связать?—
Чтоб потом, отрезвев уже, не ужаснуться
Окаянной бездумности—что, мол, творим?!—
Чтоб в железном движении не разминуться,
Локти, локти кусая!—с грядущим своим…

V

Схлынул с берега гнус, и в окне потемнело…
Он прошёл и присел у порожка, в упор—

Льдинка синего взора, и прошелестело
В загустевшем, свирепом дыму: «Рыбнадзор!..»
Привалился спиной к тёплой печке, сутулый,
А черняв и скуласт, ну, татарин точь-в-точь,
Затянулся—и на измождённые скулы
Кашлем выбило алые пятна.

...В ту ночь,
Взяв двоих, затопив самоловы, он двинул
Мимо сонного плёса, да квёлый движок
Заблажил... Он пригнулся к мотору, а в спину—
Раз!—удар и, с присловьицем хлёстким,—в висок,

И—вода взорвалась и сомкнулась. И тут же
Потащила на дно, оплетая собой,
Уж так люто давнула, так стиснула стужа,
Высекая из сердца слепящую боль,
Что дыханье зашлось. И, уже задыхаясь,
Он всплывал и тонул, обессилев, и вновь
Жадно, с яростью рвался наверх, выбиваясь
Из беды, будоража сомлевшую кровь,
И ведь выплыл! Отлогую отмель нащупал,
И кромешную стужу, и мрак превозмог,
Зацепившись размытым сознаньем за щуплый,
Протянувшийся издалека огонёк,
Выбрел по мелководью, уткнулся в густые
Тальниковые заросли—мрак позади...
С этих пор-то и хлюпают хляби речные,
Неусыпно ворочаясь, в хлипкой груди.

Тех двоих встретил в лодке у мыса и ловко
Обошёл, посылая «казанку» вперёд,
Прямо наперерез им, ударил—и лодка
Задралась, обнажая пропоротый борт.
Матом ночь взорвалась... Он прицыкнул, однако,
Бросив круг на двоих, близко не подпускал
Браконьеров к «казанке», а—«Хитрый, собака!»—
Под стволами добытчиков к берегу гнал.
Выгнал, мокрых, к рассвету... Уж как его крыли
Браконьеры, народ веселя, на суде!
А инспектор молчал, лишь в глазах его стыли
Две фигурки на чёрной студёной воде...

Две зимы миновало. Он к лету вернулся,
Худ, в казённой одёже... На смирной воде
Встретил этих, двоих... Пусть другой разминулся б,
Он—навстречу «знакомцам» попёр, ну, а те—
То ль купанья боялись, то ль нервы провисли...—
Заложили вираж, угорело вильнув,
Ушмыгнули в проточку и чутко закисли
В тальнике—видно, чуяли всё же вину...

И—пошло!
Помутнел браконьер:«Незадача!»—
Как тут ни вертухайся, полнейший разор:
Невода отощали, слиняла удача,
Заскучала рыбалка… И всё—рыбнадзор!
И уже с самоловом не сунься в протоку,
Хоть стращали и дом подожгли, наконец,
И не раз ему, воду буровя, дорогу
Заступал среди ночи горячий свинец—
Только непримиримее холод во взоре…

Он спешит на «казанке» на тоню, крутой,
Ибо помнит: под хриплым дыханием хвори
Жизнь обтает, как хрупкая льдинка… Седой,
Он спешит мир заветный спасать от разора,
Словно эти урочища носит в себе,
Защищая их от взматеревшего вора,
Заскорузлого в неистребимой алчбе.
Вор ухватист: мордующий ясные воды,
Мощью техноса часто силён он, пока
Не воспрянет от оцепененья природа
И не даст ему, прочь вышибая, пинка…

Увлекаем на север всем ходом державы,
Сколько техники я по урманам встречал—
Этот, битый тайгой, искорёженный, ржавый
Да стреноженный цепкой травою металл.
Ты бы рад, временщик, всё сграбастать в беремя,
Да забыл, что силён ты—вот этой землёй,
И не жди же, пока сердобольное время,
Словно раны, залижет следы за тобой.
След потравы вопит, временщик, за тобою,
Он не скоро исчезнет…

А вот рыбнадзор
Приохотил и сына к реке, и порою
До рассвета стучит на воде их мотор…
И малец прикипел к ней, не щедрый на слово,
По-отцовски глядит, ветром, стужей пропах—
Это возобладала закваска отцова,
Отзываясь раденьем в сыновних кровях…
(Луч ложится румянцем на чуткие воды…)
Он сидит на корме, погруженный в своё,—
Не чужанин и не приживал у природы,
А кровинка, наследный печальник её…

VI

Потянуло порой перелётов, и стая
На родные гнездовья летит, а под ней,
Перебранкою нервных курков нарастая,
Поднимается лес вертикальных огней…

Смёл усталую птицу огонь, от болота
До пробитого неба горит вертикаль
Липкой боли и страха…
Охота:
— Бей! Промазал! Ишь, гад, насобачился!.. Жарь!

Я не вижу в пальбе лица человека,
И, кромешный, от крови и пороха пьян,
Зачинается день, лишь оглохшее эхо
И рыдает, и стонет, забившись в урман.
Распрямилось, над птицей сомкнувшись, болото,
И так зримо я вдруг увидал,
Как, вздымаясь, фантом вертикального взлёта
Вбил нас в небытие — невесёлый финал…
Словно трещина в небе, подбитая птица
Больно сердце крылом зацепила… Скажи,
Может в трещину эту наш мир просочиться,
Обнажая каверны души?

Там, где птица летела, зияют пустоты,
Темнотой заплывая… А вспышки частят —
Учащённое сердцебиенье охоты,
И стволы, точно Судные трубы, гремят.
А представишь ли ты, прикипевший к винтовке:
Словно маятник бешеный, мчится Земля
Амплитудой — от пули до боеголовки,
Наши волосы — страх ли? сквозняк? — шевеля…
Но всё злее,
всё пуще ярится охота,
Палец закостенел на горячем курке.

…Вечер… Сумерки… Спят сапоги, полороты,
Домовито бормочет вода в котелке,
Кров из лапника прост и надёжен. Не спится,
Ведь в исхлёстанном небе, как в вязком бреду,
Тлея, так и стоит почерневшая птица,
Затмевая живую, над лесом, звезду.

VII

Возвращаюсь туда, где родился я… Рядом —
Тёплый ропот воды, и, как в детстве, знобит
Молодой холодок. Эй, скорей по дощатым
Тротуарам, сползающим прямо к Оби,
На прибрежный песок! Ноги вязнут — с усильем
Вырываешь…
А дети навстречу несут
Чайку… Мёртвую… Окостеневшие крылья
Пуще клея схватил, перемазав, мазут…
Он, поди, не дремал, так подкрался, убийца,
Безобидная с виду, холодная слизь,
Что, когда, всполошённая, вскинулась птица,

Тёмной тяжестью на обречённой повис.
Он держал её мёртвою хваткою, немо,
И, покуда, взбулгачив ночь криками, страх
Маял жалкую птицу, тоскливая немочь
Всё страшней и страшней цепенела в крылах,
Растекаясь по жилам… Не ваше наследство,
«Покорители» севера?!. Издалека,
Перекличкою вёсел окликнув, из детства
Мягко торкнулась в сердце, вздохнул я, река.

Оттого и вздохнул я, что вышло свиданье
Невесёлым…
Но зорней рекой, далеки-и-и,
Потянулись из памяти в сытом сиянье
Наливные, грудастые неводники.
И я ровно увидел, как вровень с бортами,
Сокрушить их тяжёлые плахи грозя,
Шевелясь, засыпает студёное пламя
Рыбы-нельмы, протяжной сороги, язя.

Густо, с посвистом сыплются мокрые чалки
На прибрежный песок. Отлагаясь во мне,
Над водою мигают дотошные чайки,
Словно белые паузы в голубизне,
И следишь ты за ними рассеянным взором…

Лишь потом, через годы, с газетных страниц
В нашу, грустно писать, повседневность с укором
Заглянули глаза погибающих птиц,
Может быть, потому выползавших на сушу,
Что спасенья искали у нас… Глубока,
Бьёт мазутной волной в потрясённую душу,
Намывая раскаянье, эта река,
Благо, если б одна…

Я знавал очеркистку—
Торопясь в прогрессистках себя утвердить,
Она нефти весь пыл отдала свой, без риска
Конъюнктурщицей в эту вот пору прослыть:
Всё плотней обступали в поспешных писаньях
Буры, трубы, фонтаны—ну, весь антураж,
И, понуро сквозя, растворялась тайга в них—
Не живой организм, а—дежурный пейзаж…
Умудрённости ей не хватало, чтоб здраво
Оценить себя? Где ж тут природу беречь,
Если спрос—на писанья? А у леса есть право
В лучшем случае гатью под технику лечь?

Этот жар да упорство—на доброе б дело!
Ну, так что же рукой торопливой вело?—
То ли, по простоте, ранней славы хотела
Иль иного ждала, в нефть макая перо?

И хоть нет в обличительном пафосе прока,
Всё ж, поверьте, так хочется крикнуть порой:
Не её ли герой сжёг урман?! И протоку
Задушил в химикатах—не её ли герой?!

Их бы не славословить, зарвавшихся,—можно
Всю тайгу потерять, от вершин до корней…
Бессловесна природа, тем чаще тревожно,
Что всё меньше её—в душах наших детей…

Мы-то в детские годы к ней были поближе—
И в цветении помню тайгу, и в снегу,
Но, когда в январе зори кличут: «На лыжи!»,—
Почему сына вытащить в лес не могу?
…Всё активнее солнце—я смежил ресницы…
Только не унимается мысль: может быть,
Не по птице—по дряблому чучелу птицы
Внуки будут о времени нашем судить?
Вот когда бы тебе мой безрадостный опыт—
О потравах писать да по ранней весне
Браконьеров шерстить, вот тогда-то, должно быть,
Ты меня поняла бы, сестра по вине,—
Все мы общей виною больны… Но едва ли
Осознали, что вот, подошли к рубежу.
Не спасали природу, а больше болтали
О болячках своих…

Что ж я детям скажу?!
Ведь не крикнешь, как встарь, им: «Здорово, ребята!»
Птица дрябло обвисла в детских руках,
И молчишь на дощатых мостках виновато,
Угли в сердце и стыдные слёзы в глазах…

VIII

«Метеор» оперён бурунами… За мною
Истекает слепыми огнями простор.
Гомонит, засыпающей брезжит струною,
Дизелями проворно стучит «Метеор».
То ударит в буфете перебранка посуды,
А то вскинется резко нежданный гудок
Над рекой… Но внезапно, пробившись из гуда,
По соседству со мною всплеснул тенорок:
«…Ну, а дальше-то что?..»
«Он—каюр, понимаешь?!—
Низкий бас.—Спец, каких поискать, и к тому ж
В тундре сызмальства… Кто он, теперь-то смекаешь?
А как держит упряжку, хотя и не дюж…
…Вижу, не отстаёт… Ишь, забрало оленей—
Прямо за вездеходом пластаются, ну,
Словно кто привязал… Кто ж кого одолеет?!
Неужели каюр? Эх, как я газану!

В ноздри дым, смех глядеть! Они в сторону взяли
Да по кочкам обратно… Смешнее всего,
Что каюра-то с нарты смело. Изваляли
Бедолагу в снегу… Ну, да он ничего,
Улыбается: всё, мол, в порядке… Упряжку
Завернули, догнав за протокой, вот так.
Вижу, парня знобит, и сую ему фляжку
С водкой—выпей, мол, но отказался, чудак.
Ну, а мы не святые… Покуда он грелся
У завхоза чайком, я решил подкузьмить:
Отпластнул от буханки ломоть, загорелся
И—с буханкой на улицу, мол, покормить…
Сдобрил водкой ломоть—сам бы съел!—и к упряжке,
Вот, мол, ешьте… Куда там! Отпрянули—знать,
Угощенье-то им не по нраву. Дура-ашки…
«Ну, а если,—Осадчий басит,—поднажать?»
Аж взопрели, покуда буханку скормили,
И, поверишь, быки-то глядят веселей.
А Осадчий—с хореем уже: «Покатили?!»—
И кричит, фалалей, багровея: «Скорей!»…
Чёрт нас дёрнул! Я—в свист! Эх, рванули, род-ны-я!
Я ещё наподдал—только комья в лицо.
Мне в диковинку—я на упряжке впервые…
Обернулся назад: глянь, каюр на крыльцо.
Да куда там, ищи ветра в поле!
Вот речка,
Там я крупных язей брал… Олени—в намёт!
Не спина у Осадчего—чистая печка,
Ну, а высунься—ветер сбивает и жжёт.
Распахнул полушубок, скаженный, и жарит
По оленьим хребтам, обалдуй! А меж тем
Солнце уж притонуло, и с севера, паря,
Наползает—я так и встопорщился—темь,
И мороз-то как будто крепчает…
(И тут же
Вспомнил я, как тоска подступает, когда
Каждый шовчик возьмётся прощупывать стужа,
По стежкам пробегая зубами… Беда!
Да ещё в голой тундре…)
…Струхнул я, и вроде
Липким жаром всего окатило… Кричу:
«Стой, Осадчий!»—
а водка-то в нём колобродит,
Водка гонит оленей. Я: «Стой!»—колочу
В неподвижную спину. Хотя б оглянулся,
Только рыкнул, чудовище: «А ни черта!»—
Как навстречу нам прыгнул бугор…
Захлебнулся
Я горячею болью, и всё… Пустота…

Прихожу в себя—ночь… Где Осадчий?! Ни звука…
Где олени?—следы от полозьев текут
Из-под пальцев, снежком притемнённые… Вьюга
Зачинается, значит? И тут
То ли шелест какой, то ли шёпот… Осадчий?!
Точно, он выползает из мрака. «Нога…»—
Прохрипел. Ну, а тут пуще крутит, и, значит,
То не вьюга лютует в ночи, а пурга.
Плохо дело! В ногах—ледяные занозы,
Голо в тундре, хотя бы ложбинка иль куст,
И Осадчий хоть мал, да увесист—сквозь слёзы
И кляну фалалея, а всё ж волоку.
А мороз сатанеет. И крикнуть бы!—ровно
Вымерз голос, и холод под сердцем…
«Дошли?»
Э-э-э, куда там, валялись с Осадчим, как брёвна,
Пока нас за Медвежьей протокой нашли.
Нас-то, вишь ты, сперва на востоке искали,
Следопы-ыты!
(И сразу мурашки—так зло
Прозвучал низкий голос…)
Ах, если б мы знали!…
Вот Осадчему, язви ты, не повезло:
Почернела стопа… Я и брякни: «Гангрена!»
Мастер: «Ох!»—и скорей вызывать вертолёт…
Отмахнули стопу, ладно не по колено,
Ну так радуйся! Нет, он замкнулся и пьёт,
И всё в толк не возьмёт, что могло быть и хуже…»

Тут качнуло нас, и, надвигаясь, в упор—
Серый бок дебаркадера… Пристань. И тут же
Дружно свистнули чалки, и наш «Метеор»
Замер, и, заливая прибрежную глину,
Побежала волна до приплёска, боднув
Чахлый выводок лодок, и, мутно отхлынув,
Потащила их с мусором вместе по дну,
Будоража ленивую гальку… По скулы
Притонул «Метеор» в заскучавшей воде,
Протянулся на выход народ, и мелькнуло
Притемнённое болью лицо в толчее.

Это он!—уплывающий к выходу медленно…
Я узнал его, вбок толчеёй оттеснён,
По набрякшим рубцам, как по свежим отметинам
Ледяной, стервенеющей тундры… И он
Кепку приопустил, словно бы укрываясь…
Меня ровно толкнуло к нему, но тут взбух
Грузный гомон у трапа и, в дверь выжимаясь,
На причале опал. Он пропал…

Уж потух
Тенорок его спутника. Медленно тлея,
Чья-то песня рекою сплывала… Я дрог
На осеннем ветру, то ль поверить не смея,
То ли всё, что услышал, осмыслить не мог…
А в душе занималось ознобное чувство—
Гнев, я понял,—не жалость, не стыд:
Верно, что не прощает природа кощунства,
Горько, что невиновным она отомстит.
Путь земной мной не пройден и до половины,
А пустынь-то, потрав—за спиной!
Но былое корим мы: мол, отчие вины
Высекают из неба то ливни, то зной.
Ну, а сами-то мы—доброхоты природы?
Это счастье, что разум одёрнул, не дал
Задушить в Каракумах сибирские воды,
Обескровить, страну обирая, Байкал!
Сами дали рвачам и прохвостам свободу…
Не гордыню ли теша свою,
Словно этих оленей, взнуздали природу,
Гоним, слепо нахлёстывая, к небытию.
Ну так хватит проектов и толков,
Если в небытие упирается путь!
Время,
    время настало—глазами потомков
На свои же деянья взглянуть.

Никогда не ответят им наши прогнозы,
С чем мы их оставляем одних,
Но зато высекаем из атома грозы,
Что, сознанье слепя, замахнулись на них.
Нет исхода в неловкой усмешке ухода
От чужого несчастья… Ты только представь
Вёрсты очередей за глотком кислорода,
А потом, если сможешь, проблему оставь.
Из проблемы не выскочишь—дело последнее!
Давят беды свои, ну а пуще всего—
Дефицит понимания и милосердия
Ну а кто же ты, если не донор его?..

IX

Занедужило старое озеро: кто-то
Взял да выгреб в него полцистерны тавота
И добавил какой-нибудь дряни—видать,
Долго озеро к жизни теперь поднимать…

Как тоскливо насупился север, и хмуро
Налегло на сердца ожиданье грозы
(Вот и кстати штормовка), под ветром понуро
Подползает к ногам маслянистая зыбь.

Оскудели дородные глуби, и птица
Не спешит на неверную воду садиться,
Ведь весенней порою, в броженье урёма,
Пропитала озеро дряблая дрёма.

А давно ль, когда в жизни—сплошные кануны,
Трепетала и тёрлась о лодки вода,
Закипала вода, вспучив грузные луны
Серебром истекавших сетей? Их тогда
Распирало броженьем улова—литая
Рыба светом сорила, и после, тяжёл,
Всё темней клокотал, всё плотней, обмирая,
Заходясь в рыжей пене, артельный котёл.
Многих,
многих озёрная сила вспоила,
Как меня поднимала когда-то, мальца:
Крепли мышцы, ветвились упругие жилы—
Так идут по весне в звонкий рост деревца…

А теперь ни умыться нам и ни напиться…
И с тревогою, Вэлло, следим мы с тобой
За мятущейся птицею над плосколицей,
Почерневшей, как рок, безразличной водой.
Потому-то и не отпускает смятенье,
Что в тяжёлом движенье прогресс перемял
До подлеска тайгу и, певец покоренья,
Я потрав за лавиной стальной не видал,
Сам прокашивал гулкие просеки, сеял
Чадный грохот…

Так не по твоим ли слезам,
Хмурый Вэлло, ломилось железо на север,
Приценяясь, как видно, к насупленным льдам?
И в минуты душевной надсады
Горько вижу я, как из подроста и мхов
Нам бессильно грозят, в чёрных метах распада,
Древа, сучья, валежины, сны пропоров.
Лет пятнадцать—и вот мы у цели:
Пересохшие русла, овраги, пески…
Слава Богу, не всё уничтожить успели,
Но к черте роковой—ишь, размах-то!—близки…
Мы присвоили право решать, что полезно,
А что вредно. И кто бы из нас ни решал,
Так уверовал, путь просекая, в железо,
Что в холодной крови растворился металл.

И молчу я над вялой водой, размышляя:
Тот, кто озеро—по слепоте?—отравил,
Безусловно, из тех, кто, тайгу «покоряя»,
И других «покоренью» примером учил…

Страшно, что безымянен он, этот «учитель»,
Потому что не найден и не уличён.
Сколько он принесёт нам вреда, истребитель,
Потребитель, по сути прогорклой. О чём
Думал он, выгребая тавот? Всё о том же,
Что огромна Сибирь, золотой материк,
Что и эту потраву она переможет
И урон-то, по меркам её,—невелик,
Капля в море… А капля ли?! И потому-то
Потрясенье саднит до сих пор,
Ибо мёртво застыли озёра мазута
Там, где птица, густа, поднималась с озёр…
Где бродила обильная живность густая,
Жгут—так прячут следы!—нефть, и траурный дым
Иссушает сознание, переползая
За лесной горизонт… Так давай проследим
Его путь: он полнеба затмил, постепенно
Концентрируясь в воздухе, в почве, в воде,
Чтоб распадом, гниеньем в отравленных генах
Заявить о себе…

Поколенья в беде!

Как преступно бездумны безликие песни
О безоблачном детстве! На кой они ляд,
Если небо забито отходами, если
У детей наших лёгкие—с кровью!—горят.
Не безнравственно ль, что лихорадочно ищем
Панацею от страшных болезней, пока,
Накрывая смертельною тенью жилища,
Наша смерть вызревает в больных облаках?!
Проморгали Чернобыль. А что провороним
Мы на сей раз, ведь, как посторонних людей,
Родники наши, реки, озёра хороним,
Не сумев их спасти от кислотных дождей?
И, как рыба, вверх брюхом—иллюзии… Скверно:
Сонмы их высыхают средь книжных страниц,
Безразличных плодя, и в итоге—каверны
В детских душах, как в лёгких, и нравственность—ниц.
Отвлечённо скорбя, тиражируя вздохи,
Позабыв, что у голоса право—кричать!—
Мы абстрактно страдаем, отрыжка эпохи,
Научавшей не драться, а внятно молчать…

Но, когда нас лесные палы обступают,
До нутра прожигая, и в мёртвой воде
Наши лица мерцают,—когда проливают
Бытие—наше! кровное!—в *небытие*,
Ощутите ли, *как* зачерствело молчанье?

Сколько ж нужно трагедий нам, чтобы понять:
«Не среда *обитанья*—среда *выживанья!*»—
Так поставлен вопрос…
И *всем нам*—отвечать!

X

Не заметил, как звёзды набрякли… Сомлело
В костерке неуёмное пламя—видать,
Нам пора на покой.

Только хмурится Вэлло:
«До-олго озеро к жизни теперь поднимать…
Язви, всё испоганили, ведьмино семя!»—
Разминает потухший в руке уголёк
И понуро молчит, узловат и приземист,
У бессильной воды, точно древний божок,
Лоб морщинист и кроток редеющий волос…

И глядит он куда-то за озеро, вдаль,
Поднимая протяжную песню,—то голос
Подаёт и царапает сердце печаль.
Растекается звук над водой постепенно
И пытает на отзыв холодную тьму,
Возвращается эхом, как будто смятенно
Стонут птица и зверь, отзываясь ему.

Воет ветер на вырубках, горестно ноет,
Задувая наш говор… Зайдя от Губы,
Ветер, комкая песню, в просеках воет,
Что уставились в нас, точно дула судьбы.
Оттого ли пространство слезами наволгло,
Что когда-то наступит тот сумрачный день,
Когда слепо, при вое *последнего* волка,
Захлебнётся испугом *последний* олень?
Ты во что переплавишь безликую жалость,
Больше занятый бытом, а не бытием?
Как тут быть, отвечай, коль земля твоя вжалась
В твоё сердце и ждёт милосердия в нём?
Наши силы—иссякли? Призывы—прогоркли?
Хищник—зол и ухватист, где можно, урвёт…
Потому-то на лысом, понуром пригорке
То не Вэлло поёт—само горе поёт,
Растекаясь брожением смутным в туманах,
Низким говором трав…

Ну, а горше всего:
Кроме этой, в болотах, в разливах, в туманах,
Неуютной земли, нет иной у него.
Где искать ему выпасы тощим оленям,
Если сжались угодья в железном кольце?

Что, с тоской и мучительным недоуменьем,
Он читает в земном оскудевшем лице?
Отстранясь от нас, как от врагов, затаённо
Она смотрит, в оврагах и просеках, ввысь,
Точно боль и обида спеклись в отчуждённость…
Если б в нас—размышлением отозвались,
Ведь считали мы: всё, что творится,—во благо…

Но, когда я сижу, углублённый в своё,
Слышу ропот глубинный, как будто бумага
Рвётся под воспалённым дыханьем её,
И такая в ней тёмная стужа, как в камне…
И—встречаешься с пристальным взглядом воды,
Что настойчиво, пасмурно смотрит в глаза мне,
Словно я—провозвестник большей беды.

XI

Ещё всё мироздание дрёмой объято,
А уже ранний звук над деревней возник…
И вот так целый день, от зари до заката,
Тюк да тюк у худого заплота—старик
То дровами займётся, то веслице тешет,
То латает приземистый хилый заплот,
Согреваясь работой. Да, видно, не тешит
Немудрёное дело души. Уже год—
Он один,
        и под солнцем один, и под ливнем,
Заплывают слезами горючие сны…
Как и в первые горькие дни, всё болит в нём
Безутешная даль за могилой жены…

Жизнь его и в бою, и в работе обмяла,
Но, уже отстранившийся от бытия,
Коротая свой век за безделкой, устало
Он влачит одиночество.

А сыновья?—
Спят вповалку в кладóвой их грузные сети,
Дремлют бродни лениво на тёмной стене—
Захирело артельное дело, и дети,
Как вода по весне, растеклись по стране,
Растеклись и—отцовское дело забыли…
Всё он не передумает думу свою,
Ведь больные озёрные воды подмыли
И, ломая устои, размыли семью,
Обездолив его, горемычного, разом…

Под дородной луной и в сиянии дня
По стремительным просекам, стройкам и трассам
То река, а то зимник носили меня.
И, вбирая мой мир, видел я, каменея,

Как, теснима железом, теряя зверьё,
Хмуро пятилась к морю тайга, а за нею
Шёл бродячий сюжет, как попутчик её…
То в Казыме, а то в Лагнепасе по следу
Вездеходов он шёл — в снег, в распутицу, в зной,
И с него занималась, бывало, беседа
У костра кочевого вечерней порой
Под шипенье транзистора тихо творима…

И порой снилось мне: он в тайге, многолик,
Словно дух этой местности, брезжит незримо,
Неусыпный, как едкая совесть, старик.
И казалось: везде, как стезя ни капризна,
Из лесной гущины, куда искры летят,
Сожаление тайное и укоризна
Прямо в душу глядят,
Прямо в душу глядят…

Неужели железо — стихия прогресса —
Подминая бездумно основу основ,
По душе прокатилось, как будто по лесу,
Совесть и здравомыслие перемолов?
Разве здесь она больше над нами не властна?
Если дикую силу не взять в оборот,
Вплоть до моря она обескровит пространство,
На делянки тайгу, разменяв, разнесёт…
И не пустоши ль встретят потомков молчаньем?

Но душа прикипает к природе, жива
Состраданьем к земле кровной, словно стяжаньем
Неусыпной тревоги, заботы, родства.

XII

Вертодром за Юганкою… Жаром давнуло
От оплывшей обшивки — июль… «От винта!» —
Взмах рукою… И — гром… И могуче втянула
Вертолёт в бесконечность свою высота,
Повлекла его выше и выше…
Он, пронзая пространство, стальная метель,
Пересёк тундру и прямо к вечеру вышел,
Прижимая оглохший кустарник, на цель:
Перед ним, то на струи дробясь, то сливаясь,
Не олени — сам *ужас*, кромешно давя
Изнемогших, по тундре стекал, низвергаясь
За слепой горизонт…

А «летун», торопя
Эту лаву безумья, намётанным взглядом
Отстрелил от клокочущей массы косяк,
Забирающий вбок, и — обрушился рядом
Чадным грохотом, вонью бензина, да так,

Что буквально всадил себя в стадо… Слепая,
Заполошная масса в пять тысяч голов
Растворила его, за собой оставляя
Только холмики трупов, перемолов…
Знать, у варварства норов везде одинаков,
Ведь, плодя изнуряющий страх,
Точно так же безумных сайгаков
Гнал пилот в проливных Маюнкумских степях,
Мелкий винтик в проклятой системе…
Ну, так что же в нас негодованье молчит,
Ведь теперь, просекающий время,
Вездесущ, он над нашею тундрой царит?!

Стадо потно катилось к реке, выгибая
По лекалу рельефа—измученный гул,
И, передних быков от него отжимая,
Стадо встретили залпами на берегу,
Грубо смяв его бег… Кровь!
И по небосводу
Полоснул дикий крик—страшный шёл обмолот…
Тех, кто прыгал с обрыва в кипящую воду,
Били—изнемогающих, взмыленных—влёт.
Всё плотнее, по берегу перебегая,
Бил огонь, не спасут ни рога, ни ладонь…
Ну, а сзади грубей напирали, толкая
Обречённых—под самозабвенный огонь.

Кровью плакал затоптанный вереск…
Тех оленей, что в ожесточённом рывке
Пробивались через огнедышащий берег,
Добивали—кровавые пятна—в реке.
План давали, усердные винтики бойни?
Как—без сил… огибая песчаный мысок…
Оглянулась на них олениха—из боли,
Круто выпялив кровью залитый белок!
И, держа её в непререкаемой власти,
Смерть сомкнулась, как дряблые воды, над ней…

До сих пор, изнуряя, сознание застят
Груды шкур оплывающих, горы костей—
Я их встретил во время каслания. Жутко
Вдруг блеснул под луною олений оскал.
Пресыщенье безумием, немощь рассудка—
Кто в курганы гниющие запрессовал?
Время, словно речная вода, замывает
Кровь забитых оленей, спешит… Но, пока
Истлевают останки их, не истлевает
Безутешная память.
Июль… Облака…

В лёгкий, матовый жар окунает простуда…
Но с тревогой взгляни, только солнце взойдёт,
В безмятежный зенит—вдруг оттуда
С рёвом вынырнет, день просекая, пилот?

И тебя же—в распад, ужасая, вобьёт.

XIII

Вылет наш—на рассвете…

В избытке отваги,
Рано встал я, при свете студёной звезды.
Подремать бы часок… Да куда там!—овраги
Наплывают под утренний блистер—следы
Тракторов и траншей, что ландшафт искромсали,
Трубы, лом, арматура, останки станков…
Тонны—тысячи тонн!—замордованной стали,
Что калечит оленей—почище волков.
Я спешил зарисовывать это—сурово
Посмотрела реальность в глаза… (Подо мной
Чахлый выводок чумов промчался…) И снова—
Трубы, ржавый бульдозер, скелет буровой,
Кем-то брошенный трактор, цистерна… И трудно
Я, смятение превозмогая, вздохнул:
Вся в промышленных ранах, угрюмая тундра—
Срез мучительной, страшной проблемы.

Мелькнул
Вездеход… И Вануйто молчит, невесёлый,—
Ждали в тундре друзей, а меж тем
Так прошли по забитой земле новосёлы,
Подсекая хозяевам корни, что тем
Либо в поисках новых угодий скитаться,
Отступая на север, где, в стуже и мгле,
Море щерит торосы, либо спиваться—
Нет иного исхода на отчей земле,
Не одно поколенье вскормившей… И хмуро
Мой попутчик, молчанье сломав, произнёс:
«Моя воля, я б этих «радетелей»—в шкуру
Рыбаков да на тоню, в крещенский мороз,
На калёном ветру! Только где она, воля?!.»
Он в военные зимы выручал невода
Из кипящей Губы…

Ах, как жгла она, болью
Спеленав изнурённое сердце, вода,
Ледяная, что кожа—лохмотьями! Знает,
Что есть земли уютней, красивей, теплей,
Но, жестокая, клятая, эта—родная,
И ему страдовать и бороться—на ней.

И, приземист, нахмурился, не успокоясь…
Но не он ли, с винтовкою наперевес,
Не пустил через пастбище тракторный поезд,
А послал его высохшей речкой — в объезд?
Он спокойно стоял, заступая дорогу,
Но — винтовка в руках его… И тракторист
Чертыхнулся: «Ребята, да ну его, к Богу!» —
И тяжёлый дт развернул, экстремист!
И колонна речушкой, измученной зноем,
Громыхнула гневливо, просев тяжело
В гулком облаке пыли, и только живое
Благодарно дыхание перевело,
Отходя от кромешного лязга… Мерцая,
Плач олешки протаял вдали, тишина
Прилила к оглушённой земле, замывая
Знойный дизельный гром…

И потом, дотемна,
Тихо теплясь, под храп и рулады соседа,
В заметённой гостиничке, с веткой в окне,
Длилась наша — проблемы… обиды… — беседа,
И его злоключенья стонали во мне:
Он рассказывал, словно проламывал глянец,
Как из труб выхлопных дымом травят песцов,
Выживая из нор их. И гневный румянец
Молодил, обливая, худое лицо.

Пусть у каждого бед своих… Но отмахнуться
От того, что скудеют оленьи стада,
Ибо пастбища тают?! А вдруг разомкнутся
Судьбы хантов с бездольной землёй навсегда?
(И бледнели наброски мои на бумаге…)
Как заставить осмыслить, что тракторный след,
С хрупких пастбищ ранимых сдирающий ягель,
Тундра будет зализывать сотни лет,
Что уже не вернётся, срываясь на север,
В осквернённую, мёртвую нору зверёк,
Что всё чаще путями исконных кочевий
Вместо мха под ногами скрежещет песок,
В ржавой жатве распада — в затоптанных трубах,
В сгустках металлолома?.. И мой карандаш
Не в бумагу, поспешно и грубо,
А в сознанье вминал инфернальный пейзаж,
И Вануйто, мрачнея, кивал…

…В самолёте
Я пытался представить, так где ж сейчас он…
В зимней тундре каслает, быть может, в заботе
И печали об отчей земле растворён?

В ледяном отчуждении тундра—меж нами…

Почему же, приземист и простоволос,
Он, Вануйто, страдающими глазами,
Заполняя меня, через сердце пророс?
В свежих ранах, горит в нём избитое поле,
В душу въелся железный, обугленный след,
Словно он—средоточие пристальной боли,
От которой и противоядия нет.
Дрогнул «Ан»… Холодком потянуло из дверцы,
Вспомнил я, привалившись к обшивке, как он
Тёр широкой ладонью уставшее сердце:
«Прихватило…»
Да кто же возводит в закон,
Что вредительство нынче пределов не знает:
Браконьеры… потравы… промоины…

Факт
Наползает на факт… Боль на боль наползает…
«…приезжайте… вчера папа умер… инфаркт…».

XIV

Я не сразу узнал об утрате—так долог
Путь к Юганским Сорам, где в печальном году
Сам я, словно заправский гидробиолог,
Бил пешнёю метровые лунки во льду,
Жарко хекая, или, спускаясь в низовья,
Под пудовою кладью в снегу утопал,
Пот сгребая ладонью, и близ нерестовья
Промысловых—становье своё разбивал,
И куржак на лице намерзал. Каменела
В мутном теле усталость, и пот глаза ел,
Но упорнее: «Вот оно, ствольное дело!»—
Бил я лунки во льду.

А к нему—не успел!

И пылала над нами, давно ожидая,
Пока мысли и хлопоты свяжутся в сны,
Оперённая мёртвым огнём, истекая
Запредельною стужею, лунка луны.
И, в студёном огне, засыпал, ирреален,
Цепенеющий мир…
Но, должно быть, не спал
В сонных тысячах вёрст от меня иркутянин,
В коем, вочеловечась, безмолвный Байкал,
Как больной, рваной дрёмой спелёнут, в котором
Нет, казалось, ни сил, ни терпения, вдруг,
Пробуждаясь, обводит измученным взором
Окружающих, превозмогая недуг.

Вот одна из врачующих истин,
Что надежду дают нам… Спаситель его,
Не для славы, амбиции или корысти
Послуживший народу, превыше всего
Ставит равенство слова и дела, снедаем
Страстью отчую землю беречь, заодно
С исполинской страной… Потому ли светает
На душе, что в пример мне дано
Двуединство судеб, кровных целей, призваний,
Что и сам сибиряк, на Ямале рождён,
Я, по праву рожденья, пристрастий и знаний,
И к делам их, и к горестям их—приобщён,
Хоть едва ли, уверен я, думал об этом
Незабвенный Вануйто, когда отстоял
Обречённое пастбище…

Нет мне ответа
Из загробного мрака.

Но—*свой Байкал*
Должен быть непременно у каждого, будь то
Просто деревце, роща, лужайка, ручей,
Хотя столько глаза отводящих, как будто
И протока—ничья, и кедровник—ничей.
Но грядущее прошлого не забывает,
Ужаснитесь, сограждане, что же творим!
Всё—на наших глазах, но киваем: «Бывает…»—
А что жизнь убывает, и знать не хотим…

XV

…Ветер ставенку тронул, и, чутко помешкав,
Занимается лиственный шёпот в ночи.
Мне зарыться бы в книжку, сосновым полешком
Подкормив заскучавшее пламя в печи,
Слушать кроткое пенье во вьюшке…
На совесть
Рублен дом, да и мхом прошпаклёван ладом,
Три окна по фасаду.

Но, Виктор Петрович,
Не о том размышленья мои, не о том:
Вижу ль речку в агонии или же птицу,
Утопившую в нефти измученный взгляд,—
Не кричу запоздалое: «Что же творится?!»—
Только ясности требую: «Кто—виноват?!»

Хлещет нефть из пробитого трубопровода,
И урманы на сотни гектаров горят,
И понуро в замученных водах
Жизнь оцепеневает… Кто—виноват?!

Птиц не слышим и ядами дышим, забыли
Про песчаные плёсы у ясной реки,
Ровно не было их…

Сибирь наводнили,
Оттирая её сыновей, чужаки.
И клеймят их, да без толку, ведь и поныне
Он, пришелец,—варяг по природе своей…
Но куда как размашистей шкодят иные,
Эти, винтики номенклатуры, страшней,
Потому что сильней фонды, техника, слава
«Нефтяных королей»…
Хоть призывы «Быстрей!
Больше нефти!»—прогоркли, но дали им право
Перекраивать край по блажи своей,
И какою ценой!
В просвещённом-то веке
Выжигают деревни в бездумных кострах,
Душат в сточном дерьме нерестовые реки,
Громоздя свинокомплексы на берегах.
Я тайгу первородной мальцом захватил ещё—
Тем страшнее, что ряской озёра цветут,
Да и водохранилища—«водогноилища»,
Как писали Вы, Виктор Петрович, зовут…

По живому—к сомнительной славе, к червонцам
Прут, вбивая природу в забвенье. Азарт!
Всё страшней нарывает инфарктами солнце
В чёрных дырах озона. Кто—виноват?!
Сотни видов животных повыбиты, вмято
На глазах полгербария в небытие,
Мы туда же сползаем… Так все—виноваты,
Что прощали, а чаще—молчали?
Не все!—
Я не стану в обоймы парадные брать их…
Беспощадно, огнём затекая в труды,
Опалило сознание старших собратьев
Ощущение враз подступившей беды.
И меня не уверить, что неодолимо
Заскорузлое зло,—отвердела во мне
Вера в их правоту, ибо неоспоримо,
Что так необходима прозревшей стране
Речь прямая собратьев моих!—ведь недаром,
Подвигая Сибирь на большие дела,
Но, с тревогою глядя в грядущее, с жаром,
Словно службу спасенья, она позвала
Их—кто взят воспалённою совестью в судьи,
Но кого—чаще *учителями* зовут,
Кто надсадной душою постиг, что по сути
Бытие—совестли́вый, мучительный труд,

Чтобы выразить невыразимое, с болью
Прорываясь к сознанью сограждан, платя
За надрыв не покоем, а чаще—собою…

XVI

…Потемневшей кирпичной трубой бороздя
По-ночному приземисто небо,—гнездовье—
Сокровенно храня назначенье своё,
По сюжету?—врастает в поэму зимовье
(Поправляет замшелый чалдон: «Зимовьё…»).
Первый снег выпил сумрак, дохнуло зимою.
Упоённо таращится в полдень окно,
Первозданною, мощной—с утра, белизною
Оплеснуло… И—повеселело оно…
Сонно выглянет лист увядающей меди,
Да проклюнется дерзкая клюквинка… Снег
В отпечатках унтов—по всему, здесь намедни
Собирался куда-то с утра человек.
(Почернели, скукожились уголья в печке,
Разметалось тепло под тулупом…)

А он
Спорым шагом и валит по снегу вдоль речки,
Свет её подоспевшей шугой притемнён.
Сыро хохлятся ранние сумерки, сильно
Тянет холодом от присмиревшей воды,
И на белом—лосиные, видно?—обильно
У понурой воды табунятся следы.

Человек раскрывает рюкзак, щедрой пястью
Сыплет соль на лесины и камни, пока
Не насупилось, небо задёрнув, ненастье…

…Обессилев, устанет бороться река,
Юным льдом покрываясь… Затишью не веря,
Зябко нюхая воздух, укромной тропой,
Оступаясь в колдобины, чуткие звери
Осторожно потянутся на водопой.
Снегопад их следы ухоронит, прилежен,
И они до рассвета, чьи зори грядут,
Замирая сторожко, с камней и валежин
До крупинки целебную соль подберут.

…Захлебнулся во тьме огонёк хилой свечки…
У оконца, тулуп до сомкнувшихся век,
Плотно ступни прижав к остывающей печке,
Углублённо, натруженно спит человек.
И бесплотно сквозь заиндевелые двери,
Тонкий чад табака, что луной позлащён,—
Невесомые, снегом несомые звери,
Наплывая, бесшумно вливаются в сон…

XVII

Сколько ж, Божье подобье, природе во зло,
На земле прозябаешь ты?!

Словно повитель
На бесплодных, слепых пустырях, проросло
В наши будни—*мурло*. Временщик… Покоритель.
Он уже для семьи и прогресса погиб,
В лютой, ржавой щетине, взгляд водкою выпит,
Лоб—в полпальца под чёлкою?.. Нет, этот тип
Вытерт, словно задёрганный, дохлый эпитет…

Продираясь из масс, утверждаясь как вид,
Обжигая накалом страстей—чем не кратер?!—
Вбит ли в ватник, в дублёнку ль завидную влит,
Обживается накрепко—новый характер.
Крепко травленный временем, не дилетант,
Он не комплексовал, а—гляди!—изловчился:
Обтекая соперников, в первый десант
Не куда-нибудь—на «севера»!—просочился…
Как он гнал, с искушеньем кромешным борясь,
Увязая в соблазнах, и—не за «туманом»,
А за жирным, густым ясаком, тяготясь,
Прямо скажем, заштопанным, тощим карманом.
Его запахи спорой добычи вели,
И с досадой смотрел он: под северным солнцем,
В лёгкой, ясной реке не рубли—
Пламенея, без пользы мерцают червонцы,
Зарывался ль в насупленный, пасмурный лес,
Бил ли «профиль», за дичью ли гнался—не тающ,
В уши—«Мягкое золото… Золото!!!»—лез
Шепоток драгоценных мехов, искушающ.
И вломился он в отчие чащи—войной,
Только золото—золото!!!—перед глазами…
Закричала река, истекая икрой,
Словно кровью, густою, живой,—под ножами,
И тайга-то от боли зашлась. А потом…
Что рассказывать? Нужно увидеть—такое,
Как с дороги его, с перебитым хребтом,
Уползает в забвенье и ужас—*живое!*
Неофитов плодя, на крови—каждый факт…
А как хлынула нефть, а как планы взвинтили,
А как густо дохнуло червонцами—*фарт*
Подмигнул покорителю. Мигом скрутили,
Знать, уверовав в свой непреложный талан,
Нашу землю… И что, мол, кедрач иль проточка,
Если «спущен»—и принят безропотно—план,
И надбавки, и россыпи премий, и—точка?
Да не точка, а—крест на земле!

Как тут быть?!

Как внушить новосёлам: земля эта—дар вам?
Но, с ухмылкою: «Здесь моим детям не жить…»—
Ещё злей он в урманы вгрызается, варвар…

Оккупант!
Я ведь про милосердье кричал…
Только что мог надорванный голос мой, если
Я его—многоликого!—всюду встречал:
За баранкою МАЗа, в солиднейшем кресле?
И любой, если я напирал, тяжело
Тасовал объективные с виду причины,
На условия криво кивал, но—мурло
Прорастало, клянусь, из-под тесной личины.
Усмехнётся табунщик Никифоров: «Сброд!..»

А вокруг, совладать не умея с натурой,
Упоённо толпятся слагатели од,
Не авгуры—жрецы конъюнктуры.
Помогли сбить природу—сообщники!—с ног,
Заслонясь от того, что, как воздух, нам нужен
Острый взгляд на проблему, что промышленный смог
Выжигает каверны и в лёгких, и—в душах,
Что народец-то—местный, исконный—зачах,
Что в помбуры бегут его хилые дети,
Что всё чаще в бетонных безликих домах
Нас шатает почище, чем в знойном Ташкенте,
Что пустыни за нами—кромешней, что яд,
Не вода—в наших реках, мазутных и ржавых,
Что—за тонною тонна—в рынок сырья,
Вырождается, почву теряя, держава.
Что ж, служили на совесть… Видать, и они
«Просочились» в родную словесность по хватке,
По нахрапу—своим же героям сродни…
Наши судьбы до скудости, Господи, кратки.
Не казни вырожденьем наш страждущий род!
И вот тут (застонал под надгробием Нобель…)
Упования наши на свет и добро
Выжег ночью распадным дыханьем Чернобыль.
Всё земное пустив под огонь и под нож,
Мы зарылись в бетон и—«Помедлите трошки…»—
Мы несчастных детей не пускаем под дождь,
Чтоб потом не пришлось собирать головешки.
Не оставь нас в золе осквернённой земли!
А что дети, которым призывы приелись,
Затоптали осинник, собаку сожгли—
Не казни несмышлёных!—на нас наглядились.
У корыстных забот—нестерпимый исход…

А нужны ли им монстры индустрии или
Поворот измождённых, безропотных вод
По сановной указке, у них не спросили.
…Помертвел, в непролазных дымах, небосвод,
Вне бедующих птиц… Под измученным небом
Воспалённое время набрякло огнём,
И набрякла душа запалённая гневом.
Плод раздумий, иллюзий развеянных плод—
Он бледнее казённых восторгов, негромок
В толчее восклицаний… Но, знаю, поймёт
Это честное, чёрствое чувство потомок.
И не он ли сурово сдирает печать
С пересохшего рта?

Не молчи виновато,
Потому что за нищее право молчать
Всё больнее и неискупимее плата…

XVIII

Припадёшь ли щекою к листу, обессилев,
В ливень выйдешь ли—в сердце печёт немота…
Брешь открылась в характере или
Откровенно зевнула в душе пустота?
За надеждой надежду терял без надрыва
И, встречая промозглый, направленный взор,
Только прямо глядел. Отчего же тоскливо
Песнопевцу железных, промышленных зорь?
Верил, что поквитаюсь со славой, не скрою,
Когда землю кайлил и на зимниках стыл…
Если спросите, что у меня за душою,
Душу выверну, а, не поверите,—стыд.
Помню, как, размышления перегоняя,
Жадно ветром железной эпохи дыша,
Был, как мальчик, запальчив я, не замечая,
Как на бешеной скорости слепнет душа…

Но беспамятней поле, в котором ловлю я
Слабый отблеск былого. Всё зримей печать
Запустения, и потому не могу я
В кровной связи с ним о накипевшем молчать,
Ведь и поле в укор мне! Да разве возможен
Взгляд *иной* на творимое здесь?

Мало—знать!
Мало—сетовать на умолчанье! Я должен
Обо всём, что мятется во мне,—рассказать…
Не сулит моё дело покоя мне, знаю,
Ну, а всё ж, сквозь злословие и маету,
Я обязан,
        обязан пробиться к сознанью,

Хоть кому-то помочь превозмочь слепоту.
Можно ль ждать, что «закроют» проблему другие,
Если горькие лета нас ждут впереди,
Если души у многих—ещё в летаргии?

Потому и не жди, а буди—береди!
Выбирай: либо лес, поле с речкою, либо
Прах пустыни… Покуда не все извели,
Не лукавя, кричу: «Нет покоя мне, ибо
Нет мне счастья и жизни вне этой земли!»

XIX

Ветер,
северный ветер урёмы оплавил,
Обмирая, вдруг оцепенела вода,
Льдом задёрнув глубины… Я точку поставил
И тетрадь отодвинул. Когда
Вновь вернётся ко мне ощущение лада
С целым миром, с собою? Да как заслужить
Равновесие духа и слова? Досада
Хмуро тлеет в душе—от бессилья внушить
Вам, соотчичи,—в неискупимые годы
Мы не просто природу зорим—*в долг* живём…
Отбирая, как кажется нам, у природы,
У себя же, нелепое племя, крадём
И прорухам своим дифирамбы поём.

С истин сорваны пломбы… Не ждём гекатомбы…
Но, по клятым законам прогресс торопя,
Надсадились душой… *Что* банальные бомбы!—
Мы куда как верней уничтожим себя,
Добивая озёра и пущи,
Сознавая, что в свой же черёд
Истреблённое нами—в грядущем
Нас самих, в пустоту и ввергая, вобьёт.
Лишь спасённое—от вымиранья спасёт…
Смысла нет, как и нет правоты, в поединке
С терпеливой природою! Словно зерно,
В милосердье к безбрежным массивам, к былинке
Милосердие к нам же и заключено,
Пробиваясь в урочные сроки ко свету,
Где наглядна трава, достоверна роса…

Низко кланяюсь, шапку снимая, поэту:
Не зажилил госпремию, лишь бы леса
Поднялись над обугленной Припятью. Внове
Всем нам это движенье души? Не спеши
С беглым выводом—жест, бескорыстный в основе,
Верно соотносим с состояньем души,
И она, в дерева претворимая, зрима,

Саркастический опыт—двусмыслен и мним…
Бытие, суть сцепленье соитий,—ранимо,
И лишь Дух воплощаемый—неуязвим.
Прорастая, как лес, сквозь сознанье и сердце,
Он повсюду разлит, и пока, до поры,
Он безмолвствует, кротко теплясь, в младенце,
Но ему бесконечною мерой—миры.

Мы творили железу проклятые мессы,
Но, когда бы Господь воссоздать указал
Проливное грядущее, в образе леса
Я б—зелёным и синим—его написал…
Как по осени бор, бытие облетает,
Сопрягаются корни у нас и древес…
Мы единством спасёмся! В раздумьях светает:
В них шумит—закипающий, солнечный!—лес.
Так пускай изначальная связь не остынет!
Да пребудут в веках, словно Храм на Крови,
В категории национальной святыни
Лес на Памяти,
Лес на Любви,

Лес на Совести…
Сгусток надежды и гнева,
На асфальте Москвы, в заиртышской глуши
Тем и жив я, что верой в грядущие древа,
Как в исход кропотливой работы души…
Мир вам, братья по чаяньям, древоязыки!
Да пребудут, в пример всем идущим вослед,
Неизбывно пред вечностью равновелики,
Человек на Земле
и Лес на Земле!

空手

В лице Улисса…

Красноречива, средь алчущих передела
Ниш, обживаемых нищими, так бывает,
Слава меня, прочих пестуя, проглядела
И до сих пор, как внял я, не наверстает,

Тем лицемерней с годами её «не кисни!».
Впрочем, наглядно в примерах благих, бессмертье
Выбросит свежий побег из надсадной жизни,
Чтоб утвердить в колоссах… Потом, при свете,

Не перечтёшь, искупая себя, прощанье,
Что ни тверди нам «бренчание клавиш Пресли…»,
С тем, что взрастило, минуя иных, молчанье
Славных теней по ту сторону Стикса, если
Только прислушаться…

Солнце… Солон… полусонная, по колена,
Пена прибоя… влачащиеся ракушки…
Всё это влажно ветвится в твоём зрачке, но
Не достигает отверстой души—в ловушке

Зоркости к тайнам склонённого сердца. Сиро—
В предназначении, к метаморфозам зноя,
Море, плашмя,—виртуальная маска мира,
Тесная мне… Так неласковая со мною,

К скрипу биографов, к их бесконечным преньям,
Кто ж я, скажи, с одиночеством и тоскою,
Кроме того, что, однажды назрев, я—зреньем
Неутолимо служу этой жизни, с коей
Кротко смеркаюсь…

Когда по мановению пера
Отряхивают снег, то не перечат
Традиции… Послушная вчера,
Дверь, побледнев, не подалась навстречу.

Куда ж назад?—по улочке пустой,
Темно сомкнувшей вежды до рассвета,
И даже снег притихший, под стопой,
Мятущемуся не подаст совета…

В кавернах гнёзд, гнездо вороньих свар,
Ещё вчера, вечор,—участлив с вами,
Неизлечимой ленью залит парк,
Предпочитая не делиться снами,

И—лжёт окно, ведь, невесом, вослед
Ещё ошеломлённому, без меры,
Вздох, прищемлён ладонью, на стекле
Плодит в подтёках памяти химеры…

Что ж старше этой сирости?—кольцо
На безымянном. В порицаньях зыбких
Пусть отдохнёт сумбурное лицо
От вымученной, скомканной улыбки.

Что вечности—приватная напасть?—
Ведь ничего по сути не изменим
Тем, что, упав и плача, не припасть
К точёным, обесточенным коленям.

Где ждут—обнять? Припасть щекой? Понять?
В какую пропасть ни отверста память,
Жизнь, что там ни пищи, не исчерпать
Слезами, как любимую—стихами.

Сутулясь, воплощённая беда,
Так за плечи себя же обнимает,
Что, обмирая, поздняя звезда
Свою ж, в парсеках, зоркость проклинает.

Итак, в недоумении, едва
От потрясенья, выстуженный бденьем
Той улочки, не помнящей родства,
Соседствующей, к ужасу, с забвеньем.

«Затолканная толками» зима,
Обидами обязывая, длится,
Палима междометьями, и тьма
Пылает в проливном лице Улисса…

Годы проходят. Я поздно, язвим терпеньем,
Внял очевидности, при тяготенье к ямбам,
Что тебя нет, как нет—созданной дуновеньем
Воображенья, чья склонность к химерам явным

Образом не осуждает иных за давность
Характеристик. Вблизи океанской пены
Грустно шуршит оползающая реальность
Двух полушарий, выдавленных в песке, но

Пальцы незрячи, как будто касались кожи,
Губ, отрешённых волос, не ревнуя к полдню
Ту, кого я, впитан зноем, не знал и всё же
Помню, счастливым забвением пальцев—помню…

К бесстрастным вышним обращая «ах…»,
Легко ль под вечер, с ветром, бьющим в спину,
Искать себя в безлиственных лесах,
Осваивая память, как чужбину,

По осени? Скопленье мелочей,
Едва ли, свежей выпечки, детали—
Овраг, ольшаник, просека, ручей—
Толкутся в подсознании, едва ли,

Корнями в детстве, ясная—ко лбу
Льнут паутинки—радостней природа.
Жизнь, обращённая в свою рабу,
Завистницу, скупее год от года

На радости… По склону октября
Сползают к ноябрю… Разлад с душою
Торопит, повседневное творя,
Расстаться, наконец, с самим собою.

Под вечер, у снотворного ручья,
Пора бы внять в преддверии морозов
Что ты не соглядатай бытия,—
Один, серьёзен, из его курьёзов.

Но, чисто воплощаемый наив,
Всё льнут к лицу, насельницы петита,
Лесные паутинки, отпустив
Растерянную душу неофита…

Вдоль моря в размеренной, крепкой волне—
Я шёл, обрывая себя… в постоянстве
Оскомины снов, виртуальный вполне,
И чайка белела в разумном пространстве,
В бездумности острой сопутствуя мне.

Сиреной мне пело, смущая, вино,
Что мир, извлекаем на свет, для героя—
Кривое, лукавое зеркало, но
Я внял тому, не порицая прибоя,
Что здесь, как нигде, очевидней одно:

Жизнь—в замысле?.. Бредни, что не удалась,
Она оголимей в надеждах, покуда
Родство с нею не отыгралось на нас,
С прожилками света и тьмы из-под спуда,
С обидою, не подымающей глаз…

Жизнь—в замысле… Даром что голос дала,
Но не обнесла молодыми резцами…
Жизнь—в замысле… и та, что мимо прошла
(что ж…) непогрешимыми, злыми шагами,
Взахлёб её, пеклом дыша, прожила.

Не перебивайте, оставьте своё
И про пораженье, и про притяженье
Горячечных снов! Тень от тени её,
От неба отогнута птица, в паренье
Не перечеркнувшая небытие…

Жизнь—в замысле… Сумрачно тлеет маяк
В ушибленном тексте, подшиблены лица
Дыханьем предзимья, но, Господи, как
Легко в небосвод испаряется птица,
И медленней сердце, сжимаясь в кулак…

А море—вот оно, спокойное на зависть,
И впадина в песке оттиснута в былом,
Красавицей в былом, оттиснутая давесь,
Изводит, как всегда, насмешливым теплом.

Надолго ли? Бог весть… Ознобно огибая
Их, скопище зонтов, но—с льдинкою из-под
Приспущенных ресниц, холёная, другая
Тугою наготой себя в неё вольёт,

И случай, на песке ж, подставит ножку, либо
Оставит всё как есть… Зане отнесена
К предмету сфер иных, в шуршании отлива,
Как память инженю густо населена!

Неправда, что уже свежо блеснуло донце
У жизни близ олив, не отводящих взгляд,
У жизни, как вино, настоянной на солнце
Колхиды, в толчее одических цикад.

Морская соль горит, не отпуская, в горле,
И роща на мысу зовёт отдать визит
Её пенатам, но, экзотикой обкормлен,
Распят на солнце пляж, и пуще зной язвит.

Тем упоенней мыс, купая оконечность
В таинственной тени от опочивших лет,
И значит, исполать—макающему в вечность
Ненастное стило и пишущему свет,

Ведь море—вот оно, в неоспоримой соли,
Не ищет забытья… И ставшая чертой
Характера любовь к его солёной воле,
Баюкающей зыбь, становится тобой.

Открытый обзору отары, в виду Судака,—
Дефект перспективы, окатывая облака,—
Ландшафт в человеке, свинцово смежающем веки,
Дан в дикой гармонии камня и флоры, пока

Лениво следишь на припёке за да-альним пловцом
Всё там же, за молом, и день с монотонным лицом
Сегодня, задёрган, на литературных задворках
Молчит, как и сеть, на ветру потянувшись, о том,

Что время улову… Едва от полуденных кущ
Платона, сюжет оплетает, как плющ,
Террасу, где пьют, подливая из пылкой бутыли,
Хоть мир, по нему же, скорей здравомыслящ, чем пьющ.

Внизу ж, допекая каменья, рокочет прибой
Не о мелководье страстей—о приливе: с тобой
Судьба погасила, мотовка, свои недоимки,
Чтоб вновь наверстать, ножевая в пристрастьях, с другой.

Метафорой перелопачено время, вечор
Давнуло прохладою от переимчивых гор,
Подсвеченных мерным дыханием варварской лютни,
Нет… не затеняющей, но—увлажняющей взор

В доверчивом прошлом… И, с ссадиной от голыша
На голой коленке, забудь, как, ознобом дыша,
За морем, метнувшим из-за поворота последний
Взгляд раненой выси, так тянется, в грусти, душа…

Покидаючи осень, с пернатой опорой на Понт,
Посылая вам весточку в виде горошин на зонт,
Птицы держат на юг, как порой ни дурачит
Их приморский ландшафт, убегающий за горизонт

От себя… И, к развязке, усталость копя,
Потому ль память мечется так—от тебя
К помрачневшему морю и тотчас обратно—что ветер
Принимает, свежак, очертанья тебя, теребя

Лавры на побережье? С моллюском под голой стопой,
Миф меняет своё местожительство, дышит тобой,
Ведь свиданье впотьмах, опрометчивой ночью,
Сведено к многоточью… что горше простой запятой

Меж помешанными на любви. На манер праотца,
Не казнись, ведь вопросам не видно конца,
А спускайся к прибою, и там сердобольной водою
Море, мерно в движениях, смоет смятенье с лица.

И, о чём ни спроси меня, я ничего не прошу
У превратностей… Не потому ль, что простудно дышу
Неизвестностью, я не веду переписку с твоими
Неизменными клятвами, словно мистралю пишу,

Проезжая Марсель. Впрочем, у закусившей рукав—
Запустенье в персидских глазах… я, давно переняв
У забвенья умение не уповать на взаимность,
Поднимусь на фелюгу, во мненье «радетелей» прав

Иль не прав, всё одно, ведь презрение к миру, равно
Как и леность пространства, не стоит и взгляда в окно…
Несомненно одно, что, *одно* в чистом виде, с годами
Мы, любимая, не молодеем, прокисло вино…

Вне себя от себя, адресату не должно пенять
На безадресность случая… И, с безнадёжным «опять!..»,
Распускается память, чтоб выпустить в море тебя и
Вновь сомкнуться, как раковина, и уже не впускать.

В приватной полумгле, с фиалом на столе,
Не обогнуть себя, по размышленье утлом,
Что образ, ввечеру намёрзший на стекле,
В сознании, слезясь, оттаивает утром…

На веру ветром взят, отнюдь не худший из
Мелькнувших меж камен, зато, по крайней мере,
Потомственный Улисс, находчив, словно лис
В потёмках гинекей, затравленный потеря-

ми,—примеряет мир к себе, промозглый снег,
В компании с дождём, его движенье глушит,
Но, уязвим в семье и музах, человек,
Узилище надежд, несбывшемуся служит,

Выманивая смысл из исступлённых лет…
Жизнь убывает, не борясь с собой, в бутылке,
Покуда, клокоча, выносит нас на свет
Кастальский ключ—колюч, токующий в затылке…

С зарёю, изрытый тобою,
скрипит, вездесущ, между строк,
Как губка, сырой от прибоя,
в присяжном запое,—песок.

Извне наблюдаем этруском,
я вещею солью пропах,
В сомнительных узах с моллюском,
но—с небом на равных правах.

Узилище страхов и жалоб,
в обветренном венчике кос,
Ты, непостижимая, жалом—
от жёлтых, язвительных ос.

Язвишь, наблюдая, (ревнуешь?),
что, неискусимая, ты,
Целуя рапсода, целуешь
обмолвку давнишней мечты.

В забвении—пыльные книги,
палитра, и—Веста, терпи!—
Предчувствие пляжной интриги
спускает инстинкты с цепи.

Для непосвящённых—загадка,
ну, отблеск её, наконец,
Перо занесённое—падко
до женских разбитых сердец.

С солёной заминкою в рифме,
что необъяснимей всего,
Волшебна стремительность в нимфе,
взмывающей из-под него

К иным эмпиреям… Помимо
сезонов, твердящих своё,
Аскеза рапсода палима
тревожным соседством её.

Не зная себя, под дыханьем
мистраля, ну, правы ли мы,
На пресное существованье
беря у великих взаймы?

Но что, поморяне, ни носим
в себе, переменам верны,—
На жёлтых, на выпивших осень,
на осах настояны сны…

Не тяготитесь ранней сединою,
В забвении фантазий молодых,
По-юному освистаны весною
Подснежников и мини продувных

Над лёгкими коленками, ведь в бремя
Отсутствие страстей и не бодрит
Бордо, но—лжесвидетельствует время
Про возраст, открывающий артрит

Как новую субстанцию… Не тают
Долги, и, в переменах на дворе,
В затворничестве честно наживают
Брюзгливость в дополнение к хандре,

Покуда, при отсутствии отмычек
К химере, именуемой «любовь»,
Всё очевидней паралич привычек,
Так упоённо мордовавших кровь

В пустом былом… Со скукою в статисте
Существованья, ни-че-го не ждут,
Обжившись во враждебном любопытстве
К вещам, что молча всех переживут,

Шушукаясь подмётными ночами,
Пока ж, лелея слабости свои,
Осилить деспотическую память
Отшельника «о славе, о любви»—

Не-мыс-ли-мо, подробностям внимая,
Ведь в скуке, обретающей закал,
Свидетельствует, мягкости не зная,
Любая мелочь, что, горячий, знал

Толк в жизни, несомненно одинокой…
Пока молчит, роняя прах, уже
Бесплотен, с ясной осени далёкой
Сухой листок, прибившийся к душе…

Близ моря,
любим, не любим ли насупленной,
Нет, не обольщайся покоем, дабы
В рефлексии внять, что жестокость возлюбленной —
По совести, чаще подарок судьбы.

И брани в корректную ночь не чурается,
Покуда, заложница желчи своей,
В любви она, оглашена, не нуждается,
Любовь, как ни странно, нуждается в ней.

Она, обметавшая осень, дознание
Ведёт подсознанию, словно судья,
Но здесь, в сердцевине, во мраке сознания,
Сермяжен, как правда, просвет забытья.

Огласка вины, в убывающем воинстве
Осеннего парка нет лада, когда
В его устрашающе тёмном достоинстве
Блазнятся проточной душе холода.

Тепло на излёте… Сентябрь осыпается…
Ты лето с ресниц опалённых сморгнул,
Тем чаще судьба, торопясь, оступается
В следы на песке, что оставил Катулл.

Вглядись в оглашённую кровь, оглушённую
Солёными звёздами, ведь (интервал…)
«Светильником страсти» — ты звал обнажённую
И образа неотвратимей — не знал.

Ты, ворот рванув, обмираешь от нежности,
Ведь та, в записной устремлённости к ней,—
Вчерашняя ненависть та же да к ней же и
На чёрством свету ламентаций ясней.

Бездумно, с обыденной бесчеловечностью
Жизнь с болью и страхом взимает своё,
Когда ты в стихах разрешаешься вечностью,
Чтоб тут же бездарно растратить её.

Крупнозернистою, с флейтой в крови, зимою,
В позднем письме—твой, летящий, не без кокетства
Почерк лукавит, помимо меня, со мною,
Что намекает сметливому на соседство

Мавра… вот тут… Но, сполоснут ревнивым бденьем,
Вид этих буквиц, летящих отточий, точек
Преисполняет скептика умиленьем,
Не умаляя уменья читать меж строчек…

Много ли нужно с заведомым приближеньем
Близости, непознаваемой для незрячих,
Чтобы услышать ямбическое биенье
В них—торопливых, опавших с лица, горячих?..

Загостившийся в жизни, страницы горбом,
Чёрствый сгусток подложной реальности, если б не ком
В нищем горле, взращённый за десятилетья,
Пребывает альбом, с родословной—в былом.

Без доверия к Паркам, с изнанки осеннего дня
Осыпаются воспоминания, ибо, дразня
Улизнувших от прялки их, словно Улисса,
Обязательства места и времени гонят меня

По слепым фотографиям… Запечатлённый наив
Поз… оборок… и рюшей… и, в шелесте их, объектив,
Испокон—бельмо вечности, не лицемерит надежде
Удержаться в грядущем, но—к прошлому взор обратив.

Вспять пустившись от яви, юнец, навести праотца
В буколических сумерках, чтоб, долистав до конца
И вздыхая, столкнуться с подтёком забвенья
На последней странице, студёная, вместо лица.

Чохом, сцепив побелевшие пальцы в кулак,
О подступающем судят, при дороговизне
Выводов, по притяжению жизни к нам — как
По притяжению жалости к жизни.

Но, за Бодлером свои забывая года,
В полночь, покуда Борей собирает трофеи,
Уединенье, как внял ты, приятней, когда
Есть кто-то рядом… Подъёмная сила идеи

Не увлекает в зенит. И, на что ни греши
С горечью, всё разрешается спазмою млечной,
Ведь у прокравшейся кротко по краю души
Нет ни лукавства, ни умысла нет — в быстротечной

Точности выбора, ибо, дичась, и судьба
Делает выбор… Рядясь в отслужившую нанку,
Что облюбовывает, забурев, голытьба,
Пасмурней возраст и вывернутый наизнанку,

Словно чулок, открывает испод. Как ни пьём,
Злей пробуждение и беспробудней невежда,
Ровно не ведая, что умирают в своём
Времени, ибо в чужом — остаётся надежда

На невозможное… Но, демонстрируя нрав,
«У-у-у, меднолобого», лишь переводят дыханье,
Зубы в душевной изжоге до скрежета сжав,
Ведь, накипев, монолог монолита — молчанье,

Если б не он, чумовой, в полувеке отсель,
От-ра-да юности, в пику достойным примерам,
Пьян, в категории императива, бордель
Яростней за полночь — в противоборстве с Бодлером,

И по сю пору знойно поющим бедлам
В сей вакханалии плоти, пока в укоризне
Недостижимому смерть открывается вам
Лишь в полноте полновесной по-вешнему жизни…

Не греши отрешением от мелочей—за спиной
У любви, что дерзит обыдёнщине, на полпути
К отемненью ума… Под заносами снов, дубликат
Преисподней—предместье, взбивающее воронье

Над промозглыми кровлями, всё сокрушительней в них,
Мелочах… Бездна без содержания, замкнут в себе
День мой, что, в расслоении слова, заждался меня,
Как этюдник—колодника, как подмастерья—верстак,

Задубев. И порой ничего прозорливее нет
Слепоты ясновидца, что перенимает черты
Пестуна… Я не помню, преследуем слякотью, чем
Я живу и, с заочною родиной в горних, зачем.

В безразличье, не пылкое лето—глухая зима
На душе; и хандра, что идёт, посвежевшая, в рост,
В скопище лит. скопцов, обирающих жизнь, не даёт
Отдышаться, как ни увлекаем иными в тщету… от себя…

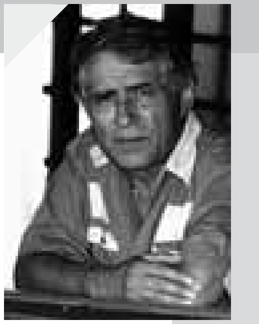
Отступающий в неврастению, как в нишу, глаза
Прикрывает брюзга и в лицо ортодокса в упор
Неотрывно глядит, словно тянется ввысь, озерцо
Из студёного сна, что слезинка—пространство, свежо…

Обращая к себе, сокрушительнее тишина
Из окна и дороже, в её модуляциях, нет,
Чем приветить приветные в ней проливные черты
Неизменной предстательницы за любого из нас.

Заглядывая спутнице за лиф,
Рискуют репутацией, собой
Не подменяя фавна… Теребя
Развешенные сети переулка,
Сентябрь, с оглядкой на пернатый миф,
Проштемпелёван палою листвой,
И, в раздраженье от самой себя,
Лютует в репродукторе мазурка.

Блеск моря, как и при «Арго», слепит,
Возлюбленных морочит Гименей,
Свежо, в виду рождений, свадеб, тризн,
Морская зыбь обозревает сушу.
Чужая воля на ветру следит,
Как, с бездной, разверзающейся в ней,
Обуревает вас чужая жизнь,
Одним движеньем вжавшаяся в душу.

В сетях импровизирует Эол…
Заигрывая с фатумом, петит,
Не более, чем вечности закут,
Мир возлюбим последнею любовью,
Он, гол в надсадных проявленьях, зол,
Исподтишка бьёт и, клянусь, язвит…
Его бичуют и, вскипев, клянут,
Но если рвут, то с мукою и болью…



Роман Солнцев

Нестрашный суд

из неопубликованного

Девочка из апельсина

Кате повезло — она два летних месяца отдыхала и лечилась в Италии. Это та самая замечательная страна, которая на географической карте похожа на сапожок, там когда-то жил Микеланджело, а теперь поёт Челентано. Катя и ещё одиннадцать девочек из разных районов Западной России были бесплатно приглашены в Венецию, где и жили в маленьком пансионате под присмотром врачей, каждый день глотая по шестнадцать, а потом и по четыре разноцветных шарика — говорят, из морковки и чего-то морского… А так — полная свобода, ходи себе по городу у воды и смотри! Только чтобы утром в 9:30, к врачебному осмотру, была в палате, да на обед-ужин забегала. «Повезло!» — говорили друг дружке девочки. «Повезло!» — писали они домой на красочных открытках. «Повезло!..» — вздыхали они, когда ехали домой и разглядывали сквозь пыльные окна отечественного поезда убогие избы и мостки родины…

«Ой, сколько же мне нужно рассказать!..» — размышляла Катя, как бы собирая в душе горы света и радости, готовая поделиться ими с матерью, и отцом, и младшим братом Витей… И про посещение Флоренции с её выставочными залами и огромным Давидом на улице, и про Верону, и про Падую, и про саму Венецию с её гондолами и дворцами, про широкие и гладкие дороги Италии… И про манеры итальянцев, про то, какой у них красивый язык… И про долгую поездку в автобусе в оперный театр… надо же, как ласково прозвали: «Ля Скала»… и вообще, у них много этого «ля»… Народ ласковый, всё время смеются, поют, а у нас угрюмый, все злобятся друг на друга… Матери и отцу будет приятно послушать. И ещё не забыть бы, как она заблудилась однажды в Венеции, в самом ещё начале лечения, и как бесплатно её привёл к пансионату бородатый человек, голубоглазый, весь как бы в голубых волосах… Подтолкнул к колонне с крохотным лицом Матери Христа на белом лепном кружочке, и заплакал, и пошёл прочь… Кате показалось, что это никакой не итальянец… А какие там яркие, жаркие площади, когда каменная ажурная вязь на храмах как бы сплетается с вязью серебристых облаков в небе и оттуда щекочет тебе в груди… Много, много светлого, звенящего везла домой Катя, всю дорогу задыхаясь от счастья, но не участвуя в разговорах, только иногда открыв рот и кивая, приберегая все слова до той поры, когда она доберётся к своим… «Один» по-итальянски «уно», «все» — «тутто»… А ещё они любят объясняться без слов — Катя сразу, как увидит брата, приставит к щеке пальчик — это означает «сладко», «радость». Скорей бы домой!

Но дом у Кати был уже не тот и не там, откуда она выехала. Жила она прежде с родителями в селе Чудово, возле речки Чудной и озера Чудного, которое весной соединялось с речкой. По берегам плясали белые березняки, на горячих откосах вызревала земляника (сейчас, наверно, уж от солнца сгорела!). В озёрной воде белые и жёлтые кувшинки стоят, как салюты. Захочешь сорвать — стебли тянутся, как резиновые, и неожиданно рвутся: дн-дук!.. Будто говорят: дундук!.. зачем рвёшь? Но не сюда, не сюда возвращалась нынче Катя.

Весной в село приехали на машинах с красным крестом и на зелёном вертолёте прилетели люди в белых халатах и напомнили всем на сходке и по радио, что в этих местах восемь лет назад выпали нехорошие дожди. Так вот, на кого упало пять-шесть капель, так ничего, а на кого пятьдесят-шестьдесят, то уже человек мог заболеть. Но разве вспомнишь через столько лет, на кого сколько капель упало? Катя и вовсе не помнила тот апрель… Маленькой была. Говорили, где-то на Украине что-то взорвалось, а потом погасили. Катя только что второй класс закончила, радовалась — каникулы начинаются… Кажется, тоже кто-то приезжал, говорили — уполномоченный… ещё шутка ходила: упал намоченный… С чем-то вроде будильника ходил по селу… После его отъезда председатель колхоза Шастин приказал нынешние яблоки и прочие фрукты-овощи не есть и даже скоту не давать! Но, конечно, и сами ели, и скоту давали. Яблоки уродились огромные, алые. Брат Витя бил по рукам сестрёнку: нельзя!.. «Почему?» — удивлялась Катя, разглядывая тяжёлый плод как бы с нарисованными лучами. — Я только посмотрю». Кожица, что ли, толще? Может кишки порезать? Или яд в мякоти? Витька трус, как девчонка… И постепенно забылась вся эта история со взрывом. И в последующие годы в деревне яблоки ели. И коров гоняли к пойме, в сочные травы. И за ягодой в лес ходили… Но вот нынче весной всех так напугали. С железными шестами обошли все окрестности, в землю их совали, в старое сено, и эти шесты всё попискивали и попискивали… На вертолёте прилетел толстый с погонами и постановил: село Чудово немедленно переедет. Для особого лечения отобрали двух девочек, Катю Жилину и Нину Бабушкину, только эта Нина попала в Германию… Увидеться бы, да где теперь? Нина со своими тоже небось куда-то переехала. Чудовлянам были на выбор предложены полупустые сёла в Поволжье и даже в Сибири. Катя-то как раз и ехала на новую родину — в Сибирь. Долго ехать — от границы пять

суток. Родители с братиком ждут её под Красноярском, в селе Жёлтый Лог.

Интересно, что за Жёлтый Лог, думала Катя.Наверно, всё истлело от зноя и воды нет. Жёлтый Лог, улица имени Ленина, дом 31а. Вот уж она им расскажет про старинную речку Тибр… Говорят, русское слово «стибрить» — от названия этой речки. Русские матросы были некогда в Италии и стибрили какую-нибудь черноглазую красавицу. Вот и пошло слово «стибрить». А слово «слямзить»? В какой стране река Лямза?..

В Москве, перед тем как «итальянок» рассадить в разные поезда, их целый день водили по огромной больнице, из кабинета в кабинет. И слушали, и просвечивали. И анализы брали. И, ничего не сказав, только погладив по русым головам, отвезли на вокзал и усадили в поезда. Дали десять тысяч рублей на дорогу, и Катя успела их все уже истратить. Что делать, если буханка хлеба стоит…

Но разве эти горести могут заслонить в Кате радость, которую она везёт домой? И даже то, что тётенька-проводница сказала, что титан сгорел, кипячёной воды нет и не будет, и Катя пила сырую, и у неё разболелся живот… И даже неприятные взгляды какого-то небритого дядьки в тельняге и пятнистой куртке, пятнистых штанах и разодранных кедах… Он ей сиплым шёпотом то стишки собственного сочинения читал, то матерился, ощерив гнилые зубы, залезая на третью почему-то полку, под самый потолок плацкартного вагона, как раз над Катей… Катя лежала, зажмурив глаза, и мысленно успокаивала страшного дядьку, как успокаивают незнакомую злую собаку:

«Ты хорошая, хорошая, не трогай меня, я невкусная, одни кости и жилы…» Конечно, последнюю перед Красноярском ночь Катя не спала. Кто-то оставил на столике мятую газету «Российские вести» с портретом президента, вот Катя и делала вид, что читает её при тусклом ночном освещении, искренне надеясь, что угрюмого соседа с третьей полки портрет руководителя государства отпугнёт, тем более что ниже грозно чернел заголовок: «Пора решительно взяться за борьбу с преступностью!» А когда проводница объявила, что поезд подходит к Красноярску, Катя обнаружила, что у неё пропала из сумки шерстяная кофта, подарок для матери, — лежала на самом верху, а Катя всего лишь отлучалась в туалет, лицо и руки помыть… Катя заплакала и исподлобья оглядела соседей: и смуглую бабушку с двумя курчавыми внуками, узбеки едут, и отвернувшегося к окну, проспавшегося, наконец, дядьку в пятнистой робе, и носатого суетливого типа с золотыми зубами… И все, решительно все, показались Кате подозрительными, все могли украсть… И добрая Катя второй раз всплакнула, теперь уже от стыда — как она может подозревать людей на своей Родине? Этак и жить нельзя…

На перроне стоял братик Витя, держал в руке телеграмму, которую из Москвы послала домой Катя. Он подрос за это лето, лицо у него стало суровым, рыжие вихры были смешно обкорнаны, как у петуха. Ах, ведь это у нынешних пацанов во всём мире такая мода. Катя стояла перед ним вся в заграничной одежде, в нелепой панамке, с кожаным дорогим чемоданом — подарок итальянской больницы — и сумкой, в которой лежал для Вити очень похожий на настоящий пистолет с патронами. Витя же был, как тот сосед по купе, в афганке, в кроссовках. Он, конечно, сразу узнал сестру, но почему-то оглядывался и сопел.

— Витя, — тихо сказала Катя и снова захныкала. Что-то она часто стала плакать. — А мама, папа здоровы?

— На работе, — буркнул брат и забрал у сестры чемодан. — Нам на автобус.

И как бы нехотя сказал:

— Ты здорово изменилась. Как они там, буржуи? Хотя и тут!.. — и махнул рукой.

Автобус был набит битком и кренился, как кораблик в море. Катя через жёлтые немытые окна толком не видела города, но город, кажется, был большой… По ту сторону реки дымили трубы заводов… Но вот выехали в чистое поле, Катя увидела бульдозеры, асфальтоукладчик… А вот и картошку окучивают… А вот пошёл лес, замелькали холмы… Где же село Жёлтый Лог?

В автобусе поначалу громко говорившие люди замолкли. Шофёр включил радио, визгливо пела какая-то певица. Потом водитель выключил радио и объявил:

— Приехали. — Но никто и не вздумал подниматься. По голосу пассажиры поняли, что автобус сломался, вернее — прокололась шина. Пока шофёр в очках менял колесо, часть мужчин вылезла покурить, и вместе с ними — Витя.

— Ты куришь? — только и успела ахнуть ему вослед сестра. Она смотрела в окно, как он солидно затягивается, стоя возле водителя, как он помогает тому: вот старое колесо понёс подвешивать на задке автобуса, вот вернулся, закурил вторую сигарету. Катя понимала, что он курит как бы для неё, устанавливая некую дистанцию: ты там по заграницам отдыхаешь, а мы тут работаем, и ещё неизвестно, будет ли от тебя прок в новой тяжёлой российской жизни… Наконец, автобус покатил дальше, и холмы раздвинулись, и перед Катей возникло небольшое село как бы в чаше, раскинувшейся до горизонта, с рыже-зелёным лесом по краям. Катя поняла, что это и есть её новая родина. Она суетливо, несколько стыдясь своей праздничной одежды, вышла за братом из жаркого, вонючего автобуса, и он, не оглядываясь, повёл сестру по пустынной улице. Дома здесь были разные — и дорогие коттеджи из красного кирпича, и сиротские избы, полубараки… Дом 31а оказался именно таким, серым, под латаной шиферной крышей, но зато со своим двором и сараем. Ворота покосились, крыльцо было новое, из свежей доски, и эта малость уже как бы давала надежду: мол, ничего, было бы откуда стартовать… На дверях висел амбарный замок, и Катя поняла, что родителей дома нет. Витя достал из глубокого кармана штанов длинный ключ, отпер дверь, и брат с сестрой вошли в тёмный дом.

Каждый дом имеет свои запахи. Дом, в котором жили Катя, Витя и родители до переезда, пах деревом, табаком, кипячёным молоком… Здесь же

воздух был сырой, какой-то каменный, наверное, потому, что строили эту хибару из шлака, кое-где штукатурка отлипла, и из щели сыпался песок… Но предметы сюда почти все были перенесены из Катиного детства: зеркало на стене, швейная машина мамы, сундук бабушки, обитый лентой из железа, и конечно же, все одеяла, одно—бывшее бабкино, а потом ставшее Катиным—ватное одеяло с пришитыми разноцветными клочками ситца… Но, несмотря на родные вещи, воздух здесь был казённый.

— Чаю с дороги?—баском спросил Витя и поставил на новую электроплитку новый зелёный чайник. Заглянул в зеркало, пригладил… нет, наоборот, как-то ещё более нелепо взъерошил волосы на голове и только наконец улыбнулся:

— Чинзано не привезла?

— Чего?—изумилась Катя и вдруг поняла, вспомнила: ведь он же дитя, об Италии знает по фильмам, а там все чинзано пьют.—Брала, но на таможне отобрали,—соврала Катя.—Зато я тебе… вот…—Она вытащила из-под одежды в сумке тяжеленный револьвер и коробочку с патронами.—Все говорят, как настоящий…

В первую секунду вздрогнувший от радости, Витя с надеждой спросил:

— Газовый?

— Н-нет… Но грохает—испугаться можно.—Катя поняла, что подарок её для брата смешон, и с виноватой улыбкой сказала:

— Не дали бы пропустить, я узнавала.—Она снова поймала себя на мысли, что совсем упустила из виду: брат вырос. И добавила:

— Я слышала, там что-то сверлят… и он становится как настоящий.

— А!—это уже меняло дело. Витя, сопя, принялся более внимательно оглядывать оружие. И буркнул:

— Спасибо.

Вставил патроны, открыл запертую форточку и, высунув руку во двор, нажал на спусковой крючок…

— Ты что?!—только и ахнула Катя.

Раздался оглушительный выстрел. Удовлетворённо улыбнувшись, Витя сунул револьвер в карман пятнистой куртки и принялся заваривать чай. «Сейчас я ему что-нибудь про итальянских карабинеров расскажу»,—приготовилась Катя, но Витя сказал, глянув на часы, что ему надо идти узнавать насчёт угля.—А ты пока сиди… отдыхай с дороги…—и брат, которого она не видела столь долгое время, убежал… «Ну, что ж… вечером…»—вздохнула Катя и принялась доставать из чемодана обновы. Слава богу, и кроме кофты, она кое-что купила матери: блузку, платок с видом Венеции, лёгкие тапочки для дома… А отцу привезла толстый свитер и часы на ремешке. Сэкономила из лир, выдаваемых на карманные расходы. Ах, надо было и для Вити что-то ещё купить! Может, часики отдать? Хотя часы у него есть. А свитер явно будет велик.

«Интересно, ванная у них есть?»—подумала Катя и тут же смутилась. Какая ванная? Дай бог, если есть баня. Катя переоделась в трико и простенькую кофту и вышла во двор. А вот в Италии есть дворы—деревья и цветы растут вокруг фонтана… Надо будет рассказать… В сарае валялся всякий хлам, видимо, принадлежавший прежним хозяевам: колёса от телеги, грязная рогожа, смятые бидоны, разбитые аккумуляторы…

А вот в Италии Катя видела: на площади перед дворцом чернолицые, как черти, мальчишки выдували изо рта пламя. Говорят, они берут в рот керосин и поджигают возле лица, когда выдувают… И сидит в стороне угрюмый такой дядька, возле ног прикрытые тряпкой предметы, и человек протягивает тебе руку, и если ты пожмёшь, то тебя бьёт током! У него под тряпкой аккумуляторы! И ему платят за такое развлечение. Надо будет Вите рассказать…

Бани у Жилиных ещё не было—за сараем стоял белый сруб без крыши, рядом громоздилась гора чёрного битого кирпича. Наверное, отец собрался печь с каменкой выкладывать. И речки рядом никакой. Но зато на углу между сараем и домом—железный бак с водой. А поодаль—за холмиком бурьяна картошка растёт, налились тускло-жёлтые помидорки размером с морскую гальку. Видно, поливали, когда рассаду садили… А сейчас вода уже ни к чему. Катя заглянула в бак: тёмно-зелёная вода, поверху сор плавает… Катя сходила в сени, взяла одно из чистых, кажется, вёдер и, раздевшись за сараем, облилась тёплой водой. И услышала голоса приближающихся людей, сдавленный смех. Кто-то воскликнул:

— Ой, бабы, голая! Совсем стыд потеряли…

— Это чья же это?..

Катя метнулась к баку, пригнулась—в стороне заржали. Где же эти люди, откуда они её увидели? Торопливо, трясясь, оделась… потеряв равновесие на одной ноге, чуть не упала—ободрала локоть о ржавую жесть бака… Медленно, пунцовая от неловкости, выпрямилась—из переулка, не замеченного ею, на улицу выходили несколько мужчин и женщин с мешками на плечах, уже не глядя на девушку. Катя прошмыгнула домой…

Она попила чаю и села у окна, как когда-то в детстве сидела. Больше никто на улице мимо не проходил. Унылая рыжая местность, какие-то тусклые дома, отсутствие деревьев, сломанный трактор посреди улицы, без гусениц, три грязные свиньи в сухой яме—всё это вызвало в душе такую острую, страшную тоску, что она в третий раз за этот день зарыдала… И сама не зная почему, Катя бормотала сквозь слёзы:

— Бедные мои! Куда вас занесло… за что?.. Разве тут можно жить? Бедные мои…—Перед её глазами вставали тополя в деревне Чудово, чистая речка с золотым песком на дне, кувшинки в Чудном озере, гуси и утки, церковь на холме с золотым куполом… И тут же, близко, за спиной деревни Чудово—суровый мраморный Давид Микеланджело, виллы с белыми колоннами, увитыми плющом и виноградом… и высоко, до облаков бьющие фонтаны, а над ними, как папаха, ало-зелёные радуги…

Катя сама не заметила, как перебралась на топчан, принадлежавший, видимо, брату, и, подтянув по привычке коленки к животу, уснула…

Её разбудили шаги по дому, чайник, запевший, как оса, запах бензина и кашель матери. Катя поднялась — горел свет, на дворе уже стояли сумерки, родители накрывали стол.

— Мама! Мамочка!.. Папа!.. — Катя обняла мать и закивала отцу. — Извините… не знаю, где что… надо было яичницу поджарить?.. — Она помнила, что отец любил яичницу. — Ой, такая была поездка!.. Как я вам благодарна!

— Нам-то за что? — отец как-то странно смотрел на неё. — Это уж партии-правительству… или как теперь?

И Катю удивило, что и мать смотрела на неё непривычно пристально.

— Как себя чувствуешь, дочка?

— Нормально.

— Говорят, ты купалась…

— Где? — Катя покраснела. — А-а… Да с дороги хотела окатиться… Я не знала, что тут подглядывают. А что?

— Ничего. Осенью как, учиться пойдём? Или работать? Тебе врачи что сказали?

— Врачи? Ничего.

— Совсем ничего? — накаляющимся голосом переспросил отец и, стукнув кулаком по столу, смирив себя, прошептал: — С-суки!..

— Коля! — умоляюще прервала мать этот малопонятный разговор. — Давайте есть. — И позвала: — Витя-я? Ты скоро?

Вошёл брат, обтирая ладони о штаны в опилках. От него пахло струганым деревом.

— Готово, — сказал он. — Сверху поролон ей кину — будет, как царевна, спать… — Катя поняла, что Витя мастерил ей лежанку.

— Ой, мам… а в Венеции у нас были койки! Что в длину, что в ширину…

— Потом расскажешь. Небось от картошки отвыкла?

— Папа, ты что же всё в окно глядишь?

— Налей.

— Коля, тебе сегодня не надо.

— Как это не надо? Дочь приехала.

Мать ушла в сени, а Катя быстро проговорила:

— Пап, а у них там вина… красное называется кьянти…

— Потом! — чуть не зарычал отец. Видимо, его глодала какая-то обидная мысль, он пробормотал: — Все на свете знают, что нам, русским, надо… когда пить… где нам жить… когда помирать… А вот хрен им! Скоро ты?!

Мать уже наливала ему в стакан водки.

Отец угрюмо выпил и начал жевать хлеб. Катя ещё раз хотела было как-то скрасить стол рассказом об Италии:

— А ещё они перед едой молятся…

— Потом как-нибудь! — отец повернулся к Вите. — Уголь дадут, нет?

— Обещали, — Витя, подражая отцу, ел с суровым видом картошку с хлебом.

— Нам всю жизнь обещают… сначала коммунизм обещали, потом капитализм… А в итоге — люди всё хуже живут, да ещё их травят, как тараканов… — Отец вынул из кармана что-то вроде карманного фонарика с плоской батарейкой и прислонил к стене дома. — Так. Даже здесь… около тридцати… Ну-ка, твои волосы? — и он больно ткнул железкой в голову Кате: — Тэк-с. Тридцать.

— Он, наверно, у тебя неправильно показывает, — заметила мать, кашляя в платок и старательно улыбаясь. — И здесь тридцать, и на улице тридцать…

— А потому что везде заражено! — закричал отец, наливая себе ещё водки. — Где-то в тайге атомный завод… Нету чистой России! Бедная моя дочка!.. Что они с тобой сделали?!

— А что? — не понимала Катя. — Зато как нам повезло… Мне и Нинке…

Отец выпил водки и ушёл на крыльцо курить. На ходу доставая сигареты, за ним пошёл и Витя.

— А Нина… где теперь, не знаешь, мама?

Мать молчала.

— А вот у них, мама, везде… на улицах… на стенах… портреты не Ельцина или ещё кого, а Мадонны… матери Христа…

— У тебя нигде ничего не болит? — спросила мать.

— Не-ет, — протянула Катя. — Вы хотите, чтобы я физически вам помогала, а не училась? Я буду помогать. А учиться я могу и вечерами… я уже немного итальянский знаю… У них, между прочим, лёгкий язык… и много похожего… например, «мамма»…

— Потом, — поморщилась мать и обняла дочь. — Я очень устала. Как-нибудь специально сядем и обо всём расскажешь… А сейчас ешь, ешь… ты такая худенькая…

— А у них считается, что девушка должна быть именно худенькой…

— Да, да, — рассеянно закивала мать и снова обняла дочь. — Давай спать, — и размашистыми шагами пошла в сени, вернулась с тулупом, закричала, оборачиваясь: — А ты вместо того, чтобы дым глотать, занёс бы своё творение!

В дверях показались на манер саней сколоченные доски и затем сам Витя, от него разило табаком. Он с грохотом установил лежанку с короткими ножками вдоль стены справа от дверей, удвинув вперёд к окну стол, и указал, как Ленин или Горбачёв, прямой, даже чуть выгнутой ладошкой:

— Пожалте, плис!.. Поролон принесу завтра, — и ловко сняв двумя скрюченными пальцами, как фокусник или коршун, недопитую бутылку водки со стола, он выплыл из избы в сумерки двора к отцу.

Мать было метнулась за ним, но, махнув рукой, принялась стелить дочери постель. Постелила и на секунду замерла. Кате страстно захотелось, чтобы мама, как в прежние годы, её перед сном обняла и в лоб поцеловала, но мать со страдальческим лицом тоже заспешила на крыльцо, видимо, уговаривать старшего Жилина не пить эту горькую отраву. Катя осталась одна. Да что же они все, даже не хотят пообщаться?

Катя накрылась с головою простынёй и волосатым чужим одеялом и заплакала уже в четвёртый или пятый раз за день. Ну и день приезда! Она рыдала, и её обступали в розовой вечерней дымке старинные дворцы Италии, где на улицах повсюду памятники — из бронзы и мрамора, и лошади, и люди, и никто их не портит… А вот ещё не забыть рассказать, какой угрюмый мост есть

во Флоренции, какой-то грязный, коричневый, а наступит ночь—открываются жестяные витрины, распахиваются, будто крышки сказочных сундуков, и перед ошеломлёнными прохожими—золотые, серебряные изделия местных мастеров, алмазы и сапфиры, кораллы и жемчуга на раскалённом алом или таинственном чёрном бархате… Этот мост называется: «Слёзы мужей»—намёк на то, что здесь любящий муж или жених могут разориться…

Катя ночью проснулась: отец храпел, мать с Витей негромко разговаривали возле печки, сидя спиной к Кате.

— Она не сможет… она стала и вовсе как тростиночка…—говорила мать.—Пускай учится.

— А где?—возражал Витя.—В город ездить на автобусе? Час туда, час обратно? Лучше уж в Михайловку пешком…

— Пять километров?!—ужасалась мать.—И ограбят, и обидят…

— А в городе не обидят? Прямо в сквере возле школы могут… это же город!

— Господи-господи!.. Права была докторша… маленькая и маленькая…

Катя не всё поняла в их разговоре, поняла главное—её любят, об её будущем думают. И уснула почти счастливая…

Утром за чаем с баранками мать спросила:

— А чего ты, доченька, такие смешные чулки носишь?

Катя удивлённо глянула на свои ноги—она была в модных пёстрых носочках, многие её подружки носили в Италии такие носочки.

— Только малые дети носят такие носочки,—пояснила мать.—И на улице купаются. А ты уже смотри, какая…—может быть, она хотела сказать «каланча», но сказала:—Красавица.

Катя, недоуменно моргая светлыми круглыми глазами, смотрела на мать.

Отец ещё в темноте ушёл на работу, он ремонтировал технику, у него же золотые руки. Витя собирался в поле, он работал помощником комбайнёра. Мать, подоив совхозных коров, прибежала покормить детей.

— Пейте же!—протягивала она то Вите, то Кате кружку с тёплым парным молоком.—Свежее! Тебе особенно надо, доченька!

Но Катю мутило от пахнущего то ли шерстью, то ли телом коровьим молока. А Витя пил только чай, крепкий, как дёготь, почему у него всегда жёлтые зубы.

Когда Витя, услышав стрекот трактора, выскочил на улицу и укатил на работу и мать с дочерью наконец остались одни, Катя спросила:

— Мам, я что, больна?

— Почему ты так спрашиваешь?—Мать намазала кусок хлеба маслом и протянула дочери.—Просто беспокоимся, что худенькая… Это кто в городе, они все худеть стараются… а тут же силы нужны…—Но в глаза дочери мать не смотрела.—Тебе тут не шибко нравится? Другим ещё хуже повезло… Калединых просто подпалили, они под Самарой хотели осесть… а Ивановым намекнули: жить хотите—бегите дальше. И они сейчас в Москве, в палатке живут.

— В каком-нибудь скверике?

— Каком скверике?—удивилась мать.—Перед зданием правительства, их даже по телевизору показывали… Господи-господи, бедность наша и срам! Ничего!—вдруг, посуровев лицом, мать очень больно обняла Катю.—Как-нибудь проживём! Как-нибудь!

Договорились, что Катя пойдёт доучиваться в Михайловскую школу. Но до занятий ещё было две недели… и ни подруги у Кати, ни дома слушателя… Она сидела целыми днями в ожидании своих родных у окна и вспоминала Италию. И до сих пор не удавалось ей что-нибудь рассказать. То отец пьян, потрясая кулаком, ругает президентов всех славянских государств, то мать в ознобе пьёт горячее молоко с маслом, сидя возле печи, а назавтра снова-заново простужается на полуразрушенной ферме, а то Витя играет на гармошке и поёт тягучие неинтересные песни под одобрительное кивание отца:

Люби меня, девка, пока я на во-оле…
Покуда на воле, я тво-ой…

Иногда на звук хромки заглядывал сосед, могучий молодой парень с чёрной бородой, в чёрной борцовской майке в любую погоду, с золотой печаткой на пальце. Он приходил со старинной русской гармошкой—у неё каждая кнопка играет на два тона: когда растягиваешь гармошку, один звук, а когда сдавливаешь—другой… Он был из местных, и отец дорожил дружбой с соседом, хотя сосед почти не пил, правда, любил небрежно занять тысчонку-другую до аванса и, кажется, ни разу ещё не отдавал… Но отцу, щуплому, чужому здесь, из западной России человеку нужен был свой человек. У могучего Володи были выпуклые воловьи глаза, полные непонятной печали. И пел он, никогда не зная слов, тихим мычанием…

— А вы знаете, что похожи на итальянца?—волнуясь, как-то сунулась в разговор старших Катя.—Ей-богу! У нас был доктор, такой добрый… бесплатно раза три на гондоле катал…—И вдруг Кате стало неловко—на неё как-то странно смотрели взрослые. Опять она не вовремя?—Извините… скюзи… Мам, я угля принесу?

Не с кем поговорить… С девчонками бы познакомиться, но в посёлке все девочки какие-то злые.

Однажды мать послала Катю в магазин—купить хлеба, если привезли. Долго объясняла дочери, что хлеб не пропекают, что надо брать румяный… Катя шла по улочке и вдруг услышала, как совсем малые дети, показывая на неё пальцем, смеются.

«Господи, я что, не так одета?»—Катя быстро оглядела свои ноги, юбку. Юбка коротковата? Белые носочки смешны?

— Тётенька, разденься!..—визжали девчонки в грязных телогреечках.—Тётенька, разденься!

Догнавший Катю круглолицый мужчина в свитере и джинсах, в кедах без завязок на босу ногу ласково сказал детям:

— Ну, чего вы, миленькие, хорошую девушку обижаете? Она в Италии была… там люди гордятся красивым телом, на полотнах рисуют… Вот пройдёт сто лет — а смотрите, люди, какая красавица была! И ты, синеглазая, и ты, рыженькая, может, ещё затмишь красотой всех артисток мира! — Визжавшие девочки, смущённо переглядываясь, замолчали, зато начали ржать мальчишки. — А вы, рыцари, — продолжал незнакомец, — вы должны обожать ваших подруг… потому что без них нет жизни на земле! Вот озимые сеют… а если нет земли, куда сеять? Себе на головы, вместо пепла?.. — И ещё и ещё говорил дядька в кедах на босу ногу малопонятные слова, дети молчали, а потом незнакомец кивнул Кате:

— Вы, наверно, в магазин за хлебом? Я провожу вас, если не возражаете.

Хлеба ещё не привезли, возле пустого магазинчика стояла толпа женщин и старух с рюкзаками. Катя обратила внимание, с какими усмешками люди смотрели на человека, защитившего Катю. Незнакомец насупился, опустил голову, буркнул Кате:

— Может, походим пока по холмам? — И Катя, сама не зная почему, доверчиво пошла с этим взрослым человеком. Они через переулок взошли на бугор, заросший татарником и полынью. Дул зябкий, уже осенний ветер, но он был сладок, словно знал о многом — и о спелых ягодах на таёжных полянах, и о сыплющихся в бункера зёрнах ржи, и о далёкой жаркой Италии, где люди любят друг друга.

— Меня зовут Павел Иванович, — сказал незнакомец. — А вы та самая девочка Катя? Смешно, а вот я, учитель географии и истории, до сих пор нигде не был!

— Почему? — удивилась Катя.

— Раньше не пускали… — он, щурясь, как китаец, смотрел вдаль. — А нынче… где денег взять? Это всё для простого человека невозможно… Может, расскажете? О, диабболо, это не за вами?

Катя обернулась: к ним ехал прямо по целине трактор, на нём сидел Витя и сосед в чёрной майке. «Что-нибудь случилось?!» — испугалась Катя. Павел Иванович почему-то отошёл от Кати.

Трактор, оглушительно тарахтя и бренча траками, в жёлтом облаке пыли дёрнулся и остановился перед Катей, и с него спрыгнули на землю оба мужчины:

— Он ничего не успел?! Что он тебе говорил?..

— Кто? Чего?.. — Катя ничего не понимала. — Павел Иванович? Это учитель географии…

— Учитель географии?! — скривился и выругался каким-то страшным, зэковским матом Витя.

А сосед в чёрной майке схватил Павла Ивановича за грудки и швырнул, как слабого мальчонку на землю, прямо в колючий репейник. Катя завизжала:

— Что вы делаете?!

Витя и Володя били ногами покорно лежащего Павла Ивановича. Затем Витя схватил онемевшую от страха сестру за локоть, толкнул её вверх, можно сказать забросил, на трактор, Володя уже сидел за рычагами — трактор загрохотал, развернулся и покатил обратно к селу… Катя сидела рядом с братом на продавленном сиденье, икая от слёз и сжав в кулаке полиэтиленовый пакет с деньгами для хлеба.

— За что? За что?.. — повторяла она, но её никто не слушал…

Возле магазина всё так же чернела толпа и сумрачно смотрела на трактор, и многие одобрительно кивали. Дома уже была мать, а вскоре на комбайне подъехал и отец.

— Что? Что он тебе говорил? — набросились родители на дочь.

— Предлагал пойти за холмы… обнажиться… полюбоваться красотой голого тела? Так? Так? Говори!

— Он… он хороший… добрый… — пыталась защитить Павла Ивановича Катя.

— А откуда ты знаешь? — ярился отец, смяв в кулаке окурок. — Ласковые слова говорил? Ты что же, вот так и можешь пойти с любым, незнакомым человеком в степь? Дурочка ты наша… выросла выше оглобли, а умишко, какой был во втором классе… правду врачиха говорила…

— Иван!.. — простонала мать Кати. — Как ты можешь?

— А чё?! — уже не мог уняться отец. — На всю деревню посмещище! Значит, кто бы что ни говорил, любому верит? А ты хоть спросила, кто он таков? «Учитель»! Бич! Шут гороховый! Когда-то погнали его из школы… ещё надо бы выяснить — не за совращение ли малолетних…

— Доченька, — вступила в разговор мать, беря холодные руки дочери в свои, горячие и шершавые, как тёрка. — Доченька… К нему тут относятся как к сумасшедшему. Он живёт один. Окон-дверей не запирает. Одевается — сама видишь как…

— Но так вся Европа… — хотела было что-то сказать Катя, но отец зарычал:

— Что нам Европа с нашей чёрной ж…? Жизнь бы наладить! Хоть на хлеб заработать! Вот такие учёные и сожгли полстраны… интеллигенты сраные! Ты хоть знаешь, что… может быть… мы все обречены? И Витя, и я, и мамочка твоя… Что за здорово живёшь правительство не стало бы прогонные давать да всякие добавки на лекарства! А-а!.. — он ощерился и стукнул кулаком по столу. И долго сидел молча. — Мать, я поехал на работу. — И покосился на дочь. — Одна на улицу не смей. — И кивнул Вите. — А ты поглядывай…

«Значит, я дурочка, — сидела, сжавшись, Катя. — Мы все больные. А я ещё и дурочка. Взрыв-то на Украине был — когда я второй класс закончила… стало быть, они считают, я осталась неразвитой… кретинкой… Но ведь это не так? Если до нынешней весны никто ничего за мной не замечал? И только здесь, в чужой земле, заметил? А может быть, не я, а они изменились? Ожесточились? «Воровское время», — говорит отец. Но не все люди воруют. И потом… мама приносит с фермы молоко… стало быть, мы сами воруем? Сказать? Скажут, совсем спятила. Нас государство обидело — имеем право для сохранения и без того урезанной нашей жизни…»

Катя теперь с утра до вечера молчала. Уже шёл сентябрь, хлеба убрали, но на обмолот были

призваны все старшеклассники… Катю почему-то не приглашали на хозработы — видимо, в самом деле, она считалась больной.

— А в библиотеку я могу пойти? — спросила Катя у своего сторожа Вити.

— Некогда мне тебя провожать. Если хочешь, напиши, чего тебе принести. Принесу.

Шёл лиловый ледяной дождь. Катя сидела, включив электричество, и читала «Сказки народов мира». Она сначала попросила брата принести ей книги, посвящённые творчеству Микеланджело, чей «Страшный суд» в Риме потряс её бедное сердце… Она, помнится, рыдала после экскурсии не меньше часа, её отпаивали джусом, успокаивали… Витя сказал, что таких книг в сельской библиотеке наверняка нет, пусть сестрёнка попросит что-нибудь попроще, например, русские народные сказки. Подумав, Катя вдруг согласилась: «А почему нет?» Она давно не читала сказок… И когда Витя принёс ей этот толстенный том с золотыми буквами (его, кажется, ни разу не брали читать…), Катя как открыла книгу, так и сидела теперь с утра до вечера. И как-то позабыв, что сам Витя ей предложил взять сказки, родители с жалостью глядели на великовозрастную дочь, читавшую страстно эти глупые байки про царей, прекрасных царевен и смелых пастухов… И уже в соседях знали, что читает Катя Жилина. Мать черномаечного Володи, Анна Тимофеевна, принеся как-то собственной сметаны на дне баночки для соседки-дурочки, долго вздыхала, стоя возле Кати, которая даже не заметила сметаны — всё бегала светлыми глазками по страницам.

Конечно же, Катя краем глаза узрела толстую в рыжей вязаной кофте до колен старуху с красными жилистыми руками, но о чём с ней она могла говорить? Раз считают балдой, она так и будет вести себя — меньше приставать будут… Глаза её застилали слёзы обиды, но сказки, справедливые и волшебные, уводили прочь от этого дикого мира, где люди друг друга не любят…

«Ах, как хорошо в сказках! Добрый молодец — сразу видно, что он добрый… ведьма — сразу видать, что ведьма… все понятны, и с первой строки знаешь, кому верить, кому нет… Но ведь в деревне Чудово почти так и было? И в тамошних окрестных сёлах? Наверно, в этом проклятом Жёлтом Логу с самого начала народ собрался чужой, вот почему никто никому не верит? Может быть, хоть в Михайловской школе повезёт с друзьями…»

Увы, когда её на первый раз Витя отвёз на тракторе в Михайловку мимо берёзового криволапого леса, мимо пасеки, черневшей под дождём, Катя, взволнованная ожиданием чего-то нового, светлого, необыкновенного, столкнулась с таким же, как дома, раздражённым народом. Катя по характеру своему вела себя тихо, но уже на третьем уроке её пересадили на «камчатку» по просьбе её соседки по парте, румяной Риммы.

— Она из «этих»… она радиоактивная… — услышала Катя.

Домой она шла одна: три девочки и один мальчик из Жёлтого Лога демонстративно убежали вперёд. Осенью рано темнеет, дорога глинистая, скользкая, Катя брела, обходя лужи и соскальзывая ботиночками в жижу. А если идти по стерне, то соломинки хлещут по ноге и рвут колготки… Катя тащилась к мерцающим вдали окнам неродного села и вспоминала печальное, невероятно прекрасное лицо Марии, матери Христа, в каком-то соборе, она уже путалась… Мария склонила голову, и на руках её мёртвый юноша. Гид рассказывал, что нашёлся в толпе безумец — швырнул в Марию железным предметом, кажется, отверточным ключом, и отшиб у скульптуры кончик носа… Нос потом приклеили, поправили, но вот поймали ли изверга? Наверняка это не итальянец, говорил гид в клетчатом пиджаке, с розочкой в кармане. Наверное, француз. Но Катя читала французские народные сказки, и у них тоже народ был умный и добрый. Или он испортился после того, как на них напали немцы и правили там несколько лет? О, ведь и у немцев какие чудесные люди в сказках? На флейтах играют, поют и пляшут, а если надо за работу взяться — засучат рукава и все берутся, даже их короли!

В десятом классе Михайловской школы не нашлось ни одной девочки, ни одного мальчика, кто подошёл бы к Кате Жилиной и сказал: «Давай дружить». Берёзовские держались отдельно, желтологовские — отдельно, «хозяева» — михайловские — само собой, вели себя нагло и неприятно. «Ах, почему говорят «солнечное детство», «золотая юность»? Самая тяжёлая в жизни пора… Хотя и потом… какие такие радости у мамы, у папы? Вообще, зачем люди родят друг друга? Если сами мучаются… Но ведь было же когда-то в нашей деревне нам хорошо? И, стало быть, ещё раньше — ещё лучше? И в сказках не всё выдумка?..»

Наконец, на перемене к одиноко стоявшей у батареи отопления Кате (какая горячая батарея! Хоть погреться перед дальней дорогой под мокрым снегом…) подошёл, загребая, как клоун ногами, красногубый в очках Котя Пузиков. Он был тщедушный мальчик, но, кажется, сын начальника милиции, и никого не боялся. Подошёл, протянул руку — Катя машинально протянула свою.

А он хмыкнул и, схватив её руку, приложил к ней левою рукой какую-то трубку с лампочкой — и лампочка загорелась красным светом.

— Точно, радиоактивная!.. — возопил паренёк. — Тобой надо облучать помидоры в теплицах… хотя есть их потом — тоже станешь радиоактивным! Детей не будет никогда! Зато трахаться можно без опаски… — И заржал, как козёл. — Берегись!

Кате стало страшно. Она поняла смысл слов Коти Пузикова. Но неужто у неё вправду никогда не будет детей? Лучше об этом сейчас не думать. Но как же Витя? Он же совсем молодой… Может, отец Кати по этой причине и пьёт? Он же раньше только по праздникам, и то рюмочку, не больше… «Господи, вот в чём разгадка неприязни людской! Когда я нагишом купалась возле дома, может, уже тогда решили, что я мужиков зазываю? Слабоумная… да ещё и с мёртвым женским началом…»

Катя сама зашла в библиотеку и взяла читать учебники по медицине, книгу «Мужчина и женщина», «Секс в жизни женщины»… Меланхоличная,

с вечно заложенным носом библиотекарша Эльвира Ивановна осклабилась, глядя, как школьница Жилина складывает в свой старый портфель книги.
— Задание на дом дали? — ехидным голосом осведомилась она.

Катя всегда была честная и прямая девушка. Но и она уже заразилась ядом отчуждения и ненависти.
— Да, — не поднимая глаз, вышла вон.

Хоть она и старалась не показывать книги дома, мать узрела их. А может, и библиотекарша сказала. Или через людей дошло. Мать выхватила из-под подушки дочери захватанную книгу «Судебная медицина»:
— Это ещё что такое? — и вытащив дочь за руку в тёмные сени, пугающим шёпотом спросила: — Что-нибудь с тобой сделали? Говори!.. Ну? Ну?

Катя сказала:
— Просто хочу знать…
— Не рано ли?
— Мама, — вздохнула дочь. Они стояли возле бочек с солёными огурцами и грибами, над головой свисали невидимые, но крепко пахнущие веники и связки табака. Здесь, в сенях, немножко пахло далёкой, уничтоженной родиной, миром добрых сказок.
— Мама. Мои подружки хвалятся, что они все уже давно женщины… а я не тороплюсь… хочу из книжек узнать, нормальная я или нет? Что я дурочка, вы меня убедили… но, может, мне и жить не нужно, хлеб переводить, если я пустая, как гитара?
— Господи!.. — мать с изумлением и страхом смотрела на дочь. Таким языком Катя никогда ещё с ней не разговаривала. Глаза уже привыкли к темноте, и мать видела в лиловых сумерках (дверь в избу была прикрыта неплотно) высокую, прямую, быстро повзрослевшую девушку с распущенными на ночь волосами. — Я так испугалась…

И дала ей пощёчину.
— И думать не смей! «Зря хлеб перевожу»… А о нас подумала? Станем мы старики… кто нам стакан воды поднесёт?

Мать что-то ещё шептала-кричала в сенях своей дочери, понимая, что не то говорит, не о том, но другими словами не получалось, а Катя думала: «Значит, вся наша жизнь — если не рождать новую, то хоть поддерживать старую… чтобы длилась цепь…через десятилетия, через столетия… И никакой над всем этим особой, великой, волшебной цели???»

Она уже не плакала. Она лежала на своём топчане, на мягком поролоне, пахнущем мазутом и бензином, и смотрела в потолок. По улице иногда проносился мотоцикл, буксуя на повороте, на выпавшем недавно снегу… и по доскам потолка пробегал веер света…В Италии она видела карнавал, отмечался какой-то их праздник, мальчишки и взрослые стреляли в ночное небо из картонных пушек — и небо разгоралось розовыми и зелёными цветами, чудесно пахло дымом, и незнакомые люди обнимали незнакомых людей — и бежали дальше…

На уроках Катя сидела молча, прямо, когда спрашивал учитель — вставала и отвечала, когда нужно было решать задачу или писать диктант — ни на что не отвлекалась, но в её бедной голове как бы в разные стороны крутились шестерёнки: одни решали задачу, писали диктант, а другие пытались постичь смысл человеческого жития.

Надо посоветоваться с Павлом Ивановичем! Она совсем забыла об этом странном человеке с ласковым голосом, с восторженными глазами. Он по-прежнему одинок? Или всё же преподаёт в начальной желтологовской школе? У кого спросить? Может, набраться смелости и зайти к нему? А почему нет?

В воскресенье, помыв полы и прибравшись на кухне, Катя сказала матери:
— Прогуляюсь… — и вышла на зимнюю улицу. Сапожки на ней были итальянские, подарок лечебницы, из нежной золотистой кожи с медным пуговками сбоку, правда, тонкие, но ведь ещё и мороз несильный. Пальто у Кати серенькое, старое, но с подкладом. На голове — белый шерстяной берет.

«У кого спросить?» На улице бросались снежками местные карапузы, но Катю, к счастью, не тронули. Навстречу шла симпатичная девушка в расстёгнутой синей джинсовой куртке с белым «барашком» внутри. Катя решилась:
— Извините… вы местная?
— Да, — улыбалась незнакомка. — Как и вы. Я вас где-то видела.
— Вы… — слегка покраснела Катя. — Не знаете, не уехал из деревни учитель Павел Иванович?
— Куда он денется? — как-то по-доброму рассмеялась девушка. — Учителей не хватает… Ну, иногда местные крокодилы хватают его за ноги за то, что не такой, как все… Ну и что?

И замечательная землячка показала рукой.
— Вон, маленький домик… там и живёт.

Катя постояла, пока девушка отойдёт подальше, и медленно, оглядываясь, приблизилась к типичному щитовому строению, похожему на теперешний дом Жилиных, только без пристроенных сеней, без сарая и даже без ограды вокруг.

Халупа была старая, вся в потёках и трещинах, на крыше криво торчала телеантенна и трепетал на чёрной жёрдочке трёхцветный российский флажок.

Катя, конечно, трусила, что её увидят недобрые, подозрительные люди, но стиснула зубы и, взойдя на крыльцо, постучала в дверь.

Через минуту дверь медленно открылась.

Увидев Катю, Павел Иванович засиял от радости и тут же нахмурился. Вяло махнул рукой:
— Проходите, пожалуйста.
— Да нет, я хотела узнать, здесь ли вы. — Она шмыгнула носом, как маленькая. — Хорошо, что вы не уехали.

Учитель был всё в том же свитере и джинсах, но босый. Глянул на ноги, смутился:
— Я люблю так. Чаю хотите? Надеюсь, ваш брат не заедет сюда на тракторе? Дом ветхий, тут же рассыплется, как домино.
— Нет, нет, — отступила Катя на крыльцо, — спасибо… — но, увидев вдруг помертвевшее от тоски лицо Павла Ивановича, решилась: — Хорошо, я минут на пять. Меня мама ждёт, у нас стирка.

— Понимаю…— босой учитель пробежал в избу, как мальчишка. Катя думала, что у него жарко, поэтому он и обходится без обуви, а оказалось — в доме холодрыга, окна даже не запотели.

Учитель включил электрочайник, а Катя растерянно стояла перед книжными полками. Ни одной голой стены — стеллажи с книгами и справа, и слева, и между окнами, выходящими на улицу. Книги были всякие — и Пушкин (много-много томов), и Лермонтов, и Достоевский, и Набоков, и Бунин (этих Катя никогда не читала)… и на английском языке… и словари с золотыми буквами на корешках: А-З… П… и древние какие-то тома с ятями на обложке…

— Берите, что хотите, и впитывайте, впитывайте! — негромко сказал подошедший к ней незаметно учитель. У него голос от волнения дрогнул. — Есть величайшие кладези мудрости. Библию читала? А Монтеня? А Чаадаева?

— А он разве писал? Я помню, Александр Сергеевич ему…

— Да, да! А история Соловьёва!.. А Карамзин!.. А Ключевский!.. Я бы вам поднёс до дому, так ведь могут неправильно истолковать…— он засмеялся, и Катя вдруг увидела, что у него не хватает двух или трёх зубов. Не тогда ли ногами Витя и Володя-сосед выбили? Учитель заметил её взгляд и захлопнул комически ладошкой рот. — Недавно орехи грыз и все зубы поломал…— и понимая, что девушка пытается представить себе, как это можно поломать зубы кедровыми орешками, пояснил: — Грецкие! Грецкие! Чай пьём? С сахаром? Я лично сахару не ем, но девушки любят. А если увидите, как я утром босой по снегу бегу, не пугайтесь, я с ума не сошёл… закаляюсь по Иванову… хотите?

Катя улыбнулась. Она представила себе, как начнут обсуждать её поведение соседки, если она ещё и босая начнёт по снегу бегать… да ещё рядом со странным человеком…А может, чёрт с ними?

И в эту минуту хлопнула наружная дверь и в дом вбежала мать Кати.

— Мама?

Запыхавшаяся женщина молчала.

Учитель встал и поклонился.

— Не хотите чаю?

Мать криво улыбнулась:

— Извините… у нас дела… Катенька, видно, забыла…— и она кивнула дочери, показывая на выход.

У Кати потемнело в голове, и она потеряла сознание. Она очнулась дома, на топчане. Рядом сидел местный врач, старичок по кличке Градусник. При любой болезни он прежде всего совал больному градусник. Он был весь седой, как из алюминия. Он держал Катю за руку и, опустив белесые ресницы, шёпотом считал пульс. Мать стояла рядом. В дверях курил Витя. Отца ещё не было.

— У неё был лёгкий шок…— сказал старичок. — Чего-то испугалась? Вы не в курсе?

— В курсе, в курсе, — заскрипел в дверях Витя. — Я ему, падле, покажу… я его подпалю, падлу…

— Нет, — застонала Катя. — Он ни при чём. Он хороший. Это мама… так не вовремя…

— Вот-вот, — сказала мать. — Я уже не вовремя вхожу… а они там чай пьют… полураздетый мужчина и моя единственная дочь!

И Катя снова потеряла сознание…

Она слышала сквозь сон, как торопливо переговариваются мать и доктор… почувствовала, как ей в руку входит игла… А может быть, это было уже позже, через час, два, три?

— Да, да…— бормотал старичок. — Говорите, до восьмого класса играла с куклами? И до сих пор сказками увлекается? Да, да… Уединяется…и в то же время доверчива, как дитя… да, да… и очень ранима… ранима…

Когда Катя очнулась, мать шила на машинке, стараясь тихо, менее шумно крутить колесо.

— Ой? — она мигом подскочила и присела возле дочери. — Ну, как ты? Голова болит?

Катя смотрела на мать, хотела что-то сказать, но будто сон сковал её язык, и она сама как бы лежала в прозрачном вязком меду.

— Что? — пригнулась к ней мать. — Мы не тронули его, не тронули… Но он ненормальный, это точно… Чего-нибудь хочешь?

— Почитай мне сказку, — еле слышно попросила Катя. — Итальянскую.

— Итальянскую? — переспросила мать. Заметалась по избе, нашла толстый том, принялась листать. — Чешская… немецкая… немецкую не хочешь? Итальянскую… Вот итальянская! «Принцесса из апельсина». Тебе вслух почитать? Жил-был на свете принц, красивый двадцатилетний юноша. И захотелось ему жениться. Стал король приглашать ко двору разных принцесс, одна красивее другой. Но никто из них не приглянулся юноше…

Катя снова уснула, а когда проснулась, дома были уже все — и отец, и брат Витя. Мать накрывала на стол.

— Вот и наша Катенька проснулась…— обрадовалась мать. — Будешь с нами ужинать? Доктор сказал, тебе надо побольше есть… Вот, папа мяса сегодня купил, вкусный суп, будешь? Наша доченька сейчас умоется и вместе с нами сядет, да, доченька?

Катя сходила во двор — ноги еле держали, во всём теле была страшная слабость. Над белым в ночи зимним двором в небе зияла огромная ослепительная луна, и синяя тень от неё лежала возле сарая. Катя умылась из умывальника за печкой, села за стол. На неё все пристально смотрели. Витя с суровым видом жевал любимую еду — хлеб. Отец был трезв, он осунулся за последние дни, и Катя вдруг заметила, что его скулы похожи на её скулы, а у Вити рот похож на её рот. А волосы мамы — ну точно волосы Кати… И впервые, пожалуй, тёплое чувство родства ополоснуло её сердце…

— Мне чаю, — попросила Катя. — Крепкого… какой папа пьёт.

— А суп? — нахмурилась мама. — Сначала едят суп.

— А вот Павел Иваныч говорит… если по Шелтону…— Катя запнулась.

— Уехал Павел Иванович, — сказала мать. — В городе будет работать. Там, в городе, как раз для него народ… а мы люди простые…— Она поставила перед дочерью большую глубокую тарелку с горячим жирным супом, из которого как пушка

торчала широкая мозговая кость с чудесной мякотью внутри.

Но Катю передёрнуло. Она вдруг вспомнила живых коров, которые мычат у соседей возле крыльца, иногда глядя мокрыми добрыми глазами на Катю. Их режут, рубят топором и потом варят. И какая разница—корова в котле или человек?

— Что с тобой?

Катя молчала.

— Ну, налей ей чаю!—хрипло сказал отец.

Мать встала, налила в чашку густого—сплошь заварка—чаю.

— Сахару намешать?

— Спасибо. Нет.—Катя держала в дрожащих тонких ладонях горячую фарфоровую чашку с голубым ободком и думала о том, что, наверное, теперь Павел Иванович больше не захочет с ней встречаться. Она осталась одна. И даже книг не успела у него взять… был бы повод навестить в городе…

— Зря ты этому учителю доверяешь,—сказал вдруг Витя.—Дядя Володя рассказывал—он раза три женился… и вообще—алкаш.

«Павел Иванович?!»—хотела изумлённо воскликнуть Катя и решила промолчать. Дурачок Витя. Может, раньше и пил учитель, но Катя видела: теперь он живёт по методу Иванова, закаляя себя, подставляя душу космосу.

— Кстати, Володя тебе привет передавал…—как-то смущённо завозился на стуле отец и, опустив голову, принялся хлебать суп.—Вон, даже цветы на базаре в городе у грузин купил.

Только сейчас Катя увидела: в глиняной дешёвой вазе стоят чёрные усохшие хризантемы. «Ещё замуж за этого толстяка в чёрной майке выдать меня надумают… Куда бежать? Что делать?» После ужина отец и брат ушли курить на крыльцо, а мать начала мыть посуду. Катя хотела помочь, но мать сказала, чтобы она лучше легла.

— Ты ещё слабая. Витя договорился, тебя повозит несколько дней в Михайловку… а чтобы зря языком не мололи, кого-нибудь ещё будете прихватывать на сани…

— На тракторе?

— Почему? На лошади. Заодно почту туда оттартает…

Как в далёком детстве, Катя лежала в санях, укутанная тулупом, на котором ночью спала. Рядом стояли на коленях её одноклассницы из Жёлтого Лога—Таня Шершнева, Таня-бурятка и Люда Петренко. Они все три были крепкие, загорелые сибирячки, могли и пешком ходить, но зачем пешком, если есть транспорт.

А вот четвёртый ученик, Олег, из гордости не захотел ехать с ними.

Только и брякнул глупость вроде того, что Жилина—радиоактивная девушка, и это на всех перейдёт… Сказал—и аж сам скривился, как от зубной боли, от своей ахинеи… «Ну, почему люди тяжело сходятся?—думала Катя, задрёмывая.—Что стоит Олегу подойти и сказать, мол, прости?.. давай дружить?..»

Вот и Михайловка… «А может, мне рады будут? Меня же не было целую неделю»,—простодушно жмурилась, глядя вперёд под морозное солнце Катя. Но увы, увы… Как была она изгоем, так и осталась.

Если её вызывали к доске, то её никто не слушал, в классе шумели. На переменах она стояла на излюбленном своём месте—возле батареи отопления, и однажды прилипла к ней—кто-то прикрепил к железу несколько комков отжёванной резинки. Катя пошла по звонку на урок—над ней сзади хохотали.

Она понимала: она должна первая смириться. Тут не имело значения, как ты учишься, как одеваешься… сейчас все хорошо одеваются… Надо найти сильного человека и сунуть голову под его покровительство. В классе были такими сильными людьми Котя Пузиков (но его после того розыгрыша Катя возненавидела), Никита-слюнявый (всё время жевал и плевался во все стороны), а из девиц Маша-чесотка (материлась почище вокзального бича) и Таня Шершнева из родного теперь Катиного села.

Но Таня больше всех и распускала про Катю слухи, хотя, когда здоровались утром, смотрела в глаза спокойными серыми глазами. За что ненавидела? Или просто хотела подмять, а поскольку Катя не понимала, не набивалась в услужение, ненависть накалялась.

Катя решила переломить себя—на большой перемене купила в буфете иностранную жвачку и, зажав её в кулаке, приблизилась к Тане, которая стояла в окружении парней и девчонок. Все курили.

— А!..—воскликнула Люда Петренко.—Можешь, Таня, застрылить мине, но дэвушка несёт тебе резынку!

Таня пожала плечами, с усмешкой глядя на Катю. Катя будто споткнулась… и прошла мимо.

И у неё из пальто украли деньги. Папа давал на мелкие расходы, чтобы бедной сиротой не чувствовала себя.

«Сказать учителям или нет?» Катя не решилась. Денег не найдут, а будут говорить, что Катя клепает на подруг.

А через пару дней из портфеля пропала тетрадка с задачами, которые Катя решала все воскресенье и решила. Она умела иногда быть упрямой. И вот, напрасны все труды—кто-то «стибрил».

В этот день Витя не смог приехать в Михайловку на санях, школьники из Жёлтого Лога побрели домой пешком. Сначала шли рядом, но Катя на свою беду спросила у Тани-бурятки, наиболее добродушной:

— А ты знаешь, как произошло слово «стибрить»? В Италии есть река Тибр…

И вдруг Таня-бурятка закричала посреди леса, как базарная торговка:

— Ты что, считаешь, я взяла у тебя деньги?! Ты какое имеешь право?!

А потом к Кате подошла Таня Шершнева и ударом сбила её с ног.

И подбежала рыхлая Люда Петренко, стукнула кулаком по голове.

— Вы что, спятили?..—испуганно пробормотал Олег Шкаев.

— Пошёл на!..—сказала ему Таня, и девушки-подружки ушли в ночь.

Катя поднялась. У неё из носу что-то текло… но в темноте не было видно, вода или кровь.

— Вам помочь? — спросил Олег, оглядываясь на ушедших вперёд одноклассниц.

Катя прошептала:

— Спасибо. Я сама.

И парень, облегчённо вздохнув, побежал догонять девушек. Вдруг обернулся и крикнул:

— У тебя… надменное лицо… поэтому тебя не любят…

Катя тащилась по зимней дороге, смутно белевшей в лесу. Ни огонька. Ни человеческого голоса.

Сзади мигнули далёкие фары, а через минуту-другую Катю догнал уазик, крытая брезентом легковая машина. Открылась дверка, жёсткий мужской голос спросил:

— Волка ждёшь? Тебе далеко?

«Не откликайся! — сказала себе Катя и тут же возразила: — Но не все же люди плохие?»

— До Жёлтого Лога.

— Довезём? — спросил мужчина кого-то. — Ещё замёрзнет девушка, — и засмеявшись, соскочил на скрипучий снег и подсадил Катю в тёплую машину. Здесь пахло куревом и водкой. Машина была битком набита молодыми парнями в военной форме. Катя вдруг стало страшно, но было уже поздно…

— Водку пьём? — зажурчал радостный говорок, и в темноте подтвердили: — Пьёт, пьёт… Наши русские девушки все пьют, верно?

Машина скакала, как бешеная. Катю прямо в машине раздели, и она оказалась на коленях самого говорливого, жарко дышавшего ей в ухо и приговаривавшего:

— Не боись, тут все после медобработки…

И вокруг, нетерпеливо поджимаясь, гоготали…

Катю высадили на краю деревни, где она теперь жила. У неё не было часов — хватая за руки, раздевая, передавая друг другу, часики сорвали… Между ног всё болело. Катя стояла, глядя без слёз на мёртвую, без единого огня деревушку и не знала, что ей делать. Надо идти домой. Но ведь мама всё сразу поймёт. Спросит: почему так поздно? Заблудилась. Была метель, и Катя заблудилась. Хорошо. А почему водкой пахнет? Катя принялась есть снег. Может, удастся убить запах.

Она подошла к своему дому — внутри горел слабый огонь. Наверное, мама оставила на кухне свет. На всякий случай. Катя постучала в дверь, в доме зашелестели шаги, и дверь открылась нараспашку, сбив Катю в сугроб — она слишком близко стояла…

— Бедненькая моя!.. — запричитала мать, падая вслед за ней в снег. — Где ты была? У тебя случился обморок? В дороге? А как же твои друзья? Господи, какие все чужие… недобрые…

Выскочил во двор отец в кальсонах, сгрёб дочь и занёс домой на топчан. А через несколько минут в доме зарыдала в голос мать, а отец выбежал на крыльцо с двухстволкой и принялся палить в воздух…

На следующее утро Катя, серая от боли, согнувшись, еле поднялась. Дома никого не было. На столе лежала записка: «Доченька, мы поехали в милицию… поешь горячего… никуда сегодня не ходи…»

— Зачем в милицию?.. — Катя смотрела из окна на улицу. Никого не найдут, только будет шуму и издёвок на всю жизнь. Когда мать ночью выпытывала у дочери, кто и как её обидел, Катя рассказала про военную машину… Но разве она помнит имена мужчин, номер уазика? Там никто не окликал друг друга по имени, только сопели, стонали, чавкали, хлебали из горла водку и Кате лили в рот, раздвигая ледяным стеклом ей зубы…

В обед мать вернулась одна. Она рывком бросилась к дочери, обняла её, заскулила, как собака:

— Мы уедем отсюда… уедем…

— Зачем? — сказала Катя. — И куда?

— Они сказали, нужно твоё заявление… Будешь писать?

Катя покачала головой.

Мать с полчаса сидела рядом, на Катиной тахте, и смотрела в пол.

Вечером пришли отец и сын. Отец кивнул дочери, налил себе стакан водки и лёг спать, отвернувшись к стене. Витя поел супу и ушёл в ночь.

— Куда ты? — слабым голосом спросила мать. Но он только дверью хлопнул. — Надеюсь, не побежит следы машин распутывать да этих офицеров искать…

Было слышно, как скрипит счётчик, накручивая свою добычу. На кухне отозвался сверчок.

— Дочь, — как-то виновато сказала мать. — Ты всё про Италию-то хотела… Может, расскажешь?

Катя молчала.

— Дай, мама, супу. С мясом.

И её вырвало. Она легла, и рядом подсела мать и, открыв тяжеленную книгу с картинками, продолжила чтение итальянских сказок:

— Жил-был на свете бедный юноша. Вот однажды он говорит своей матери: «Пойду-ка я, мама, странствовать по свету. В нашей деревне за меня и сухого каштана не дают. Что из меня здесь путного выйдет?» А почему он так, Катя, говорит — сухого каштана?..

Катя хотела сказать матери, что в Италии свежие каштаны жарят и едят, но ничего не сказала. Нету на свете никакой Италии, есть единственная отравленная страна, где Кате суждено было родиться и суждено помереть… Но только после того, как она проживёт жизнь, полную той или иной ценности… А вот какой будет эта жизнь, зависит не только от неё. От добрых и недобрых людей. От многих случайностей. Но Катя всё равно гнуться не будет.

— Не надо, мама… Я сама. Есть под Миланом церковь… — Отец, заскрипев на койке, повернулся к женщинам, моргая красными глазами.

— И там знаменитая фреска… «Тайная вечеря»… Ну, сидит Христос… и все двенадцать его апостолов… И он знает, знает, что его предадут, и знает, кто предаст… но… но… Он ничего не сделает, чтобы изменить ход жизни. В этом высшая смелость и мудрость… если ты, конечно, знаешь, во имя чего страдаешь… А вот если ничего не знаешь… только ешь и пьёшь…

— О чём ты, дочь? — испуганно спросила мать.

Отец угрюмо смотрел в стену.

Где-то у соседей играла гармошка.

Люди жили и на что-то надеялись.

— Мама, я с вами,— тихо улыбнулась Катя.— Я вас никогда не брошу… никогда… ни завтра…— она загнула указательный палец.— Ни послезавтра…— разогнула и загнула ещё раз.— Это так итальянцы разговаривают, когда через стекло и не слышно. А вот так…— Катя приставила палец к щеке,— вкусно. Ничего, мама.— Она приставила пальчик к щеке и уснула.

Реанимация

1.

Мне позвонил Николай Николаевич, который называет себя Кокой и даже Ко-Ко, или даже витиевато: житель Кекуоки, отнимая тем самым оружие смеха у любого, кто хотел бы улыбнуться по поводу его важного имени-отчества, доставшегося низенького юркому человечку. Он плешив, как Ленин, улыбчив, как паяц, на вид простоват, как сирота-эвенк, но очень хитёр. Я же его про себя обозначаю Двойник (два Ника), потому что видывал у него и совсем иное лицо. Но об этом не здесь…

— Михаил, это я звоню, Кока,— он всегда к другим почтителен, даже торжественно почтителен. Если обратится не по имени-отчеству, так уж точно назовёт полное имя, несмотря на то, что вы знакомы давно. Мы с ним в приятелях лет тридцать, если не больше.— Михаил, наш оппонент помирает.

И замолчал.

Я тоже безмолвствовал. Я не стал уточнять, кто помирает,— это было бы безнравственно перед самим собой. Конечно же, я помнил, что Александр Зиновьевич давно болен и, кажется, ему делали операцию на глазу. Впрочем, от вырезания катаракты не умирают. Но старость есть старость, за одной уступкой бездне следует вторая…

Я не стал спрашивать у Коки, о ком речь, ещё и по той причине, что он мог бы подумать, что я злорадствую и ждал этого часа… Я потянул паузу, и Кока подсказал:

— Ну, Александр… у него что-то серьёзное… мне медсёстры сказали, что он хотел бы со всеми помириться… и вроде бы твоё имя называл.

Я позже буду ругать себя самыми чёрными словами, почему не спросил: а твоё называл? Ты сам-то чего же не сходил к нему? Но об этом позже.

А в первые минуты после грянувшей, печальной, конечно, вести я недолго думал: навестить— не навестить. Конечно, надо навестить, тем более что Кока, бывший врач-реаниматор, ныне бард-песенник, продолжал мне чётким голосом объяснять в трубку, что такие болезни, как пиелонефрит, распилят и железного человека.

— Писатель Булгаков, например, от такой болезни скончался. Да и твои коллеги, Михаил, геологи, я думаю, болели. По болотам, по речкам… У тебя же песочек, я помню? Заодно пусть и тебе просветят…— всё это Кока говорил абсолютно серьёзным тоном, хотя, разрази меня молния, я мог поклясться, что вижу через стены усмешечку этого лысого моего приятеля.— Там у них новый томограф привезли, попроси именно на нём посмотреть.

— Да перестань,— уже раздражаясь, я остановил его речи.— Мне заниматься собой некогда, еду с женой к матери-старухе. А Сашу навещу завтра с утра.

— С утра не надо,— стал объяснять Кока всё тем же важным рассудительным голосом.— В девять завтрак, в десять обход врачей, в одиннадцать процедуры… хотя Александру они вряд ли уже помогут. Надо или перед самым обедом, а лучше после сна, в конце тихого часа. Ты сегодня как раз спокойно успеваешь.

Я бы не хотел сегодня, я это сделаю завтра. Так я и хотел ответить Николаю Николаевичу, мне же надо как-то настроиться на разговор, подумать, но мой телефонный собеседник, прекрасно понимая, какие у меня могут случиться отговорки, продолжал уже с укоризной, даже, пожалуй, с театральной укоризной:

— Смотри, Михаил. Уйдёт Александр— сами потом будем себя укорять, что не навестили. Смотри, Михаил!

— Что, он так плох?— сквозь зубы спросил я. Этак может получиться, что сегодня в больнице толпятся и нынешние соратники Александра Зиновьевича— коммунисты нашей области, депутаты. Мне, старому геологу, одно время, правда, увлекавшемуся митингами (кто через это не прошёл?), где мы и подружились с ним, не хотелось бы видеть краснобаев и циников. Тем более— в больнице.

— Плохо— не то слово. С иконкой спит.

— С иконкой? Он же атеист. Он же …— да что я мог пробормотать в ответ на продолжавшуюся степенную речь бывшего врача, весёлого циника, который любую мою фразу перевернёт да использует против меня.

Но, к счастью, Кока не стал иронизировать насчёт атеистов. Он был серьёзен.

— День-два… ну, три-четыре… все мы в руцех Божиих.— И наконец, звонивший мой приятель замолчал, предоставив мне возможность ответить.

И единственное, что мне оставалось,— это сказать ему и самому себе, что, конечно же, надо идти сегодня, сейчас же.

2.

Положив телефонную трубку, я хотел было закурить, но вспомнил: уже полгода как не курю. Клятвенно пообещал жене— даже с фильтром. Сердце в последнее время стало как бы менять место обитания— то в горло толкнётся, то в кишочки… да что там, стареем!

Постарел, конечно, всерьёз и Александр Зиновьевич, он старше меня лет на семь. Последний раз я видел его на базарчике с месяц назад: ярким июньским днём он шёл, пьяненький, сутулый, но всё ещё высокий, в ветхом серо-синем джинсовом костюмчике, в штиблетах на босу ногу, и нёс в авоське— чтобы все видели— бутылку водки и буханку хлеба. Он был не в том ли самом костюмчике, в котором лет двадцать назад сиживал на нашей кухне и, сверкая глазами, завывая в нос, читал переснятые на фотокарточки запрещённые к печати в СССР стихи Мандельштама, Наума Коржавина,

направленные против коммунистов. Моя юная жена восхищалась им тогда, и он это чувствовал.
— Его не посадят?—спрашивала с тревогой меня Валентина.

Он тогда был красив, носил рыжие бакенбарды, ходил с тростью, хотя не хромал. Однако, читая Пушкина:
— И на обломках самовластья!..—он тыкал ею в пространство, и было ясно любому, кто присутствовал при этом чтении, в кого направлена трость.

Впрочем, сам он давно являлся членом КПСС и, бывало, уговаривал меня вступить в неё, чтобы можно было её критиковать изнутри—своим позволяется.
— Мы эту партию самозванцев взорвём,—бормотал он дребезжащим голосом, оглядываясь.—Они пришли в семнадцатом, внаглую сами себя назначили властью. Народ избирал Думу, а не их, а они Думу разогнали. Да и вчерашних своих союзников повесили на реях.—Речь у Александра была всегда цветиста, известный журналист, он умел говорить.—Напрасно ты хочешь быть над схваткой. Только серые воробьи над схваткой. Придёт время—и светлое знамя свободы окажется в чистых руках.
— Да не хочу я быть членом партии,—отвечал я тоскливо. Меня уж звали туда и начальники экспедиций (давно бы орден получил, хотя бы за Средне-Бигайское месторождение нефти), и мать советовала. Но я был достаточно успешный геолог, у меня даже была своя теория в двух тетрадках, касающаяся осадочных пород, про то, как некогда двигались плиты и возникали драгоценные ныне ископаемые. Правда, над моими измышлениями посмеивались коллеги: книги пишут академики, а ты кто такой?
— А вот если вступишь в ряды, ты сможешь свои идеи пробить через ЦК. Тебе лично должен будет ответить министр,—убеждал меня Александр Зиновьевич. И я не вступал до последнего.

А КПСС уже агонизировала, народ хохотал над дряхлыми генсеками. Наконец, бразды правления перешли к Горбачёву, к молодому по меркам Политбюро человеку, говорившему порой без шпаргалки. И я поверил именно ему, Горбачёву, я поверил, что в нашей двухслойной империи может воссиять справедливость, восторжествует истинное равенство—решение станут принимать люди умные, свежие, а не замшелые, как нижние венцы бань, кадры.

Я вступил «в ряды», рекомендацию мне дали главный инженер экспедиции и он, Саша, Александр Зиновьевич Куркин, прославленный местный журналист. Отныне он явно считал меня своим личным приобретением и везде восхвалял меня. И даже напечатал в газете очерк, где путано и бессмысленно пытался пересказать мои идеи насчёт процессов, происходивших миллиарды лет назад, когда некогда раскалённая планета начала остывать.

Но далее наши пути разошлись во всех смыслах. Прежде всего, я уехал на Север, где мне поручили возглавить огромную геолого-съёмочную партию. И несколько лет я не видел Сашу. А когда увидел на местном съезде патриотов (мы поддержали идею Ельцина о суверенитете России), он обнял меня и провёл в президиум. Но чем больше я слушал ораторов, тем печальней мне становилось. Яростно аплодировавшая толпа, вся—вчерашние функционеры КПСС и ВЛКСМ. И почему-то с ненавистью называют Горбачёва. Но как только Ельцин после пьяного путча (ГКЧП) в 2001 году лихо и весело запретил КПСС, то и сам «царь Борис» мгновенно стал врагом для всей этой восхвалявшей его вчера братии.

Я перестал что-либо понимать в поведении Александра Зиновьевича. Он, мечтавший взорвать изнутри КПСС, он, кричавший, что надо очистить идеи социализма от крови и грязи, должен был бы радоваться ходу событий, так нет! Он теперь ездил на митинги со вчерашними секретарями партии и, тряся костлявым кулаком, клеймил Ельцина.

Впрочем, согласимся—в жизни всё взаимосвязано. К тому времени от него ушла вторая жена, не берусь судить по какой причине… он пил, конечно, и в пьяном виде страдал демонстративно, скрежеща зубами, если есть рядом хоть один слушатель: гибнет Россия!.. Видимо, устала красивая женщина. Первая его жена умерла несколько лет назад… Конечно, быть супругой журналиста, да ещё политика, трудно. Оставшись один, Саша несколько опустился. Он, прежде щеголевато одевавшийся человек, молодившийся всю жизнь, с газовым шарфиком на тонкой кадыкастой шее, досиня выбривавший узкие свои скулы, стал появляться на людях в нарочито простецком виде—небритым, в очках, у которых одно стёклышко треснуто, из-под белой рубашки проглядывают синие полосы тельняшки. Раньше куривший трубку, он теперь мог попросить у прохожих «чинарик». Но это, конечно, в дни запоя. Только вот беда—они у неженатого человека повторялись всё чаще…

Одно цепляется за другое—писать он стал хуже, злобно, наспех вкрапливая в свою публицистику частушки, якобы слышанные в народе:

Наш расейский президент—
Мериканский резидент.

И его печатала отныне только местная коммунистическая газетка «Дочь правды» с её крохотным тиражом 3 тысячи экземпляров. Нельзя сказать, что другие газеты стали очень уж демократического направления, они тоже покусывали новую власть, но при этом виляли хвостиками, такая наступила свобода СМИ. Печатать же Куркина было неприлично: ещё не рухнувший мамонт коммунизма смущал топорностью своего пера, остервенелостью голоса…

Кстати, согласимся, что и Ельцин, никакой, конечно, не демократ, а верный воспитанник той же когорты. Поднявшись на волне борьбы с партийными привилегиями, он мигом раздал за бесценок недра и заводы верным людям из ближайшего окружения, чтобы затем они его поддерживали деньгами на очередных выборах, и сделал за минувшие годы всё, что мог, во имя только одной цели—во имя своей личной выгоды и своего

здоровья. И его царствование кончилось беспрецедентным для цивилизованной республики особым законом, ограждающим его и богатства его семьи от любого суда…

Я же, из малых сих, увидев, что никакой честной и умной новой партии из КПСС не родилось, давно сжёг тёмно-красную книжечку с силуэтом лысого вождя в костре под Туруханском и далее просто жил.

В летние месяцы, наиболее излюбленные коммунистами для демаршей, я проводил, естественно, в тайге, вернее, в лесотундре, кормил своей кровью всякую крылатую сволочь в виде комара и гнуса и лишь осенью, с первыми белыми мухами вернувшись в наш город, мог видеть на площади Свободы наших бедных замёрзших старушек, преданно и жалостно взирающих на местного партвождя, поднявшегося на постамент гигантского гранитного учителя. Рядом с местным вождём стоял, посерев от восторга и значительности момента, мой бывший приятель.

Заставил, заставил он себя во имя борьбы с вражеским режимом сбрить щетину, свесить галстук на резиночке, бордовый, в крапинку, как у Ленина. И тоже вскинул длинную худую руку и что-то шепчет, но что — не слышно, так как микрофон у местного вождя… Господи, а как же проклятия прежнему строю за высланного из СССР Солженицына, за миллионы расстрелянных гениев науки и литературы, крепких крестьян, священников? Или Сашка мог быть только в оппозиции: раньше — на кухне, шёпотом, потому что громкого могли и посадить, а теперь — вопи, где угодно, потому что посадить не посмеют?!

И вот Александр Зиновьевич умирал. Конечно же, я не мог его не навестить.

Я выбежал из дому, купил в магазине аргентинских яблок (спелых наших ещё нет) и поехал в первую областную больницу, расположенную в большом сквере в центре города.

3.

Было жарко, душно, наверное, грянет гроза. В автобусе, если сядешь справа, солнце калит в лицо, а сядешь слева — дует снизу из какой-то трубы вдоль пола под сиденьями знойный вонючий воздух.

Подойдя к воротам больницы, я пожалел Сашу — надо было его положить в районную больницу на окраине, там, правда, аппаратура похуже, но зато воздух свежее. Здесь же город гремит множеством машин и мотоциклов, воют сирены пожарных грузовиков, сверлят уши сигналы милиции. И дым, дым… В холле регистрации кружится толпа с авоськами и сумками. Я вспомнил, что не взял с собой никакого документа, ещё и не пропустят. Но вдруг в этой толчее мелькнуло детское личико Николая Николаевича с белой кепкой на лысинке — он, то улыбаясь, то хмурясь, пробирался ко мне, у него под мышкой ёрзал зонт.

— Михаил, я уже побывал, — шепнул он мне. — И насчёт тебя предупредил. — И подойдя к грузной даме в белом халате, он что-то ей сказал и втолкнул ладошкой меня в дверь. — Третий этаж, там спросишь.

Я медленно поднимался по лестнице на третий этаж. Почему-то вспомнилось, как я сам здесь лежал лет пятнадцать назад со сломанной ногой (упал в шурф и меня вывезли вертолётом на материк), как она чесалась под гипсом. О, бездарно прожигаемое время в больницах, когда уже читать ничего не можешь, радио опротивело, а врачи ещё не выписывают…

А Сашу, видимо, уже и не выпишут — сам «уйдёт». В коридорах пахнет эфиром и цветами, масляной краской — видимо, недавно делали ремонт.

— Не скажете, где лежит Куркин? — спросил я у попавшейся навстречу миловидной девчонки-медсестры с вышитым именем *Нина* на медицинском халате.

— Куркин в реанимации, — ответила она. — Вон та палата.

Белёная дверь была приоткрыта. Я заглянул, прошёл. Реанимационная палата оказалась длинной, её поперёк пересекала некая зыбкая занавеска.

Слева, под капельницей, которая, впрочем, была уже отключена, лежал головой к окну мой старый товарищ с серыми, как бетон, щеками и заострившимся — и прежде-то острым — носом. Он, кажется, дремал.

Справа, за занавеской, негромко разговаривали. Там ходили люди. Видимо, и там покоится больной.

— Привет, — сказал я, постаравшись произнести это слово как можно более легко, как в прежние годы. Мол, всё в порядке, заглянул навестить.

Саша открыл глаза, какое-то мгновение молча смотрел на меня.

— Это ты? Ты зачем ко мне пришёл?.. — спросил он сиплым от слабости голосом, вдруг зашевелившись на длинной покатой койке с железными ручками по бокам — кажется, захотел опереться на локоть.

— Лежи, лежи, — опередил я его.

— Тебе… нравится, если я лежу? — не без надрыва осведомился он. Всегда был остроумен.

Я постарался улыбнуться как можно более приветливо.

— Ну о чём ты! Просто надо беречь силы.

— Для чего? — и раздельно произнёс: — Мы проиграли. Россия погибла. Разворована. Благодаря таким, как ты.

У меня стало тоскливо на душе. При чём тут я?.. Но больной человек есть больной человек, надо дослушать, я сел на стул. И мои яблоки стукнулись об пол.

— А вот, Саша, это я тебе…

— Мне от тебя ничего не надо! — зашипел он, напрягая горло, дёргая кадыком и с ненавистью, кажется, уставясь на меня. — Я понял, для чего ты пришёл. Смотрите-ка на него! Пришёл к тяжело больному коммунисту для того, чтобы, когда победят наши, они его помиловали.

Какая чушь! И что, я должен сейчас крикнуть ему в лицо, что «ваши» никогда больше не победят?..

— Ты, Михаил, предатель… перевёртыш… я, я тебе рекомендацию давал… — продолжал он. Длинное его лицо, в розовых пятнах раздражения, с седыми волосками возле ушей (остались непробритыми), было сейчас до смешного суровым, как

на забытых и ушедших в вечность собраниях. Не бредит же он?!
— Послушай, Саша,— мягко я возразил ему.
— Я тебе не Саша!!!
— Хорошо, Александр Зиновьевич. Я вступал в КПСС, её больше нет. Мне что, вступать ещё в одну партию, к вашему Зюганову?
— Ты играешь словами! Да тебя к нам и не примут, потому что ты отдал олигархам не своё… нефть, уголь— народное достояние… а ты, заслуженный геолог России, отдал им! Сколько тебе заплатили сребреников, Миша?
— Мне?— разозлился я и поднялся со стула.— Кто?! Я сорок лет вкалываю, тебе не снились такие ночёвки, какие были у меня на Севере, тебе не отрывало морозом пальцы, тебя не догонял медведь… ты тут лялякал, в газетах, а я трудился. И ничего, кроме трёх тысяч пенсии, не имею.

Он с наслаждением усмехнулся.
— Что же так тебя обидела твоя власть? А? А?— Он всё-таки приподнялся, оперся на локоть, приготовившись, видимо, к долгому разговору.— А вот если бы ты поднял народ на восстание… ну, своих геологов… мол, не отдадим…
— И что?— усмехнулся теперь уже я.— Кто бы это послушал? Решает Москва, федерация.
— А где же власть народа?
— А разве не народ их выбрал, эту Думу, этих начальников?.. Чего ты на меня буром прёшь?— Я оглянулся на занавеску, на дверь— нас никто, кажется, не подслушивал.— Перед кем играешь?

Старый мой приятель пронзительно смотрел на меня. Глаза у него были красноваты, лиловатые губы дрожали. И мне снова стало безумно жаль его. Было время— он восхищал меня быстрой яркой речью, преувеличенными сравнениями: «Кто нами руководит? Мурло Мурлевич! Мы их всех посадим на кол! И— в ленинскую библиотеку, пусть там сидят и читают друг другу Маркса!»
— Я стою на пороге,— тихо сказал Александр Зиновьевич.— Мы с тобой оба под оком вечности. Ведь и тебе не много осталось. Надо быть честными. Скажи прямо, всё-таки не приемлешь новую власть?

Сжав зубы, я дёрнулся. Надо же, как яд политики вторгся в это худое, обессиленное тельце, в эти мослы!
— Тебе-то что!— вырвалось у меня.— Я приемлю свободу, которая, наконец, пришла! Которая, кстати, позволяет и твоим партийцам поносить кого угодно и как угодно. А вот народ… ещё не сказал своего слова. Пока он в шоке. Слишком быстро всё меняется. Но в России будет справедливая власть. Постепенно. Через одно-два поколения. Потому что есть главное условие— свобода.

Я говорил и понимал, что он мне может в ответ напомнить о прожорливой армии чиновников, которых стало в три раза больше, чем при Горбачёве, которые занимаются только одним— поборами, не дают развернуть никакое дело, если только ты не «под крышей» одного из них или хотя бы крупного вора с государственными опять-таки связями.

Но Александр Зиновьевич был и в самом деле тяжело болен, он лишь презрительно скривился:
— Перевёртыш!..— и захихикал, закхекал, указывая на меня длинной жёлтой рукой, как если бы вокруг нам внимали слушатели.— Смотрите на него!
— И это ты?!— оборвал я его.— Не ты ли мне читал Шаламова? Не ты ли говорил, что народ никогда не простит партии обман крестьян, изгнанных философов, тайные кормушки…
— Стоп-стоп!.. Перед новыми ворами те воры— блохи перед крокодилами! Ну, одевал тогда секретарь жену свою в лишнюю шубу— партвзыскание проводили. А эти… приватизировали всю страну, десять жуликов с позволения главного жулика… а ты его поддерживал!
— И ты его поддерживал сначала…— сказал я, уныло соображая, как бы мне выйти из этого бессмысленного разговора и удалиться.— Человек меняется. Он был нужен как таран… чтобы стену проломить… а вот то, что он Михаила Сергеича выгнал, как бандюган, из Кремля… это ему ещё аукнется самому…
— Стало быть, ты согласен, что он— бандит?— Александр Зиновьевич весь подался с наклонной койки ко мне.— И его ставленник— бандит?
— Я этого не говорил!..— огрызнулся я.— Под оком вечности надо бы о себе подумать. Ты о себе подумай. А я лично не грабил, не предавал…

Опустив с дробным стуком пакет с яблоками на пол у изголовья больного, я повернулся к двери.
— Ты предал, предал!— донеслось мне в спину.— Ты Россию предал! И себя ограбил! Из тебя мог выйти значительный человек! А получилось ничтожество. Я в своё время подумывал жену у тебя увести, я видел по её глазам— согласна, можешь спросить… да не стал этого делать— пытался верить в тебя… И напрасно! Вот что я тебе ещё могу сказать под оком вечности!

Да ну, буду я ещё спрашивать у жены про тебя, старый краснобай-ловелас. Я сердито махнул рукой.

В стороне послышался шорох, мне даже показалось— там засмеялись. Я обернулся к белой шторе, пересекавшей палату, и увидел поверх тряпки что-то чёрное… чёрное, посверкивающее око телекамеры. Кто-то оттуда нас снимал.

Мне стало стыдно и скучно.
— А это зачем?— спросил я, хотя уже понял зачем. Из нашей истории взаимоотношений мой старый приятель по борьбе с тиранией устроил хороший телевизионный сюжет, который, наверное, поднимет его рейтинг в красных рядах. Ещё бы, несмотря на болезнь…

Он медленно опустился на спину и лежал, надменно усмехаясь. Надо было мне сплюнуть в его сторону и уйти вон. Но он же в самом деле, кажется, неизлечимо болен. Правда, не видать здесь ни иконы, ни стоящих с кислородной подушкой медсестёр…
— Желаю выздоровления…— пробормотал я и, стараясь держаться спокойней, пошёл прочь из больницы.

4.

Оказавшись на улице, я обернулся. И в окне третьего этажа увидел его.

Да, это был он, Александр Зиновьевич Куркин. Больной человек нашёл силы, поднялся с койки и смотрел через окно на своего теперешнего врага. Глаза его сверкали, как звёзды. Он был явно удовлетворён встречей. Ах, как же он не забыл ввернуть в разговор и про мою Валентину! Уколол, уколол, повесил топор сомнений над моей головой.

Ну, было, было время, когда она, хорошенькая и глупенькая, смотрела на него как на декабриста или народовольца. И несомненно, при этом благородного во всех поступках.

Когда, помнится, мы задержались с возвращением из тайги на две недели, когда пронёсся слух, что вертолёт наш попал в снежный заряд и разбился возле устья Подкаменной Тунгуски, он приходил к Валентине успокоить, сказать, что надо верить, о чём она в слезах восторга мне и поведала. Но ведь геолог каждое лето отсутствует с мая по сентябрь… какое раздолье для соблазнителя со стихами о свободе! И кто знает, кто знает… Только спрашивать сегодня Валентину о прошлых временах было бы смешно. Да и бессмысленно. У нас дети, жизнь прожита. Всё произошло вполне достойно.

Так что ты напрасно, напрасно!.. Иезуит пера. Умеешь в последнюю минуту ткнуть своим костылём, смутить…

Конечно, он сейчас торжествовал. Был счастлив.

Я думаю, сегодняшняя встреча добавит ему сил и, кто знает, может быть, он переборет болезнь. И что он ещё простудится на наших похоронах, как сказал однажды унылый остроумец нашей эпохи Явлинский про другого человека.

Что ж…

А что касается телевидения… Я вспомнил, что Кока в последнее время подвизается на третьем канале. И конечно, весь сегодняшний диалог в реанимационной палате был придуман им, и он за него получит какие-то деньги или минут пять эфира для своих песенок под гитару.

Нет, не око Господне смотрело на нас во время нашего разговора, а пошлое, стеклянное, вездесущее око телевидения, которое даже не умеет моргать.

Наверное, сейчас Кока катается, как Гитлер, дома по мохнатому ковру и шёпотом хохочет. А вот встретимся — посмотрит на меня совершенно круглыми, синими глазами вечного ребёнка и назидательно скажет:

— Правильно ты сделал, Михаил, что посетил больного товарища. Даже если ты, Михаил, с ним разных политических уст… устремлений. Пойдём вместе, перекусим чего-нибудь. Говорят, в ресторацию «Океан» свежих устриц привезли.

Ах ты гурман! Любитель разных политических устремлений. Устрицу бы тебе огненную, Кока, в пасть. Да таких нет.

Нестрашный суд

1.

Этого довольно хрупкого молодого человека в белом костюме и белых туфлях можно было с некоторых пор видеть в театрах и модных ресторанах нашего города под ручку с ослепительной юной женщиной в красном, которую, впрочем, все знали в лицо — то наша местная королева красоты прошлого года, Ангелина Беляева. Говорят, по паспорту она Алевтина, но именно так сама себя назвала, и все привыкли — Ангелина, Ангел. Даже песенку сочинили и пели пару раз по телевидению местные попрыгунчики в дыму:

Ангел, Ангел, Ангелина,
унеси меня на небо
иль верни меня на землю,
поцелуем умертвив…
Буду я лежать под ивой,
хоть и мёртвый, но счастливый,
Ангел, Ангел, Ангелина —
мой божественный мотив!

Что-то в этом роде. Довольно пошлая песенка, но ритм радостный, а людям уже хочется радости… все устали от пророчеств, что наша страна ввергается в пучину… ещё вот-вот — и мы погибнем.

Но вернёмся к сладкой парочке. Так вот, а кто, собственно, рядом с Ангелом, этот счастливый её избранник, долгое время не ведал в нашем городе ни один человек. Поговаривали, что он — приёмный сын президента одной из мощных нефтяных компаний России. Впрочем, кто-то уверял, что молодой человек — всего лишь везучий игрок, который в прошлом году снял в московском казино фантастическую сумму. Ещё говорили шёпотом, что красавец связан с бандитской группировкой Тамбова, хотя до Тамбова от наших мест очень далеко (около 3700 км). Так или иначе, одет он был всегда изысканно, подъезжал к дому юной особы на «Мерседесе», за рулём громоздился широкоскулый дядька в белых перчатках, с золотым тяжёлым крестом поверх бордового галстука.

А уж какие роскошные шубы из соболя или накидки из голубого песца швырял молодой человек в ноги своей возлюбленной, обсуждал весь город. Духи из Парижа, грациозные шляпочки из Рима, сапожки из Лондона… да что там, когда денег полны карманы.

В иные дни парочка сиживала на ипподроме в синей тени, поглядывая на скачущих лошадей в бинокли. Но чаще всего они плавали на белой яхте за плотиной, по зеркальной поверхности нашего искусственного моря. Почему не ехали на Канары или на другие сказочные острова, спросите вы. Загадка. Может быть, у него были нелады с законом — он не имел до сих пор заграничного паспорта? Но с его деньгами купить нынче паспорт не составляло труда… У неё не было паспорта? Ей, я думаю, ОВИР бесплатно бы сделал сей документ, согласись только она с работниками милиции сфотографироваться на память.

Ходил слух, что у молодого человека мать больна, что он никак не может её оставить. Живя в новом отеле «Сто звёзд», где за ним был забронирован огромный номер со статуями Венеры и Аполлона на балконе, время от времени он исчезал на несколько дней. Говаривали, что ездит в деревню, именно к матери. Однако кто-то его видел, кажется, и в соседнем городе Кемерове. Ну, мало ли зачем может ездить по земле богатый красавчик?..

Лицо у него было треугольное, узкое в подбородке, бровки рыжие, домиком, глаза всегда восторженные, навыкате, губы пухлые, верхняя чуть вперёд, зубы белые. Улыбался как дитя—радостно. Но если его обижали, то зелёные прыгающие очи мутнели, как у пьяненького, и всё пальцами трещал, сцепив руки.

Счастливый молодой человек. Счастливая любовь. Счастливая судьба.

2.

Все привыкли, что эти два красивых существа всё время вместе. Но вот однажды Ангелина, наш Ангел, появилась на выставке молодых художников одна, без него. Надменное её личико было запрокинуто, словно она смотрела на картины и на людей поверх некоего забора.

И мгновенно пронёсся слух, что её красавец уже неделю в тюрьме, вернее в СИЗО—задержан и ведётся следствие. И задержан-то не в нашем городе, а почему-то в Кемерове.

А затем вдруг исчезла и сама королева красоты прошлого года—улетела, говорили, за границу демонстрировать одежду то ли от Кардена, то ли от Версаче, хотя тот уже был, как вам известно, убит. Но мало ли случаев, когда человек убит, а дело его живёт (например, Ленин, Колчак, Ежов, Мандельштам и пр.)…

Улетела гражданка России А. Беляева—и нате вам, даже не поплакалась перед краснощёкими начальниками милиции, не попыталась спасти своего милого. Впрочем, наверное, уже выведала, за что посадили,—и от стыда подальше укатила… А нам пресса донесла только через пару недель: молодой-то человек, оказывается, был нищий, обычный клерк из кемеровского банка, кажется, «Феникс»?.. (или «Финист», который в сказках «Ясный сокол»?..), хорошо разбирался в компьютерах и вот как-то так сделал, что к нему, на его личный счёт, открытый в другом городе (в нашем, в нашем! Именно здесь и открыл!) стекало золотишко со всех валютных счетов «Феникса» («Финиста»). Он, говорят, заставил электронную технику путать шестёрки и девятки, и технические работники банка никак не могли понять причин сбоя, ибо молодой человек внедрил на берегах своего золотого ручейка программные секреты («замки», которые отпереть практически невозможно).

Тихого красавца погубил сын директора банка Вася—девятиклассник, который имел от раззявыотца доступ к файлам, сам захотел сделать тоже нечто подобное, да вдруг наткнулся на глухое молчание машины. Он пожаловался папе, тот схватился за лысую голову с двумя ушами, вызвали из Красноярска умельцев из технического университета, те посидели в компьютерном зале банка дня три—и всё стало прозрачным. Как уж отперли «замок», нам не понять. Кажется, отключали по очереди все компьютеры и снова включали. И, говорят, вот этой случайности—отключения и включения—молодой наш красавец не предусмотрел…

Но уже украдено было около двухсот тысяч долларов! Личный счёт в нашем городе, разумеется, арестовали. Однако там осталось-то шиш да маленько, «баксов» сорок,—всё пустил красавец по ветру. Или в землю зарыл?! По телевидению как-то раз показали его—сидит на нарах, острижен, чёрен, как азербайджанец с базара, верхняя пухлая губа рассечена (видимо, кто-то бил его), в грязной фуфайке без рукава.

Следствие длилось всё лето и осень, и вот, в конце октября, в весёлую пору свадеб, объявили день суда. Впрочем, о молодом человеке уже стали забывать… Ну, подумаешь, ещё один вор. В конце концов, в Москве по коридорам власти (см. передачи ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6!) шастают с потёртыми портфелями акулы пострашнее—ограбившие страну на миллиарды долларов. Так что в день открытия суда не было особого ажиотажа—из всех телекомпаний присутствовали только наша NTSI (всё же у нас гужевал красавец!) и кемеровская Прима-TV.

Но когда молодому человеку дали возможность выступить с последним словом, то режиссёры и операторы, обомлев, поняли: сама судьба их сюда привела! И заранее скажу: потом весьма дорого они продали копии своего репортажа другим телекомпаниям. Корреспонденты же газет, которые поленились в тот день прийти в жёлтое здание кемеровского областного суда, назавтра локти себе кусали.

Дело в том, что речь отчаянного транжиры стала потрясающим событием если не для всей России, то для Сибири—я вас уверяю. Смею думать, это событие войдёт в десятку наиважнейших событий уходящего века. Впрочем, судите сами.

(Цитирую по видеокопии, которую снял с экрана, когда наша NTSI вела прямой репортаж. Разумеется, телевизионщики хотели показать лишь начало процесса, дать полторы минутки, но мгновенно поняли: надо транслировать целиком!).

3.

— Досточтимый суд,—начал тихим голосом подсудимый. Русые волосёнки на его голове подросли, стояли наивным ёжиком, верхняя губка несколько осела, он сегодня был одет, как прежде, в счастливые дни,—в белый льняной костюм, правда, мятый, в голубенькую льняную рубашку.—Досточтимые господа прокурор, адвокат… все-все, собравшиеся здесь. Вы, наверное, хотели бы всё-таки знать, почему я пошёл на преступление… Я не склонен ни к каким излишествам—ни в еде, ни в винах… надеюсь, уже правоохранительные органы убедились—не купил себе ни коттеджа, ни дачи. Машину арендовал. Не было на мне и сейчас нету ни золота, ни платины, даже серебра. Так куда я дел деньги, спросите вы? Извольте, расскажу.

Он отпил глоток воды прямо из горлышка (ему подали через решётку из толпы маленькую бутылочку «Святой воды») и продолжал.

— Всё дело в том, что я с детства рос среди некрасивых людей. Наша деревушка с названием Дыра располагалась возле карьеров Ц-ского завода, где ночами светится руда, иногда слышится из подземелий гул — взрываются всякие ядовитые газы. Когда шли долгие дожди или быстро таял снег весной, вода из отстойников стекала в речки Красную и Чёрную — там всплывала вся рыба, а по берегам лежали мёртвые коровы… Ну, да вы знаете, сколько таких мест в нашей прежде прекрасной зелёной Сибири, — сентиментальный парень, он даже всплакнул и почему-то прошептал: — Бедная моя мама… Итак, вот. Наверное, по этим причинам в нашей местности народ рос некрасивый. Во-первых, малорослый, во-вторых, к десяти-пятнадцати годам лица становились жёлтыми, как у китайцев. Более или менее симпатичная девчонка была редкость — мы были уроды. Да взять одни фамилии — соседи у нас были Упырёвы, Кривоносовы, напротив жил Грабежов… Мне ещё, может, повезло — мы всего-навсего Картошкины… Я тяжко тосковал, мечтал, что когда-нибудь отсюда уеду…

Вдруг в напряжённой тишине судья под пристальным взглядом прокурора опомнился и прервал молодого человека:

— В общем, вам захотелось красивой жизни. Я думаю, лимит времени нам не позволяет…

— Нет!.. — задышала толпа, пришедшая в зал суда. — Пусть говорит!

И защитник также удивлённо заозирался:

— У нас что, конституцию отменили?! Он по закону имеет право говорить!

Правозащитница Куклина, которая, как мне рассказывали потом, все дни ходила вокруг администрации области, намотав бинт на рот (якобы ей не дают слова сказать), тут же вылезла перед телеобъективом и эффектно закрыла крашеные красные губы белым кашне.

Но не дали ей покрасоваться в роли протестующей — судья закивал:

— Да ради бога… мне самому интересно…

— Окончив школу — а она была кривая, с зелёными окнами, с подпорками со стороны востока, так как ветер у нас дул с запада, — я уехал учиться в институт, в город А., но и там не было красивых людей. Вокруг рудники, ямы, такие же, как и у меня на малой родине. И то ли вода такая, то ли магнитные поля, но все лица вокруг как в страшном сне… И я переехал сюда. Но и здесь, в банке, где после окончания института я стал работать, люди также были несимпатичные… может быть, по другой причине — магическая власть денег корёжила их…

— Да он сумасшедший… — кто-то воскликнул в зале. Но на него зашикали.

— В самом деле, вот они сидят в зале, мои обвинители — они, возможно, не самые плохие люди в своей системе координат, но посмотрите на их лица… жаль мне их… где там волшебная русская красота? Достоинство поведения? Царственность походки свободного сибиряка? Всё бегом, всё жадно, всё с лапшою на шее…

— Он нас оскорбляет!.. — снова не выдержал тот же самый голос, который обозвал подсудимого сумасшедшим. Камера показала: это был вскочивший лысый с малиновыми ушами, надо полагать — директор банка. На него снова зашикали.

— Молчи, ворюга! Сам небось ещё и не столько урвал!..

Покраснев вровень с ушами, директор банка тут же сел на место.

— И вот, приехав по делам банка в город Н., я совершенно случайно в гостинице вечером увидел на экране телевизора местную королеву красоты… Ангелину Алексеевну. И вот тут вы можете согласиться с господином директором — сошёл с ума. Я подумал: умру, но хоть увижу её… хоть постою рядом… Я ещё тогда и помыслить не мог, что она станет моей возлюбленной… — Подсудимый отхлебнул воды из бутылочки. — Извините… Я, конечно, знал, что женщины, как синицы или сороки, любят смотреть на то, что блестит. И купил себе пару костюмов. Нет, ещё на свои деньги… И подстерёг её возле её дома. Сказал: выслушайте меня. Сказал: я люблю тебя. Сказал: мне не жить вдали от тебя… Она рассмеялась. Вы видели её фото — у неё улыбка такая, что тает лёд во всех ларьках с мороженым вокруг. Глаза сияют — как у юных кошечек или у звёзд над рекой в июле… Я не поэт, мне трудно рассказать, но я потом замечал: кто бы ни смотрел на неё, меняется в лице, словно и на него переходит волшебный свет её красоты. Так вот, я спросил: могу ли я только видеть вас?.. иногда?.. Она сказала, что у неё вправду нет времени… всё время фотографируется… демонстрирует платья… встречает в аэропорту с хлебом-солью глав иностранных государств и так далее. И всё это, честно сказала она, за деньги, а у меня братишка болен… родители стареют… Я побежал прочь, вернулся, закричал: за каждые десять минут — тысячу рублей! Она ещё раз рассмеялась, сказала: нет. Две тысячи!.. Три… Десять!.. Она нахмурилась: вы безумец. Я люблю вас, отвечал я ей.

Судья под злым взглядом прокурора кашлянул и забубнил:

— Ну, в общем, нам понятно… мы вас за любовь и не обвиняем, но…

— Да замолчи ты!.. — задышала, заволновалась толпа, и лже-диссидентка Куклина снова выскочила к телеобъективу, быстро охлестнув лицо белой лентой кашне. Но ей снова не повезло — в зале наступила тишина, молодой человек продолжал:

— Вы только не подумайте, что она купилась на деньги… Я её одел в шелка и золото… но я её не тронул… сидел рядом и за руку держал. Ну, целовались иногда… причём, это она меня первою поцеловала… поняла, видно, что на самом деле с ума схожу… Я ей стихи читал… Я был вполне счастлив без всего того, о чём мечтает любой мужчина возле такой женщины… Только предложил: давай хоть обручимся… может быть, когда-нибудь — через сотню световых лет — ты меня полюбишь… Она сказала: да. И мы обручились. И в ту ночь впервые были вместе… Могу сказать, как перед

Богом… чтобы меня не упрекали блюстители нравственности… она уже не была… то есть, ну, ладно… Её бы просто не пропустили к трону королевы красоты все эти начальники её города… Но она была невинна душой, именно как ангел. Я ей купил бриллиант у одного залётного негра… оказалось, что искусственный… пришлось срочно доставать деньги и заменять его… Она наивно спросила: он меняет цвет, да? Был сиреневый — стал зеленоватый… И вот так за каждый миг я платил ей и судьбе… И под нынешний Новый год мы должны были пожениться. Но этому не быть никогда. Если бы я был композитор, я бы сочинил разговор трёх нежных скрипок о ней… если бы был поэт, сочинил бы венок сонетов, который набросил бы на её золотистые волосы, и все бы ходили вокруг неё и читали, умиляясь её красоте… Если бы был скульптор, я бы слепил её тело из космической плазмы между Луной и Землёй — и она бы там в космосе летала… Но я всего лишь Сергей Иванович Картошкин, человек, которому Бог дал немного ума и очень много печали на сердце… Я ей рассказал про свою некрасивую маленькую родину… и… и когда я послал в тамошнюю школу вагон витаминов для роста детей, когда я послал им вагон компьютеров, когда послал вагон итальянского винограда, когда я послал мамочке моей и всем соседкам лекарства, чтобы у них на ногах вены не надувались больше, она, моя красавица, сказала: молодец… — Молодой человек вздохнул, посверлил пальцем лоб. — Но жизнь есть жизнь… и сама от денег не отказывалась…

— Ещё бы!.. — вздохнул и весь зал. Но никто не прервал молодого человека.

— Но есть народная пословица: сколько верёвочке ни виться… Вы меня поймали, Пётр Васильевич, — подсудимый поклонился директору банка. — Вы меня посадите. Меня там убьют, выпытывая, где я спрятал деньги. Так вот хочу сказать, пока я живой и пока меня показывают по телевизору: у меня нет ни рубля, кроме вот этого костюма да плаща, который остался в отеле… впрочем, наверное, его уже конфисковали… Конечно, я мог бы сказать, что ваш банк, Пётр Васильевич, — хитрый банк, через него вы перекачиваете бюджетные деньги… как-то вы устроились… и на проценты от этих громадных потоков живёте. И то, что я взял, вы покроете за неделю… я подсчитал. Но факт есть факт — я украл двести тысяч. Так что прощайте. Дайте мне, что хотите, — пожизненную каторгу… расстрел… главное — нету больше на моей Родине моей любимой и прекрасной… дай ей Господи мужа красивого, такого же, как она… дай ей детей красивых… Кто знает, может быть, когда-нибудь они вернутся сюда, в наши тёмные и грустные края…

Молодой человек замолчал.

В зале суда зашумели, заговорили.

Телекамеры отключились.

И только через час было передано по всем местным каналам специальное сообщение: молодому человеку дали шесть лет тюрьмы строгого режима.

4.

Но история сия имела неожиданное продолжение. Наша красавица Ангелина, как любая русская женщина, тоскуя на далёком Западе по России и время от времени глядя передачи CNN, как-то случайно (судьба!) увидела на экране довольно размытый из-за пересъёмок репортаж с кемеровского суда и, попросив своего импресарио немедленно ей привезти из России сибирские газеты за 28–29–30 октября, прочла со сладкой болью в сердце более или менее внятное изложение речи сибирского парня.

Ангелина побросала в чемодан самые свои шикарные платья, отпросилась у новых хозяев и полетела в Россию. Добравшись до Кемерова, пришла в банк «Феникс» (или «Финист»? Так я точно и не запомнил) и сказала ошеломлённому её красотой директору (вскочив, он даже кресло на колёсиках опрокинул):

— Если я вам верну деньги, вы подадите на пересмотр дела?

Директор восхищённо заблеял что-то, но, опомнившись, признался, что он не может этого сделать, ибо его просто снимут с работы.

Ангелина, обрастая на улице телеоператорами и зеваками, зашагала в местную прокуратуру. Но там, то ли завидуя до сей поры прославившемуся молодому человеку, то ли очередной камушек у прокурора в почке зашевелился по причине тайного и глубокого пьянства, однако означенный прокурор заявил королеве красоты, что она была как бы в сговоре с молодым человеком. Вывод: или она немедленно улетает за границу, и он, прокурор, закрывает на это глаза, или — если дама будет упорствовать — в связи с новыми открывшимися обстоятельствами по делу гражданина Картошкина она должна дать подписку о невыезде, однозначно сдав юстиции свой загранпаспорт.

В ответ Ангелина швырнула ему свой синий (служебный) загранпаспорт и снова вернулась в банк. Она захотела узнать, может ли перевести со своего личного счёта в Женеве сюда, в Сибирь, деньги? Оказалось, нет. Сибирский банк такие операции не проводит. Деньги в связи с финансовым кризисом можно перебросить через Внешторгбанк, затем через Сбербанк, где Ангелина получит только рублями по минимальному курсу. Причём на это уйдёт около месяца.

Но то ли красавица так сильно загоревала по своему милому, то ли характером оказалась крутая, как истинная сибирячка, но она предложила свои услуги в качестве фотомодели местным ателье и магазинам одежды. Однако там из-за всё того же экономического кризиса ей могли дать только копейки. Тогда, как мне рассказал знакомый пройдоха-газетчик Илья Г., который бегал в Кемерове буквально по пятам Ангелины, — она пошла по богатым людям.

Новая Клеопатра дарила свои ночи молодым толстоносым парням с золотыми браслетами на ногах (говорят, они это носят с недавнего времени, чтобы в случае гибели их могли распознать в морге — грабители, как известно, снимают золотые

цепи с шеи и рук), ездила под охраной бывших «афганцев» из одного коттеджа в другой. Обезумевшие от её красоты графья и герцоги нашего времени осыпали её долларами и бриллиантами, перстнями и пятисотрублёвыми бумажками… За две недели Ангелина собрала двести двадцать тысяч долларов.

Этот знакомый газетчик подарил мне цветную фотокарточку, которую он сделал лично,—на ней изображена наша красавица—как раз только что вышедшая, надо полагать, с деньгами из очередного дворца в тайге. Стоит в туфельках на тяжёлом каблуке, в красном мини, на плечах сверкающая белая шуба. На прелестном полудетском личике нет и тени раскаяния, смотрит на вас, высокая, тоненькая, как будто искупалась в хрустальной воде—её никто не лапал, глаза сияют… (А может быть, это в них ярая печаль горит?) Скоро, скоро она вызволит из тюрьмы своего странного и удивительного возлюбленного…

Хочу сказать, что особенно привлекало многих—и меня—в ней: это некоторая неправильность её улыбки, лёгкая и милая асимметрия рта, как бы намекающая тому, на кого она смотрит, на их тайную близость. Но это—чуть-чуть, без перехода в низменное… Ибо она могла тут же и сурово глянуть, оскалив на секунду белые зубки, вмиг отстранившись и затосковав от всемирной пошлости людской.

А пошлости хватало—в одной газетке уже напечатали, что генерал ракетных войск подарил ей для поездок по городу лиловый «Феррари» с правами, которые в минуту ей оформил, а известный артист, получивший только что в Москве премию «Триумф», отдал её—почти всю—за одну ночь с красавицей…

Кончилось тем, что А. А. Беляева принесла деньги в кожаном чемоданчике в банк «Феникс» (или «Финист»?) и, небрежно бросив его на стол, поцеловала директора в лысину, после чего Пётр Васильевич, вторично опрокинув кресло на колёсиках, замычал в слезах, что преклоняется перед великой силой любви и лично просит суд (на этот раз Верховный) отменить решение областного суда. И при Ангелине написал и отправил факсом смиренную просьбу в Москву.

И, представьте себе, через полтора месяца, а именно 17 декабря сего года, молодой человек был вызволен решением Верховного суда из-под стражи.

И они с Ангелиной расписались в кемеровском загсе. Красавицу ждали на подиумах Парижа (оттуда прилетело уже много телеграмм!), звали в Лондон, а также пригласили в Москву знаменитые кутюрье Зайцев и Юдашкин. Наши патриоты выбрали Москву. Правда, в Москве, как поговаривают знающие люди, платят в десять раз меньше, чем за границей, но Ангелина почему-то наотрез отказалась возвращаться туда. Наверное, повлиял своими знаменитыми речами муж?

Кстати сказать, когда они прилетели в Москву, Сергею Картошкину прямо в аэропорту Домодедово представители трёх издательств—«Вагриуса», «Изографа» и ещё какого-то—предложили написать книгу о его любви, пообещав немыслимые деньги. Так получилось, я стоял рядом. Перед этим мы совершенно случайно познакомились с Сергеем в самолёте. Узнав его в лицо, я робко предложил выпить шампанского за его счастье (Ангелина дремала в соседнем кресле)… Он засмеялся, и мы подняли бокалы. И вот когда в аэропорту к нему пристали издатели, он вдруг с улыбкой показал на меня: он напишет!

—Только без права получения гонорара!—воскликнул я.

—Ну, как хочешь,—великодушно кивнул он.

Так что, заканчивая свои короткие записи, хочу попросить редакцию журнала «Наш современник», которая, кажется, проявила интерес к этой истории, в случае публикации переслать гонорар по адресу: г. Москва, к-9, до востребования, Картошкину Сергею Ивановичу. Другого адреса они мне из суеверия пока не дали…

А что происходит в нашем городе? Под Новый год из всех открытых в снегопад окон, во всех парках и ресторанах с мигающими лампочками с утроенной силой загремела песенка про сибирячку Ангелину. Да я и сам порой, когда жить не хочется, бормочу простенькие слова этой песенки—и некий волшебный свет загорается передо мной:

Ангел, Ангел, Ангелина,
унеси меня на небо
иль верни меня на землю,
поцелуем умертвив…
Буду я лежать под ивой,
хоть и мёртвый, но счастливый,
Ангел, Ангел, Ангелина—
мой божественный мотив!

Эльвира Частикова
Валерий Прокошин

Вечный диалог

Поэт Валерий Прокошин ушёл в феврале, не дожив до своего первого юбилея—50-летия, которое должно было исполниться в конце декабря 2009-го. Живший в калужском Обнинске, он, с одной стороны, обитал недалеко от Москвы и нередко наезжал туда, а с другой—так и не прибился к столичной тусовочной «стае». Да и стихи его говорят о том, что вряд ли при всём желании он мог бы этой «стае» соответствовать. Неслучайно Прокошина записал в «дикоросы первого призыва» собиратель талантов глубинной России, поэт Юрий Беликов. Валерий—автор нашего журнала, и его стихотворные публикации неизменно вызывали жгучий интерес читателей. Долгие годы одной из близких душ Прокошина была поэтесса Эльвира Частикова, с которой они часто издавали сборники «на пару», перекликающимся дуэтом. Отдавая дань памяти замечательному поэту Валерию Прокошину, мы посчитали возможным, перед тем как читатель погрузится в его стихи, опубликовать её мысленный диалог с ушедшим другом.

Редакция «ДиН»

«Жизнь мою отпустили морозы…»
(интервью, взятое после смерти)

Когда-то давно Валерий Прокошин написал: «У поэта всегда есть ответ, на который пока нет вопроса». Выходит, что никогда не поздно его задать? Даже сейчас, когда мне особенно не хватает Валеры, потому что на смену первой, ошеломляющей, сбивающей с ног вести об уходе является вторая—болевая, изводящая…

—Что же это такое, Валера?—спрашиваю я и наугад распахиваю его книгу «Между Пушкиным и Бродским».

«Я ушёл от всех, кого любил…»
с. 113

—Но как же так, почему?

«С точки зрения абсурда
В этом тоже есть успех».
с. 111

—Да уж, знаю я эту твою точку зрения. А с позиций реальной жизни?

«Жизнь нереальна, пока мы живём».
с. 74

—В моих руках как раз неоспоримый факт твоей жизни—стихи. Всё ли ты успел сказать?

«Я выдохнул полжизни прокуренным нутром».
с. 100

—На вторую половину не хватило воздуха, времени? Ты говорил, что за последний год не выдохнул ни строчки…

«Это время—просто пропуск
В мир несбыточный, как сон».
с. 51

—Но что-то же сбылось?

«Ментальность, харизма, дурные привычки, как встарь,
Способность к предательству, преданность делу и слову,
И слёзы, и ангельский стыд…»
с. 7

—Не всё хочется перечислять, так ведь?

«Не хочу вспоминать эти пьяные сны,
Явь с придурками, дом с дураками,
И почти несусветную «точку росы»…
Два в одном: Гоголь & Мураками».
с. 25

—Сны, может, и пьяные, а жизнь тебе выпала на редкость трезвая. «Продолжалось время простых человеческих драм»,—как ты сам написал в стихотворении «Акакий Акакиевич». Кстати о Гоголе. Мы как раз отмечаем его двухсотлетие. Что ты для себя понял, прочитав всего Николая Васильевича?

«Чтоб каждая тварь, чтобы каждую божию тварь
Любили, любили, любили любили любили».
с. 7

—Меня потрясают твои ответы. Сейчас они кажутся истиной в последней инстанции. Так и есть? Позволено ли тебе подавать знаки, посылать весточки нам?

«Текст не имеет силы той, что, допустим, свет.
Детской слезою или
Горстью февральской пыли
Ангел пришлёт ответ».
с. 53

—Эта февральская пыль, этот разлучный месяц… Как ты вычислил его, угадал, почувствовал? «Нынче февраль, как огонь пятипарусный, лик обжигает до слёз…»

«Здесь всё время зима,
Даже если стоишь
В трёх шагах от июля…»
с. 54

— Нет-нет, ты замерзал, не мог согреться, и всё время проговаривался про неотступность именно февраля: «С крыш сползает февральский парик», «За окном непролазная тьма, и февраль, и сугробы по пояс…», «А февраль поимел с пурги…», «Оставляя следы меж февральских сугробов из хлорки», «И февраль лошадиною мордой над нами покачивал…». Ты даже рассказал мне сон, который приснился тебе 17 февраля 2008 года. Ты видел себя юного, красивого, с длинными до плеч волосами — не в зеркале, а как живого персонажа, находясь рядом и будучи самим собой, уже зрелым человеком, но больным, облысевшим от «химии», сегодняшним. Этим сном с точностью до дня за год обозначена дата твоей смерти. Выходит, как поэт ты способен предвидеть?

«Здесь, посреди российских жгучих зим,
Так сладко быть среди своих чужим
И наблюдать за будущим с крыльца…»
с. 16

— Насколько я в курсе, ты не хотел знать своего будущего, даже чтобы оно случайно промелькнуло перед глазами. Тебе милее было оборачиваться назад — к прошлому. Потому что оно незыблемо и уже состоялось?

«Всё условно в этом мире, где враждуют половины,
Но библейские сюжеты так и ждут в конце пути.
Здесь над нынешним событьем вьются прошлые причины,
И легко уйти от жизни, а от смерти не уйти».
с. 26

— Увы! Но остаётся память…

«Память — это магический клей:
Скрип ведра или шорох полозьев,
Сытный запах пшеничных колосьев
И подсолнечных — с солью — полей…»
с. 90

— Вот мы и дошли до образа Родины. Здесь, как считают откровенные патриоты (к которым ты не относишься, ибо сокровенное не превращал в лозунги), ты наиболее уязвим. Они хотят умереть, до смерти боясь смерти, в России, а не где-нибудь. Ты же заявляешь: «В этой стране умирать не хочу», «Живущий в России — всегда обречённый», «Что мне эта дикая страна, что я — крайний?», «Ничего больше нет за душой, кроме родины этой чужой…», «Потому что за окном сегодня сплошь площадь Ленина и памятник ему». Чего ты не приемлешь?

«Нам с тобой никогда не уйти от советской судьбы…»
с. 80

— Бог с ней, с советской! Ты ведь — русский, и имеешь полное право говорить о русском всё по-честному. Главное, что ты думаешь, чувствуешь по-настоящему?

«На хрена нам русские отморозки,
К нам летает дымом из папироски
Шестикрылый наш Серафим Саровский».
с. 76

— Да, это прекрасно. Попутно ты приручаешь певчих птиц и предлагаешь «увидеть в подлиннике Россию». Я верю твоему «Как сладко… остаться в России — быть болью её».

«Отсюда уезжать — какой корысти ради,
Сжимая чернозём в отравленной горсти?
В Венеции — чума, блокада — в Ленинграде.
И Бог глядит в глаза — и глаз не отвести».
с. 94

— «Крещённый на дому у священника», православный, ты истинно верующий человек?

«Я верил всегда: жизнь сильнее молитвы,
Как сон перед битвой,
Как стон — после бритвы…»
с. 95

— Тот, в ком не сильна вера, легко может стать добычей тёмных сил. Тебя иногда так заносило, тянуло на какую-то чернуху… Что это?

«Помнишь, мы с тобой купили Книгу предостережений
Неизвестного японца — где-то в пензенской глуши?
После дьявольских сражений ничего не остаётся,
Кроме жирных пятен солнца на поверхности души».
с. 103

— Но сама душа знает направление?

«Во тьме не разглядеть, куда теперь грести,
Где Бога снежный след, а где безумье Блока?
И некому сказать последнее прости»,
с. 94

— Ты называл себя посредником между жизнью и смертью и, как теперь выясняется, чётко представлял, как всё будет. За день до твоей смерти мы разговаривали по мобильнику. «Кошмар — задохнуться», — сказал ты. Мне не даёт покоя, как ты уходил. Осознавая происходящее?

«Ослепший, упавший судьбы поперёк,
Хватая чужой кислородный паёк,
Во мрак погружаясь почти что библейский,
Я бился от боли, как рыба на леске…»
с. 95

— Валерочка, в таких случаях говорят: «Отмучился…» Примерно за месяц до… ты не выдержал и произнёс: «Умереть бы уж, что ли!» Но, несмотря на это, продолжал строить планы на март, апрель… Теперь мы за тебя должны осуществить их. Тебе ведь важно продолжение твоей жизни?

«Давит небо гекзаметром прошлой тоски
На виски. И всю ночь из-под чёрной доски
Осыпается вниз штукатурка.
Всё летал бы, и воздух ворованный пил,
И вынюхивал дым меж чердачных стропил,
Дым Отечества — Санкт-Петербурга».
с. 112

— Говорят, душа летает сорок дней, находясь на Земле, посещает любимые места. Ты можешь называть их и называть?

«Оглядишься вокруг —
Это Брянск или Керчь,
А, быть может, и вовсе Калуга…»
с. 54

— Значит, всё-таки в России?

«Есть страна, из которой давно и навек
Улетели все ангелы, чувствуя грех.
Небеса сыплют сверху то пепел, то снег…
……………………………………………
В той стране, где прошедшая жизнь не видна,
Только голый осенний пустырь из окна,
Я допил свою чашу до ржавого дна.

В той стране ветер треплет сухую полынь,
Медь церковная льётся в озябшую синь,
Я забыл её райское имя. Аминь».
с. 93

— Оно всплывёт само не только как география места, но и как твоя боль, и то, без чего немыслима твоя поэзия. Тебе уже не выпасть из своего времени и Родины. Зря, что ли, мы цитируем: «А в России всё снег, снег… И черней арапчонка земля под ним»?

«Что мне времени сивый кауркин бег,
Если вся история движется вспять,
Пусть в России по-прежнему снег, снег…
Слаще снега лишь слово с дурацкой ять».
с. 89

— Это когда сходятся все времена?

«К будущим судьбам струится река,
Речь настоящего сносит теченье,
Время растёт бородой старика…»
с. 74

— В нашей с тобой книжке-перевёртыше у тебя есть такие строки:

«Только ты не подумай обманчиво,
Что оплакиваю судьбу.
Просто жаль уходящего мальчика
Без единой морщинки на лбу».

А как мне жаль — и словами не выразить! Почему я ищу утешения именно у тебя?

«У поэтов нет ни строчки, исцеляющей от бед».
с. 26

— Ошибаешься. От тоски по тебе я лечусь твоими книгами, хотя у меня, как ты понимаешь, огромный выбор…

«Если можно выбрать одну из книг,
Я бы взял словарь иностранных слов».
с. 89

— Да ладно тебе! Кто-кто, а я-то знаю твои книжные пристрастия. Тебе лишь бы поразить в данную минуту, а на самом деле…

«У тебя в запасе есть Чехов и три сестры,
А за мной мелким бесом шляется Сологуб».
с. 68

— Не пугай меня! Я верю, что ты — на пути к раю: хотя бы за то, что не боишься шутить и разыгрывать.

«Не пугайся, это детство
Ускользает между пальцев…»
с. 67

— А как насчёт рая?

«Не заглядывай за погасший край.
Эту ночь делить нам с тобою не с кем.
Мы вернёмся в рай опустевшим Невским,
Мы вернёмся в рай, мы вернёмся в рай».
с. 87

— Я могу что-то сделать для тебя тут?

«Пусть последний нищий, припавший лицом к плечу,
За меня поставит копеечную свечу…»
с. 88

— Валерочка, 28 марта — как раз сорок дней… Это ведь уже весна.

«Что в эту ночь передать журавлю,
Мимо летящему?»
«Дождь — передай, передай — дежавю,
Только по-нашему».
с. 82

Валерий Прокошин

Рай остался внутри шалаша

Дом в темноте, как ребёнок, боится
Всякой пропажи земной.
Дому мерещатся пьяные лица,
Те, что приходят за мной.

Что их приводит: полночные страхи
Или сапожник-сосед?..
Въелись в обои в фабричном бараке
Эти четырнадцать лет.

Это из детства: над гнёздами люлек
Плыл керосиновый чад—
Мамы кормили из чёрных кастрюлек
Крепких барачных ребят.

После, напившись, плясали и пели
За полночь, возле крыльца.
Помню, как вглубь коридора глядели
Мутные очи отца.

Спьяну жильцы веселились до драки
И поджигали с углов—
Ярко горели ночные бараки
Семидесятых годов.

Это оттуда летит на ресницы
Пепел отцовских обид.
Дом в темноте, как ребёнок, боится
И до рассвета не спит.

Дом культуры. Советская хроника:
Тень и свет, свет и тень, тень и свет…
Жизнь, размытая взглядом дальтоника,
С четырёх до шестнадцати лет.

Как ночной мотылёк или бабочка,
Угодившая в тесный сачок,—
Чёрно-белая Красная Шапочка,
Чёрно-белый Иван-дурачок.

Как «Титаник», но с русскими ятями,
Выплывает сгоревший барак
И, скользнув по заснеженной памяти,
Погружается в сладостный мрак.

Свет и тень, тень и свет—это полосы,
Что бегут, и бегут, и бегут…
Чёрно-белые мамины волосы
Туго скручены в тоненький жгут.

Лента лжи извивается коброю,
Соблазняет нас красной ценой.
Мама верит в другую—загробную
Жизнь, которая будет цветной.

Этот город похож на татарскую дань
С монастырскою сонной округой,
Здесь когда-то построили Тмутаракань
И назвали зачем-то Калугой.

Сколько славных имён в эту глушь полегло.
Но воскресло в иной субкультуре:
Константин Эдуардович… как там его—
Евтушенко сегодня, в натуре.

Этот город, прости меня, Господи, был
То советский Содом, то Гоморра
Постсоветская: Цербер под окнами выл
В ожидании глада и мора.

Не хочу вспоминать эти пьяные сны,
Явь с придурками, дом с дураками,
И почти несусветную «точку росы»…
Два в одном: Гоголь & Мураками.
Этот город уходит в снега. На фига
Снятся мне в двадцать грёбаном веке
Тараканьи бега… тараканьи бега
И татаро-монголов набеги?

Т. Б.

Москва—ненадёжное русское место
Для жизни счастливой. И здесь, как известно,
Напрасны рыданья твои.
Но всё же за горстью туркменского плова
О бедной Татьяне замолвите слово
Хоть вы, Алишер Навои.

Ворона, щегол, воробей и синица,
Любая другая нездешняя птица
Поют на родном языке.
А четверо гуру из Третьего Рима
Забыли, что совесть непереводима
И лучше уйти налегке.

Ни книгой, которой названия нету,
Ни Рейном, впадающим медленно в Лету,
Ни хлебом из сталинской ржи.
Единственная среди тех, между прочим,
Кто лечь отказался на грязный подстрочник
В чужой азиатской глуши.

Февраль расплатился по липовой смете
В присутствии близких, при ангельском свете,
С бумажной иконкой в торце.
С двенадцати до половины второго
О бедной Татьяне замолвите слово,
Которое будет в конце.

Рай похож на огромный пломбир:
Сколько света кругом! Сколько снега!
Ангел кутает плечи в меха.
Я ещё не пришёл в этот мир,
Но в янтарной горошине века
Спит дитя — негатив человека
Без души, без судьбы, без греха.

Только Замыслу благодаря,
Тот апрель тайно лёг на распятье.
Рай остался внутри шалаша…
И расплавилась горсть янтаря:
Я родился, на волю спеша,
Раньше срока условного — в пятьде-
Сят девятом, в конце декабря.

Над Россией плывут облака,
Небо выгнуто заячьим оком.
Здесь, в забытом Генсеком и Богом
Городке с прописной буквы «К»
Рай похож на глоток молока.
Вечность бьётся, как рыба, под боком
Левым: жизнь младше смерти пока.

В небе лунный зазубренный нож
Превращается в яблоко солнца.
Через край полдень мёдом прольётся,
Насекомых гудение сплошь…
На губах — неостывшая дрожь
Поцелуя. И мама смеётся:
Рай на первое слово похож.

Вечность

В нас колдует и вечно дрожит
Жизни смысл, неразгаданный вроде.
Всё, что с нами порой происходит, —
Объяснению не подлежит.
Детство ли совершает балет
Или высшая звёздная тайность —
В этом мире случайностей нет,
Есть одна роковая случайность.
Наши дети не нам суждены,
Наши книги — ещё один случай —
Разгадать как привычную сущность
Под морозным наркозом луны,
Где нам жить и где весело плыть
Предназначено млечной улиткой.
Так весь век, пока прах наш и быт
Не окажется грустной улыбкой.
Сколько раз я пытался начать
Жить под собственный зов и беспечность…
До сих пор не сорвали печать
С тех дверей, за которыми вечность.

Сны размалёваны страшными красками —
Крымско-татарскими, крымско-татарскими…

Ночь пробежала волчонком ошпаренным,
Ты изменяешь мне с крымским татарином.

Горькой полынью — а что ты хотела —
Пахнет твоё обнажённое тело.

Соль на губах, на сосках, и в промежности —
Солоно… Я умираю от нежности.

Я забываю, что нас было трое.
В синей агонии Чёрное море.

Дальние волны становятся близкими,
Берег усыпан татарами крымскими.

День догорает золой золотою,
Чайки парят надувною туфтою.

Щурься, не щурься в замочные скважины —
Палехом наши оргазмы раскрашены.

Пусть я отсюда уеду со всеми,
Вот тебе, Азия, русское семя!

Смазаны йодом окрестности Крыма
В память о ревности Третьего Рима.

Как странно:
Песчинкою жгучего мрака
Прорвавшись сквозь ангельское забытьё
Апрельской любви двух людей из барака,
Родиться в России — стать плотью её.

Как страшно:
Когда не любили, не звали
По имени и предложили жильё
В каком-то обшарпанном полуподвале,
Прижиться в России — стать мясом её.

Как больно:
Однажды проснувшись средь ночи,
Увидеть в окне отраженье своё —
Из слёз, и дождя, и других многоточий…
Подохнуть в России — стать прахом её.

Как сладко:
Во мрак погружаясь, как прежде —
На самое донышко, в небытиё,
Не ведать, что это, быть может, надежда
Остаться в России — быть болью её.

Мы легко нарушаем границу обычной любви
под воздействием опия.
И в запретном пространстве на глупый вопрос:
«Was ist das?»
Я вокруг озираюсь, и вдруг понимаю,
что прошлая жизнь — только копия.
Настоящий роман начинается здесь и сейчас.

Мы сжигаем одежды — и в пламени лица мерцают
безбожными ликами.
Я по старому шву разрываю мистический рай:
Наша жизнь наполняется лаем, стрельбою, рыданьем,
молитвою, криками,
И разбуженный Штраус выплясывает: «Ein, zwei, drei…»

Я — полночный портье, и целуясь с тобой,
прижигаю соски сигаретою,
А потом твою плоть обжигает невидимый кнут.
Ты смеёшься в ответ — и схожу я с ума,
наслаждаясь картиною этою,
Прижимаюсь к тебе и кричу: «Alles!.. Alles, kaputt!»

И когда завершаются все превращения: ну, например,
головастика —
В лягушонка, а встреча с Христовой невестою — в стих,
У тебя на плече сквозь наколку креста проступает
фашистская свастика,
И ты шепчешь мне на ухо ласково: «Ich liebe dich».

Есть страна, из которой давно и навек
Улетели все ангелы, чувствуя грех.
Небеса сыплют сверху то пепел, то снег.

Там однажды открылась барачная дверь,
Внутрь вползла темнота, словно раненый зверь,
И внесла меня в адовый список потерь.

Для страны, погружённой навеки в январь,
Как древесный жучок — в прибалтийский янтарь,
Я — лишь выкормыш, выродок, выблядок, тварь.

В той стране, где прошедшая жизнь не видна,
Только голый осенний пустырь из окна,
Я допил свою чашу до дна.

В той стране ветер треплет сухую полынь,
Медь церковная льётся в озябшую синь…
Я забыл её райское имя. Аминь.

Ирина Левитес

Боричев Ток, 10

Мы остаёмся в Киеве

Под окном растёт каштан. Огромный. Поэтому в палате сумрачно. И душно: не разрешают открывать окно. Боятся, что кто-нибудь простудится после операции. На ветках качаются зелёные ёжики. Когда они упадут и разобьются, вылезут коричневые глянцевые каштанчики. Раньше Нина набивала полные карманы и увозила с собой. На память. Каникулы-то кончались. А теперь собирать не надо. Нину с Валеркой оставляют в Киеве. На целый год. Может, на два. А вдруг их оставят у бабушек навсегда?

— Чего плачешь? Уже не болит, два дня прошло,— над Ниной наклонилась нянечка.— Скоро мамка придёт.

Мама уже приходила. Вчера. Грустная такая. Гладила по голове, а потом сказала, что боится их на Сахалин тащить. Валерка маленький, а Нина после операции.

Ага, после операции! Подумаешь—гланды. Доктор обещал: «Через неделю будешь гопака танцевать». Неделя-то ещё не прошла. Говорить ужасно больно. А то бы она попросила: «Возьми меня с собой. Валерка—пусть. Он маленький. А я буду скучать. Сильно-пресильно». У мамы глаза стали мокрые. Тогда Нина скорчила смешную рожицу. Как у обезьянки в зоопарке. Мама улыбнулась и стала рассказывать, как они с папой быстренько устроятся, а потом приедут и заберут их. И снова ушла.

Конечно, всё правильно. У кого папа не военный, тот и в Киеве. Чики-тук, я в домике! Никуда переезжать не надо. Хотя интересно. Мы уже были во Владивостоке—раз! В Калинине—два! В Криничках—три! Теперь вот Сахалин. Это будет четыре.

Дома хорошо. В окне не этот надоедный каштан, а сказка. Почти вертикально вверх поднимается горка, на ней растёт целый лес, а на вершине стоит Андреевская церковь. Иногда она будто в небе летит. Когда туман горку закрывает. Не каждому такое везение—родиться и жить под церковью, в старом доме на Подоле.

Дом стоит на тихой улице. Называется смешно: Боричев Ток. Кажется, что письма по этому адресу никогда не придут. Но ничего подобного: почтальонша утром приносит и письма, и газеты, а часов в шесть «Вечерний Киев». В верхнем углу написано «Б. Ток, 10». Мама говорила: по преданию в этом месте князь Борис коней выводил.

Кирпичный дом давно построили. В девятнадцатом веке. Если войти в подъезд по старым ступенькам (верхняя косит и стёрта), то увидишь лестницу, которая ведёт вверх и вниз. Если спуститься вниз, там будут три квартиры. В них живут три таинственные семьи. Одна—прямо под Нининой комнатой. Поэтому бегать и топать, особенно в туфлях с каблучками, нельзя.

Во второй сидят и пьют чай совсем незнакомые люди. Или, скорее, неподходящие—бабушки не со всеми здороваются или разрешают разговаривать. Хотя очень хочется.

А в третьей капризничает Славик. Его окна прямо из полуподвала выходят на чёрный двор. Поэтому Славик, сидя на подоконнике вот только что у себя дома, чуть повернётся—раз!—и уже на улице. Нине и остальным детям ходить на чёрный двор строго запрещается. Там уборная, побелённая известью.

Справа от подъезда—арка, а в ней—две входные двери в квартиры с другой стороны. В одной вяжет кофты бабушка Эммы и Эдика. Они учатся в Ленинграде, а приезжают в Киев за фруктами и солнцем только на летних каникулах.

Все окна полуподвала до середины вросли в землю, но не от старости. Так надо. Дом-то на склоне стоит. А ручьи весной или после ливня туда не льются. Мутный поток несётся под аркой, на чёрный двор и катится к Днепру. Полукруглые выемки зацементированы. Если туда мяч бросить или прыгнуть, попадёт по первое число. Потому что людям неприятно, когда к ним сверху что-то сваливается.

Под крышей тоже несколько квартир. В одной прячутся толстая старуха Бася с таким же толстым мужем-стариком. Она еле-еле говорит по-русски, в основном объясняется на идиш, но соседки её прекрасно понимают. А толстый муж всё равно молчит. В другой делает уроки большая девочка Алла. Она на четыре года старше Нины, поэтому внимания на неё совсем не обращает. А мама у Аллы—учительница, у неё нос и щёки в красных ниточках-прожилках, и лицо поэтому совсем некрасивое.

Вообще взрослые люди красотой не отличаются: неповоротливые и одежду носят немодную. Вот, к примеру, тётя Паша-рыбачка, что живёт рядом с Ниной на одном этаже. Бельэтаже по-правильному. И не потому что там бельё часто стирают. Хотя бабушка Века часто стирает. Она бельё сначала замачивает на ночь в цинковом корыте. А потом долго кипятит на газе в выварке и всё время перемешивает, чтобы не подгорело. После этого сильно трёт простыни и наволочки на стиральной доске и мажет их коричневым мылом. Потом долго полощет и опускает бельё в голубую воду. В ней синьку растворяют, но только чтобы не было комочков, а то пятна останутся. В конце бельё кладут в крахмал. Не очень густой, но и не то чтобы

совсем жидкий. Средний такой крахмал. Ну и сушат во дворе на солнышке. Только не на чёрном дворе, там уборная пахнет. А перед окнами, на белом дворе, под Андреевской церковью, красавицей. Ну уж а потом гладят. У бабушки два чугунных утюга с дверцами: пока одним гладят, другой на газе греется. Бабушка говорит, раньше в утюг угли клали. Но Нина в такие древние времена не жила. Она живёт в наше время, советское. А дореволюционные времена — когда рабочих угнетали — это когда было? Сто лет в обед.

Так вот: бельэтаж — это не в честь белья. Это по-французски: бель этаж — прекрасный этаж. Нина живёт на прекрасном этаже, в прекрасном доме, под прекрасной церковью, в прекрасные, недореволюционные времена. И на этом прекрасном этаже жарят рыбу на подсолнечном масле тётя Паша-рыбачка и её муж, дядя Петя. Почему рыбачка? Потому что дядя Петя — рыбак. Он в Днепре на удочку рыбу ловит и на Житнем рынке продаёт. Потом выпивает рюмочку-другую и задумчиво поёт на весь дом: «Несе Галя воду…»

Тётя Паша и дядя Петя — неподходящее знакомство. Бабушки с ними не здороваются. А Нина ничего — даже заходит иногда из любопытства. У них есть кошка, единственная во всём доме. Кошке рыба нужна.

Рядом с рыбацкой квартирой — троюродная бабушка Лена. У неё племянник Алик. Старше Нины на пятнадцать лет, поэтому он самый настоящий дядя. Квартиру Нины от Лены-Алика отделяет фонарь. Это такая сквозная шахта через весь дом. Заканчивается на крыше стеклянной пирамидой. Придумано для того, чтобы в кухни свет попадал, а дождь, наоборот, не попадал. В кухне у Нины и Лены-Алика окна в фонарь выходят. Поэтому когда в комнате в окно смотришь, Андреевскую церковь видишь. А когда в кухне — Алик умывается или Лена ленивые вареники делает. Но это никому не мешает. Можно было бы занавески повесить. Но их никто не вешает. А зачем? Утром выйдешь: «С добрым утром!» И красота. И никого особо не смущает, что в кухне ночной горшок стоит, и им даже взрослые пользуются. Хотя за дверью, в маленьком коридорчике, туалет есть. Но наши туда не ходят. Только Нина иногда исподтишка. Потому что полквартиры занимает враг — Зина. Она враг настоящий, не то чтобы неподходящее знакомство.

Когда бабушка Века с мамой из эвакуации приехали, а бабушка Лиза с фронта вернулась, оказалось, что в квартире, в которой три поколения семьи жили, появились Зина с маленьким сыном. Бабушке Лизе, как фронтовику, полагалась её довоенная жилплощадь. Но бабушка Зину пожалела и гнать с ребёнком не стала. Вот и поплатилась: Зина оказалась склочной, как базарная торговка, и вопила проклятия по любому поводу. А самое ужасное — почём зря лупила своего ненаглядного сыночка. Бабушка Лиза однажды заступилась за него на свою голову и с тех пор была зачислена в злейшие враги и лишена вместе со всем семейством доступа в места общего пользования. Сын вырос и к маме не приходит. Вот пусть и сидит там одна.

Напротив ещё одна дверь, а за ней две кукольные квартирки и одна настоящая. В маленьких обитают тётя Фира и тётя Голда. У Фиры игрушечная кухонька и комнатка с кучей сокровищ: куклы, статуэтки, вышитые подушки, фигурки, игрушки. Смотреть можно, а трогать — нет.

Голда — портниха, но старательно это скрывает. Когда Валерке было три года, шила ему брюки — настоящие, как у мужчин, с пуговицами на ширинке. Закрывала дверь на засов и никому не открывала, на машинке строчила ночью, а потом умоляла, чтобы ни одна душа не узнала. Сильно она боялась фининспектора.

А в самой большой квартире — Лера и Женя. Две самые главные девочки в мире. Во-первых, они многоюродные сестры Нины. Во-вторых, они старше: Лера на два года, а Женя на четыре. В-третьих, они очень умные и никогда не говорят глупостей. В-четвёртых, они не толстые. В-пятых, у них есть ноги. (Настоящие, а не бесформенные колобашки.) В-шестых, с ними дружат мальчики из очень хороших семей. В-седьмых, они сами решают задачи по математике. В-восьмых, у них есть чувство юмора. В-девятых, они безукоризненно воспитаны. В-десятых, их всегда и во всём ставят Нине в пример. Хотя это не имеет никакого значения, потому что Нина их любит просто ужасно! И их маму — тётю Олю — тоже. А также папу, двух бабушек и дедушку Сему. Хотя он сердится, что Нина бегает по сто раз и надо открывать дверь.

Но теперь ему придётся привыкать. Нина и Валерка остаются в Киеве…

«Можно» и «нельзя»

Нельзя покупать яйца для клоуна за рубль двадцать. Надо за шестьдесят копеек. Для клоуна десяток яиц не нужен, ему и одного хватит. Бабушка Века дала шесть копеек. Нина сбегала вниз на Жданова и купила в гастрономе одно яйцо, а потом осторожно перешла дорогу, как бабушка Лиза учила: «Сева — налево, а Клава — направо». То есть вначале надо посмотреть налево, а потом, дойдя до трамвайных путей, — направо. Пошла вверх по Игоревской. Потихонечку, чтобы не упасть. Игоревская крутая, она почти что лестница, а не улица, так много на ней ступенек. Они начинаются не сразу, а постепенно: по две, по три. А на самом верху целый ступенечный залп. Та-та-та-та-та-та-та! Можно споткнуться и разбить яйцо. Тогда клоун не получится. Больше денег не дадут. В яйце надо аккуратно проколупать дырочку и вытряхнуть белок с желтком в чашечку. Потом бабушка Века гоголь-моголь сделает. Бе-е-е! Скорлупу внутри промыть водой, тонкой струйкой, пущенной из крана. Потом высушить на подоконнике, прислонив к вазону с китайской розой. И, наконец, постелить вчерашнюю «Правду» на стол, взять акварельные краски, баночку из-под майонеза с водой, самую тонкую колонковую кисточку, выпрошенную у Жени, и… Хлоп! Вот так всегда…

Нельзя ходить в гости с насморком. Неприлично носить инфекцию людям. И к себе никого не пускать, если заболел. Надо позвонить по телефону и вежливо сказать: «Не приходите! У нас

зараза!» Лене в окно-фонарь на кухне стукнуть и предупредить. Она тогда испугается и начнёт спрашивать, какие продукты купить. Тёте Оле, Лере и Жене в окно на улицу покричать, только тихо. Громко кричать тоже нельзя. Подкараулить, когда они во двор выйдут, и тогда тихо покричать. А дядю Мишу караулить не надо. Ему Оля скажет.

Нельзя пить некипячёную воду. Кипячёная всегда есть в прямоугольной бутылке тёмно-коричневого стекла с плотно притёртой крышкой. Откуда она взялась такая, медицинская? Бабушке Лизе, наверное, на работе подарили. Утром и вечером бабушка Века ставит эмалированный, зелёный в белых крапинках, чайник на плиту. Зажигает под ним голубой дрожащий цветок с жёлтыми лепестками и ждёт, когда из носика пойдёт пар. Потом снова ждёт — когда остынет. Тогда уж наполняет бутылку. Вода из неё чем-то странным пахнет. Больницей, что ли? Но из-под крана напиться никому в голову не придёт. Всё равно что из лужи. И можно запросто умереть. А вот интересно: почему бабушка Лиза на фронте даже из болота пила — и ничего? Однажды на дне котелка оказалась сваренная лягушка. Значит, вода всё-таки кипячёная была…

Нельзя делать ветер. Если одна бабушка стелет постель и нечаянно взмахнёт одеялом, другая непременно вскрикнет: «Не делай ветер! Тут же дети!»

Нельзя быть в кухне, когда бабушка Века готовит хрен. Она надевает старые очки и обматывает голову платком. Бегать с улицы домой всё равно через кухню, поэтому видно, как обмотанная бабушка быстро-быстро трёт белые корешки на тёрке, а потом ложкой складывает квецю в баночки. Может, она ещё что-то делает, но приходится прошмыгивать.

Нельзя топать, хлопать, скакать как коза, бегать как скаженная, когда бабушка Лиза печёт заварные пирожные. Они очень капризные и могут не подняться. Тогда все труды насмарку. И пирожных не будет, и бабушку жалко. Она взбивает тесто. Кряхтит и даже подстанывает. Нина сто раз хотела помочь, но бабушка говорила: «Всё испортишь, я тебя знаю».

Нельзя говорить пошлости. Нина сидела в кухне у тёти Оли, а Женя сказала: «Некогда мне тут с вами, пойду «Апрельские тезисы» конспектировать». Лера спросила: «Это Карл Маркс сочинил?» Тётя Оля ответила: «Ленин. У меня в институте по истории КПСС всегда пятёрки были». Нине тоже захотелось сказать что-нибудь умное и принять участие в беседе интеллигентных людей. Она сразу вспомнила маленького кудрявого мальчика в центре октябрятской звёздочки и кокетливо вздохнула: «Ах, Ленин! Он такой хорошенький!» «Нинка, не говори пошлостей», — поморщилась Женя. И все её поддержали. Нине стало стыдно, что она такая пошлая…

Нельзя быть тимуровцем. Один только раз была, вместе с Ирочкой Лубан. Нину после этого бабушка Века тёрла мочалкой в корыте и почти что шпарила кипятком. Ирочку неизвестно как тёрли и шпарили, потому что её два дня на улицу не выпускали, а потом как-то забылось. Не будешь ведь через два дня человека спрашивать: «Тебя сильно мыли?» В тимуровцы они сами записались. Точнее, распределились: Нина — Тимур, а Ирочка — команда. Они пошли помогать детям, которые жили в угловом доме, на первом этаже. Грязные дети вечно сидели на подоконнике открытого окна и явно нуждались в помощи. Нина стянула из плетёной корзины под столом два яблока-малиновки, а Ирочка вынесла под фартуком три кусища пирога. Её мама, тётя Маша, хорошо печёт. Ирочка и Ромка вон какие круглые… Грязные дошколята прямо на подоконнике умяли и пироги, и яблоки, а их старшая сестра, ровесница Нины, разрешила гостям влезть в окно. Гости огляделись — и давай порядок наводить. Заодно и познакомились. Старшая сестра тоже Ирой оказалась. Такая уж вышла мода двенадцать лет назад. Из-за этой моды получилось не разбери-поймёшь. Приходилось к имени фамилию пристёгивать. Иначе в этих Ирах запросто можно было запутаться. Малышей звали Минька и Ванька. Ох и чумазые! Решили в следующий раз их обязательно выкупать. А пока сложили стопками тряпьё, разбросанное где попало, чисто-начисто вымели пол и перемыли завалы посуды. Жаль, что Ирочка Лубан маме проболталась. Тимур остался без команды. И без сладкого…

Нельзя часто открывать холодильник. Во-первых, из него идёт холод. Можно простудиться. Во-вторых, он может сломаться. Ему вредно быть открытым. А он-то новый!

Нельзя есть сразу из холодильника. Ничего! Даже творог или сметану. Надо поставить на стол и ждать, когда согреется.

Нельзя без взрослых ходить на пляж. Всё равно ничего не выйдет: на пешеходном мосту через Днепр стоит милиционер и смотрит. Если дети идут одни — не пустит. Пробовали уже. Нарочно забегали впереди Оли — вдруг получится? Не получилось. Вот и приходится ждать полвоскресенья, пока Оля соберётся. Дзюбик хвастался, как он пристроился к чужой тётеньке и вместе с ней прошёл…

Нельзя дружить с Ромкой! Он стрельнул из лука отравленной стрелой! Отравил в помойном ведре. Не думайте, не понарошку! Прямо макал туда. А потом как будто стрелял в кота. Ага, в кота! Как же! Стрела как воткнулась прямо в руку! Хорошо, что бабушка Лиза — фельдшер. Вытащила и зелёнкой намазала. Сильно щипало. Ну, этот Ромка получит!

Нельзя лазить на шелковицу в соседнем дворе. Хотя очень легко: встать на сучок, потом в дупло, подтянуться повыше — туда, где висят чёрные пупырчатые ягоды. Они красят руки и рот в несмываемый синий цвет, и бесполезно оправдываться, что это Ромка угощал, — всё равно влетит.

Нельзя драться с Валериком, хотя очень сильно хочется. Нормальные люди не дерутся с младшим братом. И его всё-таки немножко жалко. Когда его на улице хотел утащить незнакомый страшный дядька, Нина так вцепилась, что ехала на сандалиях. Аж застёжка оторвалась. Дядька испугался

и Валерика отпустил. Мама потом не поверила, что Нина брата спасла. Засмеялась и сказала: «Кому он нужен?»

Нельзя слушать разговоры взрослых, касаться спинки стула, читать с фонариком под одеялом, пришивать пуговицу на себе, есть мороженое большими кусками, «ктотамкать», когда за дверью никого нет, выносить мусор после заката, брать без спроса печенье в буфете, купаться в Днепре на полный желудок, играть с фарфоровой куклой, сидящей на шкафу для красоты, гулять под дождём, стоять на сквозняке, играть на сырой земле, сидеть на солнце…

А всё остальное — можно!

Два новых пальто

Осенью купили пальто Валерику. Красивое, драповое, в рубчик. Немножко тяжёлое, зато тёплое. На ватине потому что. Для этого второклашки чересчур шикарное: и пуговицы в два ряда, и карманы, и даже хлястик на спине. А воротник! Чудо что за воротник: цигейковый, полированный, коричневый. Аж глаза слепило от такого великолепия! Пришлось ещё шапку такую же покупать. Не ушанку, конечно. Молодой ещё. Оля нашла в «Детском мире» шлемоподобную малышовую шапку и уговорила Валерика, что это будёновка. После того как дядя Миша прицепил солдатскую кокарду, Валерик был полностью удовлетворён и даже счастлив. От счастья утратил бдительность и не заметил, что бабушка Лиза вероломно пришила к ушкам резинку. Она припечатывалась щелчком на макушке. Как у дошколёнка.

Получился Валерик в обновках красавчик. Хоть на выставку. Главное — сразу видно: мужчина. Раньше-то его за девочку принимали. Как встанет незнакомая толстая тётка посреди улицы да как начнёт причитать: «Он, бач, яки гарни очі! Яка гарна дівчинка!» Валерик злился, смотрел исподлобья. Зато теперь его никто с девчонкой не спутает. Несмотря на то, что огромные карие глазищи с длиннющими ресницами никуда не делись. И кажутся в новой шапке ещё больше. Будто совёнок проснулся и любопытно смотрит: что новенького?

Но мысли про совёнка посещали окружающих. Себе Валерик в зеркале казался мужественным и суровым. Он надевал пальто и шапку, хмурил брови, выпячивал подбородок и слегка прищуривал глаза. Пытался дотянуть до образа пограничника Карацупы. Не мог дождаться первого снега, чтобы уже показаться народу в героическом виде.

Как назло, мокрая хлюпающая осень тянулась бесконечно. Каждое утро Валерик бросался к окну, но лес на горке виновато разводил голыми ветвями. Приходилось напяливать опостылевшее осеннее пальтецо идиотского кирпичного цвета, синюю вязаную шапку с помпоном и идти выслушивать оскорбления про гарну дівчину.

Неудовлетворённость породила стремление к действиям. К каким-нибудь уже мужским поступкам, чёрт возьми (каррамба, доннер-веттер, сто тысяч чертей)! Валерик совершил побег. Пошёл как будто в школу, унизительно держась за Нинкину руку. А потом сбежал. Дождался, когда Нинка со своими дылдами-одноклассницами трещать начнёт, и улизнул. В другую сторону. Собственно, другая сторона давно манила и звала. Туда указывал рукой фанерный Ленин. Во избежание недоразумений он стоял на гигантских буквах: «*Путь к коммунизму!*» Валерик посчитал, что найденный коммунизм будет достойной компенсацией за невозможность надеть настоящую мужскую одежду.

И пошёл. И пропал. Появился к вечеру, когда уже все с ног сбились. И честно рассказал, что ходил искать коммунизм.

— Нашёл? — в один голос спросили три бабушки, тётя, дядя и Нина.

— Не-а. Там уже маленькие домики начались — и никакого коммунизма.

Что было дальше — понятно. Ругали, кричали, обещали наказать. Но как наказывать — неизвестно. В угол не поставишь. Всё занято. В большой комнате в одном углу буфет, в другом — бабушки Лизы тахта, в третьем — бабушки Веки кровать, в четвёртом — печка. В проходной тёмной комнате ещё хуже. В одном углу — книжный шкаф, в другом — сундук, в третьем — Нинкино раскладное кресло, в четвёртом — снова та же печка, но с другой стороны. А в кухне только Валерки не хватало! Тут и раковина с водопроводным краном, и газовая плита с кипяточными опасными кастрюлями, и вешалка с одеждой, и холодильник «Саратов», и окно-фонарь к Лене и Алику.

— Может, его в фонарь сунуть? — задумалась Нина.

Но её идея даже не рассматривалась. Вот и получилось, что Валерку опять не наказали.

На следующий день выпал долгожданный снег. Ура! Причём ура дважды! Потому что совпали снег и воскресенье. Нина и Валерка стали собираться в кино. На утренний сеанс. Вчерашние попытки наказания уже забылись. Ведь снег же!

Сначала нарядили Валерку и выпустили во двор. Бабушки любовались им в окно. Он стоял. Гордый. Независимый. Мужественный.

Вышла Ирочка Лубан и остолбенела от такой красоты.

Вышел Славик и удивился.

Вышла тётя Голда и умилилась.

Вышла тётя Фира и восхитилась.

— Ой… — расстроилась Нина.

Бабушки оторвались от сказочной картины за окном и повернулись к Нине.

— Да… — расстроились бабушки.

И было отчего расстраиваться. Прошлогоднее зимнее пальто подскочило. Подпрыгнуло. А руки и ноги остались снаружи.

— Когда ж ты успела так вырасти? — удивилась бабушка Лиза.

— Придётся занимать деньги у Лены. Или у Фиры. Или у Оли, — решила бабушка Века. И заставила надеть две кофты. Чтобы не замёрзнуть до завтра. А завтра надо купить новое пальто. Если удастся занять денег.

До кинотеатра так и не дошли. Валерик решил, что раз уж он такой взрослый мужчина, незачем держаться за руку старшей сестры. Он шёл, сунув

руки в карманы, независимой походкой. Гордился, расправив плечи и высоко подняв голову. Гордился, пока шли по двору. Гордился, пока спускались по Игоревской. И даже немного успел погордиться на Жданова. А потом гордиться перестал. Глупо гордиться, когда ты по уши в цементе. И с тебя течёт серая жижа. И прохожие с опаской обходят стороной. Эх!

— Э-э-эх…—безнадёжно протянула бабушка Века, махнув рукой, хотя цемент с Валерика уже не капал. Застывал понемножку, пока возвращались домой.

Бабушка, вложив в протяжное «э-э-эх…» всё своё разочарование, повернулась к внукам спиной и уже пошла было в комнату, но, остановившись на пороге, бросила через плечо самое страшное ругательство:

— Свинота!

— Что такое?—вышла бабушка Лиза и больше ничего не сказала. Но такое грустное недоумение застыло на её добром лице, что Нина заторопилась:

— Не бойся, ба! Я сейчас всё-всё ножом отскребу.

Вытряхнула Валерика из заскорузлой оболочки. Наподдать бы ему как следует! Некогда. Цемент стынет. И принялась скоблить ножом бывший великолепный драп в рубчик. Потом бывший чистый пол. Потом табуретку. Тьфу!

Пальто стояло, согнув рукава, довольно-таки нахально привалившись к стенке.

После обеда, прошедшего в траурном молчании, собрали совет. В малом составе: бабушка Лиза, бабушка Века, бабушка Лена и тётя Оля. Нина в совет не входила, но имела совещательный голос. Валерик, как маленький и кругом виноватый, права голоса не имел, но и не изгонялся, поскольку некуда. И не в чем. Ситуация казалась сложной. Практически неразрешимой. Купить сразу два зимних пальто!

Но! Когда Оля берёт дело в свои маленькие крепкие ручки, даже самая неразрешимая ситуация сдаётся без боя. Потому что есть шуба! Хорошая цигейковая шуба! Когда родилась Женя, дедушке Семе как передовику производства разрешили один раз отовариться в закрытом распределителе. И он-таки отоварился! И купил шубу. Которой нет сносу. Её носила Женечка, слава богу. Потом Лерочка. А почему её не носила Ниночка? Потому что шуба скакнула к Мишеньке. И Мишенька её носил, слава богу, пока не подросла Леночка. Но теперь уже Леночка тоже выросла—и какое счастье! Какое счастье, что её уже может носить Валерик!

— Девчонскую? Не буду!—из-под стола проявил твёрдость мужского характера Валерик, хотя после ямы с цементом сидел бы уже и молчал, честное слово!

— А Мишенька? Мишеньку ты не учитываешь?—накинулась Оля на племянника.—И пристегнём её солдатским ремнём!

Мишенька вместе с солдатским ремнём оказались убедительными. Валерик сдался и притих под столом.

Покончив с первым вопросом повестки дня, перешли ко второму. Решили просить Тамару пойти с Ниной по магазинам и выбрать пальто. Почему именно Тамару? Могла бы пойти бабушка Века, как самая мобильная из бабушек. Или бабушка Лена, как менее мобильная, но всё ещё изредка выбирающаяся в магазин водников, где, как известно, выбрасывают хорошие вещи. Бабушка Лиза пойти не могла. Она вниз с Боричева Тока не спускалась. Ей тяжело потом назад подниматься. Зато могла пойти Оля. Но она не хотела. Потому что у Тамары вкус. Вот пусть идёт и сама покупает.

Нина обрадовалась. Втайне. Если бы она показала свою бестактную радость, Оля обиделась бы. Но у тёти Тамары, маминой школьной подруги, действительно вкус! Наверное, поэтому она до сих пор не вышла замуж. Жениха выбрать—это вам не пальто. А ведь она очень хорошенькая. Волосы золотые и вьются баранчиками.

Тётя Тамара отнеслась к поручению ответственно. Вместе с Ниной пошла в Подольский универмаг, потом в магазин водников, потом в «Детский мир», потом на трамвае поехали на Крещатик, потом на троллейбусе на Печерск, потом на автобусе на площадь Победы…

Везде пальто были. Одинаковые. С коричневыми цигейковыми воротниками. С отстроченной кокеткой, а на ней—бантик из той же пушистой ткани, что и всё остальное пальто. Цвета, правда, были разные. Синий, серый и чёрный. Тёте Тамаре пальто не нравились. Особенно пушистая ткань.

— Одеяло!—презрительно бросала она продавщицам.—А нет ли чего поприличней?

Поприличней нашли. Одно. На Печерске. Но оно оказалось слишком большим. Вернулись ни с чем. В планах у тёти Тамары была поездка на Куреневку.

— Что такое? Почему ничего не купили?—удивилась тётя Оля.

— Ничего хорошего не было,—созналась Нина.—Одно нашли, только большое. За двадцать два рубля.

— Что-о-о?! Двадцать два рубля? Да пусть оно говорит ко мне стихами, я его не куплю! Двадцать два рубля! Когда можно купить по тринадцать! Или даже одиннадцать!—воинственно воткнула руки в боки Оля, возмущённая неслыханным мотовством.

Устав от пальтовой темы, взяла Нину за руку, повела в Подольский универмаг и выбрала в детском отделе замечательное тёплое синее пушистое зимнее пальто.

— Прекрасно! Как на тебя шито!—с удовлетворением сказала Оля.—Заверните!

И покупку завернули в хрустящую коричневую бумагу, перевязали бечёвкой и дали Нине. Она не стала цитировать тётю Тамару про одеяло.

Во-первых, устала от беготни по магазинам.

А во-вторых, ей пальто понравилось.

Из пункта А в пункт Б

Решение с ответом не сходилось. Пришлось бежать за помощью к Лере. Она задачку быстренько расщёлкала, как орех, и путешественники благополучно прибыли в пункт назначения, несмотря на то, что один плёлся пешком и разглядывал по пути всякие лютики-цветочки. Зато второй летел

стремглав на велосипеде, потренькивая никелированным звоночком. Лера не только написала три действия, но и нарисовала схему движения пешехода и велосипедиста, так что Нина всё поняла и даже захотела, чтобы её завтра вызвали к доске.

Утро началось с веселья. Валерик Дзюба, в обиходе просто Дзюбик, выдал очередную концертную программу за первой партой, куда его посадила классная из-за вечных двоек. Он повернулся к Нине и Наташе Гейсман, всем известной хохотушке, и стал изображать Григория Яковлевича, учителя рисования: как он портрет рисует, и глаза у него съезжаются к переносице от усердия. Маленький вёрткий Дзюбик умел превращаться то в рассеянную старушку, то в бравого пожарного, то в склочную торговку с Житнего рынка. Девочки повизгивали от восторга. Дзюбик, вдохновлённый успехом, «на бис» показал, как Димка Лобов вяжет шарф, считая петли, и не замечает, что уже весь обмотан своим бесконечным произведением. Как он умудрился превратиться в добродушного медлительного увальня — загадка, но сходство оказалось настолько убедительным, что Нина и Наташа опять зафыркали.

— Ой, не могу! Валерик, покажи старьёвщика, — упрашивала Наташа. — Ну миленький, ну Дзюбочка, ну что тебе стоит?

— Стары веш-ш-ч, — сгорбился и зашипел Дзюбик. — Бером стары веш-ш-ч. Чёрт! Забыл! Задачу решили? Я же хотел списать. Давайте, быстро!

— Идёт! — Димка Лобов, карауливший у двери, ринулся на своё место.

Шестиклассники вскочили, с грохотом откинув крышки парт, и вытянулись.

— Здравствуйте! — окидывая класс цепким взглядом, молниеносно выхватывающим малейший непорядок — неприглаженные вихры, развязанную коричневую ленточку или неуместно белый капроновый бант, — поздоровалась учительница и разрешила: — Садитесь!

Класс повторно грохнул крышками и затих. Все сидели как всегда: руки сложены строго параллельно краю чёрной лакированной парты (снизу — левая, сверху — правая), спина прямая, взгляд немигающий. Как кролики перед удавом. По-другому у Марксины Яковлевны Берман сидеть не позволялось. Стоило кому-нибудь ручку уронить или к соседу повернуться — всё! «Крокодилы! Бегемоты! Как твоя фамилия? Задомнапердский? — кричала Марксина, расцветая алыми пятнами. — В Биробиджан поедешь!» Биробиджан у Марксины был самым страшным проклятием и предназначался в основном самым отпетым двоечникам и тупицам, но и отличники туда периодически посылались.

— Поднимите руки, кто домашнюю задачу не решил. Так… Лобов? В Биробиджан поедешь, Лобов! (Лобову в Биробиджане точно делать было нечего, но Марксину это не смущало.) Ещё кто? Так… Хорошо. К доске пойдёт…

Марксина держала паузу над раскрытым журналом. Было так тихо, что слышался шорох карандаша, ползущего по списку. Вот он спустился до Яновской, остановился и пополз вверх…

— Дзюба!

Класс выдохнул. Бедный Дзюбик поплёлся к доске, взял мел и принялся спасаться от Марксининого гнева. Сначала он сложил путешественников. Один плюс один, получилось два. Потом стал делить расстояние от пункта А до пункта Б на двоих. Получилось справедливо. Поровну. Судя по всему, он вот-вот должен был отправиться в таёжный комариный край.

Нина не выдержала и шепнула:

— Сорок восемь разделить на…

— Дзюба — два! Садись. Нечего уши развешивать! — разозлилась Марксина. — И Одельская — тоже два! За компанию. Дневники на стол!

И залепила жирные красные двойки на три клеточки, захватив ни в чём не повинные историю и ритмику, чётко выведя рядом каллиграфическое *М Берман*. Дзюбик плюхнулся на деревянную скамью перед Ниной. Его оттопыренные уши пылали, сравнявшись по цвету с треугольником галстука, криво съехавшего на спине. Щёки Нины, наверное, были того же революционного оттенка — она чувствовала, как заливается ненавистным румянцем.

Дома бабушки расстроились. Испугались: ещё бы, первая двойка! Да ещё такая огромная! Растерялись: родители на Сахалине, что делать — неизвестно. Послали Нину за тётей Олей. Та прибежала, на ходу вытирая руки полотенцем, и внимательно выслушала Нинины оправдания и бабушкины стенания. Наконец, после тщательного анализа мельчайших деталей — кто где стоял, кто где сидел, кто что шептал и с какой скоростью двигались путешественники, решительно объявила:

— Завтра пойду извиняться перед уважаемой Марксиной Яковлевной.

Марксина и вправду была уважаемой. Никто в Биробиджан до сих пор не отправился, зато выпускники математику знали так крепко, что могли сражаться на вступительных экзаменах в вузы, невзирая на пятую графу. Оля её нисколечки не боялась, потому что Лера и Женя ловили математику на лету. Их авторитет должен был распространяться на Нину. Да так оно и было. Двойку Марксина влепила сгоряча, что являлось очевидным. Но по законам внутришкольной политики полагалось извиняться.

Оля поймала Марксину на большой перемене. Рядом в качестве объекта для воспитания стояла Нина, опустив голову.

— Здравствуйте, Марксина Яковлевна! Вот, зашла узнать, как наши успехи. Это моя племянница, — бодро произнесла Оля, слегка подталкивая Нину в спину, чтобы ещё раз напомнить про тень авторитета. Вдруг учительница забыла, что Нина — девочка из хорошей семьи.

— Знаю, — сухо кивнула Марксина.

— Ниночка вчерашнюю задачу решила. Но почему-то получила двойку, — прикинулась плохо информированной Оля. В дипломатических целях. Вдруг Марксина уже раскаялась и двойку зачеркнёт. Дескать, извините, ошиблась. Но учительницу не так-то просто было сбить с твёрдо выбранного пути.

— Нет, вы понимаете, что меня возмутило? — Марксина сурово сдвинула брови, чтобы оправдать правильно поставленную двойку. — Что девочка из приличной семьи подсказывает этому двоечнику! Этому архаровцу! Этому отбросу! Который не учится! Который я не знаю что!

Ага! Значит, она всё-таки помнит, из какой Нина семьи! Чья она многоюродная сестра! Но Дзюбика жалко. Маленького, тощенького, легкомысленного Дзюбика. Учителя не знали, что в самом деле он никакой не тупица, а очень даже остроумный. С ним так весело болтать! Ему не запрещают свободно носиться по городу. Из странствий он приносит невероятные истории и вываливает целый ворох на одноклассников, которые вынуждены покорно ждать, когда взрослые переделают свои скучные дела и поведут в зоопарк, ботанический сад или планетарий.

— Извините! Простите! Она больше не будет. Нина, скажи, что ты больше не будешь!

— Не буду…

— Что ты не будешь? — ещё грознее сдвинула брови Марксина. — Отвечай полным ответом!

— Не буду подсказывать Дзюбе…

— Именно! Этому бездельнику! Этому тупице! Этому босяку! Этому я не знаю что!

— Она больше не будет. Я за неё отвечаю, — сказала тётя.

Намекнула, что натренировалась на воспитании отличниц — Леры и Жени. Поэтому опыт и мастерство автоматически распространяются на Нину, превращая и её в гордость школы. Заодно дала понять, что племянница на её попечении. А чтобы учительница окончательно прониклась, добавила недостающие штрихи:

— Ниночка у бабушек живёт. Родители на Сахалине.

Марксина подозрительно посмотрела на ученицу, до сих пор ничем не выделявшуюся из чёрно-коричневой массы, оживлённой красными мазками пионерских галстуков. «Сахалин» звучало пострашнее «Биробиджана». Нечто совсем уж запредельное, куда приличные люди не попадают. Приличные люди живут в Киеве. Преимущественно на Подоле.

— Отец военный, — пояснила тётя.

Марксина сочувственно покачала головой. Военных отцов вечно посылают к чёрту на кулички. Тут возникает вопрос: можно ли считать военных приличными людьми, если они вынуждены постоянно отрываться от Киева? Наконец, поуверяв друг друга во взаимном уважении и отчасти преданности, Марксина и тётя распрощались. Напоследок учительница выразила уверенность в том, что Нина никогда больше не будет подсказывать этому двоечнику, этому ослу, этому гопнику, который гоцает на переменах, а у доски молчит, как дубина.

Тётя, прижимая для усиления искренности руки к груди, полностью разделяла мнение уважаемой Марксины Яковлевны.

Накланявшись, тётя потащила малолетнюю преступницу в угол вестибюля и, не откладывая дела в долгий ящик, выдала ей по первое число. Ух, и разозлилась же она! Глаза сверкали, щёки горели, пушистые чёрные волосы выбились из узла.

— Нинка! Ты что себе позволяешь? Ты почему меня позоришь?

— Ну Оля… Ну что такого… Подумаешь, подсказала разочек… — ныла Нина.

— Разочек? Нет, вы посмотрите на неё! Разочек! Ты, девочка из порядочной семьи, подсказываешь этому ничтожеству?

О-о-о! Почему взрослые такие? Никогда не разберутся и сразу ругаются. Разве можно громко кричать на весь гулкий вестибюль? И тут она увидела Дзюбика. Он прятался за колонной. Хотел дождаться, когда тётя уйдёт, и посочувствовать.

— Оля! Он хороший. Ты не знаешь. Он умный. Его просто учителя не любят.

— Не морочь мне голову! — окончательно рассердилась тётя. — Я запрещаю разговаривать с этим ничтожеством. Всё! Дома поговорим.

Тётя решительно пошла к выходу, а Нина побрела в класс. Хотела сделать вид, что не заметила Дзюбика. Вдруг он не слышал, как его обзывали ничтожеством? Нет, конечно. Тётин звонкий голос невозможно не услышать. Голова сама повернулась к колонне, но Дзюбик исчез. Стыдно… Теперь он навсегда поверит, что Нина — предательница. Поддакивала взрослым, чтобы себя выгородить. Теперь Валерик и на неё может пародию сделать: губки бантиком, ручки сложены, глазки опущены. «Ах, какая я хорошенькая, умненькая, воспитанная!»

Всё плохо. Просто ужасно. Даже жить не хочется…

Скорая помощь

Нина второй час ходила по улице Жданова, примеряясь, где бы упасть. Улица была короткой. Отрезок прямой между двумя точками — площадями Почтовой и Красной. Их соединяли громыхающие трамвайные линии. Дворники ещё утром сгребли снег в аккуратные холмики. Нина бегала вниз на угол встречать бабушку с сумками и видела, как тётка в ватнике, перетянутом солдатским ремнём с золотой пряжкой, и с огромной головой, укутанной клетчатым платком, шоркала деревянной лопатой. Лопата вначале бесшумно зарывалась в новенький снег, но, добравшись до асфальта, скрежетала цинковым краешком.

Мёрзлый асфальт был чист. Жаль. Надо было исхитриться и поскользнуться так, чтобы Иры поверили. Но валенки мягко шуршали, цепляясь за шершавый тротуар. И, как назло, ни одной скользанки…

Иры уже просились домой — холодно, и скоро стемнеет, и от родителей влетит. Они не знали, что Нина пошла гулять только для того, чтобы упасть. А потом сказать, что нога болит очень-очень сильно, ой, только не трогайте! И неделю не ходить в школу. Пока Дзюбик про всё не забудет.

Гениальный выход подсказала мама. Ещё в июле, когда приезжала в отпуск с Сахалина. Она любила вспоминать детство. Рассказывала всякие истории. Одна из них могла пригодиться — про то, как мама сунула ноги в Днепр. Зимой. Была готова на всё,

лишь бы не ходить в школу. Но ни капельки не заболела. «После ледяной воды в ботинках получился компресс — аж припекло!» — смеялась мама.

Поэтому вариант с Днепром Нине не подходил. Не только потому, что она рисковала не простудиться. А потому, что во времена маминого детства на Подоле, наверное, не было набережной. Сейчас её построили, а лестницы, ведущие к воде, перегородили толстыми железными цепями. Под ними ничего не стоит пробраться, но это строго-настрого запрещено. И могут наябедничать Иры. Расскажут своим родителям, а они позвонят бабушкам. И будет стыдно. Все сразу поймут про Дзюбика.

Нина искоса посмотрела на Ир. Маме было хорошо. Когда она ноги в Днепре мочила, её охраняли верные подруги — Мира и Тамара. И ничегошеньки никому не разболтали. Иры для этого не годятся. Они чересчур послушные.

Ира Зельман — высокая, полная, выглядит совсем взрослой. И не скажешь, что ей двенадцать. Можно подумать — целых четырнадцать. Или даже пятнадцать. У неё уже есть настоящая грудь, только она стесняется и ходит, сгорбившись. С математикой у неё ещё хуже, чем у Дзюбика. И с остальными предметами тоже. Кроме пения, ритмики и рисования, но это не считается. Когда её вызывают к доске, она так долго тянет нескончаемое э-э-э между картавыми словами, что учителям надоедает, и они ставят тройки, не дослушав. И почему-то Иру Зельман никто не ругает. И маму не вызывают. Она сама приходит. Каждый день забирает Иру из продлёнки.

Рива Соломоновна на Иру не жалуется, а помогает ей сделать уроки. Садится рядом и терпеливо объясняет. Иногда Нина думала: почему Иру Зельман не заставляют учиться лучше? Потом догадалась: всё равно не получится. Зачем зря человека расстраивать? Ира хорошая. Добрая и умеет слушать. Не болтает, как другие девочки, о своём, а медленно опускает тяжёлые кремовые веки, прикрывая бархатные карие глаза, и слушает. Из-за этого всегда кажется немного сонной.

Вторая Ира — Зильбергерц. Уменьшенная копия Зельман: карие глаза, чёрные вьющиеся волосы, белая кожа усыпана веснушками. И взгляд такой же: сонно-плавающий. И беспрекословное послушание. Сказано ходить по правой стороне Жданова — ходим по правой. По левой нельзя. Там снизу, от набережной, может по переулку выехать машина. Это очень опасно. А сверху, с Боричева Тока, машины редко появляются. Только если кто-нибудь такси вызовет. Но это целое событие…

Ира Зильбергерц учится не так чтобы очень хорошо. Средне. Так же, как и Нина. На четыре и пять. Тихая воспитанная девочка из хорошей семьи. Ей в голову не придёт нарочно падать и симулировать ужасный ушиб или даже перелом. Она не какая-нибудь босота, как пренебрежительно называют бабушки людей, не дотягивающих до их круга. Правда, не всегда понятно, по каким признакам бабушки узнают про босоту.

К босоте относилась, в частности, молодая пара из углового дома. Они вечно сидели на балконе за пузатой чугунной оградкой и смотрели на улицу. Рядом сидела огромная овчарка и дышала, высунув розовый язык. А больше ни у кого собак не было. У некоторых — кошки, и то редко. Из всего класса только у Иры Народецкой, самой красивой девочки.

Народецкая с ними гуляла редко. Не потому что красивая, а потому что жила далеко — на Верхнем Валу. Её мама не отпускала.

Девочки потоптались у входа в фуникулёр.

— Мне пора, — наконец сказала Ира Зельман.

Её дом стоял напротив, у речного вокзала. Только дорогу перейти.

— Давайте до угла дойдём, — попросила Нина, решив использовать последний шанс.

Ирам в её плане была отведена важная роль. Им предстояло бежать за тётей Тамарой. Рассказывать, что Нина упала и не может идти. Поэтому падать надо было не прямо здесь, а поближе к тёти-Тамариному дому, чтобы ей далеко не бегать. Уже и место было заранее присмотрено: у водосточной трубы, там, где наросла ледяная нашлёпка. Они уже несколько раз проходили мимо, гуляя туда-сюда, но Нина никак не могла решиться. Теперь немного отстала и уселась под трубой.

— Ой! Ой-ой-ой!

Иры обернулись.

— Ой-ой-ой! Идти не могу. Ой, как больно!

Нина схватилась за ногу и убедительно причитала. Иры испуганно молчали. Прохожие останавливались и советовали вызвать «Скорую», даже предлагали двухкопеечные монеты — благо, что будка телефона-автомата стояла недалеко. Но «Скорая» на улице в план не входила. Ещё увезут в больницу, а там посмотрят внимательно и наругают.

— Не надо «Скорую». Тут тётя Тамара живёт. Надо её позвать, — распорядилась Нина. — Ты, Ира, иди вон туда, под арку. Во дворе подъезд налево. Второй этаж и дверь прямо. А Ира пусть со мной побудет.

Ира Зильбергерц отправилась за тётей Тамарой. Ира Зельман осталась охранять подружку. И тут Нина вспомнила, что на ней новое пальто — то самое, забракованное тётей Тамарой. И она, чего доброго, обидится, что с её хорошим вкусом не посчитались. Теперь может возникнуть конфликт на этой почве. Причём скрытый. Тётя Тамара будет дуться, а тётя Оля думать, с чего это она сердится. Эх, надо было старое пальто надеть. Или прицелиться под домом тёти Миры…

— Ниночка! Что с тобой? Боже! Ребёнок упал! Ребёнок сломал ногу!

Тётя Тамара заломила в отчаянии руки. От её криков почему-то заболела заранее намеченная левая нога. Нина всё хорошо продумала: на правую удобнее опираться, а хромать — левой.

— Ты можешь встать?

— Не знаю… Надо попробовать… — умирающим голосом сказала Нина.

Общими усилиями её поставили как журавля. Нина осторожно попробовала наступить на «больную» ногу и, ойкая вполне натурально, попрыгала, повиснув между тётей Тамарой и Ирой Зельман.

Прыгать пришлось далековато. Булыжники под аркой и во дворе оказались скользкими и неровными. Кое-как доскакали до второго этажа и ввалились в прихожую.

В рамочке на стене загадочно улыбалась знакомая с детства «Незнакомка». Под ней волновались тёти-Тамарины родители.

— Боже! Ребёнок совсем не может ходить! Мне будет плохо с сердцем! — простонала Берта Рафаиловна, милая, уютная, чистенькая старушка с белоснежными гофрированными волосами и кукольно-розовыми щёчками.

— Она мне будет рассказывать за её сердце! Какое может быть сердце, когда у ребенка сломана нога, а? У меня уже давление от этой ноги! — откликнулся Исаак Пиневич, аккуратный седой старичок, тот самый, которого Валерик умудрился в прошлый раз назвать «дедушка Ишак».

— Папа! Тебе нельзя волноваться!

— И что? Когда ребёнок весь искалечен, я должен танцевать от счастья?

— О-о-о… Умираю… Воды… — простонала Берта Рафаиловна, опускаясь на стул.

— Ну, мы пошли. Нас родители заругают, — сказали Иры.

— Я, наверное, завтра в школу не пойду, — напомнила Нина, чтобы они не забыли предупредить про уважительную причину.

Тётя Тамара накручивала диск телефона, вызывала «Скорую». Металась из кухни в комнату то с водой, то с лекарствами. Когда врач с чемоданчиком позвонила в дверь, в квартире сильно пахло сердечными каплями.

Берта Рафаиловна и Исаак Пиневич лежали рядышком на тахте, укрытые до подбородков клетчатым пледом. Врач поставила на тумбочку длинную чёрную коробочку и раскрыла её. Внутри оказалась шкала с цифрами, возле которых прыгал ртутный столбик, пока врач накачивала резиновую грушу. Она послушала в трубочку сначала Берту Рафаиловну, потом Исаака Пиневича. Подержала их за руки, шевеля губами. Дала какие-то таблетки, велела соблюдать полный покой и ушла.

Нина сидела в кухне на табуретке, расстегнув новое пальто.

— Про ногу твою забыли, — спохватилась тётя Тамара.

— А у меня уже ничего не болит, — сказала Нина, для убедительности притопнув валенками по натёртому до блеска паркету.

В Одессе тёплое море

Мира Наумовна так и сказала:

— В Одессе тёплое море. Поеду к Софочке. Вот дождусь лета и поеду.

— Нет, вы посмотрите на неё, — обиделся дедушка Семён. — Поедет она! Что ты там забыла?

— Мам, ну, правда, летом жарко. Тебе тяжело будет, — деликатно намекнула Оля на букет из давления, сердца, правого колена и поясницы.

Возраст, ничего не попишешь. Тревожно маму одну отпускать, да и на Софу, гимназическую подругу, надежды мало — склероз. Прошлым летом она приезжала погостить. Как дитя малое, честное слово! Целый переполох устроила: потерялась на Владимирской горке. Всем семейством искали: Миша на телефоне дежурил, Оля с девочками по горкиным склонам бегала, папа маме валерьянку капал. Правда, Софа сама нашлась. На такси прикатила. Она бы и раньше вернулась, но не могла в ридикюле найти записную книжку с адресом.

— Буду принимать морские ванны, — пояснила Мира Наумовна цель поездки. — Вместе с Софой.

— Ой, не смешите меня! — трагически схватившись за голову, вскричал дедушка Семён. — Твоя Софа таки устроит потоп. Войдёт в море — и всё!

Дедушка Семён ничего не имел против необъятных габаритов Софы. Ему крупные женщины всегда нравились. Он просто не хотел, чтобы Мира Наумовна уезжала. Заранее ревновал её к чайкам, волнам и этим, как их… кипарисам. Ко всему этому пошло-курортному шлянию. Когда-то в молодости они ездили вдвоём к Чёрному морю. Не в Одессу, правда. В Ялту. В санаторий. Ему тогда, как передовику производства, дали путёвку. И он, между прочим, не поехал один. Он, между прочим, взял Миру Наумовну с собой, хотя она не была передовиком производства.

Мира Наумовна, приучая дедушку Семёна к мысли о неизбежности поездки и, следовательно, временной разлуки, задумчиво пела, как бы случайно:

> Тот, кто рождён был у моря,
> Тот полюбил навсегда
> Белые мачты на рейде,
> В дымке морской города…

Хотя сама она родилась не у моря. А совсем даже наоборот — в Белой Церкви. Потом вышла замуж за дедушку Семёна и переехала в Киев, чем значительно повысила свой социальный уровень. Тогда дедушка Семён был не дедушкой, а очень даже ничего. Поэтому Мира Наумовна не только повысила свой социальный уровень, но и получила массу положительных эмоций и новых волнующих впечатлений. Совместила приятное с полезным, так сказать. И после всего этого она собирается в Одессу! Одна!

Дедушка Семён, как бы не слыша многозначительного пения Миры Наумовны, в противовес ехидно напевал про этот бандитский город:

> На Дерибасовской открылася пивная,
> Там собиралася компания блатная…

На что Мира Наумовна усиливала ностальгическое пение, превращая лирическую мелодию в маршеобразное подтверждение своих намерений. Но дедушка Семён, не сбиваясь, продолжал основную тему:

> Там были девочки: Маруся, Роза, Рая
> И с ними верный спутник — Вася Шмаровоз!

Таким образом он не только косвенно давал понять, что девочки всё ещё будоражат его неугомонную душу, но и что сам он ого-го какой молодец, не хуже таинственного Васьки Шмаровоза. И Мира Наумовна о-о-чень рискует, оставляя его без присмотра. Но Мира Наумовна, по-видимому,

недооценивала его способностей и легкомысленно пренебрегала намёками на готовность тряхнуть стариной.

Она собирала чемодан. Про чемодан — отдельное слово. Чемодан, извлечённый из сарая, из-под культурного слоя, образованного керогазом, заржавленным утюгом, сломанными санками etc., протёртый от пыли и паутины, был ещё довоенный. Тех времён, когда на курорт ездили обстоятельно, со вкусом. Он был фибровый, коричневый, с прочной ручкой и двумя блестящими замочками. Самое главное — он был настолько глубоким и вместительным, что запросто мог сойти за сундук средних размеров и требовал достойных нарядов.

Оля по выходным, прихватывая вечера будней, шила новое и перелицовывала старое. Разве можно насовсем выбросить чесучовый костюм? Сейчас такой чесучи уже никто не делает. Этот современный поплин и в подмётки чесуче не годится. Оля распарывала, осторожно тюкая стежки краешком трофейного лезвия «Золинген». Тут требовалась ювелирная точность: одно неверное движение — и дырка! И пропадут драгоценные два сантиметра ткани, запрятанные в швы. Швов в старом костюме — тьма египетская. Вытачки, складочки, вставочки, кармашки… Нина сидела, затаив дыхание, и смотрела. А Оля всё тюкала, тюкала лезвием — и вот наконец материя освобождалась из плена и превращалась в причудливо вырезанные лоскуты. Потом тётя их отстирывала, нежно теребя в тёплой мыльной воде, чтобы не расползлись, сушила и гладила, прошпаривая влажную ткань утюгом. Паф-ф-ф! И старых строчек не видно. Можно кроить и шить платье. Ой, нет! Пока ещё рано. Бабушка Лиза согласилась вышить гладью. Чесуча белая с зеленоватым отливом, поэтому нитки мулине бабушка подобрала салатовые. Ах, как красиво!

В сборах принимал участие весь двор. Ну не весь, конечно. Тётя Паша-рыбачка не принимала. Она в курортах не понимает. И дядя Петя-рыбак не принимал. И Зина тоже. С ней всё равно никто не разговаривает. И толстая Бася всерьёз не учитывалась: какая из неё советчица? Она сама влезла со своими советами.

На лавочке сидели Мира Наумовна, тётя Фира, тётя Голда и Нина. Грелись на солнышке. В беседке пока неуютно и сыро, хотя снег давно растаял. Уже середина апреля, тепло. Ручьи, пробежавшие по двору, начисто отмыли булыжники, которыми вымощена та часть, по которой ходят в магазин, на работу, на рынок и в школу. Остальное пространство уже покрылось кудрявой невысокой травой. Скоро она отрастит мелкие зелёные бубочки, обрамлённые малюсенькими беленькими лепесточками, и будет терпеть, когда по ней ходят и бегают. Ходят взрослые: в сараи за чем-нибудь нужным, бельё вешают или снимают, примяв траву огромным алюминиевым тазом. Зина даже выварку выволакивает, мало ей таза. От этого в траве получаются лысины и видно, что растёт она в мелком золотистом песке. Дети бегают по траве, носятся, валяются. Но они лёгкие, траве не больно… Иногда на зелёной бубочке отдыхает божья коровка. Её надо осторожно посадить на ладонь и прошептать:

Божья коровка,
Полети на небо,
Дам тебе я хлеба.
Там твои детки
Кушают котлетки.

И коровка расправит жёсткие оранжевые крылышки, а из-под них вылезут тонкие, затрепещут, и она полетит высоко-высоко, в синее пронзительное небо, слепящее раскалённым добела солнцем… И Мира Наумовна поедет в Одессу, к морю. Интересно, какое оно — море? Наверное, большое. Как Днепр без того берега…

Мира Наумовна, тётя Фира и тётя Голда не просто так сидели. Они караулили подушки и перины, разложенные на раскладушках для проветривания. Поглядывали, чтобы не стащили. Хотя кто их стащит? Чужие по Боричеву Току не ходят. Могут пройти почтальонша с раздутой сумкой на ремне, перекинутом через плечо, да детская врачиха Гутман. Но они почти что свои. Могут выскочить бандиты из-за высокого серого забора, ограждающего лес на горке, схватить парочку подушек или даже целую перину — и убежать назад за забор. Поэтому надо следить. Нина тоже следит, но отвлекается. Интересно послушать разговоры взрослых.

— Платье чесучовое готово, спасибо Лизе, — продолжила Мира Наумовна сагу про курортную подготовку. — И сарафан Оля уже пошила.

— Нет, ви только посмотгите, как она постигала!

К скамейке подошла толстая Бася и, возмущённо показывая пальцем на вывешенное Зиной бельё, справедливо ожидала поддержки. Гневного осуждения. Бельё должно быть белоснежным, а не таким вот, что от людей стыдно. Бельё — это визитная карточка хозяйки. Если хозяйка не умеет стирать, это, извините, не хозяйка, а…

— Шнарантка! — пренебрежительно пожала плечами тётя Голда.

— И она ещё будет его всем показывать! Когда такое бельё надо пгятать. Пгятать — и всё! Нет, ви такое видели?

— Ой, я вас умоляю, — поддержала общее осуждение тётя Фира. — Когда человек не имеет никакого понятия!

Сама тётя Фира имела понятие. Во двор она всегда выходила в одном из бесчисленных длинных халатов, туго накрахмаленных и тщательно отглаженных, что было непросто, учитывая мельчайшие оборочки. Халаты шились ею собственноручно, из белого в цветочках ситца. Несмотря на безукоризненные халаты, соседки тётю Фиру тоже слегка осуждали — за то, что она красила губы красной помадой и в парикмахерской наводила чёрные брови. То, что она красила волосы чёрной краской, не осуждалось. Мира Наумовна тоже собиралась закрасить седину хной. Попозже. Пока рано. Это она перед самым отъездом сделает.

— Пьять блузок, две панамы, тёплую кофту, когда ветер…

— Вчега ехала в тгамвае на Кгещатик. Очень кгасиво. Вот тут так, и так, и так… — подхватила тряпочную тему толстая Бася.

Жестами показала декольте, пояс на талии, широкую юбку. Весьма неожиданно с её стороны, поскольку, будучи неимоверно толстой и сильно пожилой, до сих пор интереса к нарядам не проявляла. Мира Наумовна взбудоражила всех курортными сборами — и вот результат.

— Так Сема уже успокоился? — спросила тётя Голда.

— Я знаю? — возмущённо ответила Мира Наумовна. — Я ему так и сказала: «Сема, шо такое? Я не имею права повидаться со своей подругой? После того как я отдала тебе свою молодость?»

— А я вам скажу. Он вас ревнует. Ревнует — и всё! — постановила тётя Фира.

— Ой, я вас умоляю! Можно подумать! Я ему так прямо и сказала: «Сема! Не делай мне головную боль! Я имею право?» Так ему просто-таки нечего было ответить!

…Промелькнула весна, заполненная последними штрихами сборов в Одессу, и обрушилось лето, настолько небывало знойное, что все завидовали Мире Наумовне, которая вот-вот окунётся в Чёрное море. Дедушка Сема загадочно притих. Мира Наумовна подозревала, что он задумал какую-нибудь пакость, и долгожданная поездка сорвётся. Но он добросовестно отстоял очередь и купил билет в купейный вагон. На нижнюю полку. И даже помог дяде Мише сильно затянуть ремни на чемодане (из толстенной ткани защитного цвета, с автономной деревянной ручкой неизвестно для чего — ведь у чемодана была своя собственная. Но лишняя ручка в дороге не повредит — мало ли что…) И даже сам! заказал по телефону такси на завтра.

Завтра! Завтра все жильцы выйдут во двор и высунутся в окна — все! И те, кто разговаривает друг с другом, и те, кто не разговаривает. И будут провожать Миру Наумовну в Одессу. Смотреть, как подъехала машина с шашечками и зелёным огоньком, а Мира Наумовна в новом чесучовом платье, вышитом гладью, в панаме (уже курортное настроение) и белых парусиновых туфлях, надетых на белые же носочки, идёт по двору, а дядя Миша, пыхтя, втискивает чемодан в багажник. Хорошо бы Нину взяли на вокзал. Она тоже хочет провожать Миру Наумовну в Одессу как можно дольше.

А сегодня — прощальный ужин. Все собрались за столом в комнате. Не в кухне, заметим, как обычно, а именно в комнате, что придаёт ужину настоящую торжественность. Мира Наумовна раскраснелась, её глаза блестят, как в молодости. Она слушает, как ей желают счастливой дороги, и счастливого отдыха, и счастливого возвращения. Дедушка Сема не сияет, но ведёт себя вполне прилично. Без этих своих штучек. И даже лично подходит к телефону и выслушивает пожелания и напутствия родственников и знакомых, которые не смогли, к сожалению, сегодня прийти по уважительным причинам. Телефон трезвонит беспрестанно, так много народа желает Мире Наумовне счастливого пути.

— Шо вы говорите! Шоб я так жил! — вдруг восторженно кричит дедушка Сема и даже порывается пуститься в пляс, но, прижатый почти вплотную раздвинутым столом к подоконнику, только слегка подпрыгивает. Все замолкают и поворачивают к нему головы, заинтересованные внезапным взрывом веселья. Может, дедушка Сема уже таки выиграл в лотерею целый телевизор?

— Ха! Это правда? Вы не ошиблись? Так я вам целую ручки! Такая новость! Такая новость! Ой, какое вам спасибо! Шоб вам жить до триста лет!

Дедушка Сема кладёт трубку и ликующе смотрит на собравшихся. Сквозь ликование явственно проглядывает ирония. И она так раздувается, что превращается в самый настоящий сарказм. Насладившись нежданной радостью, он щедро делится ею:

— Такая радость! В Одессе холера!

От восторга он прижимает к груди руки и кричит Мире Наумовне поверх голов онемевших гостей:

— Одессу? Ты хотела Одессу? Так получи! На! Цим тохес ты поедешь, а не в Одессу! — указывает он на идиш направление, соответствующее месту пониже спины, и немедленно разъясняет причину этого направления:

— Все поезда отменяются! Какое счастье! В Одессе холера!

И это оказалось чистой правдой. Хотя Мира Наумовна ещё долгие годы подозревала, что дедушка Сема нарочно организовал холеру в Одессе. И даже не желала слушать вполне резонные доводы, что это таки полный абсурд.

Когда Сема не хочет отпускать её в Одессу — он может всё!

Страшная тайна

Валерку забрала тётя Оля, а Нине пришлось переезжать к бабушке Лене. Нет, но какая несправедливость! Для того чтобы повезло, надо быть маленьким и противным. Чтобы бабушка Лена испугалась. У неё давление. Подумать только, от каких мелочей зависит судьба! Непослушание + давление = Валерка у Оли! А он по малолетству даже не понимает, какое ему счастье привалило! Ему всё равно где ныть.

Там, в квартире напротив, постоянное веселье. Там Лера, Женя и их друзья смеются до позднего вечера, слушают магнитофон, играют на гитаре и поют. Дядя Миша и тётя Фира смотрят футбол и громко кричат. Смотрят хоккей и тоже громко кричат. А если фигурное катание показывают — только изредка вскрикивают. Рядом Оля стрекочет швейной машинкой. Смешно ссорятся Мира Наумовна и дедушка Сема, совсем как в оперетте «Сильва». «Сема, ты меня не любишь! Сема, ты меня погубишь! Мира, ты меня с ума сведёшь!» и так далее. Бабушка Соня шуршит войлочными шлёпанцами по коридору и напевает про майне либере моме. Про дорогую маму то есть.

А у Лены тихо. У неё один Алик. Она его хорошо воспитала, хотя он не сын, а племянник. Уже взрослый. Даже немножечко старый. Двадцать семь лет. Пора бы ему жениться. Он ужас

какой красивый! И умеет фотографировать. Закрывается в туалете и проявляет. Иногда разрешает с ним побыть. Таинственно светит красная лампочка, в ванночке с проявителем появляются туманные силуэты. Они становятся всё чётче, и вдруг выныривают знакомые лица. Нина в чёрном балахоне, усеянном звёздами. На голове — серебряный месяц. Это Нина была Ночь. На Новый год. Бабушка Века тогда в выварке марлю кипятила, красила в чёрный цвет. Сильно пахло. Бабушка Лена и Нина звёзды вырезали из серебряных шоколадных обёрток, а бабушка Лиза пришивала… А вот Нина в новом пальто стоит во дворе, мнёт снежок в ладонях. Сейчас в Ромку запустит, но этого не видно… Валерик с Ирочкой Лубан стоят — руки по швам, вытаращились в объектив. Тили-тили-тесто!.. Бабушка Лиза сидит во дворе на низенькой скамеечке, в тени у сарая, и смотрит, как Нина с Валеркой гладят щенка. Улыбается… Вот, а потом Алик цепляет мокрую глянцевую бумагу пинцетом за уголок и купает снимки в другой ванночке — с закрепителем. Когда всё высохнет — будут фотографии на память…

В общем, у Лены тоже хорошо. Скучно, зато уютно. Нина несколько раз у неё ночевала. Когда Алик в командировку уезжал. Лена одна боялась. Алик уезжает не то чтобы часто, но бывает. Он инженер. Ездит по своим инженерным делам в город с итальянским названием Тольятти. Мог бы давно на итальянке жениться. Они красивые. Как Софи Лорен. Или Джина с трудной фамилией: Ло-ло-бри-джи-да, вот! Когда он уезжает, Нина спит в маленькой комнатке на тахте. Когда засыпает, свернувшись калачиком, видит прямо перед носом яркий ковёр из разноцветных прямоугольничков. Они расплываются, темнеют и исчезают, а утром вспыхивают под солнечными лучами. Нина жмурится, смотрит в окно и сначала пугается: где Андреевская церковь? Потом вспоминает, что окна выходят на противоположную сторону. Когда лежишь, в окне — пустое небо. Но если подойти и посмотреть вниз, видны крыши, игрушечные двуцветные трамвайчики, снова крыши и — Днепр! По нему летом тоже бегают трамвайчики, только речные, а зимой никто не бегает. Лёд.

У Лены много салфеточек. В дырочку. Называется «ришелье». Самая затейливая лежит на круглом столе в большой комнате, а на ней — ваза. Огромная, из прозрачного стекла, по которому извиваются вишнёвые зигзаги. Паркет блестит, как яичный желток. На 1 Мая и 7 Ноября приходит полотёр и трёт-трёт целый день. Досточки аж вспыхивают. А так Лена раз в неделю сама натирает — и порядок. Ей хорошо, у неё дети с улицы не бегают туда-сюда, песок не носят. Дома бабушки уже рукой махнули на этот паркет. Века даже моет его, что безобразие. И он становится серым и унылым. Нина его жалеет. Иногда. Когда вспоминает. Берёт круглую щётку с ремешком, который надевается на ногу, как у лыжи. Мажет щётку парафином и хоп-хоп-хоп! Танцует как будто твист. Такой новый танец. Дзюбик на перемене показывал. Однажды перестаралась. Взяла мастику — жёлтую, вязкую. Как подтаявший на солнце пластилин. Слишком много. И все прилипали. Ходили: чавк-чавк. После этого бабушка Века щётку и всё остальное попрятала. Сказала: в этом гармыдоре не до паркета…

Лена любит шутить. Вместо «здравствуй» там или «доброе утро» говорит Нине: «Пунэм, покажи лицо!» И добродушно смеётся, прищуривая глаза. Нина сначала не знала, кто эта пунэм. Думала — такая красавица. Потом бабушка Лиза объяснила: «лицо» на идиш. И что получилось? «Лицо, покажи лицо!» Никакого смысла. Зато понятно, что Лена Нину любит. Она и Валерку любит, но всё-таки выбрала Нину. Дождалась во дворе, когда дети из школы вернулись, и так прямо и сказала:

— Ниночка, хочешь у меня пожить? А Валерик к Оле пойдёт. Я уже вещи ваши забрала. Бабушки закрылись. Грипп.

— Ура! — закричал Валерик. — Ура! Хочу к Оле!

— Я тоже… — расстроилась Нина, но спохватилась: — А кто за бабушками будет ухаживать? Я домой пойду.

— Пунэм, не выдумывай, — вздохнула Лена. — Ты что, Веку с Лизой не знаешь? Закрылись — и всё.

Это точно. Звонить и стучать в дверь бесполезно. Всё равно не откроют. Теперь бабушки будут общаться с внешним миром через фонарь. Спрашивать, как дети себя чувствуют. Не заболели ли тоже, упаси Господи. Или удалось вовремя оградить их от инфекции.

— Ну, пошли! — восторженно произнесла Лена, будто приглашала на цирковое представление. Или в кино.

— Как ты не понимаешь, — Нина повторила попытку проявить души прекрасные порывы. — Я триста раз болела всякими ветрянками и ангинами. И бабушки никуда не сбегали. А ухаживали. Я тоже буду.

— Больным нужен покой. Нечего нервы трепать, — строго сказала Лена.

— Ага! Нельзя трепать нервы. Нарушается сон и обед, — внёс свой вклад Валерик. Он легкомысленно обрадовался небольшому, но всё-таки приключению. Пожить у Оли здорово.

— Ладно… — нехотя согласилась Нина, но тут же выпросила льготы: — Чур, я только ночевать буду. А так — у Оли.

— Новости, — нахмурилась Лена. — У людей на голове сидеть.

— Ничего не на голове. Это Валерка на голове. Придётся за ним присматривать, — лицемерно вздохнула Нина.

— Ах ты, хитрюга, — засмеялась Лена. — Там видно будет. Пошли.

Интересно, что она там собиралась увидеть? И так понятно, что все вечера Нина проводила у Оли. И менять свои привычки не собиралась.

Продукты и лекарства бабушки заказывали через фонарь. Века надевала марлевую маску с завязочками (неизвестно для чего, ведь окна в фонаре были закрыты) и прислоняла к стеклу тетрадный лист, на котором крупными буквами было написано: *«1. Молоко 2. Масло 3. Хала 4. Пирамидон»*. Писала Века, у неё почерк понятнее. У бабушки Лизы — медицинский. Получали заказ через дверь. Нина пыталась проникнуть домой, но,

после звяканья цепочки, лязга засова и копошения ключа дверь приоткрывалась на самую чуточку, в щель высовывалась Векина рука и утаскивала авоську. И дверь сразу закрывалась: лязг-щёлк-бряк. Всем до свидания.

Очень печальная история. Но, оказывается, даже в печальных историях могут вдруг появиться радостные моменты. Для равновесия. Чтобы не было так грустно. Причём совершенно неожиданно. Представьте: Алик женится! Кажется. Потому что завтра придёт в гости его знакомая девушка. Он так и сказал:

— К нам завтра Света зайдёт. Моя сотрудница.

Ага, сотрудница, как же! Сотрудницы просто так по домам не ходят. Всем сразу понятно, какая это сотрудница. Лена разволновалась и давай советоваться с Аликом: что бы такое на ужин приготовить?

— Рыбу фаршированную. С утра на рынок пойду, поищу щуку. А вдруг не найду? Может, на Бессарабку поехать?

— Лена, какая разница? Купи треску.

— Из трески только котлеты…—сомневается Лена.—Слишком просто.

— Я не понимаю, у нас что? Банкет?—начинает сердиться Алик.

— Банкет—не банкет, но сотрудница…—морщит лоб Лена.—И в гастроном зайду. Может, селёдку выбросили? Тогда перекручу форшмак.

— Делай, что хочешь,—отмахивается Алик.

— Или мясо? Кисло-сладкое…—размышляет Лена.—Но это на любителя. Может, рыбу?

— Нет, это невыносимо!—не выдерживает Алик.— Куплю «Киевский» торт на Крещатике—и всё!

— Алик! Как это всё? Когда в дом приходит человек—я не понимаю! Что человек подумает? Что мы не в состоянии?

И так продолжается до тех пор, пока Алик, хлопнув себя по лбу, не вспоминает, что у него абсолютно неотложное дело. И сбегает.

Утром Лена уходит в поход за продуктами. С чем она возвращается, неизвестно, но когда Нина, отпросившись с продлёнки пораньше, прибегает, в кухне уже всё шипит, пыхтит и скворчит. Ух, ты! Лена затеяла приём. Она колдует над плитой. Все четыре конфорки зажжены, а на них подпрыгивают: утятница—раз! Чугунок—два! Кастрюлища—три! И сковорода—четыре! Лена помешивает, переворачивает, подсыпает, подливает, нюхает, пробует. Очень хочется помогать, но Лена отмахивается:

— Иди, с Аликом стол накрывай.

Алик нервничает. Достаёт из комода не ту скатерть. Лена сердится и находит ту. Взмах! Белоснежное полотно летит над столом.

— Не делай ветер,—машинально напоминает Лена и убегает к плите.

Алик в задумчивости стоит перед буфетом. Вспоминает, зачем раскрыл дверцы и что ему там нужно. Вот и пригодилась Нина!

Она хладнокровно сохраняет присутствие духа и тащит на стол тарелки. Парадные: белые с голубовато-серой каймой. Маленькую вниз, а среднюю сверху.

— Лен, а бульон будет?—кричит она в кухню. Вдруг ещё глубокие нужны?

— Ох! Надо бульон? Алик, что ты скажешь? Надо было бульон?

— Лена! Какой бульон, я не знаю! Зачем тебе бульон?—пугается Алик.

— А я тебе вот что скажу. Сядь.—Лена выходит из кухни и скорбно смотрит на племянника. Глаза её наполняются слезами.—Сядь. А фаршированную рыбу она умеет готовить?

— Это принципиально? Лена, я не понимаю, при чём тут рыба? Когда человек просто идёт в гости?

Алик снимает очки и яростно протирает стёкла, словно собирается выдавить их из оправы. Он так всегда делает, когда сердится.

— Когда девушка не умеет готовить фаршированную рыбу…—разводит руками Лена.

— Ай…—безнадёжно машет рукой Алик и убегает. Встречать сотрудницу Свету возле фуникулёра. Они так договорились. На шесть часов. Сейчас ещё только без пятнадцати пять. Дверь с треском захлопывается, и слышно, как Алик сбегает по деревянной лестнице.

— Мышигас!—сердито говорит Лена.—Нервы! У всех нервы! Что я такого сказала? Спросила, умеет ли сотрудница готовить фиш. И всё! Это что—преступление? Когда девушка не умеет готовить фиш… И где его глаза? Ой, уже всё подгорело!

Лена бросается в кухню. Грохочет, роняет, звякает, гремит. Ого, сколько наготовила! Кисло-сладкое. Рыбные котлетки. Форшмак. Паштет из куриной печёнки. Шейки. Блинчики, фаршированные мясом. Блинчики, фаршированные творогом. Блинчики, фаршированные повидлом. Яйца, фаршированные сами собой. Злополучная фаршированная рыба. И что-то ещё. И ещё. Нина бегает в комнату, ставит на стол вазочки, салатницы и блюда. Быстрее, а то не успеем! Ещё Лене надо снять передник и байковый халат, надеть приличное платье, заколоть спиральки волос. А серёжки надевать не надо. Они всегда при ней: оранжевые бусинки с золотой капелькой. Дрожат и покачиваются в ушах.

— Стучат!—испуганно кричит Лена из маленькой комнаты и путается в рукавах тесноватого платья.

Нина открывает дверь. На пороге стоит Валерик. Нашёл время!

— Ты чего пришёл? Иди отсюда,—прогоняет его Нина.

— Мне нужен пластилин!—твёрдо объявляет брат, спрыгивает с высокого порога в кухню и громко добавляет (для Лены):

— И я голодный! Меня там совсем не кормят!

— Глупости какие,—морщится Нина.—Мой руки и садись. Сейчас борщ налью.

— Не! Борщ я уже ел. Только что. И котлеты.

— Вот поросёнок!—возмущается Нина, но вовремя спохватывается. Криком от младшего брата ничего не добьёшься. Надо по-хорошему. Тем более что времени мало. Вот-вот Алик с сотрудницей Светой появятся.

— Валерочка, ну иди уже к Оле. А я тебе потом пластилин принесу.

— Не-а!

— Ну Валерочка, ну миленький, ну хорошенький. Уходи.
— Не-а!
— А хочешь, я тебе страшную тайну открою?
Валерик оживляется. Тайны он уважает. Когда их не хватает, придумывает сам. Его огромные глаза делаются ещё больше, и он восторженно смотрит на сестру.
— Только никому не говори, понял? — Нина шепчет брату на ухо:
— К нам в гости идёт невеста.
— А лепить она умеет? Из пластилина?
— Пока не знаю. Её никто не видел. Только не забудь, что это тайна. Наш Алик женится.
Валерик, потрясённый тем, что ему доверили страшную взрослую тайну, на цыпочках уходит, тихонько притворяя за собой дверь. Опасается, что тайна может выскочить и убежать. Но потом до него доходит. Тайна растёт, разбухает и вырывается наружу. Валерик кубарем скатывается во двор и, набрав побольше воздуха, истошно вопит:
— Наш Алька женится!
С крыши беседки срываются голуби и суматошно хлопают крыльями. Вздрагивает старый дом, распахивает удивлённые окна, из них выглядывают толстая Бася, Мира Наумовна, дедушка Сема и даже бабушки Лиза и Века. Подпрыгивает скамейка, вскакивают тётя Фира и тётя Голда. Звенят старые тазы, вёдра и корыта в сарае, сыплется труха и высовывается дядя Петя-рыбак. Останавливается тётя Маша, роняет тяжёлые сумки, хватается за сердце. Падает с велосипеда Славик. Замирают на ступеньках, ведущих с Боричева Тока во двор, Алик и незнакомая девушка.
А Валеркин крик летит над двором, отзывается эхом в подворотне, вырывается на улицу:
— Ура! Наш Алька женится!

Вячеслав Брус

Грустен дух родных пенат…

По тропинке к дуэли Лермонтова

Рдеет Кавказ на закате во льду,
Я по скалистой тропинке иду,
Грустные мысли плывут в голове,
Прыгают чёрные птицы в траве…

Как же случилось: Кавказ не помог,
Хоть и тебя приютил от рожденья…
Все отвернулись — Россия и Бог,
Будто ты не был их лучшим твореньем?..

Шёл уныло по тропе я,
И вокруг всё тихо было,
Над скалистою громадой
По ребру луна всходила…

И чернел передо мною
Кипарис пирамидальный,
И прохладой из долины
Овевало камень скальный,

И ленивой позолотой
Моря гладь вдали светилась…
Из души наружу песня,
Отстоявшись, запросилась.

Семя, брошенное в землю,
Может, и не прорастёт:
Мать-земля не всё приемлет,
Мать-земля не всё берёт.

Прощание

Щедр был я. Я рукою-владыкою
Сыпал перлы к любимым ногам,
Я твердил: «Мою радость великую
Я другим ни за что не отдам».

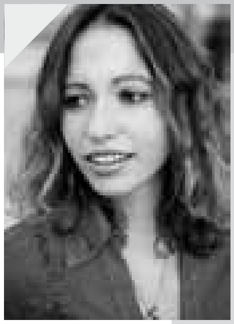
А теперь никакого желания —
Я остыл. Я уже не горю.
А теперь, как бы Вам на прощание,
Я иное совсем говорю.

Говорю, что над чувством не властен я,
Что давно уж в раздоре я с ним,
Что желаю Вам искренне счастья я
(Больно высказать только) — с другим.

Я с ним дружил. Мы здесь сидели
За рюмкой терпкого вина…
Тому свидетелями — ели,
Что нам кивали у окна.

И вот я вновь из странствий дальних
Здесь, дома, у того окна…
Нет мест на Родине печальней,
Где смерть до срока побыла…

Как хрупок мир наш, в самом деле,
Как грустен дух родных пенат…
А за окном все те же ели
Стеной зелёною стоят.



Алёна Бондарева

Танец Анитры

I

Бывают дни, предназначенные для подвигов, сдачи внаём квартир, возвращения долгов и других важных дел. В один из таких дней «для чего-то» можно сойти с ума, повеситься или влюбиться. Погнаться за необратимостью, нарушить упорядоченный ход всего сущего и натворить бог знает каких глупостей. Впрочем, подобное свойственно только любителям.

Сегодня мало солнца и пахнет осенью, деревья, не стесняясь августа, разбрасывают листья. Через всё небо протянуты чёрные провода, на которых балансируют галки. Дома тонут в утреннем смоге. Воздух влажен, всё вокруг напоминает чёткий карандашный рисунок. Только дворничиха в рыжей спецодежде уныло скребёт метлой возле мусорки, оживляет пасмурную картинку. Время от времени она недовольно оглядывает прохожих, бубнит себе под нос, одёргивая измятый жилет, убирает выцветшие волосы под косынку и продолжает работать.

Утренние люди кутаются в шарфы, бредут к автобусной остановке. Я иду рядом, смотрю на них. Пытаюсь, и никак не могу представить то, о чём они могут думать.

Мы втискиваемся в автобус одинаково безличные и непроснувшиеся. В салоне уже пахнет раздражением. К недовольству постепенно примешивается аромат дешёвой туалетной воды и несвежесть чужого дыхания.

«Осторожно, двери закрываются», и я стараюсь сосредоточиться, не позволяя этой волне захватить меня. Разглядываю людей, думаю, чем они живут и для чего просыпаются каждое утро.

Наверное, высокий парень в чёрном берете любит свою маму, а она ему каждый день готовит завтрак и начищает ботинки до блеска. Худенькая нимфетка, крашенная в рыжий, трогательно прижимает к спортивной курточке жёлтый «Таблоид» Ильи Стогоff'а. Отдирает с обложки ценник, разглаживает большим пальцем исцарапанное место. Наверное, по ночам она плачет от привязанности к кумиру. Взъерошенный школьник с рюкзаком в модных мультяшках обожает аниме и стрелять по голубям пластиковыми шариками из игрушечного пистолета. Каждый из них пытается оправдать своё очередное пробуждение.

Размышляя, я порой увлекаюсь сочинением жизненных подробностей и мелодраматичных перипетий, которые когда-то видела по телевизору в ток-шоу, о которых читала в газетах. Готовые сюжеты роятся в голове.

Майя… Отец назвал меня Майей, потому что родилась в январе, а ему всегда нравилась весна. У него были мохнатые усы и карие глаза—так говорила мама. Возможно, это выдумка, но всё равно я благодарна ей, ведь она не заставила меня верить в то, что он был лётчиком-героем или космонавтом-испытателем, не рассказывала про гибель на неизвестной войне и не придумывала шпионских историй. Она просто сказала, что отец был хорошим человеком, и что понятия не имеет, где он теперь… Но всё же меня пугает невозможность вспомнить его самой…

Подумать только, каждый день мир информирует о том, что цена барреля нефти упала на три пункта, доллар остановил рост, американские жители больше всего подвержены ожирению, а на Индонезийских островах опять обнаружили неизвестный вирус и, если человечество не одумается, к 2100 году планета задохнётся, но прежде власть захватят «зелёные»…

Я как губка впитываю, уже не в состоянии вспомнить важного, того самого, о чем нельзя забывать ни в коем случае. Думаю, с какой скоростью мир крутит своё информационное колесо, и постепенно забываю, почему в детстве мороженое было вкусней, а лето казалось невероятно длинным. Я узнаю об очередных сбоях в экономике развивающихся стран, но совсем не помню, отчего когда-то, давным-давно, будто бы в другой жизни, мамина задержка на работе приравнивалась к трагедии. Мне твердят с экрана о необходимости суперпылесоса, я всерьёз задумываюсь о его незаменимом и положительном влиянии, напрочь забывая про то, о чём говорил папа, укладывая спать…

Я разглядываю пассажиров, они невольно отворачиваются, потому что им кажется, будто бы у меня слишком тяжёлый взгляд. Люди, как известно, избегают вещей с пометкой «слишком». Слишком новый, слишком скучный, слишком значимый—подобное выглядит *слишком* пугающе. Впрочем, такую боязнь крайностей можно простить, списав на стремление к гармонии…

Больше всего я люблю рассматривать старух. Ветхие, в своих поношенных платьях и вышедших из моды туфлях, они едут рядом со мной каждый день. От них пахнет старостью и разрушением, порой даже трудно поверить в то, что они ещё дышат, и уж совсем невозможно—что думают. Беззубые, с полоумными взглядами, жёлтой морщинистой кожей, испещрённой пигментными пятнами, они пугают и притягивают, служат немым доказательством того, что жизнь—самое временное из всех явлений…

Но это счастливицы, дожившие до естественного распада… через все этапы прямо в карман к вечности…

II

Три цветных зайца на каштановой аллее невыразительно улыбались с асфальта. И только четвёртый, жёлто-синий в красных трусах, печально глядел на прохожих. Наверное, из-за того, что в правой лапе он держал большой сиреневый карандаш, а левой у него совсем не было. Курчавый мальчик, рисовавший эту стайку, вдруг заторопился. Спешно отёр о джинсовые штанишки

перепачканные мелом руки, позабыв дорисовать вторую. Скорей всего, он побежал обедать и спать. Ведь именно поэтому к двум часам из парка пропадали все дети. К трём смолкали бесконечные «почему», затихали звенящие велосипеды, а гремящие игрушки на колёсиках заботливо утягивались за потёртые верёвочки домой…

Мы сидели на прохладной скамье в тени, я слушала, как тишина постепенно наполняла воздух, Саша опять заснула, уронив голову мне на плечо, букет бледных ромашек рассыпался ей на подол, как только она закрыла глаза и опустила руки. В этот раз я не стала её будить. Просто отложила в сторону Чехова. Ленивая мошкара кружила в солнечной полоске, каштановые лапы то и дело подрагивали от лёгкого ветерка, время от времени подставляя августовскому солнцу свои широкие листья. Несколько минут я не двигалась, боялась спугнуть мгновение…

Вот уже пятый год, как Саша жила со мной. Мы ходили гулять, читали книги, смотрели телевизор, разговаривали, здоровались с соседями, покупали сладости, мечтали, словом были семьёй. Пожалуй, только не завели собаку, хотя Сашка и просила, я не дала себя уговорить.

Чтобы покупать для неё фрукты (считается, что семилетним девочкам они полезны и нужны для роста), я работала на дому, набирала скучные тексты про литьё чугуна, тщательный уход за промышленными турбинами, экономию полимерных материалов и прочие незаменимые для человечества вещи. В офис ездила только за очередной порцией этой галиматьи или за деньгами.

Два дня в неделю подрабатывала, набивая объявления в бесплатные газеты. Из них я узнавала, что люди нашего города постоянно нуждаются в жилье, теряют своих домашних животных, пытаются познакомиться друг с другом, попутно что-нибудь продавая, они ищут работу и торопятся совершить как можно больше выгодных обменов и сделок. Эти деньги мы тратили на оплату Сашиных занятий балетом.

Мохнатый щенок чау-чау вывалил фиолетовый язык и, тяжело дыша, обогнал хозяина. Я замерла в ожидании, но зверь, цокая по асфальту когтями, прошёл мимо с равнодушным видом. Саша дремотно вздохнула, устроилась поудобней у меня на плече. Я почувствовала мятный запах её волос. Тогда они были ещё красивые: густые и длинные, с чайным отливом. Пожалуй, это наше единственное семейное сходство. Но людям его хватало, чтобы ошибочно принимать Сашу за мою дочь.

Я высвободила правую руку и убрала выбившуюся прядь с её лица. Она нахмурила светлые брови, мне даже показалось, будто вот-вот откроет глаза, но Сашка только моргнула. Тёмные круги оттеняли глазницы, подбородок скорбно заострился, из-за этого она казалась измученной и невыспавшейся, хотя я точно знала: всю ночь Саша спала крепко.

Вдали заурчала газонокосилка, повеяло скошенной травой, терпким ароматом диких цветов. Вот вам и «Степь», Антон Павлович. Наши города скоро её вытравят. Чёткость клумб, ограниченность парков не оставят места даже для фантазий…

Откуда-то прилетела чёрно-жёлтая бабочка и села на носок моей туфли. Я качнула ногой, она не обратила внимания. Потом появились ещё две, обе устроились на спинке скамьи. Большая красная, поводя усиками и перебирая мохнатыми лапками, взгромоздилась Саше на голову и прикинулась экзотическим цветком…

Мне всегда казалось, будто всё природное совершенство запечатлено на их тоненьких крылышках, и тайна мироздания откроется только тому, кто разгадает узор. Может, поэтому Саша часто рисовала их красками в альбоме или ей, как и всем детям, нравились цветные картинки?

— А что стало с Егорушкой потом? — спросила она сонно.

— Он повзрослел.

— Все книжки, которые мы читаем, заканчиваются одинаково, — Саша ленивым жестом смахнула бабочку. Та затрепетала крылышками и перебралась обратно на скамью.

— Неправда. Помнишь, Маленький Принц так и не вырос?

Саша замотала головой:

— Вырос, только по-другому.

— Это как?

— Ну, по-другому. Как маленькая собачка.

Я вздохнула.

— Разве тебе не нравятся взрослые?

— Нет.

— Почему?

— С ними скучно.

Я помолчала.

— Но ведь с Антоном тебе не скучно?

Саша улыбнулась, в глазах заиграл озорной огонёк.

— Антон не взрослый.

— Ага, как маленькая собачка.

Мы помолчали ещё немного.

— Ладно, я найду для тебя какую-нибудь другую книгу, где никто не взрослеет… Может, пойдём уже? Мне надо работать.

Она кивнула.

Я взяла её за руку, и бабочки, которых к тому времени набралось штук семь, проводили нас до выхода из парка. Они кружили над Сашиным букетом, гоняясь друг за другом, попеременно садились на цветы, пока нарастающий автомобильный гул не распугал их… Саша помахала им на прощание ромашками, и мы зашагали дальше…

III

Я задёрнула штору и повернула монитор в сторону, чтобы не отсвечивало экран. Десять страниц о правилах вытачивания втулок, такое не приснится даже Толстому. Такое вообще никому не приснится.

Трудоголики твердят, как заведённые: «Чтобы не в тягость, работа должна быть любимой, чтобы не скучно, то же самое». Но всё-таки некоторые профессии, наверное, в силу их однообразности любить трудно. Хотя, возможно, это исключение только для моей.

Электронные часы на тумбочке в противоположном углу показывали время зелёным: 17:02. Я подумала, что уже пора собирать Сашу на урок балета. Неля Петровна не любила, когда мы опаздывали. Да мне и самой надоело торчать дома.

В прихожей зазвонил телефон. Всякий раз я обещаю себе сменить этот дребезжащий аппарат на что-нибудь цивильное, менее раздражающее, только всё никак не удаётся отложить деньги.

— Майя Николаевна, милочка,— Неля Петровна чётко выговаривала каждое слово,— вы уж меня простите, что-то мне сегодня нездоровится. Давайте перенесём класс на завтра, скажем, часов на шесть?

Она почему-то всегда говорила «класс» и никогда не называла занятием или уроком. Вообще Неля Петровна была из тех пожилых дам, которые при любых обстоятельствах приветливы. Её образованность и интеллигентность завораживали собеседника, внушая ему какое-то невнятное чувство благодарности. Учениц она неизменно называла «деточка», учеников — «мальчик», а к родительницам и родственницам традиционно обращалась «милочка».

— Хорошо, как вам будет удобней.

— Вас не очень затруднит привезти девочку ко мне домой?

— Нет, конечно, нет.

— Тогда записывайте адрес…

Я нацарапала его на клочке бумаги, Неля Петровна ещё пожаловалась на жару, давление, и мы попрощались. Повесила трубку, решив, что теперь вечер пойдёт кувырком, потому что Саша проснётся и не даст мне покоя.

На экране уныло чернел новый абзац: «Зажмите в патрон сверлильного станка пруток. В свечное отверстие головки цилиндра плотно вставьте любой ровный предмет длиной 150–200 мм. Вкрутите в отверстия с только что нарезанной резьбой два болта или шпильки м10. Они выполнят роль ножек — упоров. Отрегулируйте их длину таким образом, чтобы оба прутка стали параллельны друг другу, и затем рассверлите отверстие до диаметра 16,5 мм».

Я снова отошла от компьютера. В последнее время работа особенно нагоняла тоску. Сняла трубку и покрутила телефонный диск. Никто не ответил. В соседней комнате, завернувшись в голубоватую простыню, всё ещё спала Саша. Тёплые световые квадраты лежали под окном и возле кровати, грея её серенькие тапочки. Хотя дневной зной давно сошёл, Сашка дышала тяжело. Её влажные волосы спутались и прилипли к вискам. На лбу выступили капельки пота. Я села на постель, чтобы увидеть, как она проснётся. Мне нравилось смотреть на неё, когда она открывала заспанные глаза, глубоко вдыхала воздух, а потом лениво потягивалась. Я думала о том, где же бродила её сонная душа. Каким зверем оборачивалась и где блуждала. Ведь ещё древние славяне рассказывали про то, как во сне половина человеческой сути, вылетая изо рта, уходит в животном облике путешествовать по местам, которые снятся. Поэтому нельзя будить крепко спящего, переворачивать сонного, чтобы не запутать душу и не сбить с верной дороги. С Сашкой и подавно.

IV

Антон въехал в соседнюю квартиру три года назад.

Старая «Газель», набитая потрёпанным барахлом, остановилась возле подъезда. Из кабины вместе с водителем вышел приземистый парень, белесый, коротко стриженный. Он понюхал толстым носом воздух и оглядел машину. Его блеклые глазки (цвета я до сих пор не разобрала) остановились на маленькой старушке в кузове.

Сухая, дряхлая, как вся её мебель; она сидела на кресельном подлокотнике в дальнем углу. Я даже подумала, что она похожа на лишний стул или другой не очень нужный предмет гарнитура, который с собой-то взяли только потому, что пожалели оставлять новым жильцам. Её жиденькие волосы были разделены на ровный пробор и зачёсаны за уши. Когда Антон зацепился за неё взглядом, старушка заёрзала и суетно заговорила неразборчиво, показывая редкие зубы и теребя причёску. Он покивал ей в ответ и закурил. Она выжидательно замолчала, закрутила перламутровую пуговицу на растянутом манжете своей кофты. Водитель принял это за знак, дёрнув скобу, опустил борт кузова.

Самое грустное впечатление на меня производят переезды. Когда люди срываются с насиженного места со своим печальным скарбом, едут в неизвестность с бессознательной надеждой на лучшее. Перевозимая мебель кажется отслужившей и старой, а новоявленные жильцы измотанными и беспокойными. Человеческое достоинство унижается до переживаний о потерянных вилках да оцарапанных антресолях. Всё это напоминает банальные разглагольствования о ничтожной песчинке в бескрайней Вселенной. Суета грозит ненужностью, а уютные воспоминания скапливаются в необжитом углу.

Тогда вещи Антона выглядели как будто более ветхими, а его спокойствие никак не вязалось с хлопотнёй старушки из кузова. Казалось, что происходящее его не заботило, а деятельное преображение матери раздражало.

Он, не торопясь, докурил, внимательно посмотрел ей в глаза, та сразу притихла. Антон же вместе с водителем взялся таскать вещи.

Я с самого начала заметила эту его привычку делать всё медленно и обстоятельно. У него на всё были заведены свои неспешные ритуалы…

С тех пор он и его мать держались особняком. Она никогда не выходила к соседкам возле подъезда. Если и появлялась на улице, то медленно ковыляла, глядя себе под ноги, и всё теребила свои манжеты.

Я заметила, что на её одежду, даже несмотря на цвет, были нашиты одинаковые продолговатые перламутровые пуговицы с неразборчивым рисунком. Куда бы она ни брела, словно божий человек, перебирающий чётки, ни на секунду не выпускала их из рук.

Антон вообще появлялся редко. Уходил рано, возвращался к ночи, иногда вовсе не бывал дома.

Говорливые соседки решили, что он где-то работает посменно.

Мы часто встречались на лестничной площадке, никогда не здоровались, я вообще не помню, чтобы он хоть с кем-то здоровался. И дурацкая привычка среднестатистического жителя мегаполиса — не знаться с соседями — давала повод.

Постепенно про Антона стали ходить слухи. У подъезда поговаривали, будто работает он в больничном морге, свежует соотечественников с удовольствием. Да и сам он плохой, странный человек, разве кто нормальный станет заниматься такими делами? Мать будто боится его, как огня, и якобы есть отчего.

Однажды соседка сверху слышала (я вот не удосужилась из-за соседней двери, а ей-таки удалось), как он ночью громко орал и «форменно» обещал пристукнуть старушку. Мол, запугал совсем, оттого-то она теперь и ходит шаркающей походкой, семенит по жизни божьим одуванчиком и ни с кем не знается.

С матерью Антона я однажды ехала в лифте. Мы вошли в кабину, я нажала кнопку, двери закрылись, она вдруг тихо сказала:

— Вы и ваша девочка очень нравитесь Антоше. Может быть… — старушка замолчала, немного пожевав воздух, продолжила, — заходите как-нибудь в гости.

Голос у неё был еле слышный, из-за редких зубов по-старчески чуть шамкающий и очень спокойный. Имя сына она произнесла по-особому нежно, её серые глаза заблестели.

Лифт остановился, я спешно пообещала не говорить Антоше про разговор, потому что он может расстроиться из-за её вмешательства. Ведь он уже «слишком самостоятельный и не любит, когда помогают».

С этого дня любопытство мучило меня сильней. Меня почему-то всегда привлекали люди замкнутые. Кто-то из умных сказал, что в знакомых и друзьях мы неизбежно ищем себя, кажется, это был японский мудрец. Мне думалось, что люди, не жаждущие встреч и новых знакомств, интересны именно этой своей странностью. В обществе, где индивиды сбиваются в стаи и кружки по интересам, чтобы спастись от одиночества и скуки, есть всегда тот, кто с завидным постоянством избегает человеческих сборищ. Бывает, его за это ненавидят, но всё же мечтают залучить в своё окружение.

Я долго думала о слухах да про то, стоит ли брать с собой Сашу. Но всё же решилась посмотреть на мрачного служителя морга вблизи.

Было воскресенье. Где-то внизу драл глотку озябший кот. Наверное, он забрался на почерневшее от осенних ливней дерево. Ошалев от своей смелости, замяукал жалобно, но вдруг заморосило, он продрог и отчаянно заорал, призывая человечество на помощь. Мрачное утро дребезжало в его надрывных криках. Дождь не унимался, было холодно. Сашка давно встала и даже сама заплела себе косу. Я ещё недолго лежала под одеялом, думала о промокшей кошке, неудачном стечении обстоятельств. На кухне пару раз грохнуло, и я поняла, что если не встану, Саша в поисках съестного расколотит все тарелки.

Мы позавтракали, говоря про Чебурашку. Сашка заметила, что он глупый, но очень добрый. Я же для очистки совести спросила, сколько будет два плюс три, и заставила её прочесть надпись на пачке молока.

А пока она убирала игрушки в своей комнате, я размышляла над чашкой кофе.

Ещё чья-то бабушка сказала надвое и про сплетни, и про дым, что без огня не клубится. Но я так давно никем не интересовалась по-настоящему, что сочла её россказни глупыми суеверьями. У меня ведь появился повод подойти ближе — полуофициальное приглашение перейти черту. Подумалось, что вряд ли Антон набросится на меня с порога, выпотрошит и отвезёт в свою вотчину.

К тому же мы с Сашкой сотню лет не ходили в гости. А ведь в этом всегда есть что-то странное. Чай в чужом доме совсем не такой, как обычно. По-своему расставленные книги, мебель рассказывают про владельца куда больше, чем месяцы знакомства. Я не удержалась.

Дверь открыла мать. Она сначала долго изучала нас в глазок, потом, пошуршав металлической собачкой, отперла. Желтизна кухонного полотенца, перекинутого через плечо, неприятно контрастировала с её болезненным лицом.

— А Антоши нет, он за сигаретами вышел, — протараторила скороговоркой, теребя перламутровые пуговицы на манжетах кофты, — но вы проходите.

— Мы ненадолго, — сказала я и мысленно отругала себя за любопытство.

Она ушла на кухню, оставила нас в гостиной.

В комнате было старомодно и чисто. Диван с деревянными подлокотниками, книжный шкаф, круглый стол с четырьмя стульями и белой скатертью; ширма в дальнем углу, отгородившая кровать; два пухлых кресла, у стены телевизор, правда, новый; комод с кружевными салфетками, начатое вязанье на тумбочке. Если бы я не знала, что Антон живёт здесь, то уж точно решила, что это комната одинокой старой женщины, которая занимает часы рукоделием и просмотром новостей. Только книги на полках могли предложить альтернативу. Хотя почему бы старушке вместе с Тургеневым, Пушкиным да Карамзиным не интересоваться анатомией, криминалистикой и ремеслом патологоанатома. Чего теперь не бывает?

Сашка, устроившись на стуле, уныло болтала ногами. Я подошла к полкам и только тогда заметила, что за ширмой есть ещё зеркало во весь рост. Мне почему-то сразу представилось, как Антонова мать стоит перед ним в одной комбинации, разглядывая своё старое тело. Смотрит сначала в разрез на обвисшую грудь, потом вытягивает руки и глядит на пожелтевшие ногти. Внимательно изучает дряблую кожу на локтях, потом выдвигает поочерёдно худые ноги, а после, осторожно приподнимая подол, без эмоций водит взглядом по отражению морщинистого живота.

Я обернулась к Саше, она с закрытыми глазами медленно сползала со стула. Осторожно потрясла

её за плечо, Сашка глубоко вздохнула и недоуменно посмотрела вокруг.
— Мы в гостях, не пугайся.

Она оглядела комнату, в воздухе что-то дрогнуло, будто бы он загустел, а кто-то в коридоре толкнул его край, тяжёлая волна лениво пошла к окну. У меня появилось неприятное ощущение чьего-то присутствия, хотя мы по-прежнему были одни. Даже подумала, что кто-то подглядывает в окно, но вспомнила про пятый этаж.

По алюминиевому сливу ковылял голубь, ветер ерошил его серые перья. Птица, пытаясь удержаться, немилосердно скребла когтями по наклонной поверхности. Вряд ли её интересовало происходящее за стеклом.

Антонова мать принесла поднос с чаем. Саше досталась чашка из другого сервиза с голубым слоном и тонкой ручкой под позолоту, нам же Анна Ильинична (мы только сейчас познакомились) оставила по красной кружке в белый горох.
— Вы что-то вяжете? — спросила я для разгона тишины.
— Кружевные салфетки, — она оживилась, как в тот раз, при переезде, — знаете, многие любят, когда дома всё белое, накрахмаленное. В галантерее платят по 50 рублей за штуку. А мне что ещё делать? Вот, сижу днями за спицами, думаю про своё, набираю петли, глядишь, и готово. Ещё, говорят, мода сейчас на такое пошла, ну, чтобы у хозяйки всё будто бы ею связанное. А тем, кто сам не умеет, я и… Только вы Антоше не рассказывайте, что у меня на продажу. Он ведь думает: знакомым; я и знакомым, и к пенсии добавку… Хотите, для вас тоже свяжу?

Я почувствовала себя неловко, будто бы она предложила мне не салфетку в оборках, а деньги. Опять появилось это ощущение чужого присутствия.
— Ну, что вы. Не нужно.
— Вам понравится.

Она замолчала, мне вдруг подумалось, что какой-нибудь писатель середины XX-го столетья сочинил бы в подражанье Газданову: «Старость давно тронула её печальные черты». Но пора пафосных фраз прошла, прихватив с собой целую эпоху.

И если быть проще, я только сейчас догадалась, что Анна Ильинична давно себя изжила. Скучные глаза, седые волосы, ненадёжная походка, тело, покрытое морщинами, словно смятой обёрточной бумагой, из которой давно изъяли содержимое. Вот она сидит, чуть наклонившись вперёд, чтобы расслышать мои слова. Делает вид, будто пьёт горячий чай, а сама только касается губами ободка да отставляет кружку. Я смотрю и не понимаю, как ей до сих пор удаётся дышать. Теперь же, когда вспоминается тот день, в голове некстати вертятся слова Янины Ипохорской: «Жизнь что трамвай — с вагоновожатым не поразговариваешь».

Антон неожиданно открыл дверь своим ключом и раздражённо хлопнул по кнопке звонка, негодуя на материнскую забывчивость да дверную цепочку. Анна Ильинична заторопилась, я напряглась. Он вошёл, пошарил в карманах, вытащил две пачки сигарет и зажигалку из синего пластика. Преувеличенно небрежно бросил всё в кресло, сделав вид, будто бы только нас заметил.
— Привет, — поздоровался он почему-то только с Сашей.
— Привет, — поздоровалась она.

Мне всегда нравилась эта её непосредственность. Если Саше «тыкали», она отвечала тем же. Чужая мамаша старанья ради обязательно замечала: «Разве тебя не учили говорить незнакомым людям вы?». И тут надо было менять тему или уводить Сашку побыстрей, иначе реплика: «А тебя?» грозила очередной тирадой. Тирадой про то, как стыдно хамить, куда смотрят родители и что грубой быть плохо и некрасиво. Мне же в такие моменты на память приходили писательские рассуждалки, начавшиеся ещё столетья назад, кажется, с «Очерков Бурсы». Мол, ребёнок тоже человек, только у него, как у собаки, проблемы с самовыражением, и не всякому объяснишь, что дело тут не в воспитанности или отсутствии хороших манер.
— Хочешь, покажу скальпель? — спросил Антон.

Сашка согласно закивала на незнакомое слово. Он пошёл в прихожую и зашуршал, видимо, в своей сумке.
— Вы всегда с собой носите рабочие инструменты? — не утерпела я.
— Всегда, — недовольно буркнул Антонов голос.
— А зачем, не скажите?
— За шкафом.

Уже в комнате добавил:
— Просто нравится, вы не думайте, он нулевой, две недели только со склада. Чистенький.

Повертел перед Сашкиным носом литым хирургическим ножичком, с гордостью подержал на свету, но в руки так и не дал.
— Оружие врача, — улыбнулся Антон, — металлический, гладкий, приятный.

Анна Ильинична спохватилась, что сын ещё ничего не ел, и пошла на кухню.

Антон представился. Я ответила, он поинтересовался:
— Ты знаешь, где я работаю?

Я пожала плечами:
— Знаю.
— Не боишься? Ещё ребёнка привела.
— Нет.
— Это хорошо.

Собственно, так началось наше знакомство.

V

Саша проснулась в половине шестого. Солнечные квадраты переползли с пола на стены. Выцветшие зеленоватые обои с ромбовидным тиснением от этой световой насыщенности казались новей.
— Что тебе снилось?
— Собака, большая коричневая, — Сашка потягивалась.
— Ты испугалась?
— Нет. Мы играли, было весело.
— Значит, тебе приснился друг.

Саша задумчиво отвела глаза в сторону. Мы замолчали.

«Собака, большая коричневая» — мечта каждого ребёнка. Спросишь зачем, — посмотрит непонимающе, не ответит или, наоборот, скажет: «Ну, как это?». Старший останется в недоумении, а младший уверится в своей правоте. Действительно, что может быть очевидней этой нераздельности? Ведь любой, только научившийся говорить, заверит, что ребёнку без собаки ни в коем случае нельзя. Я порой думаю в самом деле завести пса. У Сашки и так мало детского. Игрушки, конечно, хорошо, да с собакой хоть поговорить можно. Но опять же надо кормить и гулять, а у меня ни средств, ни желания. Я помню себя в её возрасте. То же чувство, чтоб обязательно — собака огромная и добрая, всё понимающая, но главное, своя. Совсем взрослые и скучные люди думают, что это всего лишь прихоть. На самом же деле — острая необходимость. Наверное, поэтому Сашка тискала во дворе всех хозяйских собак и бродячих котов.

— Слышишь? — она потянула меня за руку.

— Что?

— Слушай, — Саша снизила голос до шёпота, — в комнате кто-то ходит.

Задышала быстро, беспокойно. Зрачок, словно от укола, разросся чуть ли не на всю радужку.

— Саша, Саша, успокойся, ты это со сна.

Я прислушалась, в коридоре между комнатами действительно шебуршали. Звук такой, словно кто-то рылся в своих карманах, мялся, переступал с ноги на ногу, вздыхал обиженно.

— Там никого нет, хочешь, пойдём, посмотрим?

Сашка, испуганно замотала головой.

— Ладно, я сама.

Хрипло кашлянули. Я быстро вышла из комнаты. В пустой прихожей на вешалках безжизненно темнела одежда. В зеркалах трельяжа отражалась моё окно. Для верности я прошла на кухню, никого не было.

Вдруг спешные шаги за моей спиной бросились в детскую. Я резко повернулась и сразу же поняла: бегают не по квартире, а этажом выше. На всякий случай посмотрела Сашу: она, свернувшись калачиком, снова заснула. Я вернулась в прихожую, проверила замки, заглянула в глазок. Антон сидел на корточках перед своей дверью, стиснув руками голову. Я открыла:

— Привет, ты чего?

Антон посмотрел мне в глаза, как обычно спокойно и равнодушно.

— Ключи забыл?

Он молчал.

— Тогда чего?

Пожал плечами.

— Зайдёшь?

— Сашку не разбужу?

— Нет, ей всё равно пора вставать.

Я помню, что Антон любит чай с бергамотом, мы с Сашкой пили «Лесную корзину» с ягодами. Но если одновременно в разных заварниках запарить оба чая, то в кухне появится причудливый аромат. Душистые листья смородины перепутаются с малиновым духом и земляничной сладостью, а терпкий бергамот добавит сдержанности чайному букету.

Когда Саша впервые услышала слово «бергамот», то сначала ничего не сказала. Но потом отозвала меня в сторону и спросила, кто это такой и почему не пришёл, раз его пригласили и очень ждут. Я объяснила, что это всего лишь сочные груши, но она мне, кажется, не поверила, поинтересовалась у Антона, где живёт, что ест Тот Самый Бергамот. Антон долго смеялся громким и заразительным смехом. С тех пор Сашка ему вопросов не задавала.

Тогда мы тоже сели в кухне. Я по обыкновению готовила чай. Но знакомый аромат почему-то не складывался. Всё портил странный приторный запах. Казалось, он двоился, вроде, была в нём знакомая мягкость и даже приятность. В то же время нечто слащавое и липкое чувствовалось сильней. Только наполнив чашки, я поняла, в чём дело. Антон ехал прямо с работы, не был дома, значит, не переодевался. Его одежда пропиталась запахами формалина и ладана.

Он хотел закурить, но вспомнил, что Саша не переносит запаха дыма. Сунул пачку обратно в нагрудный карман футболки. Я почему-то подумала, что за два года общения мы не стали ближе. Он приходил к нам почти каждый день. Мы садились втроём, или даже вдвоём, но это реже, за клеёнчатый стол. Говорили о жизни, настроении, работе — о разном, смеялись или тревожились. Но вот занятная штука: эти посиделки не приблизили нас ни на шаг. Антон переводил беседу, если не хотел о чём-то рассуждать. Иногда просто молчал, делал вид, будто обращаются не к нему. К Саше он всегда был внимателен. Никогда не сюсюкал, не заискивал, как многие взрослые, не вёл себя снисходительно. Ей очень нравилось, что мы все говорим на равных. Я, часто оставляя Сашку с Антоном, была спокойна.

В тот раз он сел на другой стул. Что уже само по себе было странно, ведь Антон всегда занимал одно и то же место. Как собака, выбравшая себе уютный угол, никогда не садился иначе. Мне даже думалось, что такая мелочь стала у него ритуалом. Пришла Саша. Пили чай молча. Потом Антон вспомнил, что у него дома есть хорошая книга и надо её принести. Сашка вызвалась помочь. Когда дверь хлопнула, Антон сказал, что нечестно, если умирают молодые и красивые. Старые и отжившие своё — это нормально, а вот молодые — плохо. Ничего толком ещё не было, а уже вскрыли черепную коробку, взвесили, промыли кишочки, зашили трупным швом, да упаковали в ящик. Пришёл скучный поп, оттрындел над усопшим заупокойную, махнул кадилом пару раз, и поплёлся по своим делам дальше. А что несправедливо, ему дела нет, Бог всё простит. Только, где он, этот ваш Бог? Кто его видел, Бога-то? Уж куда-куда, а к Антону на работу он точно не заглядывает. Туда санитары-то ходить боятся, облегчённо вздыхают, если кто из смотрителей к труповозке сам выходит. Антон помолчал.

— Знаешь, Майка, к нам сегодня молодую привезли, двадцать семь лет. Красивая. Волосы чёрные, губы пухлые, фигура — ничего лишнего. Лежит, как живая, только бледная, даже резать жалко.

Я шесть лет не плакал, а тут по-пацански заныл. Ей бы жить да жить, а её сюда. Обидно, сил нет.

Посмотрела на Антона. Попыталась представить, как этот крепкий человек плачет. Интересно, что видно в его глазах, как он сидит, что выражает его лицо, как выглядят губы. Подумала ещё и решила: вряд ли ему пойдёт человечность, во всяком случае, такая, как принято понимать. В голове завертелось знакомое: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Да, руки у Антона всегда были чистые. Я бы даже сказала, чересчур. Сильные, некрасивые, с короткими пальцами, но опрятные. Ни грязи под ногтями, ни порезов.

Приходя к нам, первым делом он шёл в ванную, когда вставал из-за стола, даже если ничего не ел, споласкивал в раковине. Делал это мимоходом, но тщательно.

— Знаешь, Майка, а я ведь всё равно свою работу люблю,— сказал Антон и достал зажигалку,— всегда кто-то должен убирать мусор. Добросовестно, каждый день.

Я снова посмотрела на него:

— Почему бы и нет.

— Мёртвых, Майя, бояться нечего. Они не кусаются и не шумят. А я тишину люблю.

Так работал бы в музее. Нет, в музее не то, слишком людно. А на работе у Антона благодать. С утра вдвоём, ночью один. Порой, кажется, время замирает. И только там он хозяин. Что, думаешь, псих? Нет, даже близко не попала. Истину, истину, Майя, нужно искать в подобных местах. Сначала понять, что, откуда и куда уходит. А только потом про жизнь рассусоливать. Страшно поначалу, неприятно, но перебороть надо, смирить себя, свыкнуться.

Мы вспомнили про Сашу. Она до сих пор не вернулась. Они с Анной Ильиничной так и не нашли книгу, Сашка задремала на Антоновом диване.

VI

Небо забродило серыми тучами. Хмарь расползлась, затопив вечерний город. Пойманный дождевой сетью мягкий неоновый блеск навесных реклам, проворные автомобили и пёстрый поток разноцветных зонтов, как задыхающиеся мальки, грустно подрагивали в лапах непогоды. Краски сгустились, хмурое потемневшее небо в нескольких местах треснуло молниями. Я стояла на балконе и смотрела, как верхушка Эйфелевой башни медленно плывёт над помрачневшими домами. Сначала мне даже казалось, будто слышу скрип её тяжёлой конструкции, устало качаемой ветром, но потом стена дождя шумно обрушилась на улицы, скрыла все звуки.

Саша сидела в дальнем углу комнаты, с ногами забравшись в кресло.

Под потолком ненадёжно мерцала лампочка, вольфрамовая нить слегка подёргивалась от перепадов электричества, вот-вот обещая погаснуть. Наверное, это световое дрожание и отвлекло Сашку. А может быть, ей просто надоело листать буклет с видами Парижа. Она больше не интересовалась ни величественностью Триумфальной арки, ни утренней красотой Сены, ни уютными ресторанчиками для туристов.

Вдруг пульсирующий огонёк внутри стеклянного конуса дёрнулся и исчез. Сашка вздрогнула, резко вскинула голову.

В небе громыхнуло, тяжело ударив звуковой волной в нашу балконную дверь, и десятки автомобильных сигнализаций внизу, у тротуара, запищали, перебивая друг друга. Я почувствовала Сашину руку, уцепившуюся за подол моего платья. Вторая искала на мокром поручне моё запястье. Нащупав, Саша крепко прижалась ко мне всем телом. Несколько секунд я слушала её учащённое дыхание и бешено стучащее сердце. А потом вдруг раздражённо спросила:

— Ты что, боишься?

Саша неуверенно отстранилась, худенькая, с растрёпанными волосами в темноте она выглядела особенно жалко. Мне стало мерзко от себя она осторожно выпустила мою руку, аккуратно разгладила измятое платье и ответила тихо: «Нет».

— Тогда иди в комнату, а то простынешь.

Она ещё мгновение стояла, накручивая рукав футболки на палец, пока та не впилась в плечо, потом послушно повернулась и закрыла за собой дверь. В небе опять что-то лопнуло, молния вырастила блестящую грибницу…

Мне часто казалось, будто я только и занималась тем, что говорила: «Саша, сделай то, Саша, сделай это, перестань, пожалуйста, ты же знаешь: нужно поступать так, а не иначе». Конечно, я раздражалась, если она не слушалась. Порой хотелось закричать, чтобы она прекратила свои дурацкие выходки, но всякий раз я вспоминала, что могла испугать её, спровоцировав очередной приступ катаплексии. Она продолжала по-своему, я злилась ещё больше, только уже на себя.

В тот день Саша опять устроила чёрт знает что. Мы пришли после балета домой, Она сказала, что очень устала, аккуратно повесила одежду на стул и легла спать. Я поплелась в магазин за яблоками. Ходила не больше сорока минут, вернулась, дверь закрыта на нижний замок, и дома тишина. Сначала решила, что Сашка играет. Она ведь часто придумывала новое.

Однажды после фильма про Чука и Гека спряталась в шкафу и уснула, мы с Антоном нашли её и переложили в постель, Саша, когда встала, очень удивилась. Потому в этот раз я заглянула и в шкаф, и под кровать, даже пошарила рукой на антресолях, мало ли, что ей взбрело в голову. Но было ясно: дома никого нет.

Анна Ильинична сказала, что Антон ещё не вернулся с работы, а ей сегодня нездоровится, и Сашка к ним не заходила.

Вот тогда-то я испугалась. Сразу представила, как она свалилась в какую-нибудь канаву или траншею, ведь дети всегда находят самые «удачные» места для падений.

Понеслась вниз, к подъезду, расспросила соседок, но никто Сашу не видел — выползли гулять только что. Я не придумала ничего лучше, как обойти все квартиры. На мои звонки раздавались недоуменные отказы: нет, мы не видели вашу

девочку, не заходила, не была. Как так, ушёл ребёнок, а никто не знает. Я позвонила в милицию, но там грубый молодцеватый голос хамовато посмеялся надо мной. Мол, шутите, мамаша, что мы вам тут, няньки, к подружке, поди, пошла. А вот если через двое суток не вернётся, то, конечно, тогда милости просим писать заявление.

Я хотела сказать, что не мамаша, и что подруг у неё никаких нет, но дежурный, весело хохотнув, положил трубку.

Снова вышла на улицу. Смеркалось и начинало накрапывать. Пахло холодной влагой, откуда-то нёсся автомобильный гул. Соседки расползлись по домам.

Опустевший двор казался мрачным, недоброжелательным. Я села на лавку и подумала: сначала надо дождаться Антона, потом идти обыскивать район вместе. Но как и где искать в первую очередь, я не знала.

Мысли мои постепенно рассеивались. Вечер мутнел и угрюмел. Заговорщически шушукался в деревьях ветер.

Чувствовалась августовская ненадёжность.

Пожалуй, я только сейчас поняла, что осень уже дышит в затылок, обрывая в нетерпении календарные листы. Смена времён года неминуемо делает круг. А человек, как всякая зверушка, готовится к зимовке загодя.

Не знаю, сколько я так просидела. Но фонари уже засветили жёлтым, когда на другом конце двора показались два силуэта. Тёмные фигуры: одна сгорбленная повыше, другая стройная маленькая — приближались медленно. Я почему-то сразу поняла, что это ведут Сашу.

— Спасибо за то, что нашли, — сказала я и крепко схватила Сашкину руку.

Старая женщина грустно посмотрела на нас, кажется, сгорбилась ещё больше. Её вытянутое сморщенное лицо уныло качнулось над тощими плечами в знак согласия. Мне подумалось, что она похожа на китайского болванчика.

— Мы кормили кошек.

— Рыбой, — подтвердила Саша.

— Я с каждой пенсии покупаю два кило плотвы, чтобы бездомным кошечкам дать поесть вволю.

Почувствовала, как начинаю выходить из себя. Они кормили «кошечек» в то время, когда я тут сходила с ума от беспокойства. Потащились на помойку бросать склизкую рыбёшку хвостатым.

— А потом мы зашли ко мне домой, чтобы помыть руки…

Старая калоша говорила так спокойно, будто бы всё в порядке. Помыть руки, попить чай, поужинать, поболтать… Я тут места не находила. Теперь стоит, рассуждает, мол, кошечек бездомных жальче людей. То-то видно, эгоистка.

— Спасибо, — процедила я сухо и потянула Сашу за собой. Женщина, отпуская её, попросила кормить иногда бездомных животных.

Мы подошли к подъезду.

— Мне больно, — пискнула Саша и попыталась высвободить руку.

— Тебя вообще надо выдрать! — выпалила я сквозь зубы.

Саша непонимающе посмотрела мне в глаза. Я вдруг на неё замахнулась.

Она часто-часто заморгала, начала прерывисто дышать, вся сжалась.

Мне до сих пор стыдно. Я не ударила, но хотела. В первый раз так сильно и решительно. Даже сейчас не по себе, то ли оттого, что могла это сделать легко, то ли потому, что возникло желание.

Я успокоила Сашу и забрала у неё ключи от квартиры. Что-то сказала про плохое поведение…

Дождь постепенно сходил на нет. Люди, прятавшиеся под козырьками кафе и ресторанов, потянулись на улицу. Непонятно откуда взявшийся худощавый мим ненавязчиво заигрывал с прохожими. Он смешно вытягивал шею, подставлял размалёванное лицо под редкие капли, махал руками и высоко задирал ноги, явно изображая какую-то птицу. Заботливо вырастил воображаемый цветок и подарил его промокшей блондинке в льняном костюме. Эйфелева башня медленно таяла на фоне проясняющегося ночного неба.

Саша в комнате, пристроившись на уголке кровати, напряжённо ловила каждое моё движение. Рядом с ней лежала новенькая нераспечатанная свечка и буклет, открытый на странице об уличных актёрах.

Я чиркнула спичкой о коробок, приятно запахло серой. Комната наполнилась тусклым мерцанием, тени медленно поползли по обоям.

— Саша, знаешь, — сказала мягко, — бояться можно, к тому же со временем это проходит. Да и гроза не самое страшное из того, что случается. Если чем-нибудь заниматься, когда за окном начинает греметь, можно научиться не замечать… — мне вдруг пришло в голову, что говорить подобные вещи испуганному ребёнку по меньшей мере глупо, даже если этот ребёнок ни за что не признается в своих страхах. Но хуже пытаться убедить его в том, во что самой не удалось поверить.

Сложилось так, что я всегда была с ней рядом, вроде бы, даже участвовала в воспитании, но только на деле Сашка выросла сама. И теперь мои педагогические порывы выглядели не к месту.

В свои семь она была похожа на маленькую рассудительную старушонку, в сущности, сформировавшаяся личность. Молчаливая, неулыбчивая, совсем не такая, как остальные дети. Я не помню, что бы она плакала или когда-нибудь жаловалась, а ведь девчонки её возраста постоянно гундят и канючат что-нибудь у своих родителей, пытаются привлечь всеобщее внимание. Сашка не капризная, но очень упрямая.

Знаю, ей нужна была ласка, наверное, пора было вести с ней всякие разговоры про то, откуда берутся дети и почему ей в этой, без того нелёгкой, жизни придётся сложнее, чем остальным. Но каждый раз, когда я набиралась смелости и заговаривала, Сашка смотрела на меня по-особенному, и я задумывалась, не опоздала ли с подобными рассуждениями. Разговор опять не клеился, она продолжала самостоятельно взрослеть, справлялась со своими детскими штуками в одиночестве.

— Ты сегодня уйдёшь? — Саша прервала мою задумчивость.

Я пожала плечами.

— Хочешь молока?

Она кивнула.

Уснула не дождавшись.

Париж за окном растаял, а с ним и Эйфелева башня, только шпиль Останкинской остался, как напоминание. Я укрыла Сашу верблюжьим одеялом, забрала буклет, кружку поставила возле кровати, хотя знала, что до семи тридцати она не проснётся.

В коридоре настойчиво захрипел телефон…

VII

На эскалаторе уныло целовались две девушки лет пятнадцати. Рыжая, с серебряным колечком в ноздре, облокотилась на поручень и уверенно запустила руку под кофту лысой подруги. Бритая девочка откинула голову, словно приглашала целовать её щупленькую детскую шею. Рыжая самодовольно улыбнулась и приняла предложение.

Так они застыли на чёрной ленте эскалатора. Ещё одно грустное фото из коллекции мегаполиса. Города-спрута, города-гиганта, города-героя, где каждый хочет быть с кем-то, пусть ненадолго: на неделю, на день, на час. Но главное, быть шестьдесят секунд в минуту, вдыхая запах и чувствуя кожей человеческое тепло. Можно даже молчать. Но обязательно рядом, чтобы при случае на неожиданное «а знаешь?» услышать ответ.

Пять человек разбрелись по опустевшей платформе. После дождя, особенно, поздними часами в метро чувствуется тяжесть: смесь усталости, недостатка свежего воздуха и мутных ожиданий ночи. Иногда в скользком жёлтом свете метрополитена становится противно, появляется необъяснимое ощущение тревоги.

Пыльные плафоны мерно раскачиваются над головой, будто предвещают нехорошее. Люди тревожно оглядывают друг друга, поезд, как раненый зверь, ревёт свой предупредительный сигнал.

На табло красными квадратиками высветилось: 00:15, секунды с новой силой побежали отсчитывать следующую минуту. Я посмотрелась в карманное зеркало, щёлкнула заколкой, волосы красиво упали на плечи. Расстегнула голубую кофточку ещё на пуговицу. Эта уловка не столько придаёт уверенности, сколько привлекает внимание. Хотя усталость в глазах и лёгкий оттенок безразличия ко всему сводят на нет смехотворные махинации с маленькой грудью. Я поправила брюки, закрасила губы светлой помадой. Иными словами, сделала всё от меня зависящее…

Дождь, ветер, ветер, дождь — от перестановки слагаемых сумма не меняется. Осень приходит быстрее, чем я успеваю привыкнуть к этой мысли. Дни теряют цвет, непогода сорит листьями и разводит слякоть. Наверное, поэтому больной август всегда плаксив и неестественно трагичен. Люди в холода сближаются — инстинкт самосохранения, доставшийся в наследство от хвостатых предков, до сих пор даёт о себе знать.

— Здравствуй, — сказал Денис.

Я улыбнулась. Он предложил чаю, и мы пошли на кухню пить кофе.

Когда-то давно, ещё в начале нашего знакомства я придумала правила своей одиночной игры, три простых условия: минимум информации, минимум надежд и никаких попыток нарушить первые два запрета. В противном случае набранные очки сгорят, герой самоустранится и придётся начинать заново.

Чайник присвистнул, Денис повернулся на стуле и снял его с огня. Запахло растворимым кофе.

— Хочешь? — спросил он, закуривая.

— Нет.

— А ужинать?

Я опять покачала головой. Он пожал плечами. Мы помолчали до тех пор, пока сигарета не закончилась… Минимум информации — это не так уж плохо. Никто не претендует на знание твоей души, не советует и не пытается лечить. Просто ты живёшь, как удобно, принимаешь решения самостоятельно и не боишься остаться в одиночестве…

Мы познакомились около года назад. Саша тогда болела не сильно, её можно было оставлять одну, поэтому я работала в офисе. Набирала все те же скучные тексты.

Август сходил на нет. Люди возвращались из отпусков. Третий канал заключил договор с нашим концерном, и Денис отправился к нам в контору снимать серию заказных репортажей.

Начальник Николай Сергеевич — человек, зависимый от погоды, семьи и вышестоящих, — курил у себя за столом, ожидая людей с телевиденья, как второго пришествия. Уже давно из кабинета в кабинет гуляли слухи о грядущем разгоне нашего «совкового» отдела и прикреплении особо ценных кадров к другим филиалам. Сотрудники подыскивали запасные выходы и пути к отступлению. Николай Сергеевич был немолод, при детях и начальствовал в этом кресле не меньше двадцати лет. Он хмуро застёгивал свой недорогой пиджак на все пуговицы, будто боялся выпустить опасения наружу. Говорил мало, часто закрывался в кабинете, просил никого не пускать. Секретарша рассказывала, что он пьёт коньяк из угловатой бутылки и часто сорит окурками возле стола. Кто-то верил.

Думается, Николай Сергеевич видел в Денисовом явлении последнюю возможность оправдаться и заслужить доверие. Наверное, поэтому в день съёмок он лично вышел к журналистам. Осторожно подхватил под локоть невысокого темноволосого мужчину, лет двадцати восьми, и, стараясь не измять его делового костюма, увлёк жертву к себе.

Снимали всего пару дней. Быстро нашли общий язык, заговорили не только о задачах промышленной группы, её клиентах, но и о жизни.

После четырёх часов Денис отключал микрофон, отправлял оператора домой, и беседа продолжалась за кофе. Николай Сергеевич, воодушевляясь, зазывал собеседника к себе в пресс-службу. Но тот отказывался, размышляя о деньгах и свободе. Мол, телевиденье — это образ жизни, независимость — его неотъемлемая часть.

Денис всегда говорил, будто нет ничего лучше софитового света и объектива камеры, особенно,

когда они направлены на тебя. И если ты не можешь сказать: на сегодня достаточно, завтра доснимем,—значит, жизнь сделала крен. Ведь оставаться по эту сторону микрофона намного лучше, чем по другую, хотя бы потому, что здесь ты хозяин положения. Маленький божок из пятиминутного репортажа. Вершитель судеб и помощник обывателя.

Что вы говорите: не топят вторую неделю? Трубы лопнули? Сосед—известный художник? Как, как адрес? Повторите, пожалуйста. Съёмочная группа выезжает. Часа через полтора будем на месте. Почти что скорая, почти пожарная. И уж точно лучше милиции.

Да в конце-концов всем нравится простое человеческое внимание. А «попасть в телевизор»—счастье неописуемое. И Денис не понимает, что, значит: нет, снимать здесь нельзя, ещё раз принесёшь сюда свой телевизионный хлам, костей не отыщешь. Денису не ясно, как можно не любить стэнд-апы и прячущуюся за камерой фигуру оператора.

Но телевиденье—это как балет или модельный бизнес, улыбайся, пока ты молод, улыбайся, пока ты брэнд, зритель твой. Он за тобой с канала на канал будет щёлкать, если потребуется. Примет все твои па и ню. Но как только ты вышел в тираж, поистрепался, потерял блеск, зритель найдёт нового кумира. Забудет тебя беззастенчиво, пусть ты хоть трижды профессионал.

Оттого-то журналист—человек отчаянный, оттого-то он обречён на тяжёлую работу. Грести лапками под себя, что есть мочи, рвать из новостей в спецрепортажи побольше, оттуда—в свою передачу, дальше—в авторское телевиденье, в документалистику или как выйдет. В идеале, пополнить бы ряды телеакадемиков, но опять же неизвестно, получится ли.

Откладывать деньги, чтобы, если в тираж, так уж безбедно или хотя бы не жалуясь. Бежать без одышки, беречь лицо и желудок, интересоваться всем, думать за двоих, жить не загадывая. И оглядываться, всегда оглядываться: кто идёт следом, чего хочет зритель, как смотрит администрация на политику канала…

Честолюбие—двигатель карьеры.

А Николай Сергеевич, казалось, больше ценил традиции и стабильность. Он привык к своему кабинету, кругу обязанностей, к старым сотрудникам. Ему было непонятно, как профессия наборщика текстов может устареть. Наверное, поэтому последняя соломинка оказалась всего лишь соломинкой. Наш отдел расформировали.

Через неделю я собирала вещи. Так же смутно надеясь на незыблемость своего трудового поприща.

Вышла на улицу. Август дотлевал под остывающим солнцем, предвещая холодную осень. Сентябрьский ветер уже вырвался на волю и, как заправский хулиган, приставал к прохожим, вертел из старых листьев маленькие воронки, шумел плохо приклеенными объявлениями и афишами. Я стояла некоторое время возле крыльца. Думала, как быть дальше. Николай Сергеевич сказал, будто всё образуется, без работы меня не оставят, но обещать конкретное пока трудно.

А то, что через неделю мне нечем было заплатить даже за проезд, никого не волновало.

—Я вас помню,—сказал знакомый голос за спиной.

—А я вас нет,—ответила, не глядя.

—Мне нравятся строгие девушки.

Я повернулась, Денис курил и щурился от солнца. Узел его полосатого галстука был ослаблен, и белый накрахмаленный воротничок рубашки вылез из-под лацканов тёмно-синего пиджака.

Съёмочную группу он только что отпустил. Снимали-то всего лишь фасад да немного в коридорах нашего здания. День подсъёмок—это почти что выходной.

Ещё раз посмотрела на крыльцо и окна второго этажа—мой бывший офис. Солнце красиво отражалось в стёклах. Я вспомнила, как оно длинными полосами ложилось на столы и лениво светило сквозь пластинки жалюзи, мешало работать.

Мне стало грустно, закончился очередной этап, впереди неизвестность—мои тернии, чужие звёзды и прочее в том же духе, а что делать, кто виноват да как быть дальше—неясно…

Денис ткнул в пепельницу бычком и взял меня за руку.

—Почему ты приходишь только по субботам?—спросил, осторожно целуя в ладонь.

—Я работаю, да и ты тоже.

—Даже по вечерам?

—Да.

—И в воскресенье?

Я кивнула. Он помолчал, закусив нижнюю губу.

—Майя, может быть, пора серьёзно поговорить?

Когда ты не ждёшь от жизни подарков, рассчитываешь только на себя и не надеешься на волшебника из голубого вертолёта, который, может быть, отыщет пару минут и заскочит к тебе вместе со всеми своими чудесами, тогда создаётся иллюзия, что не всё так плохо и финал ещё будет счастливым. Не знаю, к сожалению или к счастью, но романтические надежды заканчиваются ничем гораздо чаще. Годы идут, ты привыкаешь и даже, если что-то тебя не устраивает, рано или поздно начинаешь думать, будто так и нужно. Конечно, мне хотелось рассказать Денису всё, как есть. Рассказать про Сашу и про то, что я чувствовала, когда оставляла её одну, почему уже ничто не могло измениться.

Но было страшно… Ведь о таких вещах говорят в самом начале, а не через год. Вот, мол, образовался ребёнок из воздуха. Как? Да, бог его, этого ребёнка, знает. Я где-то прочла, что храбрец не тот, кто перестал бояться, а тот, кто невзирая на страх идёт вперёд. Но другое дело, если ты сознательно путаешь следы, а потом сам не можешь найти обратную дорогу. Ещё эта негласная договорённость: лишняя информация как ненужный свитер в чемодане с летними вещами.

—Майя, ты меня слышишь?

—Да. Так о чём?

Денис опять щёлкнул зажигалкой.

—О нас с тобой?

Естественно, как только кто-то объединяет тебя в это непонятное «мы», он тут же начинает претендовать на твои мысли, печали и радости. Ничего плохого тут нет. В конце концов, человек по природе собственник.

Но в этот момент я вдруг поняла, что говорить обо всём не хочется именно мне, а не Денису.

Минимум надежд — так проще.

Я знаю, что в большой комнате у Дениса стоит чёрно-белая фотография — портрет его матери. Молодая женщина с длинными тёмными волосами смотрит немного высокомерно из-под полуопущенных ресниц. Тоненькие брови изящно выгибаются, губы слегка тронуты улыбкой и обнажают ровный ряд передних зубов. В руках она держит свёрнутую трубочкой газету. Видно, что фотография непрофессиональная, но даже фотограф-любитель сумел уловить её грацию. Худые руки, покатые плечи, складки бледного платья — всё подчинено этой лёгкой женственности.

Мы никогда не говорили о ней, но, глядя на портрет, я точно могу сказать, откуда в Денисе взялись педантичность и заносчивость.

Я ни разу не спрашивала, сколько у него было женщин, не интересовалась, есть ли ещё кто-нибудь кроме меня. Подобные вопросы отягощают отношения. Мне это ни к чему. Ведь я не могла пожаловаться на то, что Денис плохо ко мне относился. Он всегда был нежен, заботлив, иногда мы ходили в кино, сидели в кофейне, гуляли по Тверской, несколько раз он дарил мне цветы. Когда я приносила букет домой, Саша смотрела на меня вопросительно. Я ничего не отвечала, пару раз она срезала бутоны, однажды налила чернил в вазу, но чаще стебли загадочно ломались и ставить в воду было уже нечего.

В первую очередь для Дениса важна работа. Я не злилась, когда он пропадал неделями, не звоня и не отсылая телеграмм, ведь эфир 24 часа в сутки, а шоу, дело понятное, должно продолжаться.

Иногда я представляла, как бы выглядел наш ребёнок… И тут же запрещала себе об этом думать, потому что у меня уже есть один, а образ Денисовой жизни никак не вязался с семейственностью. Парадоксально: он ездил по делам, всё время куда-то торопился, но я знала, что Денис совсем не любил спешки, а по-другому уже не мог. Дорогу он переходил только на зелёный и считал, что женщине не место за рулём. Аккуратно складывал всё на свои места и курил исключительно Lucky Strike. В этом смысле я могла честно заявить: «Я хорошо тебя знаю». Но если бы меня спросили, где прошло его детство, что стало с его родителями, на какие отметки он учился в школе, я бы, скорей всего, пожала плечами.

Я не думала о том, что может или должно случится. Мне было по душе это магическое «сейчас».

— В нас с тобой мне нравится всё, — эту фразу надо говорить немного равнодушно, чтобы заронить в собеседнике сомнение. Во всяком случае с Денисом такое пару раз проходило.

Он недолго молчал, потом вытряхнул пепельницу в мусорное ведро. Помыл кружки, вытер руки о бумажное полотенце. Посмотрел в окно. Из-за верхнего света Денис видел только своё отражение. Почему-то вспомнила, как две недели назад он переживал, обнаружив седой волос на правом виске. Я тогда сказала, что Бог его взял на заметку. Ляпнула, не подумав, а Денис разразился лекцией о моей беспечности и времени уходящем. Мол, в двадцать четыре ещё не поздно сориентироваться. Я ответила, что мне про это не интересно. А он заявил, будто года через два я пожалею. Возражать не стала. Ведь давно поняла, что мне уже не вырваться. Сашу нужно одевать, Сашу нужно учить, Сашу пора отдавать в школу, ей необходимы витамины и ещё много чего…

Подошла к Денису и положила руки ему на плечи. Он не повернулся. Я только почувствовала, как вздрогнул. Осторожно приложила ухо к его спине. И сердце застучало быстрей. Его дыхание на секунду стало ровным. Глубокий вдох и учащённые глотки воздуха. Ощущать тепло, вдыхать запах, думать бессвязные мысли, помнить о глупостях, молчать. Он притянул меня за руки и мягко поцеловал в оба запястья. Внутри у меня что-то задрожало, будто десятки бабочек разом затрепетали лёгкими крылышками. Просто быть, забывать всех, проникать в каждое прикосновение, верить себе. Денис повернулся и посмотрел мне в глаза — так начиналась наша игра. Смотреть долго, не отрываясь, приручать, как заклинатель змей, выжидать, пока второй не сдастся. А после нежно целовать в губы, подтверждая своё завоевание.

Темнота комнаты делает ближе, поглощая ненужное. Страха нет. Главное — знать, как руки бродят по чужому телу. Не думать. Осязать нежность. Оставлять чувственные следы ртом. Растворяться в движениях. Без спешки, обстоятельно. Да. Я шепчу: «Только ты». Мира нет. Быть послушной и верной. Предлагать новое. Языком от шеи до солнечного сплетения. Вдох. Дрожь. Можно закрыть глаза. Выдох. Волна захлёстывает. Слова теряют своё значение. Страсть. Всё перепуталось. Кричать… Дыхание восстанавливается за минуту, как у бегуна-олимпийца. Сердце одно на двоих. Стучит громко. Я есть. Ты есть. Мы были…

В пять утра Денис спал крепко. Он отвернулся к стене и ровно дышал. Я сказала себе, что запомню его таким: беззащитным и настоящим.

На ум опять пришёл этот странный стишок, который написал Жорж Рибемон-Дессень:

Птица поёт в моей голове
И мне повторяет, что я люблю,
И мне повторяет, что я любим,
Птица с мотивом нудным
Я убью её завтра утром…

VIII

И пришла волоокая осень. Ухмыльнулась пасмурно, натворив чёрт знает каких вывертов, словно шкодливая девчонка. Растрепала кроны деревьев, накидала цветастой листвы на метёные тротуары. Развела слякотную грязь. Спрятала солнце в тучах, будто монету в нестираный передник засунула. И заплакала, сама не зная чему расстроившись. Зарядив сезонные дожди, повысила влажность.

Город нахохлился, ожидая потопа, загрустили жители. Депрессия и птичий грипп собрали положенный урожай.

По прошествии каждого дня засыпаю всё хуже и хуже. Бывает, подолгу лежу на своей кровати и смотрю, как за окном густеет ночь. Если дождь прекращается, а на небе в некоторых местах рвутся тучи, то можно увидеть вымытые звёзды или обглодыш луны. Но это редко. Обычно дождливая темень шумно заглатывает город, полощет его несколько часов подряд, пока ленивое утро не выползает из-за соседних домов. Серо и неприятно. Занимаюсь самовнушением: это осень, это всего лишь на три месяца, скоро выпадет снег, будет светлей. Пока не очень помогает. Антон советует завести собаку, хотя бы маленькую. Я боюсь, что она сдохнет от голода и невнимания…

Неспокойный метрополитен переполнен бдительными милиционерами и объявлениями предупреждающего характера, мол, уважаемые жители и гости столицы, если вам известны организаторы или участники терактов, сообщите немедленно по телефону такому-то, в противном случае дело принимает подсудный характер, статья с номером за укрывательство.

Все идут мимо.

Когда мне удаётся заснуть, я вижу один и тот же сон. Хмурый день. Пустая набережная. На парапете балансирует девушка. Ветер треплет полы её пальто и лохматит длинные волосы. А она с упорством эквилибристки, раскинув руки, ловит равновесие.

Я стараюсь заглянуть ей в лицо, и всякий раз то ли смотрю не в том ракурсе, то ли она успевает увернуться от взгляда. Я чувствую холод осени, но мне хорошо от того, как девушка балансирует. Грязные листья кружатся по тротуару. Сквозь небесные плеши прорывается солнце. Внизу, за гранитом, шумно течёт река…

Думается, что происходящее странно и не к месту. Наверное, потому что сон этот всякий раз кончается одинаково. Я об этом знаю заранее. Пропадает река, день, небо. Остаёмся только мы: девушка, я, мост, чернота и ветер.

Слишком сильный толчок, она не успевает поставить нужную ногу, взмахнув руками, словно от неожиданного удара в лицо, падает спиной в черноту. Я кричу, подбегаю к опустевшему парапету, мгла, как пролитые чернила, съедает пространство.

Просыпаясь, а я всегда просыпаюсь в слезах, размышляю о том, кто эта девушка и почему, хоть я и знаю финал, никогда не предупреждаю её заранее.

Три недели назад Денис уехал в Грозный снимать документальный фильм о наших и бывших. Сказал, что «паркетная журналистика» и откровенная заказуха ему надоели, он чувствует в себе силы для большего, шанс упускать неправильно. Я же до сих пор не могу представить, как Денис с его аккуратностью будет неделями ходить в одной одежде и работать в полевых условиях.

Ещё хочется верить, что в этом и следующем месяце репортёров не станут брать как военнопленных.

Каждый день я смотрю новости третьего канала, иногда во весь экран показывают зелёную карту с крестиками и красными треугольниками. Голос Дениса сквозь помехи поясняет обозначения. Я успокаиваюсь.

У Антона поселилась девушка. Никогда бы не подумала, что в его квартире появится хорошенькая молодая женщина. Она уже натащила к нему ярких тряпок и никчёмных безделушек. Всё время хлопает своими большими глазами и лепечет про то, что надо сменить советские шторы Анны Ильиничны на «весёленькую» органзу.

От неё пахнет приторными диоровскими духами и мятной жвачкой. Её длинные тёмные волосы всегда расчёсаны на несколько раз. Думается, так она и проводит своё ничем не занятое время.

Когда я сказала Антону, что избранница его слишком глупая, он пожал плечами и ответил, будто сам всё знает. Но потом объяснил, что собаку при его профессии держать затруднительно и жалко. Красивая дурочка лучше: то полы помоет, то пельменей сварит. А от пса какой толк? Тоску твою понимает, да в глаза грустно заглядывает. Мол, хозяин, ты про мир этот не скорби, не печалься, всё равно не переделаешь, уж мой-то брат это на своей шкуре узнал. Лучше свари-ка ты щей да включи телевизор, ляжем бок о бок и перетерпим, переждём, перетоскуем вместе.

От такого участия порой ещё хуже делается. Другое с женщиной: бестолковая, половины не разберёт, наговорит несуразицы, опять же спать с ней тепло и приятно…

Дни становятся короче. От этого появляется больше бессвязных и долгих мыслей. Почти не хочется спать и с постели подниматься тоже.

Мыть подъезды оказалось трудней, чем думала. Плевки и окурки — это ещё ничего. Сначала веником. Потом тряпкой из мешковины. Напитавшись воды, она тяжелеет. Расплёскивает содержимое, пока наматываешь её на швабру. Возишь недолго, равномерно разгоняя по отшлифованному бетону нечистую влагу. Ступени принимают водицу, чернеют и кажутся чище, но как только начинают подсыхать, проявляются грязные разводы. К концу девятого этажа я проклинаю всех причастных к строительству высоток.

IX

В детстве меня спрашивали, кем хочет стать Майя, когда подрастёт. До шести честно отвечала: космонавтом. Ведь Юрий Гагарин — человек занятой, серьёзный, нарисованный на патриотических плакатах. Сам каждый день не может играть с Белкой и Стрелкой, ему в этом деле нужна помощница.

Но мама объяснила, что все давно и благополучно вернулись домой, а одна из космических собак даже принесла потомство, я расстроилась.

Когда в доме неизвестно откуда появился перекидной настенный календарь, заболела новым.

Я забыла имя изображённой на нём балерины. Но до сих пор помню её красиво изогнутый стан, плавные линии рук, сложенные кольцом (как сказала бы Неля Петровна, в пятой позиции). Тёмно-синий фон, белоснежная пачка, искусственные ресницы, длинной в две мизинечные фаланги, и кипенные цветы, вплетённые в волосы. Казалось, если смотреть, не отрываясь, она вот-вот поднимет свою маленькую голову и выпорхнет из квадрата календаря.

Мне хотелось быть похожей. Носить пуанты, танцевать, слышать аплодисменты и фотографироваться на календари. Быть может, это и к лучшему, когда мечты остаются мечтами.

Другое дело Саша.

Неля Петровна согласилась заниматься с ней отдельно. «У девочки есть способности, но она сильно отстала для своего возраста».

Поэтому три раза в неделю я водила её в балетную школу. Выйдя из метро, мы проходили по Ордынке несколько домов и сворачивали во двор. Шли до подъезда под чёрно-белой вывеской с витиеватой надписью «Терпсихора» и парой балетных танцовщиков справа от тоненького хвостика буквы «а». У входа Саша всегда серьёзнела. Мне даже, казалось, будто в ней что-то менялось, стоило ей переступить избитый школьный порог.

Я всегда переживала из-за её преждевременного взросления. Честно старалась дать больше, чем было у меня. Получилось или нет — вопрос другого порядка.

Несколько дней назад Саша спросила: «Майя, а ты меня любишь?» Вот так ни с того ни с сего. До этого она ходила в Большой. Я купила ей билет на «Золушку», потому что Неля Петровна советовала «как можно чаще водить девочку в театр и на балет». На второй у меня денег не хватило, но билетёрша, густо напудренная театральная старушка в очках с толстыми стёклами, обещала «присмотреть за ребёнком».

Я ждала Сашу возле фонтана, на одной из скамеек, с самого начала спектакля. Представляла, как она озирается в огромном светлом фойе. Стоит одна посреди толпы в своём выходном чёрном замшевом костюмчике: юбка, пиджак, белая блузка с накрахмаленным воротничком, колготки тоже белые, туфли на каблучке с большими пряжками, как у придворных пажей. Наверное, у неё перехватывает дыхание, ведь она впервые в таком большом и светлом здании. Может быть, Саша даже закроет глаза, но только ненадолго, для того, чтобы справиться с волнением и первыми впечатлениями. Театральная старушка на всякий случай придержит её, чтобы Саша, упаси боже, не упала. Должно быть, Сашку займёт ненадолго то, как потолочный свет отражается в начищенном до блеска полу. Старушка проследит за тем, чтобы она отдала одежду в гардероб и получила свой номер. А потом возьмёт её за руку. Старые женщины обязательно берут детей за руки, будто стараются продлить свою молодость, сохранив таким образом уходящее чувство жизни. И они пойдут в зал.

Начинался дождь. Люди заторопились, у фонтана включили подсветку. Струи цветно заиграли. От общего оживления стало тоскливо. Я почему-то вспомнила, как Денис говорил, будто в непогоду картинка получается необычней, но это, конечно, если оператор хороший. Смешно даже. Живёшь рядом, в одном городе, всего-то восемь остановок метро и пешком минут десять. А только и знаешь, что в дождь картинка красивее и оператор — молодец. Наверное, Пушкин тоже любил слякоть и Ремарк, хотя этот может и нет, но писал часто. Правильно, лучше думать о знакомом предмете. Литература спасёт филологов от серости. Но не от безденежья.

Большой театр высвободил нутро через главный вход. Беззаботный Аполлон глядел на прохожих божественным равнодушным взглядом. Его бронзовые кони на бегу застыли, словно дивясь несказанно тому, какие толпы нынче ходят на спектакли. Но античный бог по-прежнему безразлично взирал из своей подсвеченной колесницы. Он несколько веков с небес, а последние два с театрального фронтона, разглядывал неразумное человечество и уже ничему не удивлялся. Культура, мода, политика вовсе его не интересовали. Да, «всё тот же ангел, строгий и большой»[1]. Вероятно, размышлял он о том, что стоило остаться на Олимпе и не тащить к людям разом всех беспечных муз. Тогда, быть может, не произошло бы пресыщения, искусство бы не дало постмодернистской трещины…

Старушка вывела Сашу и сказала, что «девочка» уснула сразу после окончания спектакля. А так смотрела внимательно, в антракте они ели мороженое без очереди, потому что буфетчица Аня — знакомая билетёрши. Сашка вставила, что ей очень понравилось, особенно тот момент, когда приходила Золушкина фея.

Почти всю дорогу домой Саша проспала у меня на руках. Через два дня, когда мы подошли к подъезду балетной школы, спросила: «Майя, а ты меня любишь?» Я почему-то растерялась, не столько от неожиданности вопроса, сколько от его наличия.

— А почему ты спрашиваешь?

Саша молчала.

— Тебе кажется, что нет?

Саша пожала плечами, начала теребить свой голубой шарфик.

— Ты не мама.

— И что? Да. Не мама, но разве тебе со мной плохо?

— Нет, — она пошла медленней

— Тогда почему ты спрашиваешь?

— Ругаешься на меня часто.

Вот так, Майя. Это тебе за всё и сразу. Даже ребёнок начал сомневаться в твоей искренности.

Мы остановились.

— Саша, все люди время от времени ругаются, но это не значит, что они друг к другу относятся плохо. Понимаешь?

Она кивнула. Её шарфик окончательно съехал, открыв тонкую шею.

— Поэтому не говори, пожалуйста, глупостей.

Мы подошли к школьному подъезду, я торопливо набрала код и потянула на себя скрипучую металлическую дверь.

X

Саша стояла в закрытом тёмно-синем купальнике у станка (перекладина была гладкой и приятной на ощупь, отшлифованной до лоска сотнями ученических рук). Я подумала о том, как Саше всякий раз нравится к ней прикасаться. И ещё — что она очень красиво отражается в трёх зеркалах сразу.

Неля Петровна сидела на стуле в центре зала, иногда останавливала магнитофонную запись (она всегда брала с собой плёнку и небольшой кассетник, на случай болезни школьной пианистки), выхлопывала ритм в ладоши. Её худые жилистые кисти изящно поднимались и опускались, выдавая хрупкую балерину в одутловатом старушечьем

1. Райнер Мария Рильке. «Часослов», «О смерти Марии».

теле. Порой мне казалось, будто я видела её, затаившуюся под складками чёрной юбки и бесформенной кофты, в полноте отёкших ног. Она показывалась и тогда, когда Неля Петровна держала спину прямо, будто бы, сядь она по-другому, её тело непременно соскользнёт с позвоночника или потеряет форму. Она мелькала, когда эта старая женщина быстро проводила рукой по седым волосам, собранным по-балетному в пучок. Скользила в жестикуляции разговоров и одобрительных кивках во время Сашиных упражнений. Но порой, особенно, в пасмурные дни, когда Нелю Петровну мучили всевозможные «ревматизмы», она исчезала, превращая строгую, по-своему красивую старуху в болезненное и измученное временем существо. Тогда я даже не могла представить, что полвека назад эта женщина на сцене танцевала Жизель.

— Деточка, пожалуйста, встань в первую позицию,— попросила она громко. Саша вытянулась у поручня, разведя носки в стороны и согнув левую руку полукругом,— начали (Неля Петровна включила музыку, мерные клавишные звуки заполнили класс, я подумала, что магнитофонная пианистка упражняется в своей игре вместе с Сашей),— раз-и, два-и, три-и, четыре-и… Battement tendu[2],— скомандовала она, отбивая ритм правой ногой,— Раз-и, два-и… Нет, нет… деточка, ты совсем не работаешь, тяни носок… раз-и… голову выше, два-и… держи спину… три-и… руку… руку… Деточка, ты отстала от ритма. Начнём заново.

Я смотрела, как Сашка выпрямлялась и старательно добивалась правильности движений. Когда мышцы напрягались, её лицо становилось суровым и отстранённым. Поэтому я всё время боялась, что она задумается и упадёт. Вдруг Саша неловко зацепилась носком, у меня перехватило дыхание, я бросилась, чтобы поддержать её. Но она быстро поправилась и посмотрела на меня недоуменно.

— Милочка,— Неля Петровна обратилась ко мне,— простите, не могли бы вы сходить за чаем?

Она порылась в складках своей кофты и достала аккуратно сложенные пополам десять рублей. Я смутилась:

— Не нужно, у меня есть.

— Нет, нет, пожалуйста, возьмите, ведь мы договорились: вы только платите за балетный класс, а чай в стоимость не входит.

Я взяла деньги и вышла.

Мне тогда стало совестно. Цена уроков была смехотворной, всего три тысячи в месяц, в то время как в других местах брали по триста долларов за одно занятие. Или виной всему послужила эта бережливая аккуратность и непонятная мне гордость. К тому же я всегда оценивала людей и по их отношению к деньгам. Неля Петровна никогда не суетилась, принимая оплату. Просто брала деньги, будто они для неё ничего не значили. Не пересчитывая, прятала в складки своей кофты.

Я спустилась на улицу и пошла в киоск.

2. Battement tendu (фр.)— дословно «вытянутый». Нога и стопа отводятся в сторону от тела, при этом пальцы слегка касаются пола.

Раскрасневшаяся девушка с волосами, заплетёнными в толстую косу, кажется, именно таких пышных особ и называют настоящими русскими красавицами, обильно смазывала маслом раскалённый металлический круг. Она и женщина постарше, в красных передниках, с волосами, забранными под пластиковые кепки-козырьки, жарили блины. На торце передвижной закусочной была нарисована жёлтая эмблема. У двух круглых столиков примостились прожорливые покупатели — две женщины и мужчина. Они с нескрываемым удовольствием жевали горячие блины, женщины говорили и осторожно отпивали чай из пластиковых стаканов, а мужчина одиноко поглощал свою еду, заглушая вкус дешёвым пивом. В киоске напротив скучающий армянин, подперев голову рукой, грустно глядел из своего окошка на несостоявшихся клиентов. Время от времени он поворачивал воткнутый перпендикулярно вертел с курятиной, срезал с него тонким ножом готовое мясо. Он покрикивал на нерусского пятнадцатилетнего мальчишку, чтобы тот снаружи не забывал следить за сочными куриными тушками, жарившимися в несколько рядов.

Я подумала, что проголодалась, и протянула 50 рублей армянину, он оживился и спросил с улыбкой: «Одын?». Я кивнула. Он распечатал лаваш, размазал по нему соус, мелко нарезанную курятину, капусту и, сунув четвертинку свежего огурца, завернул своё нехитрое блюдо сначала в рулет, а потом в маленький целлофановый пакет и салфетку.

Мне подумалось, что иногда мелочи привлекают воспоминания. Так же как вкус шаурмы неожиданно выманил из давно позабытого один старый вечер.

Теперь мне трудно поверить в то, что когда-то Саша не жила со мной, и вообще её не было в природе. Кажется, это события из другой жизни, всплывшие совершенно случайно в памяти. Но тот вечер я почему-то запомнила.

Дневная жара практически сошла на нет. Час пик миновал. Люди, успокоившись, разошлись по своим делам. Неугомонные побрели на Арбат, в близлежащие кафе, рестораны и дискотеки, уставшие — домой.

Вечер был ясный. Белый месяц осторожно выполз на свежее небо. Его окружило несколько звёзд. Мы шли мимо горьковского парка, держась за руки. Деревья просовывали свои большие листья между прутьями кованой ограды. Парк нахохлился в ожидании ночи. Андрей был старше лет на шесть, поэтому казался очень умным и взрослым. Андрей был поэтом.

Речной ветер приятно холодил плечи. Мы ни о чём не говорили, просто гуляли. Я думаю, стоило тогда сказать что-то значимое или хотя бы порассуждать о погоде. Но с Андреем всегда было слишком легко и весело. Казалось преступным вести серьёзные разговоры в его присутствии, а болтать ни о чём тоже не хотелось. Он писал действительно неплохие стихи, правда, я так ни одного и не запомнила. К тому же тогда я немного понимала в литературе. Первый курс филфака (просто

потому что не было склонности к точным наукам) вдохновлял не особенно.

— Я тебя запомню, моя Майя,—сказал Андрей.

Я улыбнулась и пожала плечами. Он часто говорил непонятное или повторял вслух свои сиюсекундные мысли. Я привыкла. К тому же вечер густел, переходя в ночь. Парк закрыли. Набережная обезлюдела. И не хотелось тратить слова просто так.

— Ты понимаешь, этот город,—Андрей чуть сутулился, но его худощавой невысокой фигуре очень шло,—этот город, такое ощущение, будто он пьёт меня через соломинку. Тут всё слишком быстро. И любят, и ненавидят одновременно. Нет времени на мысли. Майя, а ведь человеку нужен покой.

Я молчала. До сих пор ругаю себя за эту привычку не отвечать вовремя. Думать впоследствии.

— Чувствую, что от меня остаётся всё меньше и меньше,—продолжал Андрей. Он провёл рукой по своим тёмным волосам и случайно растрепал их на макушке. Я глядела, как ветер забавно взялся ерошить отдельные волоски.—А главное, не пишется, будто стихи застряли в горле и не идут на бумагу. Иногда мне даже кажется, что я задыхаюсь.

Мы перешли мост, немного постояли у поручня. Река красиво блестела. Утонувшие в ней огни вытягивались, изображая световые колонны. Фонари тепло подсвечивали гранитные берега. Я подумала, что запомню всё в деталях. Тёмную воду, проглотившую в этот раз слишком много световых пятен, приятную желтизну набережной и Андрея, который всё никак не решится сказать важное.

— У меня поезд в Петербург на пять утра…

Я помолчала, а потом улыбнулась:

— Поздравляю,—но улыбка, по всей видимости, вышла кривой.

— Майя, не надо так.

Майя, не надо так… Просто все, кого ты любишь, отрекаются от тебя. У них свои дела, мечты и планы. Без затей и без обид. Всё как на незамысловатой детской картинке.

А тогда я только хотела спросить, просто спросить: зачем он и другие ломают всё, так резко, грубо, с запоздалыми объяснениями? Спросить: почему? Может быть, в этом есть и моя вина?

Но тот вечер, удивительный и странный, последний в своём роде, требовал тишины и почтения.

Мы вышли к метро. Автомобильный поток, оживлённые тротуары, несмотря на поздний час. Какой-то нерусский человек скрутил для нас две шаурмы, мы пили из пластиковых стаканов горячий чай, Андрей—сладкий, а я, по обыкновению, без сахара. Молчали, шутили и опять, впрочем, как всегда с Андреем, было легко и просто.

На вокзал я не поехала, не хотелось торчать у закрытого метро и возвращаться домой утром. Он поцеловал меня в губы, потом недолго стоял, склонив набок голову, смотрел. Я пожала плечами и пошла в переход. Плакать не хотелось, думать тоже. Казалось, что завтра всё будет по-старому или не так странно…

Сашино занятие уже подходило к концу. Я купила у продавщиц блинов, чаю и пошла обратно.

XI

Неля Петровна сказала, что для перехода в следующий класс Саше необходимо подготовить свою программу. Небольшой танец с элементами тех упражнений, которые они разучили в этом году. Будет комиссия из пяти человек, большой зал, несколько учениц, оценки и в конце собеседование. «Девочке нужно выбрать музыку, хорошо поработать и ни в коем случае не переживать», хореографическую часть Неля Петровна подготовит.

Мы ехали в автобусе, и у кого-то зазвонил мобильник. Пер Гюнт «Танец Анитры». Саша посмотрела на меня и сказала, что хочет танцевать только под эту музыку.

— А кто такая Анитра?

— Анитра—дочь короля. Возлюбленная Пера Гюнта. Он оставил её, потому что Анитра была слишком свободной.

— Разве такое бывает—«слишком свободная»?

— Не знаю, в книгах бывает.

Саша замолчала. Автобус встал в пробке. Люди нетерпеливо заёрзали на местах. Я посмотрела в окно. По встречной полосе ехали редкие автомобили, мне стало скучно.

— А ты слишком свободная?—спросила Саша.

— Я нет.

— Почему?

— Просто нет.

— Из-за меня?

— Нет, не говори глупостей.

Ещё я хотела сказать, что она никогда не будет ограничивать мою свободу, но так и не сказала.

— А ты сможешь танцевать под эту музыку?

— Думаю, да,—ответила она и вздохнула,—я буду механической куклой.

Мы с Сашей недавно прочли «Трёх толстяков» Олеши, поэтому она так легко запомнила сложное слово.

Ещё мы ходили к доктору. Из-за того, что Сашка в последнее время была очень сонная, хотя я-то знала, что спала она тогда больше обычного.

Женщина-врач, старая, как столетняя черепаха. Сидела в своём холодном кабинете за горой карточек. В белом халате, пухлая, с кожей, изъеденной пигментными пятнами. На обрюзгшем лице очки в роговой оправе—черепаха черепахой. Она приказала Саше задрать одежду. Та послушно подтянула к подбородку свою зеленоватую кофточку. Врачиха воткнула в уши трубки фонендоскопа и, не погрев мембрану, приложила к Сашиной груди стылый кружок. Сашка вздрогнула, на животе у неё высыпали мурашки. Дыши, не дыши, теперь дыши, задержи дыхание, всё. Она ещё какое-то время не отпускала Сашку, попеременно оттягивала ей то красноватое верхнее, то тёмное нижнее веко то одного, то другого глаза. Спросила про «видения», про сонливость, головные боли и уткнулась в свои бумажки.

Я сказала Саше выйти, подождать снаружи, она тихо встала, закрыла за собой дверь.

Каждый раз повторяется то же самое. Ей не становится лучше.

— Простите,—говорю я.

Черепаха недовольно отрывается от своих писулек, бесцветно смотрит на меня сквозь свои толстые стёкла.

— Почему она всё время спит?

На лице врачихи нет никаких эмоций. В такие моменты мне часто думается, что она вот-вот просто пожмёт плечами и выйдет из кабинета.

— Вы же знаете: это обычные симптомы.

Да, я-то знаю. И про лекарства (кофеин, амфитамины, прочие стимуляторы), и про гигиену сна (тёплая ванная, чтение вслух или приятная музыка, чтобы расслабить ребёнка), даже про физические упражнения запомнила (затем и нужен балет). Всё это мне известно из медицинских статей и десятков консультаций. Поэтому ничего нового я от неё не добьюсь. Но черепаха подсознательно чувствует, что я хочу услышать.

— К сожалению,— говорит она чуть мягче и поправляет свои неудобные очки, сталкивая их пальцем к переносице,— это заболевание ещё не лечится, мы можем только замедлить его ход…

Слушать её дальше нет смысла. Она предложит новое лекарство, которое будет раза в два дороже предыдущего. Мечтательно отрекламирует препарат, как в передаче «Магазин на диване». А Саша по-прежнему будет засыпать в неподходящих местах и в неподходящее время. Тихо сидеть в больничных коридорах, где на подоконниках полно комнатных цветов в дурацких деревянных горшках. Слушать жалобы пациентов о своих вечных болячках. Говорить, что она не потерялась и ждёт не маму, а сестру. Учиться читать, рисовать бабочек, танцевать под ритмичный счёт Нели Петровны, гулять со мной в парке, мечтать… Всё бы ничего, да вот беда, я совсем не знаю, о чём она думает в эти моменты. Я только могу догадываться, каких вещей она боится. А вызвать её на большой разговор практически невозможно.

— Я хочу голубое платье и голубую ленту,— сказала Саша, когда мы вышли из автобуса.

— Хорошо,— я подумала, что новая пачка обойдётся мне тысячи в три рублей, денег придётся занять у Антона.

XII

Я не знаю, любил ли Антон когда-нибудь свою мать. Или они просто существовали рядом по необходимости. Мы про это не говорили.

Но Саша ему очень нравилась. Мне даже казалось, что моё присутствие иногда им мешало. Они часами могли сидеть за разговорами и замолкали, если в комнату входила я. Меня это не очень задевало — взамен появлялось несколько свободных часов. С ней он себя вёл правильно. Слова произносил ровно и спокойно, чтобы не провоцировать сильных эмоций. Сашке, по всей видимости, нравилась его внешняя непричастность.

Это мне напоминало «Рассуждения о Книге перемен»: «Когда впервые появились люди, не было ни знатных, ни подлых, ни высших, ни низших, ни старших, ни младших. Они не пахали, но не голодали; они не выделывали шёлк, но не мёрзли. Поэтому тем людям было привольно»[3]. Мне бы хотелось думать, что Саше, хоть когда-то, тоже было привольно.

— А где её мать? — однажды спросил Антон, пока Сашка умывалась после дневного сна.

— Купила билет в другую галактику.

— Ты не умеешь шутить на такие темы.

Я согласилась. Действительно, не умею. Всё, как в этой дурацкой песенке: «Детки, детки, где ваша мама, где ваша мама?», трам-там-там-пам. Наша мама поздно родила Сашу. Если бы не Сашка, нашей маме ещё бы долго, ещё бы с нами… Саше было два года, поэтому она ничего не помнит. По крайней мере, я на это надеюсь. Но Сашка знает, что мама была хорошей, доброй и что я понятия не имею, где она теперь. Силёнок не хватило рассказать всё, как есть.

— Ты отдашь Сашку в школу в этом году? — Антон всегда понимал, когда стоило перевести разговор в другое русло.

Я пожала плечами. Правильно, о важном лучше умалчивать. Не говорить страшных слов о тех, кто сейчас не с нами. О тех, кого не… беспокоят всуе… Есть люди, для которых я что-то значила, есть люди, которых я никогда не забуду. Глагола «был» я не понимаю, только «есть». Из года в год да возрастёт список.

— Не знаю, как врач скажет. Надо бы, только боюсь, она не сможет с другими детьми. Нужен репетитор.

Денег не было. На работе опять начались проблемы. После роспуска отдела Николай Сергеевич, как обещал, пристроил меня по той же специальности, только по свободному графику. Но, как видно, сокращение штатов превратилось в сезонную забаву. Мне просто не повезло дважды. Одной работы в газете стало недостаточно.

Антонова мать заболела. Для удобства Антон договорился в больнице, при которой работал. Поэтому навещать при желании можно было хоть каждый день или вечер, в зависимости от смены.

— Всё правильно, Майя. От старости лечат в стационаре сном и бесполезными таблетками, а потом спускают к нам,— сказал он, когда мы пришли с Сашкой навестить Анну Ильиничну.

Я заметила, что кожа у неё стала жёлтой, как у старой китаянки. Даже показалось, будто она уменьшилась в размерах. Сухая и дряхлая, завернувшись в одеяло, она походила на мумию.

Кажется, Анна Ильинична обрадовалась нашему приходу. Яблоки и шоколад она не взяла. Доктор запретил, да и Саше полезнее, Анне Ильиничне-то уже… Ребёнок пусть ест витамины, ему нужней.

В больнице всё старики да алкоголики с отравлением, молодые медсёстры. Скучают девчонки на медицинском посту, пьют чай, покрикивают на пациентов, раскладывают пилюли по баночкам с фамилиями, улыбаются приходящим докторам. Те им подмигивают, санитарки хорошие, моют чисто, так что поначалу чувствуется запах хлорки и линолеум блестит на свету. Вечерами во время кварцевания включают длинную голубую лампу. Кормят нормально, не домашнее, конечно, но есть можно. Палата на шесть человек. Одни

3. Су Сюнь. «Рассуждение о книге перемен».

старухи, правда, два дня назад девочку привозили, лет шестнадцати, алкогольное отравление. Так ей поставили капельницу, она отлежалась и ещё до вечернего обхода ушла домой. Телевизор теперь в каждом коридоре, чтобы пациентам не скучно. В целом, ничего со времён Анны-Ильиничниной молодости и не изменилось.

Лежит она в постели, не снимая кофты с перламутровыми пуговицами. Ещё девочкой бабушка её научила, что перламутр приносит счастье. Может и приносит, кто ж его знает. Главное, чтобы у Антоши всё было хорошо. Вы, Майя, заходите к нему иногда, так, попроведывать. Ведь он теперь один. Жаль, что не женился, внуков нет. Ну, что ж, как видно, каждому своё.

И оказывается, осень уже давно наступила. Сентябрь, октябрь… Вы не отдали Сашу в школу? И правильно, пусть пойдёт с восьми, будет понастоящему готова. Ноябрь, а там, глядишь, и зима. От этой сырости в палате ещё неприятней, но всё пройдёт, когда выглянет солнце.

Саша смотрела, как Анна Ильинична сидела, сгорбившись на кровати, а ноги у неё не доставали до пола, и молчала. Потом вдруг подошла и обняла её за плечи. Мне показалось тогда, что Сашка поняла всё до единого слова из того, о чём говорила эта уставшая от своей старости женщина.

XIII

Денис любил курить на кухне. И я не знаю ни одного человека, который бы так по-философски подходил к этому занятию.

— Мне бы хотелось оставить всё, как сейчас,— сказала я.

Просить всегда глупо, особенно, если знаешь, что просто тратишь слова. Денис затянулся, посмотрел на меня внимательно. Волосы на его голове были смешно взъерошены, а ещё он начал отращивать бородку клином. Ему очень шло, но выглядело непривычно.

— Что-то у нас не так, Майя. И я никак не пойму, что именно.

А я знаю, но не скажу. Иначе ты меня выгонишь на осеннюю улицу, но, скорей всего, подождёшь до утра. Отведёшь к метро, скажешь, что позвонишь, поцелуешь в лоб, не решившись коснуться губ… и с Богом. Я буду ждать, ждать, ты потеряешь или просто забудешь мой номер телефона.

— Зачем ты пытаешься всё усложнять?

— Майя, мне просто хочется дальше, а не снова…

Конечно, здоровое человеческое желанье. Я не хочу дальше, потому что мне нужно всё по-другому.

Денис хороший, только дело не в нём. Я ничего не могу объяснить.

Однажды в жизни мы все любили кого-то сильнее, чем себя. Я знала человека, он был поэтом… С ним в самом деле было легко и весело. Поэтому я не плакала, когда он уезжал. А, наверное, стоило. Но тот вечер, таинственный и праздный… требовал уважения.

Мне почти двадцать пять—это уже немало. У меня скучная работа, больной ребёнок, и нам постоянно нужны деньги. Если бы кто-нибудь крикнул мне в душу, он бы испугался её глухой тишины.

Денис сказал, что ему нужно позвонить. Что-то про командировку в Чечню. Скорей всего, он согласится поехать. Нужно подумать о серьёзной карьере. Время, как песок, всё норовит сквозь пальцы. Да и я смогу, наконец-то, решить, чего хочу. Он вернётся, обязательно, через несколько месяцев. И тогда мы поговорим по-настоящему…

Ветер у воды всегда холодней, пробирает чуть ли не до нервных узлов. Наверное, поэтому кажется, будто бы гранит набережной простыл до основания, а река стала суровей.

Я забыла перчатки у Дениса, руки замёрзли так сильно, что пальцы почти не сгибаются, а ведь на улице только середина октября. Унылая пора очей не чарует, костлявые деревья, постоянная морось и грязно. Никаких ассоциаций с поэзией; к тому же все давно узнали: Дантес застрелил Пушкина ещё два столетья назад, гении всё никак не родятся, а великое и самое поэтичное уже случилось.

В хмуром небе кружит птица, её можно принять за символ, можно и нет, тогда просто постоять, посмотреть, пока не наскучит.

Мимо набережной машины гудят, ревут моторы. Несмотря на то, что ещё нет восьми утренних часов всё-таки центр недалеко, и тишина в дефиците. Не знаю, почему я не поехала домой, вышла зачем-то на Кропоткинской, у храма Христа Спасителя и пошла на набережную. Прохожих почти нет, слишком оживлённое движение, ближайший светофор в двадцати метрах. Да и вообще, какие прогулки в такую рань. Надо спешить на работу, надо бежать по делам.

Я не люблю город именно за эту регламентированность. И за то, что от реки в его пределах всегда несёт гнилью и тиной, из мутной воды выныривают пластиковые бутылки и обмусоленный целлофан. Ещё потому, что треть жизни трачу на дорогу, пытаясь поскорей добраться из пункта А в пункт Б. Как в одной из Сашиных задач (Антон решил учить её математике): если первый пешеход выйдет тогда-то, а второй на час позже, и бог даст, погода не подкачает, они не разминутся, интересно было бы узнать, когда и где произойдёт встреча…

XIV

— Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет,—говорила, Саша, когда мы днём стояли на остановке. Я держала её за руку и разглядывала едущие мимо машины.—Карл у Клары,—я вспомнила, что с детства эти двое казались мне ещё той парочкой,—украл кораллы,—наверное, ему не хватило денег на нотную тетрадь, а попросить у неё он постеснялся. Виной всему природная застенчивость, может быть, Клара просто не любила музыку или ей не нравилось, как играет Карл? В общем, он решил не унижаться, попросту стибрив ожерелье, снёс в ломбард, а на вырученное купил необходимую вещь. Конечно, не по-джентельменски,—а Клара у Карла украла кларнет,—несчастная женщина, наверное, сходила с ума от его бесконечных музицирований… или она разозлилась из-за кораллов? Хотя возможно, ей просто не хватило внимания. Подумать только

и днём, и ночью он дудел в свой кларнет, должно быть, у Клары на этой почве даже развилась мигрень… В любом случае, они стоили друг друга… ведь ни один не попытался дипломатично выяснить, в чём, собственно, дело…

Автобуса не было. Я подумала, что Саша, наверное, скоро начнёт замерзать. Она уже потирала нос свободной рукой. Как сейчас помню: Сашка в меховой шапке со смешным помпоном, в длинном пуховом пальто из болоньи стоит рядом и бубнит свою скороговорку в белую рукавичку с красной снежинкой на тыльной стороне ладони… И Карл у Клары упёр кораллы, и Клара у Карла, не будь дурой, стащила кларнет. Интересно, что она с ним сделала? Выбросила или просто спрятала? Вряд ли продала, потому что, как мне когда-то представлялось, женщиной она была не мелочной. Наверное, просто хотела позлить его. Вот и заныкала чёртов инструмент. Ой, что тогда началось. Карл, разыгрывая оскорблённое достоинство, разорался после ужина, тряся руками над головой: «Подумать только, с этой женщиной я прожил тридцать лет». Они почему-то виделись мне немолодой парой… «Я мог посвятить себя музыке, только музыке. Но нет, я пожертвовал своей карьерой ради тебя!» А Клара в это время спокойно допивала чай. Когда монолог Карла достиг апогея, спросила: «А что стало с моим ожерельем?». Карл на секунду задумался и, драматично закатив глаза, произнёс: «О, боже мой, Клара, неужели ты не в состоянии понять, что значит для меня искусство?..»

Конечно, в финале они помирились. Клара отдала «дурацкую дудку», а Карл побожился к концу недели выкупить «побрякушку»…

Я чувствовала Сашину руку сквозь пуховую варежку и свою перчатку. Интересно, как долго она сможет повторять одно и то же, не путаясь. И когда ей, наконец-то, надоест эта глупая скороговорка.

— Карл у Клары…— я поняла, что начинаю раздражаться,— украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет…

Женщина лет пятидесяти подошла к нам и спросила: «Давно ли не было автобуса?».

— Минут двадцать.

— Давай подождём,— сказала она догнавшему её мужчине. Он поглядел на дорогу и, поправив воротник своей куртки, предложил: «Кларочка, может, прогуляемся перед ужином». Клара пожала плечами и взяла его под руку. Сашка молча глядела, как они, скользя по тротуару, опираются друг на друга, а потом добавила:

— Это навсегда.

Я хотела спросить, что именно, но подошёл автобус, пришлось пробиваться в толпе. У окна, у меня на коленях Сашка, разморённая теплом, тут же уснула… Я же всё думала, про сказанное и не могла понять.

В большом зале балетной школы повесили белые шторы, сдвинули вместе два стола. Мужчина, три незнакомых женщины заняли свои места, Неля Петровна села с краю. Для родителей и учеников стулья расставили по всему периметру. Сначала аттестационная комиссия смотрела выступления целого балетного класса. После экзаменовали тех, кто занимается индивидуально.

Подошла Сашина очередь.

Сашка встала в третью позицию, сведя руки перед собой, левую пятку она выставила чуть-чуть вперёд и завела за неё правую ногу.

Первые аккорды Грига задрожали в тишине зала. Я подумала, что Саша в своей голубоватой пачке с синей лентой в волосах (мы не стали заплетать косу, просто собрали отдельные пряди на затылке и пустили вниз атласную полоску) очень похожа на одну из танцовщиц с полотен Дега.

Только он писал балерин с любовью. Этюды, репетиции и сцены. Хрупкие девочки в воздушных платьях и цветных лентах наивно смотрят с его холстов, порой кажется, что, если постоять у картин подольше, можно услышать их шушуканье, смех под скрип паркета и ритмичный счёт наставников.

Голубые танцовщицы изящно выгибают стан и затянутые в пуанты ножки. Поправляют волосы и синие тюлевые юбки…

А на одном из рекламных щитов Садового кольца какой-то смелый копирайтер подписался под репродукцией мастера: «Здесь могла быть Ваша реклама». Не думаю, что Дега нуждался в пиаре.

Саша тем временем исполнила несколько прыжков, кажется, changements[4]. И Неля Петровна одобрительно закивала головой.

Подумать только, механическая Анитра — веянье наших дней. Я вдруг вспомнила, как в первый раз мы вместе учились надевать Саше балетные туфли. Скрестить ленты на лодыжке, обернуть вокруг, скрестить вновь, наложить спереди одну поверх другой, только не слишком высоко, ещё раз вокруг и завязать, не туго.

Саша шагнула и на секунду застыла ласточкой на одной ноге. Тюлевая юбка дрогнула. Волосы красиво разметались по её голым плечикам. Ещё совсем недавно я собирала её волосы в балетный пучок, следила за правильностью осанки, теперь она делает всё сама.

Ей почти восемь. А мне почти двадцать пять. И я устала. Эти постоянные увольнения с работы и мысли, что завтра мне нечем будет кормить Сашу. Кто-то сказал, что с филологическим образованием в нашей стране можно только мыть полы. Думается, это недалеко от истины.

Я сидела в зале среди родителей и учеников, смотрела, как Саша старательно выполняет разученное. За последние полгода у неё появилась пластичность, несмотря на детскую угловатость, она выглядела очень изящной. Неля Петровна, как всегда в своём тёмном балахоне, увлеклась и отстукивала такт ногой. Она кивала Саше одобрительно, мне кажется, Неля Петровна была ей тогда очень довольна, даже гордилась. Все вокруг смотрели, как Саша танцует, Григ затопил зал, время замерло. Я почувствовала, как по щекам тепло побежали слёзы. Наверное, добродетельные мамаши

4. Changements — прыжковое па, при его исполнении в воздухе меняется положение ног.

решили, что меня растрогало Сашино выступление. А я просто плакала за всё то время, когда плакать было нельзя.

Саша опять свела руки на уровне пояса. Последние аккорды затихли. Послышались аплодисменты, комиссия благосклонно переговаривалась.

Вдруг Сашу немного повело в сторону. Я поначалу подумала, что она просто оправляет юбку. Но когда Неля Петровна выскочила из-за стола (я даже не знала, что она умеет так быстро двигаться), а у Саши голова упала на грудь, и подкосились ноги, поняла, что это очередной приступ катаплексии. Неля Петровна успела подхватить, Сашка не ударилась головой. Зал оживился, запереживал, а мне стало очень страшно, я сидела на своём месте и не могла пошевелиться.

Вокруг Саши собрались люди, преподаватели встали со своих мест. Неля Петровна осторожно потрясла Сашку за плечо и дала ей немного воды.

XV

За выступление Саше поставили четыре с плюсом, полбалла сняли за «нечёткий финал». Неля Петровна попыталась объяснить, что «девочка не совсем здорова», но педагоги так и не согласились повысить оценку. «Мы готовим полноценные кадры, если ученица не в состоянии выдерживать нужные нагрузки, ей нечего делать в балете». Неля Петровна поздравила Сашу с хорошей отметкой.

Дома у Сашки сильно поднялась температура.

Я вышла на балкон, в соседнем доме из окна седьмого этажа валил чёрный дым, пахло гарью. Я подумала, что Саше очень плохо.

Чувство всегда умирает болезненно. Может быть, поэтому, когда Сашу увезли, я и не стала звонить ни Антону, ни Денису.

У меня внутри всё омертвело за те минуты, пока один из санитаров, матерясь по поводу узкого коридора, шёл впереди носилок, а второй ловко их поворачивал, следя за движениями коллеги. Происходящее мне почему-то показалось глупым, ненужным. Отчаянно захотелось плакать и смеяться одновременно. Врач скорой помощи что-то говорил про лекарства, которые нужно привезти к утру и шутил про «сто бед в одном дворе».

Я зачем-то спустилась за ними следом, «скорая» уже тарахтела мотором, водитель включил фары. В воздухе пахло гарью, снег ложился на потемневшие останки двора, чавкая под ногами, он мешался с сажей. И я подумала, что хорошо сделала, закутав Сашку с головой в верблюжье одеяло.

Санитары сноровисто втиснулись внутрь машины вместе с носилками, матерившийся хлопнул по плечу водителя, врач сел на переднее сидение, «скорая» медленно тронулась. Второй, молчаливый, начал закрывать дверцы. А я, опомнившись, схватила дверцу и машинально потянула на себя. Санитар резко крикнул: «Сдурела?». Но я, не отпуская холодную дверь, ускоряла шаг. «Коль, притормози,—сказал первый и со смешком добавил:—тут родительница спятила». Машина плавно замедлилась.

— Можно мне тоже поехать?

— Мамаша, ну, куда? Видите же, места совсем нет,—с тем же смешком ответил первый.

Я упрямо стояла, держась за промёрзшую металлическую ручку.

— Вы ещё в халате,—угрюмо добавил второй.

— Я с краю… не буду мешать…

Они переглянулись, первый согласился:

— Только оденьтесь. Мы подождём.

Я отпустила дверцу, но как только повернулась спиной, автоматический замок щёлкнул и машина, заурчав, стала отъезжать.

— Подождите,—сказала я, не двигаясь с места.

— Тоже мне, мамаша, головой думать надо,—гаркнул смешливый.

И зачем-то запел на весь двор женским голосом «В Петербурге сегодня дожди». А второй, аккомпанируя на разных инструментах, подпевал ему на полтона ниже. Я стояла и смотрела, как «скорая» покачиваясь из стороны в сторону, словно Саша очень большая и тяжёлая, выезжает со двора под музыку. Только потом поняла, что водитель включил радио.

XVI

Бывают дни, предназначенные для подвигов, сдачи внаём квартир, возвращения долгов или других важных дел. В один из таких дней «для чего-то» можно сойти с ума, повеситься или влюбиться.

Я сижу на заснеженной автобусной остановке и вспоминаю тот день, когда умерла мать Антона.

Дворовые мальчишки жгли прошлогоднюю листву вместе со старыми газетами и сухими ветками за домами на пустыре. Земля потом зияла тлеющими пятнами, воздух долго пах костром.

Я помню эти картинки с детства. Только мы тогда обматывали палки целлофаном, делали факелы, и плясали у огня, как первобытные люди, а потом кто-то кричал: «Я охотник»—и все бежали врассыпную.

Было весело и тревожно мчаться с затухающей деревяшкой. Я всегда играла за пантеру, тогда почему-то казалось, что большой чёрной кошке живётся куда легче и безопасней, чем маленькой девочке. Я радостно забиралась куда-нибудь повыше. Но в 10 мама выходила во двор. Её привычное: «Майя, домой» звучало, как заклинание. «Ну, что ты за ребёнок такой, опять вся в ссадинах, испачкала новое платье»,—говорила она, пока мы поднимались в лифте на пятый этаж. Я до сих пор помню, как её тёплая рука уверено и нежно держала моё запястье, уставший голос корил за разболтанность, но очень ненастойчиво и слишком по-доброму.

Может быть, поэтому запах дыма в сумерках всё ещё будил воспоминания.

Престарелые соседки, как всегда в это время, устроились на лавке у подъезда. Они уже перебрали привычные темы: цены растут, внуки совсем отбились от рук, молодёжь стала распущенной: пьёт и ругается матом, но президент у нас—мужчина хоть куда, а вот пенсию повысить стоит… и скучно молчали. Я, поздоровалась, пошарила в сумочке в поисках ключей. Рыхлая, блеклая, совершенно седая старуха, повернулась ко мне в пол-оборота и громко сказала:

— Говорят, твой сосед мать свою порешил.

— Да. И собаку выпотрошил, — добавила я.

Старуха недоверчиво скосила на меня маленькие глазки и криво улыбнулась:

— Шути, шути, а с ним в лифте никто из соседей не ездит, все боятся.

Я пожала плечами:

— Не надоело глупости говорить?

Она недовольно хмыкнула, остальные что-то возмущённо затараторили про «хамство на каждом углу». Я наконец-то нашла ключи и приложила один к магнитной кнопке.

— Ой, смотри, Майка, до добра не доведёт, ещё дитё с ним оставляешь.

Старухи одобрительно зашумели, я услышала, как моя собеседница углубилась в душещипательные подробности убиения Антоновой матери.

Антон неделю не выходил из дому. Его крепкие скулы заросли щетиной. Как-то он пришёл к нам и сказал, что всё правильно. Так, как должно быть. А потом к нему переехала девушка.

В конце-концов, каждый в этой жизни веселит себя, как умеет.

Зимой Сашу выписали из больницы, и я подписала отказ от опекунства.

Ходила сначала домой к Неле Петровне. У неё просторная квартира со старой мебелью, в зале кушетка и маленькая фигурка Павловой на книжной полке. Неля Петровна долго говорила про то, что нужно терпеть, сколько Богом положено.

Но, как видно, не по мне эта ноша.

Женщина из социальной службы расспрашивала, почему не хочу оставить у себя девочку. Я ответила, что у меня больше нет сил и мало денег. Женщина была худой, с вытянутым лицом. И когда она услышала всё это, лицо её вытянулось ещё сильней. «Ну, знаете», — сказала она. А потом начала проповедовать на тему того, что ребёнку с родными проще, а так её поместят в детский дом и вряд ли удочерят из-за болезни.

Недавно звонил Денис, он вернулся из Чечни с большим фильмом и трёхчасовой передачей. Сказал, что обо всём подумал, нам нужно просто съехаться. Я некоторое время слушала его голос, потом ответила, что не люблю, и повесила трубку.

Когда Антон узнал про отказ, он поначалу долго молчал, смотрел на меня, а потом сказал, что я сука. И больше ни слова. С тех пор мы не разговаривали.

Сашку забрали сегодня.

Я сложила её вещи в сумку и сказала, что так надо. Она всё поняла без лишних объяснений. Не плакала, только перед выходом у неё опять случился приступ сонливости. Женщина из социальной службы неодобрительно покачала головой, на её вытянутом лице изобразилась помесь сострадания и осуждения. Вышло очень фальшиво.

После Сашиного ухода я немного посидела на её кровати. Решила пойти прогуляться. Одеваясь, наткнулась на Сашкину осеннюю куртку, я совсем про неё забыла. Из кармана посыпались жёлуди. Крупные продолговатые и дутые мелкие. Они запрыгали по линолеуму, раскатились в разные углы. Я нашла только восемь, но их было куда больше: рыжие, тёмно-коричневые, бежевые с бордовыми бочками и продольными серыми полосами. Наверное, Саша специально подбирала по цвету плотные, ещё не раскрывшиеся, а потом забыла вытащить. Жёлуди — ведь не копейки, не пуговицы и даже не пёстрые бусины, поэтому оставить в кармане — обычное дело. Они, как опавшие листья или всё природное, прельщают ненадолго своей красотой и совершенством. Мы останавливаемся полюбоваться, а после никогда о них не вспоминаем.

Я бродила весь день по промёрзшей набережной, так, ни о чём не думала. Когда стемнело, пошла к автобусной остановке. Села на лавку под козырёк и стала смотреть, как падает снег.

Не знаю, сколько я так просидела. Только руки окоченели, и холод забрался под пальто. Ощущение, будто внутри всё вымерзло. И ресницы отяжелели от инея, странно, я никогда не думала, что может быть так холодно… Зато теперь я, кажется, знаю, чьё лицо должно быть у девушки из моего сна. Я догадалась, почему она падает в темноту и почему спасти криком её нельзя.

Просто бывают дни, предназначенные для чего-то…

Сергей Денисенко

Только волны за кормой, только — чаечки…

стихотворение-эссе[1]

«Я любил смотреть на него,
слушать, читать…»

Анатолий Кобенков.
Из предисловия к посмертному сборнику Вильяма Озолина в серии «Поэты свинцового века». Красноярск, 1998 г.;
главный редактор серии — Роман Солнцев

«…Плакал в кубрике матрос,
словно в спаленке.
Ростом батьку перерос,
а как маленький!..»

Вильям Озолин
Из стихотворения «Капитан»

«Вильяма в этой
жизни не хватает»

Название предисловия в книге Александра Лейфера «Мой Вильям». Омск, 2006 г.

…Помню, Омск сходил с ума:
шёл новаторский
праздник «Омская зима»
литераторский.

На большой лит. праздник-бал
(к чёрту хво́рости!)
и Озолин приезжал
в бывший го́род свой.

Сам — хозяин, а — как гость
(«Где отметиться?»)…
…Мне с Вильямом довелось
близко встретиться.

Перед публикой в те дни —
с чьей указочки? —
выступал я вместе с ним
в одной «связочке».

(Я к тому, кто всё решал —
пусть «за давностью» —
и «указочку» держал, —
с благодарностью!)

А в душе — как «от винта»:
намозолено —
детство, юность, «Капитан»
В. Озолина.

Мне тот стих когда-то был
всех полезнее:
я ведь в нём почуял смысл,
смысл Поэзии!

Стало ясно дураку
(раньше — по́ фигу):
смысл — не слово «гнать» в строку, —
Мысли — в строфику!

И шептал в тиши ночной,
как в отчаянье:
«Месяц шёл уже седьмой,
как отчалили…»[2]

…Я отвлёкся от «Зимы».
Кульминация:
выступаем в «связке» мы —
сплошь овация!

Эх, вернуть бы «статус кво»!..
Он — уверенный,
статный, рослый, взгляд — насквозь,
лик — обветренный.

А потом, вне суеты
и непафосно,
говорит: «Давай «на ты»!
Кровь одна́ у нас!..»

У меня ж — «щелчок» внутри,
голос вро́де как:
мол, «меж нами — двадцать три
года-го́дика».

Как взлетел Вильям седым
буревестником!..
В общем, так Вильям моим
стал ровесником.

А на ужин — коньяка
вместе с са́лом мы!..
Свою книжку «Год Быка»
подписа́л он мне.

Книга В. Озолина «Год Быка». Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1989 г.

…Шёл по Омску — «в доску свой»!
Но запомнилось,
что́ в глазах-очах его
грустью полнилось:

«Нет, не дал ты мне пропа́сть,
«город-каторга»,
хоть и был порой — как пасть
аллигатора.

Жаль, вопрос, что плавит мозг,
все профукали:
кто ты, что ты, город Омск?
Счастье, му́ка ли?..»

1. Стихотворение отмечено специальным призом журнала «День и ночь» на II городском поэтическом конкурсе «Омские мотивы» (Омск, июль, 2009).
2. Начальные строки стихотворения В. Озолина «Капитан». Здесь и далее строчки из этого стихотворения выделены курсивом.

(…Струн гитарных перезвон—
словно радуга.
Стынут записи его
в фондах радио…)

…Ветром книжку «повело»
(листы—веером),
что написана светло
Сашей Лейфером;

адресованная—нам,
тем, кто мается
(книжка просто—«Мой Вильям»—
называется).

Точки боли на душе—
как заплаточки…
Двадцать первый век—уже
на «девяточке».

В послепраздничный бокал—
слов падение.
Год—ноль девять… Год Быка…
Совпадение…

Но трево́жным слово «*там*»
стало будто бы…
«*Просыпался капитан,
глаза-буковки…*»

Громко чайки поутру
хороводятся!
…Авторучка дрогнет вдруг—
и выводится

хореической строфой
(а не ямбом) клич:
«Как ты *там*, наш дорогой
Вильям Янович?

Там немереных трудов—
тоже во́з, поди?
Там, где Толя Кобенков,
Солнцев… Господи!..»

И Вильяма голос-гром
слышу истовый:
«*Ты тоской себя не гробь!
Небо—чистое!..*

*Так что ты, браток, держись,
гляди весело!
Не такие, брат, моржи
усы весили!..*»

…«Эх, всё будет хорошо!»—
стонут чаечки.
…Год двенадцатый пошёл,
как отча́лил ты…

ДиН антология

Константин Симонов

Из окруженья…

Умирают друзья, умирают…
Из разжатых ладоней твоих
Как последний кусок забирают,
Что вчера ещё был—на двоих.

Всё пустей впереди, всё свободней,
Всё слышнее, как мины там рвут,
То, что люди то волей господней,
То запущенным раком зовут…

Напоминает море—море.
Напоминают горы—горы.
Напоминает горе—горе;
Одно—другое.

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится,—
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы…

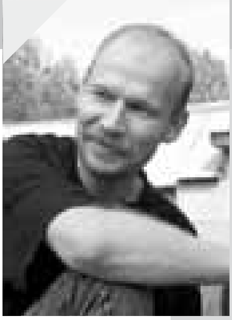
Умер молча, сразу, как от пули,
Побледнев, лежит—уже ничей.
И стоят в почётном карауле
Четверо немолодых людей.

Четверо, не верящие в бога,
Провожают раз и навсегда
Пятого в последнюю дорогу,
Зная, что не встретят никогда.

А в глазах—такое выраженье,
Словно верят, что ещё спасут,
Словно под Москвой из окруженья,
На шинель подняв, его несут.

Бывает иногда мужчина—
Всех женщин безответный друг,
Друг бескорыстный, беспричинный,
На всякий случай, словно круг,
Висящий на стене каюты.
Весь век он старится и ждёт,
Потом в последнюю минуту
Его швырнут—и он спасёт.

Неосторожными руками
Меня повесив где-нибудь,
Не спутай. Я не круг. Я камень.
Со мною можно потонуть.



Борис Панкин

Никакой чертовщины

постель раскрыта профиль тонкий
на фоне бледного окна
она жива одним подонком
точнее мной жива она

а мне до этого нет дела
я сплю упав лицом в салат
что обольстительное тело
мне что до чувственных услад

опять же мне когда по венам
моим гуляет алкоголь
нет я вернусь к ней непременно
когда закончится запой

похмельный хмурый и небритый
без документов и ключей
она не скажет мне иди ты
не скажет ничего вообще

у механической машины
ни головы ни сердца нет
всё шестерёнки да пружины
да никель стёршихся монет

да стопка чёрного винила
за тёмной патиной стекла
всё то что память хоронила
она по кругу завела

чу набирает обороты
и так тревожно на душе
как будто вновь решится что-то
вот-вот изменится уже

окрестных фонарей снаружи
мерцают в пыльное окно.
случайный дождик морщит лужи.
в руке окурок тлеет вчуже.

крутится прогулочный кораблик
между двух мостов
некто произносит крибле крабле
опаньки—готов

ты теперь мультяшный и нелепый
персонаж (судьба)
что с того что дождик сыплет с неба
что мундштук к губам

добрый ангел не спеша подносит
медлит смотрит вниз
где опять хозяйничает осень
где (пойди проспись)

я стою среди невы качаясь
пароходу в такт
пропадая (публике на зависть)
ни за грош за так

об этом не думай придурок
не думай об этом дурак
слетает с балкона окурок
в белесый предутренний мрак

горят фонари на прощанье
прохожий сутулясь идёт
не думай (на выход с вещами)
об этом (совсем) идиот

кирпичные спальные клети
кровавые кисти рябин
(пропажи никто не заметит)
не думай об этом кретин

бормочешь в дурмане рассветном
в осеннем бессонном бреду
послушай не думай об этом
не думай не думай не ду…

…но что-то внутри сломалось,
стержень какой.
казалось бы—мелочь, малость.
ан нет—покой
затягивает, полным ходом
мертвит, ведёт
в край вечного холода.
ад, лёд.

Любить тебя издалека—
Неизъяснимая отрада.
И больше ничего не надо
Пока…

Пока?!

Пока-пока!

Шифроваться от себя самого,
повторяя — ничего-ничего.
Что в стакане? — Остывающий чай.
Я скучаю. Вот и ты поскучай.

Всё налажено, известен маршрут,
пересадок никаких на пути.
Там и любят, и жалеют, и ждут.
(Может, правда, взять и всё же сойти?)

И глядишь под перестук за окно,
краем глаза верстовые столбы
отмечая. Сколько их? — всё равно
сколько их. Но если бы…
Если бы…

«у неё занавески в разводах»
В. В.

ты будешь жить, ты будешь долго жить:
растить детей, варить супы и кашки,
стирать платки, трусы, носки, рубашки.
по выходным под пиво грызть фисташки,
уютом и покоем дорожить.

ты будешь жить, ты будешь жить всегда:
дарить подарки близким и знакомым
на праздники; не выходя из комы,
блюсти порядок в анфиладе комнат,
всё время чем-то важным занята.

я тоже буду жить: пока вода
из кухонного вытекает крана,
и зарастает ржавчиною ванна,
и покрывает плесень дно стакана,
и догорает давняя звезда.

Она молчит, как партизан об лёд,
как рыба на допросе.
И время нескончаемо идёт.
И эта осень
ладони зябко прячет в рукава.
Твоё молчанье
затягивает. Кругом голова…

Не отвечай мне.

Я тебя не вспоминаю
Георгий Иванов

Жизнь привидится иная
На излёте этой, но:

«Я тебя не вспоминаю,
Всё прошло давным-давно»

И казалось бы откуда
Этот морок, этот бред?

«Умирай уже, покуда
Кроме этой — жизни нет»

Горчит вода, чадят огни.
Безудержно опустошенье.
О, нимфа, вспомни, (помяни),
Благослови на пораженье.

Взгляни, беспомощен восток,
И брат идёт войной на брата.
Рим беспощаден и жесток
Для эллина и азиата.

Но, как границы ни крои, —
Всё выйдет криво и коряво.
Закат. Империя в крови,
Для вящей славы.

это уже не ты,
даже не тень. —
отзвук былой беды,
закрытая тема.

женщина в тридцать пять —
лицо, кожа,
голос — не опознать,
не похожа.

это уже не ты,
слава богу.
круговерть суеты
понемногу

нас превратила в тех,
кем мы стали. —
жесты, походка, смех
и так далее.

каждый идёт своим
(в пропасть, к звёздам)
как это — с яблонь дым,
баба с возу.

осень воняет псиной
бродячим котом
рыбой из магазина
сырым пальто
дрянью заплесневелой
гнилым дождём
боже пошли нам белый
снег
с нетерпеньем ждём

всё это химия, спи.
никакой чертовщины.
запах полыни в степи.
маета без причины.

рокот прибоя, цикад
еженощные бденья.
звёздная музыка над
головой. наважденье.

Арсений Анненков

В продуваемой комнате переговоров

Создатель прост и убедителен,
Как дождь в безлюдном переулке.
Как смех ребёнка, плач родителей,
Как табурет в конце прогулки.

Мишень, возможность попадания
И кровь того, кто не промазал—
Вот всё истории создания.
Доступно. Внятно. Без отказа.

Закатав штанины до коленей,
А глазёнки к небу закатив,
Топчется поэт по белой пене,
Сеть души лохматит об отлив.

Разноцветных рыб на серый камень
Вывалит потом и без конца
Будет молча разводить руками,
Изумляясь мастерству Творца.

Мы разрываемся на службе,
Взлетая в подковёрных битвах,
И часто говорим о дружбе
Друзьям убитых.

Мы знаем цену человека,
А потому и Бога знаем.
Что полагается калекам,
Предоставляем.

Мы любим наше учрежденье,
Где всё теснее год от года,
Всё незаметней и смешнее
Орёл у входа.

Друг мой—служащий Империи,
В пиджачонке победитовом…
В человечьей бухгалтерии
Он заведует кредитами.
Он счета с моей фамилией
По всем папкам ищет-мается,
А найдёт—так цифры синие
В книгу пишет. Улыбается.

В продуваемой комнате переговоров,
где столетьями спорят *Вчера* и *Завтра*,
Сегодня томится от их справедливых укоров—
едкой смеси разочарованности и азарта.

Вчера расползётся снова дурным туманом,
Завтра опять попользуется и бросит,
лишь *Сегодня* правда не по карману,
оно всех принимает и всё выносит.

Только в часы, когда звёздную карту
солнце прячет за голубое,
Сегодня уверено в том, что *Вчера* и *Завтра*
ушли, наконец, договорившись между собою.

Мусор на крыше

Мусор на крыше лежалый, покрытый пылью.
Всё оттого, что людей тут случается мало, а небу
Мусор неинтересен. Так же, как люди. Но здесь
В небе уже человек. И, в его тишине растворяясь,
Слышу я странные мысли о том, что земли не бывает.
Есть, дескать, высшее небо и небо пониже,
Низкое небо совсем, а земли не бывает…
Вежливо сдвинув консервную банку, смущённый,
Тихой звездой проплываю сквозь тьму чердака.

Я не один и я не одет.
Первый свидетель—солнечный свет—
Смотрит в салатник и наполняет стакан.
—Участь твоя,—говорит,—надёжнее, чем капкан,
Хочешь—молитвы пой, а хочешь—танцуй канкан.
Я опоздал,—говорит,—если цветы в венках,
Если твоя судьба ходит на каблуках,
Если в распахнутой двери—погашенная свеча,
Если движенье плеча
Как поворот ключа.
Так пропади в западне,
Разбейся о сотни глаз,
Первым дождём пролейся,
Сгустками падай в таз.
Сворачивать поздно. Останешься жив, сынок,
Будешь как я—нужен, когда одинок.

На нас взгляни — и нечего спросить.
Милы, а невозможно опознать.
Мы там, где дождик, чтобы моросить,
Мы там, где солнце, чтобы припекать.

Колючки звёзд тревожат каждый лоб,
А наша недалёкая звезда
Неразличима даже в телескоп
И первая — на зеркале пруда.

Проводить ещё раз облака
От крестов до слепящего круга,
Не заметить куда, с каблука
Вдруг вспорхнув, улетела супруга…
Потеряв невесомую нить,
Поклониться бетонному своду,
Чтобы снова в метро пережить
Неподдельную близость к народу…

Как положено — поезд, оставленный друг.
Разумеется, дождь, заоконная слякоть.
И уже перебор — стихотворный недуг…
Не хотелось скучать, а стараюсь не плакать.

Что поделаешь, рельсы — и те коротки.
Снова манят в ущелья гранитного глянца
Три вокзала — затоптанный остров тоски,
Людоедский, как наша привычка прощаться.

Докторам

Я весь ваш, доктора, —
то гастрит, то мигрень, то мозоль…
То истёртая совесть
снова просит кривую заплату.
Одного не отдам на леченье —
сердечную боль.
Кардиологи, вон из палаты!

Повелитель
и штат самых преданных слуг,
эта боль — мой всеслышащий слух,
и надежда, и вера, и мера,
круглосуточный допуск
и в ангельский круг,
и в глаза изувера.

Я в размеренной жизни увязну,
Привыкну «следить за собой»,
Если надо, таблицу калорий
прибью к изголовью,
Только пусть остаётся со мною
сердечная боль —
главный признак здоровья.

Арсен Титов

Старогрузинские новеллы

Ветер

Осенью мы пьянствовали у Захара Михайловича. Его младший брат Джубе сказал, что не может поверить, чтобы Захар Михайлович всё ещё был сильнее его. Сцепились они, Джубе и Захар Михайлович. Во дворе произошла схватка.

Уже осень была, октябрь. Виноград сняли. Орехи с деревьев упали сами, и мы собрали их, зорко следя, на нашей ли стороне межи лежат.

— Скажут, да из России пришли, так уже чужое берут! — сказал Захар Михайлович.

Потому на нашей стороне лежащие мы брали, а не на нашей — нет.

— Вот! — сказал ещё Захар Михайлович. — За этим садом и этим виноградником братья мои ухаживают. Отец сказал: это Захару!

Сам Захар Михайлович — в России, а братья за его садом и виноградником ухаживают. Захар Михайлович только пьянствовать приезжает, как вот со мной сейчас.

У старшего брата Захара Михайловича жена моложавая и приветливая. И старший брат светится. Средний брат замкнут. Он умён. Но жена его, сколько я смог определить сразу, завистлива и жадновата. Она курицу долго не давала зарубить. Она долго на стол не накрывала, говорила нам ласковое, но стол был пуст, а муж её, средний брат Захара Михайловича, мрачен. Он был мрачен, но терпеливо смотрел на жену и, следуя обычаю, церемонно улыбался нам, мне и Захару Михайловичу, хотя Захар Михайлович был младше его, и он, будучи старшим, мог бы вести себя по-другому. В какой-то степени причиной его церемонности был, конечно, я. Но всё-таки в целом осознание за долгие годы совместной жизни завистливости и жадноватости жены отпечатлелись на поведении среднего брата Захара Михайловича.

Мы сидели перед пустым столом. И чтобы разрядить обстановку, Джубе сцепился с Захаром Михайловичем.

— Ну-ка, — сказал, — не поверю, что ты ещё сильнее меня!

Крепко они сцепились. Я даже подумал, что лучше бы Джубе меня вызвал на схватку — столько заболел я за Захара Михайловича. Неизвестно, чем бы закончилось. Оба были крепки. Рубахи порвали. Поясные петли у джинсов порвали. Мать вышла их примирить, сказала.

— Дети, гость у вас, и ваш отец сейчас был бы им занят! — сказала.

А была осень, октябрь, было пасмурно. Ветер — покамест тёплый, но уже сильный — трепал деревья, серой мглой скрывал хребет и бросал наземь орехи.

По окраине двора бежала речка, в два метра шириной, но сердито бурчащая. Ниже по её течению соседи поставили в своё время крепость. Она оказалась на удивление некачественной, рухнула. И с дороги я смотрел на неё, может быть, единственный, кто смотрел и сожалел о её некачественности. Остальные говорили.

— А, да! — говорили. — Рухнула, давно строили!

Цветом развалины крепости были равны ветру, серому. Хребта не было видно. Деревья шумели, швыряли орехи. Хромой Яша взялся за плетень, долго смотрел на север, в серую мглу ветра и осени. Он долго смотрел, а потом сказал — и я это слышал.

— Шида Картли! — сказал он.

От плетня начинался виноградник, уже пустой. И сад с крепкой кехурой начинался от плетня. Хромой Яша не смотрел ни на то, ни на другое. Он смотрел в серую мглу, скрывающую хребет. Ветер пластал орехи. И чтобы услышать друг друга, надо было говорить громко.

— Шида Картли! — сказал хромой Яша.

Захар Михайлович и брат его Джубе, переменив порванные рубахи на новые, сказали мне пойти с ними. Я пошёл. И мы подошли к хромому Яше, остановились подле, посмотрели в серую ветреную мглу.

— Телёнка зарежете? — спросил хромой Яша.

— Да! — сказали Захар Михайлович и брат его Джубе.

— Братья ваши старшие где? — спросил хромой Яша.

— Сейчас придут! — сказали Захар Михайлович и Джубе.

— Кто будет резать? — спросил хромой Яша.

— Резать будет Захар! — сказал Джубе.

— Хорошо! — сказал Захар Михайлович.

Пришли старшие братья. Самый старший принёс горячий хлеб, а средний в смущении опустил глаза.

— Вот! — показал на крепкого годовалого телёнка хромой Яша.

— Давай, Захар! — сказали все три брата.

— Ну, немного поможете? — спросил он.

— Да! — сказали они.

И все попросили меня развести огонь под большим котлом на треноге.

— Это может сделать мальчишка! — обиделся я.

— Нет. Ничего худого не думай. Очень нам поможешь! Сейчас нам огонь с горячей водой очень будут нужны! — сказали все три.

А вспомнил, как меня пожалела моя невестка, жена моего брата, красавица Дали. Мы на стройке

умотались, причём все умотались, и я, пожалуй, был свежее всех.

— Устал, мальчик? — спросила меня моя невестка красавица Дали, будучи годом младше меня.

Оба моих брата потом долго успокаивали меня, говоря, что она, невестка, красавица Дали, имела в виду только обыкновенное участие и ничего более, что она, будучи невесткой, пожалела меня, неженатого, обыкновенно по-женски, что ему, моему брату, женской ласки достанется чуть позже, и второму брату тоже достанется ласки от его жены, но тоже чуть позже — ведь только мне одному из трёх после трудов и после застолья спать в одинокой постели. Но я любил свою невестку, жену моего брата, и мне было неприятно её участие.

Вот так было, и вот так я посчитал обидным разводить огонь в то время, как Захар Михайлович будет резать телёнка.

— Нам правда будет нужен огонь! — сказал Захар Михайлович.

— Хорошо, — сказал я.

Я развёл огонь. Захар Михайлович и три его брата в пятнадцать минут покончили с телёнком, часть мяса положили в котёл, а часть — на угли.

Джубе принёс большой кувшин и стаканы.

В декабре хромой Яша умер. Земля была тёплой. Могилу мы выкопали без труда. И когда мужики выровняли холмик, когда выпили и вылили остаток вина из кувшина на потревоженную землю, я отвернулся на север, на блистающий снегом хребет и сказал украдкой те же слова, что два месяца назад в ветреный день хромой Яша говорил вслух.

— Шида Картли! — сказал я.

Слова эти ничего иного, кроме как обыкновенного, не обозначают. Шида Картли — это Срединная Грузия.

Двадцать десятое число

Темно сегодня, и груша смятенно шумит. Небо серое, совсем серое, словно лицо Жоры после трёхдневной перегонки чачи. И ветер будто с неба падает. Грохнется ветер к нам во двор, рванёт грушу, как пёс курицу, кинется вдоль забора, выгнет сливы и айвы в сторону дома Геронтия и обратно шарахнется. Нигде от него спасения нет. Вроде бы дождь при таком небе должен быть. Но нет дождя. Только ветер, и темно. Закрыл я дверь, разжёг печку, миску с лобио и глиняную сковороду с кукурузным хлебом разогревать поставил. Сначала подумал сливу-чанчури прибрать — косточки вырезать, а саму сушиться разложить. Зимой — лакомство хоть старому, хоть малому. Но оставил сливу в деревянном тазу — даже трогать неохота. Вина не было. Сходил в марани, начерпал большой кувшин. Всё равно ведь Жора придёт. Кувшин от вина холодным стал. В такой день, подумалось, век бы к нему не прикоснулся. Посмотрел я на чачу. В прошлый раз перегнали мы с Дато её двенадцать бутылей по двадцать литров. Грузины по двадцаткам считают — не как русские. По-русски — двадцать девять, тридцать, тридцать один и так далее. По-грузински же — двадцать девять, двадцать десять, двадцать одиннадцать… Разлили мы чачу по бутылям. Вышло двенадцать. Оставшееся в кувшин вылили. Бутыли Дато в кухню унёс, а кувшин я в ручей охлаждаться потащил… Вернулся, а Дато стол под липу вынес и снедь-смедь расставил.

— Мишико кликни! — сказал он, а потом его к Магаро вниз послал с тем, чтобы тот сюда шёл и к Шота кого-нибудь отправил.

Соседскому Мишико шесть лет. Услужить нам с Дато он считает счастьем. Взял он доли-барабан под мышку, вставился в сандалии и припустил вниз.

— Свежий сыр люблю я поесть, зубом поскрипывая! Среди девушек люблю погулять, глазом подмигивая! — заорал он песню на полдеревни.

— Брехун, — сказал вдогонку Дато.

Недавно ещё так было. А сегодня темно. И никто не придёт.

Встал я от печки, открыл дверь, посмотрел. Если бы не старая башня, небо совсем бы нас придавило. Оно и попыталось. Но башня встала ему навстречу. Зацепилось за неё небо и на моих глазах порвалось. Часть его потащилась в ущелье к Нуниси, а часть, почернев, вдруг хлестнула косым и длинным дождём. Я вздохнул. Теперь и Жора не придёт. Минутой назад я думал о его приходе с некоторым пренебрежением, мол, всё равно ведь придёт. Сейчас же вздохнул: теперь и он не придёт! — и возликовал бы я сейчас, если бы услышал его у себя во дворе, как обычно, уже от калитки меня обличающего в каком-нибудь грехе, ну, например, в том, что пришло ненастье.

— Никогда не было раньше! — выговорил бы он мне и далее прибавил бы по-русски: всегда было хорошего погода!

— Даже в день Всемирного потопа? — огрызнулся бы я.

Он бы в ответ отвернулся: мол, что говорить с человеком, отрицающим учение Дарвина.

Так я вздохнул и вдруг сказал: хо, а что если!.. — и ещё оглянулся окрест. Ничего мне не понравилось. Косой и длинный дождь крупно хлестал вдоль двора. Ближние айвы ещё держались. Сливы, стоящие за ними, уже исчезали. А башню и вообще всё остальное дождь забрал себе. Не осталось ничего на месте нашей деревни, гор и неба.

— А я пойду! — сказал я.

Собрал я себя в старую одежду Дато, положил в сумку кукурузный хлеб, сыр, отгрёб из таза сливы-чанчури, взял кувшин водки, представил, как Жора обязательно спросит: а джинджоли? — будто он заимодавец, а я безнадёжный его должник, и пошёл. Джинджоли — квашеные соцветья белой акации — были в бочке. Бочка была в марани через дорогу. И я был не должник, чтобы идти туда.

Меня хватило только спуститься к Геронтию во двор, пустой и будто поросший седой щетиной от топорщившихся навстречу дождю его собственных брызг.

Ещё хватило меня зайти к себе в сад. А дальше хватило только взбежать на балкон нашего нижнего дома, построенного, облегчённо крякнуть и назвать себя дураком.

С трудом снял я тяжёлую и разбухшую одежду, поставил обтекать в сухой угол, а сам, голый

и босый, оглянулся, не видит ли меня кто, и открыл дверь в комнату.
— А?—сказали мы враз—я и ещё кто-то, сначала в комнате повернувшийся ко мне, а потом отпрянувший.
— А?—ещё раз сказал я, уже сидя на корточках под балконом.

Нельзя сказать, будто я ничего не понял. Я всё понял. Но я так понял, что ничего не понял. Сразу с порога я понял, что произошло. Но именно оно—то, что произошло,—метнуло меня под балкон.
— А?—спросил я себя.

А в глазах у меня стояло нечто совершенное и прекрасное, только что меня напугавшее, но теперь неумолимо к себе потянувшее. Оно стояло у меня в глазах—обнажённое девичье тело, сначала повернувшееся ко мне, а потом отпрянувшее в угол. Какое оно было, обнажённое девичье тело,—красивое, стройное, полное, худое, крупное, хрупкое—я не мог сказать.

Я видел его прекрасным, оттолкнувшим от себя, но потянувшим к себе с неведомой и неодолимой силой.

Я сидел под балконом на корточках, озирался по сторонам, как филин, средь дня залетевший в деревню, и ничего не видел.

У меня в глазах стояло только оно—которое от страха невозможно было назвать обнажённым девичьим телом, но которое от неодолимой и притягательной силы хотелось так называть.

И было во мне ещё одно—я понял, хотя ничего не понял, но я понял—отныне мне не забыть этого мгновения, отныне мне всегда любить женское тело, эти розовые даже в полумраке комнаты соски, это тёмное место и отныне мне любить эти огромные, наливающиеся испугом оленьи глаза.

Я понял, для чего я недавно купил ватманский альбом и карандаш—отныне мне быть художником.

Но я сидел под балконом и, как филин днём, вытаращено оглядывался по сторонам.
— Арсен!—услышал я робкий голос с балкона.
— Господи!—хотел я зарыться в землю.
— Арсен! Я положила твою одежду в другую комнату!—снова услышал я и перевёл в уме, что не слышал ни скрипа двери, ни шагов над собой.
— Не бойся! Я не выйду из своей комнаты!—позвал голос с балкона.

Я оглянулся по сторонам. Дождь обрезал деревню. Даже дом Геронтия колебался в дождевом мареве и готов был исчезнуть вслед за деревней. Одни мы оказывались в этом мире. Не было в этом мире ни деревни, ни неба, ни гор наших.

Единым махом, на цыпочках я пролетел лестницу и балкон, влетел в соседнюю комнату, нырнул в старые штаны Дато и тогда лишь, будто после глубокого омута, перевёл дух. Дух я перевёл и остановился столбом, не зная, что делать дальше, но на всякий случай готовый лететь наверх, в свой старый дом и там, на кухне, под грохот дождя и сердца вновь переживать и переживать случившееся, замирать от жуткого незнания того, как же мне теперь жить дальше.
— Арсен,—услышал я стук в стену.
— Господи, и имя-то моё знает!—запоздало и тупо подумал я, хотя его знали не только в нашей деревне, а и внизу в Зварэ, и даже в Нуниси.
— Если оделся, можешь заходить!—через несколько минут снова услышал я.
— Зачем?—в испуге спросил я себя, но сказал: хорошо!

Дрожа и едва не клацая зубами, я постучал в дверь. В углу, прижавшись к камину спиной, стояла знакомая мне девушка с улочки за старой боевой башней. Одета она была в старую фланелевую рубаху Дато, довольно изящно перехваченную бечёвкой в поясе и ниспускавшуюся ей ниже колен. Мокрые волосы были затянуты в узел. Сколько я помнил, они были слегка золотистыми, а сейчас от влаги потемнели.
— Я не знала, что ты здесь живёшь. Я думала, что ты живёшь в старом доме дядюшки Дато!—сказала она.
— А…—открыл я рот, но тут же замолчал я, так как больше ничего сказать не мог.
— Я шла домой. И вдруг это,—она показала за окно.—Я подумала, пережду здесь. Я думала, я умру,—сказала она о моём появлении.
— Да,—сказал я про дождь.
— Если ты не против, я подожду, пока он пройдёт!—попросила она.
— Да,—сказал я.
— Только ты не уходи, а то мне теперь страшно!—попросила она.
— Да,—сказал я и показал на печку: в том смысле, что её можно затопить.
— Дождь через трубу зальёт,—засомневалась она.
— Я сейчас,—сделал я движение к печке.

Она в испуге отступила в сторону. Я в испуге остановился.
— Проходи-проходи!—маленькой ладошкой пригласила она меня к печке.

Я шагнул. Она в испуге отступила. Я в испуге остановился. Я опять шагнул. Она опять в испуге отступила. Я опять в испуге остановился.

Так, сторонясь друг друга, прижимаясь к стенам, мы, словно в танце, поменялись местами. Она прошла к двери, а я—к печке. В трубу действительно натекло, дрова повлажнели, но не столько, чтобы нельзя было развести огонь.
— А ты знаешь всю деревенскую работу!—сказала она.

Я пожал плечами: мол, экая невидаль.
— Но ты же живёшь в большом городе и ты историкос! Сначала о тебе в деревне думали, что ничего не умеешь. А потом увидели, что умеешь. Теперь говорят: историкос, а работает, как простой крестьянин! О тебе все в деревне говорят хорошо. Только немного смеются над вашей дружбой с дядей Жорой!- сказала она, а потом сказала:—А я поступила в педагогическое училище. Вчера у нас было первое собрание. А сегодня я электричкой приехала, очень спешила от станции успеть до дождя. Но вот…

Когда огонь осмелел, осмелели и мы. Попрежнему сторонясь друг друга, мы натянули перед печкой верёвку и развесили по ней одежду. Вернее, развешивала только она и только свою

одежду. А я, разволновавшись от одного представления, что эта одежда касалась её, отвернулся к окну—якобы меня занял вопрос, как там обстоит с дождём. И потом я всё время избегал смотреть на верёвку, хотя избегать совсем не мог и отмечал, что не всё из одежды на ней висело. Представление о той части одежды, которая на верёвке не висела, повергало меня в лихорадку. А дождь если и занимал меня, то совсем с другой стороны. Мне стало не нужно, чтобы он прекратился. Шёл же он как-то сорок дней и сорок ночей. Почему бы не повторить ему всё снова.

— Садись ближе к огню, ты же замёрз!—пригласила она.

— Нет, ничего,—отказался я.

— В кувшине вино или водка?—спросила она.

Я наконец вспомнил о сумке и кувшине. Они стояли у окна, причём кувшин клювом отвернулся в угол, будто тоже стыдился оглянуться.

— Водка,—сказал я.

— Так гость от Бога!—сказала она.

Я вдруг вспомнил—наверно, стал приходить в себя—я вдруг вспомнил местную легенду об охотнике и рыжей лесной царице, женщине необыкновенной красоты, встреча с которой обычно ничего хорошего охотнику не предвещает. Она обычно является к охотнику в дом в отсутствие его жены. И горе ему, если он жене об этом проговорится. Хотя если не проговорится, тоже горе. Если проговорится—вскоре же сойдёт с ума. Если не проговорится—эта рыжая красавица замучает его своей любовью.

— Пусть замучает,—подумал я с тем смыслом, что я всё равно теперь не знаю, как жить.

— Если мы не выпьем немного, то заболеем и умрём,—сказала она.

— Вот так же, наверно, начинает и та красавица,—подумал я, но вслух сказал, что у меня есть и закуска, а потом опять перевёл в уме, что я ничего из происходящего не понимаю,—недаром с утра прицепилась к нам непроглядная тьма.

— Но нет ни стола, ни стульев, вообще ничего у тебя нет!—сказала она и поправилась:—Хотя нет, вот что у тебя есть!

Она взяла из альбома листок ватмана, постелила на пол, расставила снедь из сумки и преспокойненько, как дома, села рядом, поджав ноги и спрятав их под полой рубахи. На один миг мне лучом блеснула белизна её кожи выше колен. В следующий миг она запахнула разрез и повела над столом маленькой своей ладошкой:

— Угощайтесь!

Я опустился на колени, покорно взял стаканчик. В пустой голове прогудели хвастливые слова тех из моих товарищей, у которых уже было, и, по их словам, начиналось это у них всё примерно так, как сейчас.

— Никогда, то есть только не сейчас, то есть ни за что, то есть ничего не знаю!—сказал я себе, а вслух сказал:—Подожди, девушка. Разве можно тебе пить водку?

Обращение «девушка, женщина, парень, мужчина» в грузинском языке не имеют русского официального или уничижительного оттенка и звучат не только естественно, но и ласково.

— Имя моё Маквала, но все зовут меня Мака. Мне шестнадцать лет. И один стаканчик в такую погоду,—она повела стаканчиком за окно,—мне уже можно!

Я вспомнил тётушку Элико, жену Дато. В слякоть она тоже не стеснялась выпить из графинчика, где у неё водка была с лепестками розы.

— Иф!—весело морщилась она при этом.

Я выпил после первого стаканчика ещё три, а она выпила только один. Обоим нам стало легче. То есть мне стало легче, а она и без того, кажется, вела себя свободно. Она вообще выходила храбрее меня. Потихоньку мы разболтались.

— О себе я всё уже рассказала. Расскажи ты о России, о студенческой жизни и своей истории,—попросила она.

Я начал рассказывать. У меня вышло так, будто Россия—это величайшая экзотическая страна, студенческая жизнь—это величайший экзотический период в жизни человека, а история—это величайшая экзотическая наука.

— Вот в России можно проехать тысячу километров и не встретить ни одной горы!—говорил я, и это выходило экзотикой.—Вот у нас в комнате жил студент, который проспал целый семестр и проснулся только к сессии!—говорил я, и это выходило экзотикой.—Вот древний человек при изготовлении кремнёвого орудия, чтобы только отколоть одну чешуйку, должен был надавить на одно и то же место тысячу раз!—говорил я, и это выходило экзотикой.

Печка наша погасла. Снова её разжигать вдруг нам стало лень. Мы решили, что угли и без того дают хороший жар. Она проверила свою одежду на верёвке, признала её не вполне высохшей. Оба раза, когда она вставала и садилась, я находил себе причину отвернуться. Но это у меня выходило так ловко, что мне удавалось, говоря высоким слогом, лицезреть на миг открывающую её мраморно белые колени полу рубахи. И опять я не мог определить, красивы ли её колени, красива ли она вообще. Я только хотел бесконечного своего испуга перед ней, перед тем притягивающе пугающим, что я увидел, ступив на порог.

— Я знаю одну Маквалу. Она была у дедушки моего Таро!—сказал я.

— Им обоим не было счастья!—сказала она.

— Если счастье—это что-то другое, а не пугающее и притягивающее, которое я постиг сегодня, то мне его совсем не надо,—перевёл я умом, вслух же спросил, когда она уезжает на учёбу.

— Послезавтра, двадцать десятого числа!—сказала она грузинским исчислением, означающим по-русски число «тридцать».

Я признал это невозможным. Мне становилось совсем незачем жить. Я решил сегодня же всё рассказать Жоре, а потом сойти с ума.

— Тсс!—вдруг приложила она пальчик к губам.

И я услышал, что дождя нет—лишь по крыше умиротворённо, будто отдыхая от тяжёлой работы, продолжали стучать капли с нависающих

веток. Я оглянулся на окно. За ним разливался чистый и яркий день.
— Тсс! — снова сказала она, может быть, полагая, что я встану и пойду на балкон.

И вместе со вторым её «тсс» от изгороди мы услышали Жору.
— Эй, парень, здесь ли ты? — проскрипел он.
— Не откликайся. Может быть, уйдёт! — превратилась она в испуганного оленя, но не растерялась.

Я знал Жору.
— Нет, — сказал я. — Я уведу его. Иначе он обязательно зайдёт.

Я не видел её взгляда. Я вообще ничего не видел. Я встал и вышел на балкон, как на расстрел. Она не шелохнулась. Я увёл Жору наверх, поставил ему стол. Он выпил два стакана водки и сказал, что у него ко мне есть большое дело, которое он, однако, доверить мне пока не может. Мне же надо было в нижний мой дом. Я знал, что застану его пустым — для того я и уводил Жору. Но сердце, как синица, которая, как известно, не может жить в неволе, билось в грудную клетку. И с каждым ударом я ждал — вот-вот лопнет.
— Говори, если мужчина. И я пойду с тобой делать твоё большое дело! — сказал я.

А он не говорил. Он только говорил, что покамест не может доверить такого большого дела даже себе.
— Значит, ты враг народа! — рассердился я.
— Это почему? — прищурился он.
— Советские люди доверяли товарищу Сталину, как самим себе. А ты себе не можешь доверить. Значит, ты не мог бы доверить товарищу Сталину. А кто тот человек, который не доверял товарищу Сталину? — безжалостно сказал я.
— Налей! — осознал гибельность положения Жора. — Налей, и я пойду!
— Точно я сошёл с ума! — обругал я себя, а Жоре сказал: — Нет, Жора, не уходи. Ничего не бойся. Я буду с тобой рядом и в радости, и в горе!

Мы выпили и вместе сходили за джинджоли.
— И всё-таки пока я не могу даже себе доверить такое большое дело, — сказал Жора.
— А мне? — спросил я.

Он снова вприщур посмотрел на меня.
— Ты хотя и ходишь в старых штанах Дато, но ты мне напоминаешь товарища Сталина. Тебе доверю. Но доверю иносказанием. Скажи, какую песню постоянно поёт ваш парнишка Мишико?
— Понял! — сказал я. — К тебе приходила лесная царица!
— Йиэхх! — запылал он взглядом, вслед застеснялся, потупился, вдруг сорвался с места и лишь успел проскрипеть кирзачами по балкону, а уже сбрякала за ним калитка.
— Вот так! — неизвестно о чём сказал я и тоже сорвался с места.

Комната была пустой. Посуда была прибрана. В печке была зола. Отвязанная верёвка лежала подле. Ничто не напоминало о моей лесной царице. Лишь мрамором её колен светился листок ватмана. Я сел на сырые ступеньки балконной лестницы и долго смотрел на кукурузу, уже отдавшую початкам молоко, смотрел дальше на сливы по меже, на часть утонувшей в садах улочки, на бескупольную церковку на противоположном склоне горы, на вершины, на чистое и совершенно в своей чистоте мне не нужное небо. Трудно было сказать, зачем я жил до этого дня и зачем нужно было жить дальше.

Я пошёл забрать мою мокрую одежду и зашёл в комнату. Лист ватмана снова посветил мне. Я усмехнулся и поднял его положить в альбом. «Завтра в полдень иди по дороге на верхние покосы», — прочитал я.

Говорили, мой предок Таро некогда спас девушку по имени Маквала. Он пашню не пахал, виноградник не сажал, дом не строил. Он всю жизнь воевал на чужбине. Маквала всю жизнь его ждала. Ни ей, ни ему не было счастья.

А если счастьем считать оставшийся день, и длинную в полудрёме ночь, и ещё полдня, а потом полёт на верхние покосы, где на полдороге я услышал голос лесной царицы, и робкое моё приближение к ней, и медленное, будто столетье длящееся приближение ко мне её ладошки с несколькими крупными ежевичинами, и долгое бессловное, но многоречивое блуждание по пахнувшему вчерашним дождём лесу, и всеохватный сладкий страх нечаянного прикосновения друг к другу, и жгучее ожидание этого прикосновения, и мимолётный трепет её ресниц от пойманного моего взгляда, и ответнуя заячью дрожь взгляда моего, и блики пробивающегося сквозь лес солнца, тонущие в её волосах, и затаённое её дыхание, когда мы, наконец, остановились друг подле друга, и биение её сердца, отдающееся мне, и персиково-шёлковую нежность её щеки под моей ладонью, осмелевшей и готовой тут же обуглиться от своей смелости, и её короткий, едва слышный, но оглушающий стон от последующего прикосновения к её щеке моих губ, и обещание друг другу быть с этого мгновения вместе всегда, и вдруг вернувшую нас в действительность мысль о злом завтрашнем двадцать десятом числе — если это счастье, то я его не испытал.

Я был на дороге к верхним покосам и вечером вернулся ни с чем. Я лежал ничком на тахте, не зажигая свет. Мишико принёс от неё записку: «Я не смогла. Вот мой адрес в училище. Я буду ждать твоего письма, — и по-русски: — я буду ждать тебя».

Двадцать десятого числа она с отцом прошла мимо нашего дома. Двадцать одиннадцатого числа я ушёл на станцию сам, хотя собирался оставаться в деревне до сбора винограда и, более того, обещал Жоре помочь в его очень большом деле. Двадцать тринадцатого числа я был в холодном нашем городе и писал ей: «Лесная моя царица…» — она стояла передо мной. Я жил и болел ею. А ответа от неё не было. Прошло два двадцать десятое и четыре двадцать десятое число, то есть прошла осень. А письма от неё не было. Я ничего не мог делать. Я только жил и болел ею. Я каждое утро и каждый вечер читал её записку, а весь остальной день ходил и бубнил: «Ме гелодеби шени церили, — то есть: я буду ждать твоего письма — и по-русски: — Я буду ждать тебя!» Я жил и болел ею. Я провалил защиту диссертации. А ответа

не было. Она забыла меня. Она забыла меня — наверно, потому, что она была лесной царицей, сводящей с ума и мучающей.
— Напиши ещё раз! — просили меня друзья.
— Нет! Она лесная царица! — говорил я и видел её с другим.
— Поезжай туда! Заодно привезёшь чачи! — говорили друзья и пытались соблазнить меня возможностью доставить им удовольствие.
— Чачу привезу, но к ней не пойду. Она лесная царица! — говорил я и видел её с другим.

Темно было в деревне в тот день. Темно было у меня в ту осень и в ту зиму.

Улыбнулся я только к весне. Переодеваясь из зимней одёжки в весеннюю, я запустил руку в карман плаща. В кармане меня ждало моё письмо к ней, то моё письмо, ответ на которое я ждал.

Встретились мы через пять лет. Она шла мимо нашего дома. Тяжёлая корзина и две девочки-дочки сильно стесняли её движения. Но я не мог помочь ей.

Крепость Схвило

— Вон крепость Схвило! — показал я.
— Да. Хорошая крепость Схвило! — не глядя, похвалил Тетия.
— Да что ты понимаешь! — обиделся я.
— Понимаю! — возразил Тетия.

Как же, понимает он. Слова толком сказать не может, понимальщик. До Схвило, если птице лететь, — двадцать километров. А человеку добираться — все сорок. Но видна она отсюда, с нашей крепости.

Внизу, под Схвило, стоит крепость Чала. Рядом стоит храм Самтависи. Деревня — тоже Самтависи. А рядом деревня Игоети. От Игоети направо — Ламискана. А налево — Самтависи, деревня и храм. Потом Чала. Потом наверху Схвило.
— Хоть взгляни! — не выдержал я.
— Да ладно! — пообещал Тетия.

Неинтересный он человек — это-то мне обидно. Ни выпить с ним, ни закусить. Арбуз он съел — и доволен. Ну, был бы арбуз толковый. А то ведь кахетинский. Кахетинский, ташкентский, мариупольский — это не арбузы. В крайнем случае, арбуз должен быть моздокским. Для остальных же надо сахар покупать один к одному. Я сразу на базаре сморщился — одни кахетинские.
— Пойдём! — сказал я на базаре.

Но некто, столь же неразборчивый, что и Тетия, взять отважится. И Тетия никуда не пошёл. Встал около, рот разинул — смотрит, как тот выбирает. Долго тот выбирал. Народ вокруг собрался — и местные, и продавцы, и туристы с автобуса. Всем интересно, оказывается, посмотреть. Каждый якобы свой секрет знает, как выбирать. Вообще-то, я тоже знаю секрет. Но у меня такой секрет, что арбуз в крайнем случае должен быть моздокским. А здесь одни кахетинские. Потому хотел я уйти. Тетия же рот разинул — смотрит. И эти все смотрят.

Неразборчивый наконец выбрал. И хозяин в него ханджал вонзил, в выбранный арбуз, — три раза, так, так и так. Ханджалом же вырезанный клин вынул и неразборчивому протянул — чудесный, искрящийся, соком исходящий. У Тетии, конечно, глаза пламенем полыхнули. Но зря. И неразборчивый тоже зря старался и зря шею к арбузу тянул. Потому что арбуз должен быть хотя бы моздокским.
— Вай ме! — сказал неразборчивый.

Народ разбежался. А что — разве не знал?
— Пойдём! — сказал я.
— Купим, а! — стал просить Тетия.

Я рукой махнул.

Вот такой арбуз съел Тетия. Неразборчивый человек свой арбуз понёс домой. А Тетия съел на месте, то есть здесь, в крепости, не в Схвило, а в нашей. И теперь пообещал смотреть на Схвило. Но не смотрит. И конечно, никогда не поедет. А ведь до Игоети всего, а там налево через Самтависи и мимо Чалы. И какая она, эта Схвило! Я не поэт. Но однажды мне сказал Цопе, двоюродный брат. Цопе — это уличная кличка. У меня клички нет. А у брата — Цопе, бешеный. Тетия, кстати, тоже кличка. Цопе однажды сказал:
— Пойдём. Что покажу! — тогда он ещё был без машины.
— Далеко? — спросил я.
— Увидишь! — сказал Цопе.

Мы пошли улицей в сторону нашего сада, потом вошли в совхозный сад прямо до сторожки. Собаки нас облаяли. Мы прошли мимо и направились садовой дорогой — разбитой, конечно, — в сторону конторы. Кругом было вспахано, и от полива стояли лужи. На дороге — тоже. Машина нас догнала тогда, когда до конторы осталось сто метров. По-иному-то разве случится! Шофёр увидел Цопе и остановился. Они поговорили и даже поругались. Но шофёр всё равно подвёз нас эти сто метров до конторы, потому что Цопе был здесь бригадиром. В конторе Цопе тоже поругался. Я ждал на скамейке. Политые розы благоухали. Их было очень много. Запах был сильный и тёплый. Мне показалось, что не солнце нагрело воздух, а розы. Я думал, что Цопе хочет показать именно их. Но после конторы мы пошли дальше, вышли из сада, прошли по шоссе, а потом, километра через два, опять вошли в сад. Мне идти надоело. Однако я молчал. По пути Цопе отвлекался то туда, то сюда, к деревьям. Всё ему надо было смотреть. И всем он был недоволен. Вдалеке женщины окапывали саженцы. Цопе словно бы их искал — столько в удовольствие он с ними поругался.
— Кто так работает! — кричал он, находя невидимые огрехи и прибавляя по-русски: — лодири!

Мне было стыдно. Я подумал: «Цопе на самом деле бешеный!». Женшины же нисколько на ругань не обратили внимания. Но всё равно я облегчённо вздохнул, когда, наконец, Цопе оставил их. Ещё через километр ходьбы мы наткнулись на речку. Я подумал, что это Лиахви, и спросил.
— Великая русская река Волга! — обрезал Цопе.

В самом деле, глупо было в этой канаве подозревать Лиахви.
— Ну, скоро? — рассердился я.
— Вот! — раздвинул колючки и пролез к канаве Цопе. Я пролез за ним. Запахло прелью. Я вспомнил розы.

— И что? — спросил я.
— Вот! — показал Цопе.

Я увидел сизый дымок, несколько маленьких сизых дымков, поднимавшихся от прелых листьев. Это были фиалки, совершенно неожиданные в июле. Я снова вспомнил розы у конторы, огромное количество роз, нагревающих воздух.
— И что? — снова спросил я, больше не зная, о чём спрашивать.
— Это твоей дурочке! — сказал Цопе.
— А как я их ей привезу? — растерялся я.
— Ты не привезёшь, а расскажешь. Так ей расскажешь, что у неё дрогнут ресницы! — заругался Цопе.

Вот. Так рассказать моей дурочке, то есть моей девушке, у меня не вышло. И если дрогнули чьи-то ресницы, так только мои — от обиды. Но сейчас разговор не обо мне, а о Схвило. Таким же синим дымком, синим букетиком фиалок вздымается она над отрогом. Я был в ней сто раз. И разбуди меня ночью — я без запинки, как стихотворение, закричу: Схвилосцихе метхутмет саукунеши Амилахвребис миер чемис твалта нугешад дадгмули ико!.. — ну, то есть крепость Схвило в пятнадцатом веке князьями Амилахвари была поставлена, она такой-то высоты и такой-то длины, столько у неё башен и она видела то, думала это, пережила вот это. Люблю я её, крепость Схвило. И Тетия знает. Но всё равно ему не интересно.
— Ладно, вперёд! — скомандовал я, направляясь в ту часть крепости, которая называется девятивратной.

Ежедневно было у нас — базар, крепость, музей Сталина, домой. Иногда ещё заходили в музей Камо, музей боевой славы города, где висят фотографии наших погибших родственников. Иногда заходили туда-сюда. А в основном было — базар, крепость, музей Сталина, домой.

И всё — из-за Тетии. Есть такие люди. Вообще-то и не плохие. Но им не интересно. И они вечно плетутся сзади. И вечно отвлекаются на всякую ерунду, на какие-нибудь несчастные арбузы. И ни выпить с ними, ни закусить, не говоря уж о поездке в крепость Схвило. Хорошо хоть нашу-то крепость смотрят от каких-то своих щедрот. А она, наша крепость, — тоже ведь глаз не оторвать. Она по вершине огромной скалы плечи свои расправила и одной рукой подбоченилась. Если на неё из-за моста, с той стороны Лиахви, посмотреть, то можно подумать, что она подбоченилась.

Идёт враг. Идёт, стенание и смятение в крепости предполагая, маленькую резню, а потом хороший пир предвкушая. Идёт, подходит, глядит — а она подбоченилась! Зачешешь тут затылок. Да если учесть, что слово крепость только в русском языке женского рода, а здесь оно никакого рода, просто крепость да и всё, то врагу при подходе к ней подбоченившейся, что остаётся делать? — зачешешь тут затылок!

И может быть, было между крепостями так, что одна крепость здесь — он, а другая — она. Например, наша крепость, дойная, насчитывающая возраста более двух тысяч лет, — он, а Схвило, изящная и юная, всего-то возрастом в четыреста годиков, может быть, Схвило — она. И наш на неё засматривается, тоскует, сердцем мается и однажды осмелится преподнести маленький букетик фиалок. Если вдумчиво историю читать — то ведь и об этом в ней написано.

Пошли мы — я и Тетия. И девять ворот крепостных прошли бы, как раньше проходили. Но между третьими и четвёртыми воротами… да, между третьими и четвёртыми воротами Тетия замер. Сначала от первых ворот пошли вправо вниз. Потом от вторых ворот пошли влево вниз. Потом от третьих — снова вправо вниз. Вправо вниз, влево вниз. Вправо вниз, влево вниз. И между третьими и четвёртыми воротами Тетия замер. Шёл-плёлся сзади, ничем не интересовался. Но ступил на лестницу к четвёртым воротам, ступил и замер.

Я тоже увидел. И даже раньше Тетии увидел. Но думал — удастся пройти мимо. Тетия же замер:
— Папа!
— Эх! — сказал я молча.

А Тетия уставился в угол крепости, где в тёплой и мягкой тени зубчатой башни меж камней и мусора лежала облезлая гнойная собачка — издыхала. Ей, возможно, местные собаки сказали:
— Издыхать собралась? Иди в крепость. Там спокойно. И издохнешь, как герой, в крепости!

Собачка из последних сил пришла, увидела — правда, спокойно. Нашла место и легла. «Всё, — подумала, — издохну, как герой».
— Папа! — сказал Тетия.
— Эх! — молча сказал я.

Собачка услышала, виновато и кое-как голову подняла. Возможно, она подняла голову не виновато, а воинственно, с целью защиты. Возможно, наоборот — с просьбой не мешать ей, собачке, уходить в её, собачью, загробную жизнь, которая, возможно, ничуть не лучше её этой жизни, собачьей же. Вполне возможно, что было так. Но мне показалось — она подняла голову виновато.
— Э, да ладно! — мысленно сказал я.

А Тетия замер:
— Папа! — и разумеется, глазами — в собачку, и разумеется, догадываясь о том, что именно происходит. А догадываясь, разумеется, — порывом к ней и в рёв: — Папа! Собачка умирает! — в смысле: папа, спаси её!

Верят. Верят и одного не понимают наши четырёхлетние дети — невсесилия отцов.

Тетия порывом — к собачке, а я тем же порывом его — за шкварник, под мышки и на руки — стой!
— Папа! Папа! — хлестнул ливнем Тетия — в смысле: здесь и сейчас, немедленно яви, папочка, чудо, спаси собачку, ведь ты!.. ну что там им, четырёхлетним, — отец?

А я всего-то чуда умею — только ночью разбуженный про крепость Схвило наизусть, как стихотворение, прокричать: Схвилоспихе метхутмет — и так далее. От такого чуда некие ресницы даже не вздрогнули. Тетия же на неё, фиалковым букетиком над отрогом плывущую, и взглянуть не хочет.

Крепко я взял Тетию на руки.
— Пойдём! — сказал.
— Папа! — ткнулся он мне в лицо.

Я не знал, что ему сказать. Не зная, рассердился. Рассердившись, заругался. Заругался и не нашёл ничего лучшего, как врать.
— Кто тебе сказал, что она издыхает! — подобно Цопе, заругался я. — Сдохнуть она нашла бы другое место. А она в крепость пришла!

Видно, на ту девушку надо было столь же закричать — так Тетия, враз смолкнув, вперился в меня.
— Да! — стал я ругаться и врать дальше. — Ты в крепость ходишь, чтобы только арбуз слопать? Вот чего тебе в жизни только надо — по крепостям арбузы лопать! Сколько тебе говорил: посмотри крепость Схвило, посмотри крепость Схвило! — птице всего до неё двадцать километров лететь! А собачка поднялась, — да, вот так ловко, сам не ожидая от себя, стал я врать, — а собачка поднялась сюда и подала знак в крепость Схвило. Оттуда сейчас другие собачки спешат ей на помощь. И по пути собирают они собачек в крепости Чала, в деревне Самтависи, в деревне Игоети, посылают гонца в Ламискана.
— Знак? В крепость Схвило? — задохнулся Тетия.
— Ки, батоно! (Да, сударь!) — рявкнул я.
— И они её спасут? — задрожал Тетия.
— Ки, батоно! — рявкнул я. — И нечего нам тут торчать и им мешаться!

Я бы мог спокойно унести его из крепости, но посчитал необходимым завершить свой каждодневный маршрут, то есть спуститься в самую нижнюю башню, сквозь зубцы и бойницы которой мы повыглядывали на базар, немного поиграли в догонялки, а потом потащились наверх.

Собачка, заслыша нас, снова едва приподняла голову — то ли воинственно, то ли виновато, то ли с просьбой. Я подтолкнул Тетию:
— Хочешь помешать — оставайся!

Тетия потянул меня дальше.
— Ки, батоно! — счастливо оказал он.

В виду музея Сталина из-за своего арбуза он уже приплясывал. Я сурово заставлял его терпеть. Вообще-то, можно было зайти в музей Камо. Но я решил: пусть Тетия знает, что не всё в жизни так просто. Служительницы музея ещё издали замахали руками:
— Скорее, скорее! Разве можно так мучить ребёнка?

Этакое случалось ежедневно и почти в одно и то же время, так что увидеть нас издалека им не составляло труда.

После туалета Тетия поведал свою новость про собачку.
— Будет так, как сказал отец! — заверили служительницы. Счастливый Тетия потащил меня смотреть экспозицию. Дома Цопе спросил:
— Опять отец мучал тебя своей Схвило?
— Да, хорошая крепость Схвило! — набычился Тетия.
— А? — посмотрел на меня Цопе.

А что смотреть. Оба мы, я и Тетия, родились уже не на этой земле.

Тень

Магаро пришёл. До полудня он смотрел из своего двора на наш. Я увидел и дважды подходил к айвам смотреть в ответ. Я думал, что заметит и подаст знак или смутится. Но он, если и заметил, всё равно не смутился. Я стал думать, уж не грушу ли нашу он высматривает, изыскивая способ свалить её. Многие бы хотели завладеть ею. Говорили, что дедушка Таро, уходя из Чрдили во второй раз, спрятал в ветках её нечто исключительное, принесённое с Гератской дороги. И теперь оно, это исключительное, находится внутри груши, ибо она приняла его и обволокла. Иначе, говорили, по какой бы причине она, уже трёхсотлетняя, продолжала пребывать в цветущем состоянии!

В полдень Магаро надел белый китель и пришёл.
— Ты у нас историкос? — сказал.

Я учтиво стать ждать дальнейшего — то есть того, как он обоснует своё право на грушу. В ожидании я пригласил его на балкон, поставил на стол тарелки с сыром, квашеной капустой, хлебом и квашеным чесноком. Вино у меня было тёплое. Стаканы тоже.
— Будем не забудем! — мрачно сказал Магаро, выпил и ничем не закусил.
— Всех добрых людей да здравствует! — сказал я и ещё сказал, чтобы Магаро угощался.

Он сделал неопределённый жест. Я налил снова.

С балкона нам было видно часть нашего двора с двумя большими липами и скамеечкой под ними, часть забора, соседний дом и была видна башня, наполовину закрытая кронами деревьев. С места Магаро ещё было видно часть дороги, вздыбившейся по склону горы, ведущей к хребтине и к верхним покосам. С моего места этого не было видно. С места Магаро ещё было видно часть нашего сада, уходящего вниз, к соседу Геронтию, а за садом внизу и на противоположном склоне — часть деревни с двором Магаро и брошенной церковью без крыши. С моего места этого тоже не было видно.

Соседские куры, почуяв, что я занят, пришли во двор и стали, как женщины в магазине, хозяйски копаться. Я ради Магаро стерпел. Магаро мрачно посмотрел на них. Я налил снова. Мы выпили. Он рассказал.
— Вместо этой груши когда-то была другая, — стал рассказывать Магаро. — А царь Вахтанг тогда некоторое время жил у своего родственника Абашидзе — то ли в Харагоули, то ли в Чалатке. Оба этих населённых пункта его не устраивали, оказывается. Потому он всё время проводил на охоте, таская за собой, как и положено царю, многочисленную челядь. В один из таких дней он ступил на тропу, ведущую к нам. Она была ему неизвестной, и он спросил:
— Куда ведёт эта тропа, кто скажет?

Челядь, зная необъятный ум своего господина, подумала, что он имеет в виду иносказание. Посовещавшись, она решила лучшим из ответов такой:
— Эта маленькая дорожка, уважаемый царь, ведёт к тому, кто, являясь агнцем Божиим, взял на себя грехи мира!

Царь Вахтанг ответу усмехнулся. И ещё один человек усмехнулся. Тот человек усмехнулся даже раньше, чем царь. Он усмехнулся в тот миг, когда челядь увидела в вопросе царя иносказание.

Разумеется, усмехнулся он как можно незаметнее. Однако усмехнулся. И с учётом этого обстоятельства вышло, что царь усмехнулся вторым.
— Нет,— сказал царь, усмехнувшись вторым.— Я спрашиваю, куда привела бы эта тропинка, если бы мы пошли по ней.

Челядь нашла в вопросе ещё большее иносказание и изнемогла.
— Мы не знаем точно, о царь, но есть сведение, что эта дорожка приведёт в Чрдили!

Все зааплодировали этому человеку, ибо ответ был действительно мудрым и достойным аплодисментов, если таковые в ту пору были, ибо чего более может жаждать уставший на охоте человек, как не сесть в тени и отдохнуть!

Для незнающих приходится сказать, что «чрдили» по-нашему — «тень».

Магаро так и сказал:
— Может быть, кто-то не знает, что чрдили по-нашему есть тень. И потому не может понять всего заблуждения челяди.

Так сказал мрачный Магаро, и я поспешил наполнить стаканы, одновременно показывая своё сочувствие челяди и тем одновременно показывая своё знание слова «тень». Магаро далее пояснил.
— Этим человеком,— сказал он,— был дядя царя по матери, воспитатель! Потому он мог усмехнуться первым, хотя он это делал всегда, как и подобает воспитателю, деликатно!

Я быстро перебрал в уме все свои последние дни от понедельника — не сделал ли в один из них чего-нибудь предосудительного.
— Да,— сказал Магаро.— Таким образом, царь Вахтанг пришёл в Чрдили. И мы приняли его вместе с его челядью, сколько бы её ни было. А было её столько, что первые уже слушали за столом здравицу, а последние ещё ждали очереди ступить на тропу, ведущую к нам.

Я второй раз перебрал все последние дни от понедельника и углубился в дни до понедельника — не сделал ли чего предосудительного там.
— Всех приняли мы в Чрдили,— сказал Магаро,— всех угостили на славу, хотя пришлось нам потом целый год питаться только древесной корой и лесными кореньями, так что весной пойти собирать черемшу не у всех хватило сил.

Я не выдержал.
— А ведь груше триста лет! Она помнит Сурамский невольничий рынок. Она феномен природы! — сказал я.
— Помнит, и оттого лишилась плодов! — отмахнулся Магаро.
— Иные плоды нельзя взять в руки! — твёрдо ступил я на защиту груши, временно пытаясь действовать путём дипломатии.

Магаро чуть-чуть, но в значении, дрогнул шекой.
— Вот нунисцы! — показал он на видимую с его места часть дороги на верхние покосы, за которыми по ту сторону хребта в теснине были пастбища, а за ними внизу — речка, за речкой же — Нуниси.— Вот они всегда считали нас ловкачами, умевшими из всего извлечь выгоду. Даже наше место нам приписывали так, будто некогда мы его ловким образом отняли у них. Они, конечно, пришли поделиться с нами мукой. Но не сдержались и спросили, какую же выгоду мы получили на этот раз.
— Такую! — ответили мы.— Такую, что царь Вахтанг доволен нами остался!
— Вах! — сказали они.— Мы бы поняли, если бы царь был нашим. А то ведь он соседний!
— Тем лучше! — сказали мы.— Теперь о нас и наш царь знает, и соседний! И никто не знает, как оно повернётся завтра!

Я увидел, что дипломатию проигрываю, и запоздало подумал, что надо было убраться куда-нибудь в лес сразу, лишь увидел Магаро, смотрящего на наш двор. Я так подумал, но всё-таки решил сказать.
— Некоторые дороги бывают такими, что на них туда одно расстояние, а обратно — два! — сказал я.
— Тем более следует на каждую из дорог ступать со всей осмотрительностью! — предупредил Магаро.
— Да! — сказал я, взяв на вооружение только что сказанные слова Магаро.— Потому что никто не знает, как всё повернётся завтра!
— Да! — сказал Магаро.— И оно повернулось так, что царь Вахтанг захотел сделать столицу в Чрдили!

Я понял, что Магаро решился своим намёком на подкуп. Он решился завтрашними благами склонить меня к уступке ему груши. Я увидел в этом слабую сторону Магаро и решился её усилить, то есть сделать ещё более слабой.
— Нет! — сказал я.— Есть историческое сведение о том, что он хотел её сделать в Нуниси! — таких исторических сведений во всю человеческую историю не было. Но я предположил, что дипломатия имеет право себе позволить вводить соперника в заблуждение. Однако Магаро твёрдо встал на своём намерении заполучить грушу.
— Нет,— сказал он.— Твоё сведение есть историческая неточность. Нунисцы, конечно, поделились с нами припасами. На Пасху они преодолели снег и принесли немного муки и мёда. Но это не значило, что они отдали нам все свои запасы, как мы их отдали царю Вахтангу!

Я выпил и подавился — столь недвусмысленно стал требовать у меня грушу Магаро. Я подавился — и кому-нибудь могло показаться, что я сдался. На самом же деле, даже подавившись, я ни на длину мизинца не отступил от груши нашей трёхсотлетней, помнящей не только Сурамский невольничий рынок, что сейчас особого значения не имело, и помнящей не только дедушку Таро, что уже могло иметь значение, правда, только для меня. Я решил защищать грушу нашу до последнего вздоха, до полной победы или моей смерти потому, что она в своей молодости любила того самого Датуну, который унёс с собой в огонь семерых османов и тем спас Чрдили! Вот почему я решился защищать грушу от беспочвенных притязаний Магаро, может быть, даже попирая закон гостеприимства.

Я посмотрел на кур, обосновавшихся во дворе так, будто смерть моя уже пришла и двор остался бесхозным или перешёл к их хозяину. «Нет,— сказал я.— Буду отстреливаться, пока хватит боезапаса. А потом привяжу себя к груше. Станут

её рубить — перерубят и меня. Так вместе мы уйдём невозвратной дорогой, на которой лишь одно расстояние и в одну сторону!»
— Так что скажешь? — победоносно, как он стал считать, спросил Магаро.
— Думаю, следует ещё налить кувшин! — лучезарно улыбнулся я с умыслом ввести Магаро улыбкой в заблуждение, то есть как бы продолжил дипломатию, в то же время чувствуя свою твёрдую решимость погибнуть вместе с грушей и оттого радуясь каждому оставшемуся мне мигу.

Я пошёл на кухню, взял воронку, налил из большого кувшина в тот, который принёс, оглянулся по сторонам, вдохнул горячий запах ссохшихся платановых досок кухни, смешанный с запахом сухой фасоли, лука, пряностей и квашеной капусты. Выходя, я взял с собой немного сыра и баночку португальских сардин «Пескадор», купленную вчера.
— Вот, уважаемый Магаро! — поставил я принесённое на стол, продолжая лучезарно улыбаться и тем самым как бы продолжая путём дипломатии вводить его в заблуждение, одновременно радуясь каждому оставшемуся мне мигу.

Магаро посмотрел на принесённое. И вдруг я увидел в нём преображение. Он даже шевельнулся. Но в глазах его, до того мрачных и таивших только стремление срубить грушу, я увидел какую-то странную усмешку, значения которой сразу разгадать не смог. Я её не разгадал, но мысленно сказал:
— В несчастный день ты задумал своё дело, Магаро!

Из нового кувшина мы выпили по два стакана, ничем не закусили. Потом молча посмотрели друг другу в глаза. Потом Магаро посмотрел на ту часть дороги, которая была видна с его места и которая вела на верхние покосы и в какой-то степени через хребет вела в Нуниси. Потом он встал, одёрнул белый свой китель и сказал:
— Иной раз некоторым людям очень трудно свернуть с дороги, если даже на ней обратно — два расстояния!

Так сказал он и с усмешкой посмотрел на меня. Я выдержал. Более того, я ещё раз лучезарно улыбнулся — теперь-то уж только радуясь каждому оставшемуся мне мигу.
— Да. И такое бывает в жизни! — сказал я, будто не понимая значения его слов.

Магаро сошёл во двор и через калитку вышел на улицу. А я вошёл в дом и стал вытирать масло с ружья. Когда я стал набивать патронташ, услышал от калитки Жору.
— Э, где ты! — закричал он.
— Если соглядатай, не подходи! — предупредил я, потому что в моей ситуации мне приходилось ждать подвоха отовсюду.
— Ну хоть дай поглядеть на это! Всё-таки мы были с тобой одно время заодно! — попросил Жора.
— Да. Но ты соблазнился собственностью в виде своих же буйволов! — напомнил я о том времени, когда мы с ним заключили союз и ушли в горы с целью осмысления и изменения мира, а нас оттуда решили выманить угрозой ликвидации груши нашей, трёхсотлетней и бесплодной, во избежание чего я безлунной ночью спустился в деревню и прикрепил в качестве плодов на грушу всё, что мне в темноте попалось под руку, в том числе и его двух буйволов вместе с арбой.
— Ну хоть дай горло смочить! — попросил Жора. В этом я ему отказать не мог. Мы сели за стол.
— Эх! — сказал он после третьего стакана. — Эх! Всё так оно и есть!
— Что? — спросил я.
— Прямо скажу! Никто не мог предусмотреть такого! — сказал Жора, и из его рассказа вышло следующее.

Оказывается, после моего посещения магазина, туда по своим делам прикатил заведующий. Утрясая свои дела, он наткнулся на распечатанную коробку португальских сардин «Пескадор» и в недоумении заглянул в неё. В ещё большем недоумении, если не сказать — в тревоге, он показал её продавцу.
— Это что? — спросил заведующий, показывая на коробку.
— Это гнилой риб пескарь! — воспользовался знанием иностранного языка продавец.
— Да! — согласился заведующий. — Но почему коробка распечатана и где одна банка?
— Одну банку купил один ненормальный человек! — сказал продавец.

Заведующий сел на коробку с сардинами «Пескадор», что, следует отметить, коробке ничуть не повредило, так как она была полной — за исключением одной баночки. Он сел на полную коробку и задумался.
— Давай так! — сказал он продавцу после задумчивости. — Я всё могу понять. Я понимаю, что тебе тоже жить надо. И разве я с тебя деру три шкуры? Нет. Я с тебя беру столько, что и тебе хорошо остаётся. Теперь скажи: зачем ты стал меня обманывать?

Якобы при этих словах продавец, предвидя своё увольнение, упал в обморок и заведующий за свой счёт открыл бутылку минеральной воды, чтобы на него плеснуть.
— Нет! — сказал очнувшийся продавец. — Ты мне отец родной!
— Тогда скажи прямо, как честный человек, для чего ты открыл коробку и взял банку? — спросил заведующий.
— Эту банку купил один ненормальный человек! — ответил продавец.
— Кто? — спросил заведующий.
— Белый, с зелёными глазами! — ответил продавец, имея в виду, конечно, меня.
— Ладно! — сказал заведующий и тотчас же приехал к Шоте, имеющему за благодеяние для деревни божий отличительный знак: светлые волосы и голубые глаза.
— Ладно! — сказал заведующий и прикатил к Шоте, спрашивая: — Ты покупал гнилой риб пескар, уважаемый Шота?
— Нет! — с обидой сказал Шота. — Ни я, ни кто-либо из моих родственников никогда не покупал и не будет покупать гнилой риб пескар!
— Сказали, покупал белый человек с зелёными глазами! — в оправдание уточнил заведующий.

— Весь наш род имеет голубые глаза! — ещё более обиделся Шота, и заведующий в знак примирения пообещал ему необходимый дефицит.

— Вот! — сказал он продавцу, тотчас же вернувшись в магазин.

Но продавец стоял на своём, хотя уже в целях сохранения места спешно придумывал спасительную ложь про то, зачем же ему мог понадобиться этот риб пескар.

— Я двадцать лет завмаг! — сказал заведующий. — И я хорошо помню, что десять лет назад я привёз такую же коробку, а потом целой и невредимой увёз её обратно на базу и там её списали за истечением срока годности. Мне дали другую коробку. И с ней произошло то же. И с третьей, и с четвёртой. Потому что никто и никогда не будет есть гнилой риб пескар, когда свежий хороший риб форель, поцхали и усач можно поймать в нашей речке, а если захочешь хорошую осетрину, то съездишь на базар в Харагоули. Скажи, для чего ты взялся меня обманывать. Признайся, и я тебя не буду увольнять!

Продавец не мог придумать спасительной лжи и только клялся своими цветущими детьми, что банку он продал. Заведующий не верил, и к вечеру все внизу знали о том, что в магазине грядут кадровые перестановки, что магазин закрывается на учёт.

— Вот так-то! — сказал Жора.

— А груша? — спросил я в целях предосторожности, не совсем веря услышанному.

— Имелась в виду только банка! — сказал Жора и, не выдержав, спросил, зачем же я её купил.

Я величественно полез в банку большой ложкой, вынул оттуда две нежнейшие сардинки в оливковом масле и без хлеба сжевал.

Жора до вечера пил и сочинял речь для моих похорон, постоянно спрашивая, что бы я хотел хорошего от него услышать на похоронах.

Вечером мы решили пойти к Магаро. Но уже около айв я спросил, почему же Шота не сказал завмагу обо мне.

— Он не мог напустить тень на тебя, потому что она неминуемо коснулась бы нашего Дато! — ответил Жора.

И мы изменили решение пойти к Магаро на решение пойти к Шоте.

Когда же мы спустились во двор к Геронтию, то изменили и это решение, потому что Геронтий послал жену понести хорошую весть продавцу, а нас усадил за стол.

Мы оставались у него до хорошей луны. Потом поднялись к нам, взяли эту банку, ружьё и патроны. Потом, сколько-то одолев дороги на верхние покосы, взялись стрелять по банке.

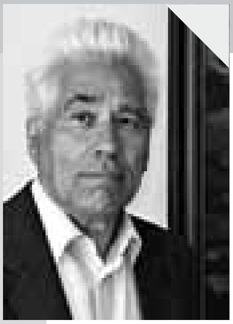
Гул катился по горам.

И разбуженный Магаро, наверно, долго смотрел из своего двора на наш двор, укрытый тенью нашей груши.

Может быть, проснулись и продавец, и Шота.

— В сорок четвёртом я стрелял так! — кричал Жора и ставил рядом с банкой свои сапоги, утверждая, что они от его стрельбы не пострадают.

Я и Геронтий отбрасывали сапоги обратно. Гул катился по горам. Но горы и все-все, за самым малым исключением, спокойно спали.



Юрий Тотыш

Алик

Ещё было темно, когда шестидесятилетний пенсионер, бывший шахтёр и пономарь в местной церкви, Иван Викторович Брызгалов проснулся. Гной накрепко слепил ему веки. Он сразу не мог открыть глаза.

Достал из-под подушки мягкую тряпочку, прочистил ресницы и только тогда увидел спальню с окном и бельевым шкафом. На потолке дрожали тени от переплётов. Из кухни доносились осторожные звуки присутствия женщины. Ложка проскребла сковородку, из крана в раковину прошумела и умолкла вода, радиоприёмник глухо забормотал новости. Его супруга Елизавета Петровна, маленькая, толстая, пятидесяти лет, с накрученными на алюминиевые бигуди волосами, уже готовила завтрак.

«Пора вставать!» — решил Иван Викторович. Сложив и спрятав тряпочку снова под подушку, он опустил босые ноги на коврик у кровати, пальцами нащупал тапочки, поднялся во весь свой двухметровый рост и пошёл в туалет. После этого отправился в ванную бриться, мыться. Наконец, свежий, весёлый, появился на кухне, где у плиты колготилась жена. Донимаемая климаксом, она была всегда не в духе по утрам. Быстро взглянув на мужа, не удержалась и запустила в него пересыпанную оскорбительными интонациями колкость:

— У тебя сопля на подбородке. Когда ты только будешь за собой следить?

Он быстро стёр пальцем каплю шампуня. Ему передалось настроение жены. В груди нервы неприятно завибрировали, но Иван Викторович взял себя в руки. Подавив в себе раздражение, спокойно сказал:

— После завтрака еду на дачу.

Елизавета Петровна вспыхнула так, что красные пятна пошли по наливным полным щекам. Напрягая лёгкие, она закричала:

— Опять сбегаешь из дома! С тобой всегда так… Раньше, когда работал на шахте, норовил к алконавтам прибиться в пивнушке. Теперь из деревни на верёвке не вытащишь. Молоденькую полюбовницу завёл там, что ли?..

Иван Викторович знал, как успокоить ревнивую супругу. Надо терпеливо молчать, пока горячий поток слов не выльется из души Елизаветы Петровны. Когда она замолчала и уселась на стул, бессильно опустив руки, нежно погладил могучее белое плечо жены и озабоченно сказал:

— У меня такое чувство, будто деревенские распатронили нашу избушку. Закрою глаза и вижу: оградка разобрана, двери открыты, стёкла в окнах разбиты. Стужа шныряет по комнатам.

У Елизаветы Петровны в глазах навыкате от базедки ворохнулась тревога. Довод мужа, в предчувствия которого она верила, показался ей убедительным. Она хорошо знала: деревенские не гнушались хозяйственным добром дачников. Прошлой зимой у неё утащили новый умывальник и даже ванну из сарая. Глаз да глаз за домиком нужен. Хорошо, если супруг, вместо того чтобы дома пролёживать бока и пялиться в телевизор, проветрится за город. Для понта она ещё поворчала на современных молодых женщин, которые вешаются на шею стариков, затем деловито спросила, что ему приготовить в дорогу. Иван Викторович распорядился:

— Сало, хлеб, бутылку водки!

Последнее в качестве подарка он возил Пашке Кривому, деревенскому бульдозеристу, который охранял его усадьбу. Успокоенная супруга сразу вспомнила о своих женских обязанностях и захлопотала возле стола. Перед мужем появились тарелка с картофелем, парной котлетой с ладонь, стакан крепкого чёрного чая. Плотно позавтракав, Иван Викторович отправился в коридор одеваться. Там из встроенного в стену шкафа достал тёплые кальсоны, спортивные брюки из плащовки, плотный литовский свитер с квадратными многослойными орнаментами, овчинный полушубок и меховую шапку. Ноги утеплил вязаными носками и валенками. Взял деревянную лопату с короткой ручкой, чтобы почистить снег возле гаража.

В дверях Елизавета Петровна сунула ему пакет с продуктами и пожелала:

— С Богом!

Как только Иван Викторович вышел из подъезда на свежий воздух, так сразу остановился в нерешительности. По сугробам бегала лёгкая вьюга, разбрасывая снежную пыль. Брызгалов представил, в какую метель она превращается в чистом поле за городом, где нет никаких препятствий, наверняка уже плотно засыпала шоссейку. Может, вернуться в квартиру и сегодня не испытывать судьбу? Он прислушался к себе. В груди усилилась ноющая боль, которая жёстко требовала… ехать.

Двенадцать лет назад в лаве, где работал Иван Викторович, обрушилась кровля. Сперва по забою пошёл страшный грохот, будто рядом падал с высоты и крушился айсберг. От удара дрожала земля, закачались, повалились стойки. Кровля и почва в лаве сошлись, расплющивая тела шахтёров. Для Ивана Викторовича исчезло время. Рядом с ним на рештаках оказались брёвна под два метра. Обычно, он ворочал двумя руками такие тяжести, но тут брал одной, словно спички,

и подпирал кровлю над собой. Когда грохот прекратился и наступила тишина, Брызгалов лучом фонаря исследовал пространство. Со всех сторон его окружали кладки породы и угля, которые могли разобрать только горноспасатели. Со стороны завала тянуло прохладной струёй. Пока от вентиляционного штрека к нему поступал воздух, можно было жить. Лишь бы кровля не раздавила последние стойки, возле которых он стоял. Брызгалов поднял луч фонаря вверх и увидел над собой монолитный, без трещин, гладкий потолок. Его чернота на глазах ошеломлённого забойщика стала светлеть, будто кто-то приподнимал крышку шурфа и открывал небо. Сперва оно было мутным, потом серебристо-зелёным и опустилось вниз, растворяя стенки лавы. Иван Викторович глубоко, судорожно вдохнул и… потерял тело. Он оказался в каком-то необъятном пространстве и, словно свободная мысль, блаженно поплыл в нём. Потом в него проникла боль и стала рвать тело. Забойщик зашёлся криком и увидел себя забинтованным с головы до ног на больничной кровати. Перед ним стояла худенькая блондинка с жёлтыми крашеными волосами в завитках до плеч, лет сорока пяти, в белом халате. Как потом узнал Брызгалов, этой суровой на вид женщине пришлось штопать ему раны на лице, на голове, на спине и собирать кости раздроблённой чуть ли не в муку руки. Теперь хирург была довольна своей работой и с нежностью смотрела на ожившие глаза забойщика. Не удержалась, наклонилась и погладила бинты на его голове, похожей на белый арбуз.

— Как, голубчик, на том свете?— ласково спросила она.

Иван Викторович заморгал, не понимая, потом едва слышимым голосом недоуменно просипел:

— На каком?

— На том, откуда ты только что вернулся,— врач снова бережно прикоснулась к нему.

Он вспомнил глубокий серебристо-зелёный свет и сказал:

— Хорошо! Очень хорошо!

После больницы Иван Викторович уверенно вернулся в шахту, но долго не смог работать. К нему во сне и наяву стали приходить погибшие бригадники. Они подсаживались в «пассажире»— так называли подземный поезд, который развозил горняков по забоям. В лаве собирались около него в кружок и молча смотрели как бы с укором. Брызгалов не выдержал, уволился с шахты и пошёл в церковь служить пономарём. Однажды во сне увидел Дугу, своего бригадира. Тот взял его за руку, подвёл к какому-то бревенчатому деревенскому домику и сказал:

— Здесь живёт моя мать. Скоро она придёт ко мне. Возьми у неё икону.

Когда утром Брызгалов проснулся, вещий сон стоял перед его глазами, как живой. Но он не знал, где найти мать Дуги, даже как её зовут. Бригадир больше говорил о своей молоденькой жене, чем о матери. Иван Викторович решил положиться на волю Божью. Прошёл месяц, в церкви его нашла молодая женщина в чёрном платке. Она передала ему икону Спаса Нерукотворного с ликом, вписанным в нимб, и сказала, что мать её мужа, который погиб в шахте, перед смертью просила передать только пономарю городской церкви. Икона была в белой холщовой сумке, плотно завёрнута в бумагу. Когда Иван Викторович дома открыл её, то долго не мог прийти в себя— икона тринадцатого или четырнадцатого века. Он понял, что она попала к нему не случайно, что это промысел божий. Он стал с помощью иконы и специальных молитв лечить людей. После этого Елизавета Петровна места себе не находила, когда Иван Викторович доставал икону и молился. Сперва ругалась, а потом убегала в магазин или к приятельнице через дорогу. Видя большое недовольство жены, Брызгалов говорил, что в ней сидит бес, надо чаще бывать в церкви, избавиться от нечистого. Он тоже может помолиться. Но Елизавета Петровна в ответ махала руками, называла мужа чокнутым на почве религии. Боясь, что она ещё сожжёт икону, отвёз свою ценность на дачу и спрятал в комоде под бельём. Удивительно, после того, как он это сделал, воры стали обходить избушку.

Когда он подошёл к гаражу, то увидел, что снег наполовину завалил железные двери. Иван Викторович сунул лопату в пушистый сугроб. С дерева слетела к нему знакомая сорока, важно затопталась по краю крыши, поднимая и опуская длинный синий хвост. «Жанка!»— обрадовался Иван Викторович, переложил лопату в левую руку, а правой достал из кармана полушубка горсть золотистых хрустящих чипсов и рассыпал на снегу. Сорока камнем упала к лакомству и, не обращая внимания на человека, стала жадно и быстро склёвывать.

Иван Викторович расчистил площадку перед дверью, открыл гараж, в глубине которого зеленел уазик с новеньким металлическим корпусом. Двадцать лет назад Брызгалову, как кавалеру трёх орденов «Шахтёрская слава», продали эту вездеходную машину. Тогда-то он и купил прочный бревенчатый дом с огородом в пятнадцать соток. Землю засадил малиной, яблонями, вишней, чёрной рябиной, двумя кедрами. Пять соток оставил для картошки, овощей. Урожая хватало с избытком не только для супругов, но и двоих взрослых женатых уже детей.

Забросив лопату на заднее сидение, Иван Викторович завёл машину и выехал из гаража. Жанка к этому времени склевала все чипсы и просительно крутила хвостом на снегу, не улетая. Пришлось вновь запустить руку в карман, собрать остатки сушёного картофеля и бросить сороке. Красивая птичка испуганно взлетела, но, когда машина отъехала, спокойно вернулась к чипсам.

За городом мела позёмка. Снег пролетал через шоссейную дорогу, не задерживаясь на чёрной гладкой поверхности. Машина легко, без напряга крутила колёса. Только дворники судорожно сгребали на ветровом стекле мокрый песок. Перед водителем необъятно расстилалась просторная равнина с редкими зарослями елей и пихт, похожая на плохо выбритое мужское лицо.

В пяти километрах от города дорога стала подниматься круто вверх на Дунькин Пуп. Так шофёры

звали вершину холма, похожего на выпуклый женский живот с круглой впадинкой. Въезжаешь наверх и спускаешься в природную чашу. Говорят, в тридцатые годы сюда кулаки привели ночью сельскую активистку, изнасиловали и зверски убили. С тех пор вершина стала носить имя бедной девушки, считалась проклятой. Здесь почему-то крутых бесшабашных водителей тянуло на полной скорости сойтись машинами лоб в лоб. На месте их гибели на обочине ставили кресты. Приходилось ехать по Дунькиному Пупу, как по холодному кладбищу.

Иван Викторович привычно взглянул на занесённые снегом, некоторые с зелёными свежими венками, сооружения, и положил ладонь на рычаг скорости. Впереди по бровке дороги торопилась странная мужская фигура, голая по пояс, в джинсах и в кроссовках, широко размахивая руками,—марафонец на дальней дистанции. Брызгалов подъехал, притормозил, открыл дверцу и крикнул:

—Эй! Далеко собрался?

Мужчина, не отвечая и не останавливаясь, сходу прыгнул в кабину. Уселся и стал быстро руками сбрасывать с себя липкий снег, которым был весь закрыт. Иван Викторович только удивлённо покачал головой и включил скорость. Уазик выскочил из Дунькиного Пупа и покатился вниз. В салоне было тепло. Когда Марафонец освободился от снега, наделав под собой лужу, Брызгалов стащил с себя полушубок и бросил ему на колени. Пока тот натягивал одежду на голое тело, водитель достал бутылку водки, открыл зубами, по-шахтерски, крышку и дружески протянул соседу:

—Хлебни!

Парень жадно взял стекляшку. Посмотрел на свет прозрачную жидкость, словно вспоминая, что она из себя представляет, и только тогда приложился губами. Но не стал много пить. Ограничился двумя глотками и вернул обратно бутылку хозяину. Тот вновь закрыл крышкой горлышко, отправил бутылку в бардачок на панели.

Проехали молча ещё минут десять, каждый думая о своём.

Иван Викторович сказал:

—У меня такое ощущение, будто ты выбрался из-под креста и рванул из Сибири в Москву.

Левый глаз Марафонца прищурился, почти закрылся, правый голубоватый широко распахнулся.

—Я Незнайка! Не знаю, как меня зовут. Не знаю, кто я. Не знаю, из какого склепа выбрался. И мне сейчас очень страшно,—простучал зубами парень.

Ивану Викторовичу приходилось видеть по телевизору таких в передаче «Жди меня!». Но тут кто-то не только лишил памяти этого человека, но и решил убить его, оставив голым на снегу за много километров от жилья. Брызгалов посчитал нужным прежде всего ободрить несчастного.

—Сегодня ночью переночуешь у меня на даче,—сказал он.—Завтра отвезу тебя в город и сдам врачам. Говорят, они научились штопать память. Может, тебе повезёт.

Но прежде повезло самому Ивану Викторовичу. Утром Пашка Кривой пробил бульдозером дорогу от деревни до шоссе, чтобы открыть путь хлебовозке. Уазик буксанул только в берёзовой роще, где свежий снег прикрыл лишь десять метров пути. Пришлось обоим выбраться из машины и сильно, до пота, лопатой расчистить колею. Затем под умиротворённый гул мотора оба погрузились в молчание до самой дачи. В это время мысли Брызгалова забрались к орбитам судеб. Как математически точно они выстраиваются! Если бы на полчаса Иван Викторович задержался в городе у какого-нибудь семафора, то наткнулся на мёртвого снеговика за Дунькиным Пупом. Если бы чуть-чуть поторопился, то до самой дачи никого бы не встретил. И парень бы тоже погиб. Он подъехал именно в момент, когда Незнайка только-только вылупился из небытия и не успел даже обморозиться. Судьба заставила пересечься орбиты двух жизней, чтобы одна не дала погаснуть другой.

Иван Викторович, управляя машиной, искоса осторожно изучал неожиданного пассажира. Тот выглядел лет на восемнадцать. Бледное лицо с узкими зелёными глазами, тонкая высокая шея с большим кадыком, который ходил вверх-вниз, как затвор винтовки, грудная клетка, облицованная плоскими, едва заметными мышцами и ручки-плети—тонкие-тонкие. Такого пальцем можно перешибить. Парень, вероятно, учился в школе или в колледже. Что с ним случилось? Как он умудрился попасть в переплёт?

Подъехав к даче, Брызгалов увидел, что она наполовину занесена снегом. Окна торчали из белой пелены, как загадочные глаза восточной красавицы из хиджаба. Пришлось обоим по очереди снова серьёзно размяться деревянной лопатой. Иван Викторович с умением старого навалоотбойщика прорыл глубокую дорожку от калитки до крыльца. После этого Марафонец взял у него лопату и стал перебрасывать охапки снега за оградку. Махал он быстро и неутомимо. Было видно: несмотря на хрупкое телосложение, у него серьёзные силы. «Он старше, чем выглядит»,—подумал Брызгалов, открывая ворота и въезжая в расчищенный двор.

Дом, который не отапливался три месяца, походил на ледник. Пар вился от дыхания, окутывая рот дымком. Пол под ногами скрипел. Когда зашли на кухню, там наткнулись возле печи на ведро с замёрзшей водой. Стекло на окне закрылось наледью. Брызгалов принёс берёзовые поленья из сенец. Каждое окутал газетами, сложил в печи и поджёг. Огонь уверенно ожил, багровыми языками зализывая дерево. Когда он разгорелся и загудел, Иван Викторович увёл гостя в большую комнату, там из шифоньера достал свою старую тёплую рубашку, меховую куртку и валенки Елизаветы Петровны, заставил его обрядиться в новую одежду. Сам остался в эстонском свитере.

—Жрать хочется, как из пушки!—сказал парень, позёвывая и оглядывая себя. У него был вид ребёнка, который знакомится с миром.

—Мне тоже!—ответил Иван Викторович,—питание сейчас организуем. У меня в сенцах погребок, где мы оставляем на зиму картошку, морковь, капусту, свёклу. Я займусь овощами, а ты сходи

в магазин, купи хлеб, колбасу и бутылку водки. Свою я вёз для бульдозериста. Коль мы её распечатали, надо цельную достать. Пашка — личность амбициозная, гордая. Не любит, когда его угощают остатками.

Брызгалов достал из кармана брюк кошелёк, вытащил пятисотрублёвую бумажку, вложил в руку парня и согнул его длинные холодные пальцы.

— Шуруй! Не хочу, чтобы ты умер от голода у меня в доме, — пошутил он.

Когда через полчаса довольный парень вернулся с пузатым пакетом, в кухне было тепло, печь вовсю горела, в большой алюминиевой кастрюле варилась картошка, капуста. Крышка от пара то одним то другим боком приподнималась и дребезжала.

— Ты куда пропал? — спросил Иван Викторович, принимая пакет с продуктами. — Я уж стал беспокоиться. Не забрала ли тебя к себе в гости метель.

— Магазин оказался запертым на амбарный замок, — совершенно серьёзно объяснил тот. — Какая-то ещё тётка подошла, закричала на бессовестную Настьку, которой никогда не бывает на работе. Потом попросила меня подождать и убежала за магазин. Только через полчаса она появилась с продавцом.

Иван Викторович понимающе кивнул.

— У нас такой порядок. Если нет покупателей, Настя у себя в хозяйстве. У неё четверо детей. За всеми пригляд нужен. Поэтому мы сперва ходим к ней домой, а потом в магазин. Надо было тебе сказать об этом. Моё упущение.

— Чепуха! — слабо махнул рукой парень, усаживаясь возле стола и охватывая голову. — Сейчас для меня время остановилось.

Иван Викторович нарезал колбасу, отправил в кастрюлю. Плотно прикрыл крышкой и тоже уселся.

— Пусть потомится. Через пять минут будем есть украинский борщ, — пообещал.

Парень отнял ладони от лица. Слёзы переполняли его красные глаза и стекали через уголки на скулы. Он выглядел неприкаянным, каким-то убогим. Ивану Викторовичу стало жалко его. Он налил в стакан водки — мужское утешение, и подвинул ему:

— Выпей, полегчает!

Гость опрокинул в себя весь стакан и, поморщившись, потянулся к хлебу.

Иван Викторович стал рассказывать:

— В детстве с родителями я жил в доме на окраине города, почти таком, в каком мы сейчас. Нашу улицу, которая почему-то называлась Одесской, заселяли семьи фронтовиков. Я помню, как после войны они, бравые, уверенные, радостные, в новенькой зелёной форме, с кожаными немецкими чемоданами, возвращались домой. Но потом оказывалось, что у каждого из них психика была повреждена. Сосед Степан Денисович прошёл через плен… Фашисты пять раз его выводили на расстрел. Убивали каждого десятого, восьмого и даже третьего. Он оказывался девятым, седьмым, четвёртым. Но пуля всё-таки достала его уже после войны. Он зарядил своё охотничье ружьё и выстрелил себе в рот. Второй фронтовик, что жил напротив нашего дома, Тимофей Петрович, капитан-артиллерист, в стайке повесил жену, добрейшую, безответную женщину, которая верно ждала его всю войну. Третий, бывший комбат, каждую ночь во сне поднимал своих солдат в атаку на какую-то высотку. После этого утрами у него голова крошилась от боли. Он кричал и бил кулаком в стенку. В конце концов переселился в психушку. Память, как сказал умный человек, это топливо, которым заправляется наша жизнь. В твоей ауре много чёрных и красных всполохов.

— Что это значит? — встревоженно закрыл левый глаз парень.

— Вероятно, ты был на войне. На чеченской или даже афганской. Там мог тоже подорвать свою психику. Может, лучше оставить в покое свою старую память и жить с чистого листа?

Парень не ответил. Иван Викторович разлил по тарелкам борщ и достал ложки.

Не успели мужчины опростать полкастрюли, как на кухню ввалился бульдозерист Пашка Кривой, ростом под потолок, краснорожий, в фуфайке, расстёгнутой до просторного пуза, пропахший соляркой, и заорал, как глухим:

— Что за пьянка? Драки нет!

Пашку ухватили под руки, усадили за стол, налили ему в стакан остатки водки. Гость тяжело посмотрел на горючую жидкость, почмокал толстыми губами и засобирался в магазин за новой бутылкой, но ему не дали подняться, заставили не только выпить, но и уплести две тарелки борща, а потом в карман фуфайки затолкали полную литровую «Московскую». Он так обрадовался, что стал хозяина и парня крепко обнимать и целовать. Кое-как мужики оторвали любвеобильного бульдозериста от себя и отправили домой отдыхать. Довольный Пашка, узнав, что завтра Брызгалов уезжает в город, обещал встать пораньше утром и протаранить для уазика дорогу от деревни до шоссе…

Вечером Иван Викторович достал из комода в спальне две простыни, ватное одеяло, подушку, всё это аккуратно стопочкой положил на диван в гостиной и подмигнул парню:

— Обустраивайся!

Тот благодарно закрыл левый глаз, решительно сгрёб бельё, переложил горкой на стул и оттуда уже достал простыни, расстелил на диване, положил подушку в изголовье. Раздевшись до трусов, пошёл на кухню, там под умывальником вымылся с головы до ног, после этого чистым улёгся в постель, накрывшись одеялом до подбородка. Глядя на стоявшего перед ним Ивана Викторовича, сказал упорно:

— Всё-таки мне надо вернуть память.

Иван Викторович пожал плечами и прошёл в спальню, плотно закрыв за собой дверь. Затхлый воздух ещё стоял там. Комнатка не проветривалась, сохраняла запахи прелых листьев и пыли. Было такое ощущение, что где-то рядом держали винный погребок. Брызгалов подошёл к окну и приоткрыл форточку, чтобы запустить свежий воздух в спальню.

После этого он достал из комода постельный комплект. Хозяйственная Елизавета Петровна была просто помешана на чистом белье. Она могла неделями не стирать своё платье и комбинации, не говоря уже о рубашках мужа, но простыни, пододеяльники держала в идеальном состоянии и каждую неделю меняла. Когда осенью супруги с первыми белыми мухами покидали дачу, переезжая в город, в комоде стопками лежало постиранное и выглаженное бельё. Последней из дома выходила Елизавета Петровна и веником выгоняла остатки мусора во двор. Только тогда Иван Викторович закрывал избу на увесистый замок и заводил машину.

Он поддел рукой прохладный комплект, бросил на голый полосатый матрац. Из нижнего ящика достал толстый тёплый китайский плед в жёлтую полоску. Теперь можно было и поспать. Раздевшись до нательного белья, Брызгалов забрался под плед, открыл Библию в твёрдой чёрной обложке с крестом. Много лет на сон грядущий он любил читать Святое Писание. Откроет книгу и всматривается в первые попавшие на глаза строчки. Для него это были наставления на день грядущий.

Водрузив на переносицу толстые роговые очки, Иван Викторович открыл Библию на Послании святого апостола Павла к римлянам. «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» — прочитал он. Ему показалось, что через эти строчки он услышал ломкий от боли внутренний голос парня…

Когда Брызгалов проснулся, была глубокая ночь. В комнате царил ровный полумрак. Сугробы в саду отбрасывали лунный свет в окно. Каждый предмет выглядел отчётливо, как днём. Иван Викторович поднялся, подошёл к окну и поглядел через стекло. Метель прекратилась, воздух стал хрустальным от мороза, и небо ярко разрисовалось звёздами.

Постоял минуту, оглядывая небо, потом выдвинул ящик комода, достал холщовый плотный мешочек. Развязал, достал пакет, завёрнутый в жёлтую хрустящую бумагу, аккуратно развернул, взял деревянную доску с божественным ликом, поставил на комод и рядом зажёг толстую свечку. Встал напротив, перекрестился, долго смотрел на огонь, не моргая, пока не защипало глаза, потом стал читать молитвы и перевёл взгляд на лик. Ему показалось, что нимб зарябил, стал покрываться жёлтыми волосами, которые опустились до плеч. Лоб уменьшился, удлинился, морщинки разгладились, кожа молодо порозовела, тонкая щёточка чёрных бровей крылышками легла от переносицы до виска и затерялась под волосами. Круглые глаза потемнели, стали глубокими, оттуда ужасная бездна другого мира глянула на Брызгалова. Ему стало не по себе. Он отшатнулся и увидел перед собой малыша лет пяти в белой просторной рубашке до колен, из-под которой выглядывали такого же цвета штаны. Ноги отрока были босыми. Он походил на русского крестьянского мальчика с картин Репина. Видение протянуло ему ручонку. Иван Викторович послушно шагнул к нему и увидел синий валик далёкой горы, блестящую полоску воды, зубчатую стенку пихтового леса и поле, покрытое нежной травой. Так было приятно ступать по этому мягкому, шелковистому пространству. Блаженство струилось вверх по его ногам, радостным, сладким чувством подступало к сердцу. Он опустил голову, ему хотелось лечь на траву, раскинуть руки и навсегда раствориться в зелёном шёлке. Но мальчик упорно вёл его к чёрному, как уголь, лесу.

К небу над деревьями вдруг прилипла голубая лагуна. На глазах она съёжилась в ком, похожий на шляпку подберёзовика. Из него на землю застреляли веером ослепительные молнии. Туда, куда они ударяли, вставали могильные кресты. Ивану Викторовичу стало страшно, ему захотелось вернуться в спальню на даче. Но мальчик упорно тянул его вперёд уже по густому лесу, который освещался голубыми всполохами. Ветви и кресты преграждали путь, цеплялись за ноги. Он падал, поднимался и снова шёл. Голубой ослепительный сноп упал перед ним и выжег поляну. Она потемнела, как обуглившая головешка. Мальчик поднял и распростёр руку над безжизненной землёй. Поле сузилось, уменьшилось, превратилось в белый искристый кристалл в руках… Ивана Викторовича. Он вгляделся в полированные гладкие грани и увидел в глубине кристалла клетку, между прутьев которой метался мощный тигр.

— Истребитель драконов! — сказал мальчик. — Если не освободить его, твари пожрут землю.

Иван Викторович тщательно оглядел каждую грань, переворачивая кристалл. От движений тигр падал на спину, на бок, нервно загребая мощными когтистыми лапами. Брызгалову стало жалко бедное заключённое животное. Но он не знал, как ему помочь. В кристалле не было даже трещины. Такой он был цельный и твёрдый. Не зная в растерянности что делать, он обернулся к мальчику. Тот протянул ему золотую нитку:

— В кристалле есть точка. Вставь в неё ключ.

Брызгалов удивился. Разве нитка может быть ключом? И снова стал осматривать кристалл, в котором метался тигр. Видимо, ему уже нечем было дышать, у него начались конвульсии. Тут Иван Викторович увидел ямочку с игольное ушко в ребре и поспешно сунул туда нитку. Тело опалил сильный жар. Ему показалось, что у него в груди разгорелся костёр. Он вздрогнул всем телом, открыл глаза и увидел перед собой парня. Тот в его рубашке, спортивных брюках на босу ногу сидел на табурете возле кровати, уронив голову на грудь, опустив плечи и положив руки на колени.

— Как спалось на новом месте? — спросил Иван Викторович, усаживаясь на кровати. Было уже утро. Мороз густо разрисовал серебристыми папоротниками стёкла окна. Острые листья золотились от солнца.

Парень поднял голову. Его лицо робко улыбнулось, прищурив левый глаз.

— Память вернулась? — догадался Иван Викторович. Тревожный озноб прошёлся по его телу. Он вспомнил, кого освободил из кристалла. Испуганно взглянул на комод. Там иконы и свечки не было. «Может, мне всё это приснилось? — подумал он.

Робкий Истребитель драконов приподнялся, подавая мягкую вялую руку, и представился:

— Алик!

— Брызгалов откинул плед, опустил ноги на холодный пол и, поёжившись, натянул на ступни тёплые шерстяные, вязаные носки. Потом взялся за брюки, рубашку, свитер.

Парень продолжал в это время понуро сидеть, глядя исподлобья затравленными глазами на своего спасителя. Когда тот убрал постель, вздрогнул и сказал:

— Может, вы правы: не каждую память стоит возвращать. Мою точно не стоило,—он поджал тонкие, как проволоки, губы и снова надолго замолчал.

Иван Викторович тронул его за плечо.

— Идём на кухню! Там затопим печь. Что-то холодновато стало.

Парень покорно поднялся и двинулся за Иваном Викторовичем, тяжело вздыхая и покашливая. Он, видимо, вчера успел простыть. Брызгалов заставил его надеть шерстяные носки и старые тёплые валенки. После этого натёр грудь пихтовым маслом. Только потом усадил в кухне за стол, быстренько разогрел печь, вскипятил воду, заварил горячий чай, налил в стакан и протянул парню:

— Согрей нутро!

Алик взял двумя руками стекляшку и стал осторожными глотками согреваться. Когда щёки у него порозовели, он заговорил:

— Меня в детстве прозвали, Складишок по перочинному складному ножичку с лезвием в десять сантиметров. Пацаны на заборе рисовали чёрта, бросали в него складник так, чтобы он остриём попал в волосатую грудь. Лучше всех получалось у меня, мой ножичек вонзался в пятачок. Увлечение в конце концов закончилось трагедией. Рыжий Васька Дергунов, самый бесшабашный пацан в нашей стае, нарисовал мелом круг на заборе и встал под него. Ему хотелось показать себя железным Феликсом.

— Бросай!—крикнул он и погрозил мне кулаком.

Его кулака, конечно, я не испугался. Но бросать решительно отказался. Сперва ребята были тоже против. Два раза оттаскивали Ваську от забора, но он упрямо возвращался и вставал. Тогда накинулись на меня. Стали обклеивать оскорбительными словечками, «Трусок! Слабак! Девчонка!». Я не выдержал, с метров пяти прицелился. В последний момент рука вздрогнула, и нож остриём влетел в дурную голову Рыжего. Что потом было, говорить не хочется. Как малолетку меня приговорили к двум годам колонии для несовершеннолетних. Там судьба дала мне передышку. Я пристроился к кухне, стал помогать повару, пузатому пожилому грузину с мощными волосатыми руками. Шеф жалел меня и давал возможность не только таскать вёдра, мешки с продуктами, чистить картошку, но и читать учебники. Вечерами я учился в средней школе колонии. Майор Тишков, вручая аттестат зрелости под духовой оркестр, сказал мне:

— Чтобы я не видел больше тебя здесь!

После освобождения я пробыл дома всего лишь месяц. Мама отправила меня к своей старшей сестре в Невинномыск. Там стал жить в семье тётки-хохлуши, полноватой, домовитой, крикливой и бесконечно доброй. Она устроила меня в пищевой техникум, ревностно следила, чтобы я хорошо питался, не пропускал занятия. В городе судьба подсунула мне чеченца моего возраста, с которым подружился и благодаря которому я неожиданно для себя оказался на войне. Сразу после окончания техникума Асланчик уговорил меня съездить с ним в гости к его дяде в Грозный. Город поразил руинами. Пятиэтажки с оторванными крышами, чёрными провалами оконных проёмов, горами битого кирпича, разрубленных бетонных блоков у подъездов и острым, невыносимым запахом трупов, экскрементов. В городе можно было свободно дышать только в противогазе. В одном из разбитых домов на окраине я неожиданно для себя оказался после того, как вышел из квартиры дяди Асланчика, чтобы купить хлеб в лавке. Чеченец в белой рубашке с закатанными рукавами встал передо мной и что-то по-птичьи пронзительно и громко заговорил, толкая меня в плечо. Пока я мучительно размышлял, что он хочет, кто-то сзади ухватился за мои локти и сильно толкнул в машину. Очнулся на заднем сидении, крепко зажатый с двух сторон бородатыми мужиками с автоматами, от которых пахло сырым мясом и табаком. За рулём сидел тот в белой рубашке, который остановил меня. Я попробовал возмутиться, но мне надвинули до носа козырёк бейсболки и сверху больно ударили ладонью по голове. Пришлось замолчать и сидеть, сжавшись и воровато оглядываясь по сторонам. Меня привезли в какой-то недостроенный дом на окраине. Завели в пыльный подъезд, по бетонной лестнице поднялись на второй этаж и оказались в большой пустой комнате с двумя застеклёнными окошками и ржавыми батареями. Посреди торчал коричневый стол, окружённый стульями. Чеченцы разложили на нём жареное мясо, лук, красные помидоры и четыре бутылки водки. Я удивился: Асланчик рассказывал мне, что чеченцы-мусульмане спиртное не пьют. Эти бородатые, похожие на кубинских партизан, собирались устроить хорошую пьянку. Двое уселись, воткнули в стол перед собой ножи и взялись за мясо и овощи. Было видно, что они здорово проголодались. Пока поглощали пищу, третий в белой рубашке с закатанными рукавами, ударил меня кулаком под дых. Когда я согнулся от боли, он коленкой в лоб отбросил моё тело к стене. Когда я пришёл в себя, то увидел, что сижу на полу и стираю ладонью кровь с лица. За что же они меня так? Тот, который ударил, сказал на чистейшем русском языке: «Ты разведчик федералов. Рассказывай, кто тебя послал!» Мой мозг закрутился, как колёса отцовского электровоза на полном ходу, и сразу показал телевизионный фильм, который я видел у тётки перед поездкой в Грозный. В нём показывали чеченцев, которые захватили русского парня, назвали его разведчиком, долго пытали, потом безжалостно расстреляли. Меня тогда поразило мужество этого человека. Он достойно отвечал и принял смерть, как говорят, лицом к лицу, не моргая. Я подумал: может, эти же бородатые чеченцы и пытали его. Они объявили

меня тоже разведчиком, и конец будет один. В моменты опасности со мной что-то необъяснимое происходит. Я вдруг теряю всё человеческое, оно из меня, словно вода из дырявого корыта, вытекает. Остаётся пустота, как в железной трубе, в ней звучит гулкий требовательный голос: «Убей!» Я стал валять Ваньку: рвал футболку на груди, рыдал, пытался даже поваляться в ногах чеченцев, выжидая, когда удача обернётся ко мне. Наконец они устали. Один из бородатых мучителей вышел из комнаты на площадку, чтобы пос…ть. Второй опустил голову, выковыривая ножом мозг из кости. Третий, который избивал меня, устало опустил руки и посмотрел в окно, по свету определяя время дня. Я выхватил из кармана брюк плоский складишок, на который они не обратили внимания, метнул остриём в шею своего мучителя поверх воротника белой рубашки и прыгнул к столу. Второй чеченец нервно вскинул лицо, и нож его товарища по самую рукоять вошёл ему в яремную впадинку. Облегчённый третий чеченец, отводя ствол автомата за спину, показался на пороге и лбом встретил свой нож. Пустота продолжала держаться во мне. Я оглядел бесполезные трупы, которые спокойно в разных простых позах возлежали на полу в лучах косого солнца. Где-то далеко будто лопались резиновые шары — там одиночно стреляли. Я почувствовал голод, уселся за стол, доел мясо, овощи, удивляясь своему тупому спокойствию, потом подошёл к чеченцу в белой рубашке, вытащил из горла свой складишок, обтёр лезвие о его чёрные штаны, спрятал в свой задний карман джинсов и вышел из комнаты. У подъезда по-прежнему стояла синяя «девятка». Дверца у сидения водителя была открыта и торчала, как ухо. Я почему-то бесшумно закрыл эту дверцу и двинулся пешком обратным путём. Прошёл километра три, когда наступила внезапная ночь. Чтобы не рисковать, нырнул в подвал какого-то полуразваленного дома, там в полной темноте, спотыкаясь на каждом шагу, добрёл до внешней стены с трубами теплотрассы, уселся, согнул ноги, обнял колени и закрыл глаза. Утром я оглядел подвал, похожий на свалку строительного мусора. Осторожно поднялся и, прячась за кучами битого кирпича и бетона, рванул из подвала. На улице передо мной красовался зелёный дворик, такой яркий, такой уютный, такой мирный. Здесь кружила полная тишина, будто жизнь остановилась. Я замер, всем телом ощущая покой, и через секунду почувствовал лёгкий толчок стволом автомата в бок, испуганно дёрнулся, оглядываясь, и увидел увесистую рязанскую загорелую докрасна ряшку с круглыми голубыми глазками под каской, потом такую же, только побледнее. Она сурово потребовала от меня документы, которые остались в квартире дяди Асланчика. Я развёл руками и сознался:

— Ничего нет, кроме перочинного ножика.

Они покрутили в пальцах мой ножик, признали его безобидным и отдали.

— Пройдёмте с нами! — сурово приказал второй патрульный, увешанный с ног до головы оружием и рожками с патронами.

Взяв в кольцо, они повели меня в комендатуру. Там со мной разговаривал какой-то худой полковник в зелёном кепи с длинным козырьком. Я, сидя на стуле возле стенки кабинетика, рассказал ему откровенно, как попал в Грозный, как меня выкрали возле магазина, как убил похитителей в доме на окраине города. Туда сразу же были посланы солдаты. Они привезли трупы бородачей, небрежно, как мешки, выгрузили из машины и бросили у крыльца комендатуры. При мне майор наклонился к каждому, осматривая несовместимые с жизнью раны чеченцев. Недоумение у него вызвала прорезанная шея у того, кто был в белой рубашке.

— А этого как ты замочил? — спросил он.

Я показал складишок. Майор взял моё оружие, подбросил в руке. В его глазах сквозило неверие. Таким ножичком можно только в зубах ковыряться, вероятно, подумал он. Я швырнул свой перочинный ножичек в деревянную дверь комендатуры. Лезвие пробило доску. Полковник молодо прыгнул на крыльцо, покраснев, вытащил складишок, подал мне и сказал:

— Тебя надо представлять к ордену. Таких матёрых волков завалил!

На следующий день меня тайно на самолёте вывезли в Москву, там снова долго допрашивали, потом, выдав новый паспорт, отправили служить в десантную дивизию. После учебки я вновь оказался в Чечне. Рассказывать об этом не хочется. Война есть война. Они убивали нас, мы убивали их. Когда мой срок службы закончился, я отказался от контракта и вернулся домой с желанием начать новую жизнь, Устроился в кафе поваром. Сперва, конечно, в белом колпаке и фартуке готовил салаты, потом каши, супы, борщи, хотел уже перейти на торты. И тут как будто жизнь вспомнила о моей старой боевой профессии. Однажды зашёл по какому-то делу к хозяину нашего кафе. А там амбал под два метра высотой в чёрном кожане размазывал моего шефа по стенке, хлопая кулаками в грудь, в лицо. Я мгновенно ощутил пустоту в себе, услышал жёсткий голос и перестал принадлежать себе. Когда приехала милиция, следователь осмотрел труп и только спросил: «Как ты умудрился завалить перочинным ножичком такого бычка?» «Такой же вопрос задал мне один майор в Чечне возле трупов трёх бандитов», — ответил я, складывая ножик. Следователь долго смотрел на меня, потом вздохнул, заставил подписать протокол и отпустил на все четыре стороны.

Я ушёл из кофейни, устроился шофёром к директору фабрики. Возил его три месяца. Потом меня бандиты конкурента заманили в подвал, долго били, выпытывая о махинациях хозяина. Что я мог сказать? Я ни разу даже не был в его квартире. Я очнулся, как вы знаете, голым за городом. Они рассчитывали убить меня морозом. Отец, вы человек умный, опытный, многое видели, много знаете, дайте наставление, как выйти из замкнутого круга.

Иван Викторович не мог смотреть в страдающие глаза Алика. Он разогрел и налил в тарелки остатки вчерашнего борща, нарезал колбасу, хлеб.

Всё это подвинул парню:
— Ешь!

Тот послушно взял ложку. Брызгалов тоже присел напротив. Борщ, простоявший ночь на холодном подоконнике, показался ему невкусным, пресным. Он пожалел, что разогрел его. Можно было начистить картошку, сварить кругляками и съесть вместе с колбасой. «Хорошая мысля приходит опосля!»,— подумал Иван Викторович с огорчением и посмотрел на гостя. Тот был далёк от ощущения пищи, механически пережёвывал, тупо разглядывая узоры клеёнки.

Брызгалов сказал:
— Понимание судьбы выше меня. Знаю одно — надо помогать жизни, а не смерти.

Когда они возвращались в город и оказались на Дунькином пупе, Иван Викторович проводил взглядом кресты, увидел даже тот, зелёненький, пирамидкой со звездой и свежим венком из красных искусственных цветов, возле которого вчера бодро вышагивал Алик. Брызгалов обернулся к нему, чтобы спросить: помнит ли парень этот памятник. Слова застряли у него в горле, не успев добраться до губ. Как изменился Алик! Такое выражение в его глазах Иван Викторович видел у Пашки Кривого, когда тот колол поросёнка, напрягая желваки и превратив зрачки в остриё отточенного до блеска ножа. Было ощущение, что он в этот момент всаживал свой безжалостный складишок в чьё-то горло. От страха рука Брызгалова дрогнула. Неужели Алик изготовился убить его? Он понял, что везёт рядом с собой Смерть и, может быть, свою. Машина вильнула вправо и ткнулась носом в сугроб. Водитель поспешно дал задний ход, снова выбираясь на дорогу. Когда съезжал уже с Дунькиного Пупа, осмелился вновь робко искоса взглянуть на Алика. Тот выглядел нормальным парнем, щурился, как обычно, левым глазом, положил даже ногу на ногу. Почувствовал на себе взгляд Брызгалова, простуженно шмыгнул носом и мрачно проговорил:
— Там ещё одного креста не хватает.

Иван Викторович не понял, какого он имел в виду. Может, своего, который ему готовили те, кто избил его до потери памяти и полуголым пустил на мороз. Алик сказал:
— Банкира.
— Что за банкира?
— Есть один такой тип, который давно просится под крест.

Больше Алик ничего не сказал, сидел рядом и смотрел только вперёд, на чёрную ленту дороги. Брызгалов больше ни о чём не стал расспрашивать. Он трезво и холодно понял, что он не должен довезти Алика до города, отпустить, потому что тот несёт с собой Смерть. Бог Ивана Викторовича — это Бог живых, а не мёртвых. А вчера он поддался внушению дьявола и спас Смерть.

На перекрёстке улиц Двужильной и Скорняков вдруг откуда-то сбоку вылетел зелёный юркий «Вольво», развернулся и рванулся навстречу уазику. Рулём крутил, очевидно, в дымину пьяный водитель, потому что обтекаемый нос «иностранки» мотался то в одну, то в другую сторону. И тут управление машиной Брызгалова будто кто-то взял в свои руки. Он резко вывернул влево и точно врезался в блестящий бампер встречной машины. Через секунду последовал страшный удар. Брызгалов очутился под своим УАЗом. Справа увидел ребристое колесо в снежных полосках, чуть приподняв голову, тело, которое мёртво вытянулось под кузовом. Он ни тогда, ни после не мог сообразить, каким образом из кабины перебрался под машину, словно для смены подвязок. Иван Викторович закрыл глаза и оказался в громадной церкви, заполненной голубоватой дымкой, какая бывает летом над рекой, когда туман рассеивается, а влажная плотность ещё остаётся. Он находился где-то наверху и смотрел на мозаичный пол, сложенный из красных и чёрных плиток. По нему двигались люди в монастырских балахонах с капюшоном, какие-то зыбкие, бестелесные, похожие на серые тени. Каждый перед собой держал тонкую горящую церковную свечку. Люди выходили откуда-то из чёрного облака, напоминающего дверь, приближались к божественным ликам, возле них на серебряном подносе ставили свечки, а сами исчезали. Иван Викторович вдруг оказался в толпе среди идущих. Они шли мимо него потоком огоньков, пламя которых не колебалось. Создавалось впечатление, что двигалось пространство, а не огоньки. Вдруг перед ним мужчина откинул на плечи капюшон, и Брызгалов узнал в нём Алика.
— Как ты здесь оказался? — удивлённо спросил он.
— Клиническая смерть от аварии на дороге. Теперь надо поставить свою свечку на подносе. Тогда святой решит, что со мной делать. А где твоя свеча? — Алик смотрел в упор на Ивана Викторовича. Тому стало не по себе от этого прямого, проницательного и тяжёлого взгляда. Он с поспешной тревогой стал оглядывать свои руки. Куда же свеча подевалась? С этим мучительным вопросом Брызгалов очнулся. Вокруг белели стены, потолок, какие-то перевязанные бинтами люди на кроватях. У него тоже забинтованная нога торчала вверх, как поднятая для приветствия рука. Брызгалов понял, что находится в больничной палате для травмированных. Много лет назад после аварии на шахте он три месяца пролежал в такой же палате. Теперь сюда же попал после дорожного, как пишут в газетах, происшествия. Он вспомнил, как лоб в лоб сошёлся с зелёным «Вольво». Тревога забурлила в груди. Наверное, тот, кто был машине, едва ли остался в живых. Алик, судя по сновидению, тоже сейчас в реанимации и решает вопрос жизни и смерти перед Богом. Добрейшему Ивану Викторовичу стало так больно, так горько, что он скривился и заплакал. В этот момент почувствовал на глазах мягкую ткань, которая закрыла ему окончательно белый свет. Чей-то платок бережно, как ребёнку, вытер ему слёзы, и он увидел свою супругу Елизавету Петровну, которая сидела на табурете рядом с его железной кроватью. Господи, как она изменилась! Лицо осунулось и пожелтело. Под глазами вздулись красные мешочки и обвисли, словно старые женские груди. Волосы были прямые и пегие. Видно, что она

давно не подкрашивалась. Это было так не похоже на его супругу.

В молодости она отличалась красотой. Необыкновенно привлекательной привыкла себя считать и в старости, поэтому, не щадя времени, средств, ожесточённо боролась с безжалостным временем. Теперь запал у неё кончился, и она опустила поводья. Иван Викторовичу стало так жалко жену, что он забыл на мгновение о происшествии, о своём состоянии.

— Лиза, что с тобой? Ты пришла ко мне и даже бигуди не накрутила,— тихо, чтобы другие не услышали, спросил он. Жена пунцово зарделась, засуетилась, стала поспешно дрожащими руками прятать в сумочке платочек. Потом настроение у неё переменилось, туча отошла от солнца. Нечто вроде улыбки появилось на худом лице. Морщинки веером лучиков прорезали розовую кожу от глаз к вискам.

— Слава богу, ожил!— обрадовалась она.— Думала, не придёшь в себя. Мы с Аликом каждый день ходим в церковь и ставим свечки за твоё здравие.

— Алик жив?— удивился Брызгалов. Чуть приподнялся и тут же упал на подушку, потому что боль ударила сильно в голову.

Елизавета Петровна сразу же забеспокоилась, поднялась с табурета и стала поправлять подушку.

— Что с ним сделается,— говорила она.— Работает в ресторане официантом. Туда хворых не берут. Тебя называет отцом. Говорит, что ты отвёл от него большой грех. Задавил какого-то криминального авторитета по кличке Банкир, который сам попёр под твою тачку.

Чувствовалось, что жена набралась от Алика всяких современных словечек и сыпала ими, как семечками. Когда Брызгалов пришёл в себя, то спросил Елизавету Петровну:

— Сколько же я лежу здесь?

— Второй месяц и всё без памяти!— жена вновь достала платочек из сумочки и приложила к глазам.

Иван Викторович поднял руку и потрогал голову. Пальцы наткнулись на сплошные шероховатые бинты. Он понял, что переломал не только ногу…

ДиН антология

София Парнок

Седая Ева

Я не знаю моих предков,— кто они?
Где прошли, из пустыни выйдя?
Только сердце бьётся взволнованней,
Чуть беседа зайдёт о Мадриде.

К этим далям овсяным и клеверным,
Прадед мой, из каких пришёл ты?
Всех цветов глазам моим северным
Опьянительней чёрный и жёлтый.

Правнук мой, с нашей кровью старою,
Покраснеешь ли, бледноликий,
Как завидишь певца с гитарою
Или женщину с красной гвоздикой?

В этот вечер нам было лет по сто.
Темно и не видно, что плачу.
Нас везли по Кузнецкому мосту,
И чмокал извозчик на клячу.

Было всё так убийственно просто:
Истерика автомобилей;
Вдоль домов непомерного роста
На вывесках глупость фамилий;

В вашем сердце пустынность погоста;
Рука на моей, но чужая,
И извозчик, кричащий на остов,
Уныло кнутом угрожая.

Дай руку, и пойдём в наш грешный рай!..
Наперекор небесным промфинпланам,
Для нас среди зимы вернулся май
И зацвела зелёная поляна,

Где яблоня над нами вся в цвету
Душистые клонила опахала,
И где земля, как ты, благоухала,
И бабочки любились налету…

Мы на год старше, но не всё ль равно,—
Старее на год старое вино,
Ещё вкусней познаний зрелых яства…
Любовь моя! Седая Ева! Здравствуй!

Не хочу тебя сегодня.
Пусть язык твой будет нем.
Память, суетная сводня,
Не своди меня ни с кем.

Не мани по тёмным тропкам,
По оставленным местам
К этим дерзким, этим робким
Зацелованным устам.

С вдохновеньем святотатцев
Сердце взрыла я до дна.
Из моих любовных святцев
Вырываю имена.

Дмитрий Бирюков

Город вечной свадьбы

Пейзажи меняются с удивительной быстротой. Это как кинематограф, я видел такой на ярмарке в Тисмане, а в Букурешти их уже немало. Стоишь на месте, а перед тобой пляшут картинки, одна за другой. Это совсем не так, как в жизни,—ты идёшь, а горы и дома не двигаются.

Я ни от кого не бегу и ни к чему не стремлюсь. Я просто иду. Я не чувствую под собой ног, но это и не нужно. Дорога сама летит подо мной. Всё просто меняется перед глазами, сначала надвигается на меня с огромной скоростью, а потом проносится мимо. Я словно лечу над этими дорожными камешками, мимо кустов и гор. Мне кажется, что я парю между двумя зеркалами: сверху плывут облака, а снизу—дорожная пыль.

Я совсем не устал, хотя двое суток не делал даже короткого привала. Наоборот, я готов двигаться всё быстрее и быстрее.

Там за поворотом что-то есть. Я слышу звуки. Пение и смех. Мне стоит обогнуть этот выступ, и я попаду в деревню. Там и отдохну, правда, мне это не нужно, я могу идти ещё неделю.

Изгиб дороги…

— Стой, кто идёт?

Стою. Маленькая сторожка, совсем новая, свежевыкрашенная. Полосатый шлагбаум—здесь начинается деревня. Нет, это даже не деревня, это город. Вон ратуша с часами на башенке, церквушка, школа. Небольшой уютный городок, милый и славный.

— Стой, говорю, кто идёт?—стражник, сидящий на ступеньке, поднялся и, пошатываясь, подошёл ко мне.—Назовись, путник!

— Нику, моё имя Нику, я иду из Тисманы.

— А с чем ты к нам пожаловал? Не замышляешь ли чего? У нас тут и без чужаков хорошо! Вдруг ты смутьян какой-нибудь или беглый!—он попытался насупиться, но ничего из этого не вышло. Лицо стражника расплылось в добродушной и приветливой улыбке.

Густые усы, волосы с проседью, фуражка набекрень, румяные щёки. Лет пятьдесят на вид. Весёлый, подвыпивший, глаза сверкают.

— Нет же, я не со злом к вам пришёл, я путник, сегодня здесь, завтра там. Играю на ярмарках, свадьбах. Пантомима, акробатические аттракционы…

— Эй, где ты? Тьфу ты, чёрт! Надо же было так напиться, опять показалось.

Он повернулся ко мне спиной и окликнул своего напарника:

— Михай!

Второй стражник сидел на завалинке сторожки, уткнувшись головой в колени. Он был постарше первого, невысок ростом, с седой бородой, красными, уставшими то ли от бессонной ночи на посту, то ли от чрезмерного количества выпитого за эту ночь вина глазами.

— Слышишь, Михай, надо заканчивать с такими делами,—первый стражник подошёл ко второму и присел рядом на корточки,—мне вот снова всякое марево чудится. Вот и доктор Вульпой говорит, что от этих попоек мне долго не протянуть, а ведь он не глуп, совсем не глуп, даже напротив. Вот когда господину Курбе случилось с крыльца упасть, кто ему кости на место вправил? Всё наш доктор.

— И зря вправил, на то и Курба, чтобы кривым ходить[1], и ты его не слушай, пока ничего не случилось, а лучше достань-ка из-под лавки кувшинчик с ракией. Давай-ка ещё выпьем, денёк сегодня предстоит знаменательный. Ты ведь помнишь, что сын господина Доринеску, гимназического наставника, сосватал давеча дочку судьи Соаре и пополудни поведёт её под венец. А потому пей и не гляди на доктора. Сегодня кто не весел, тот обидит молодых. Доктор—он зачем нужен? Только если случится чего. Вот допьёшься до больной головы или свалишься по пьяни в канаву, тогда и зови доктора, а пока не свалился, так и не вспоминай о нём. Давай, за счастье молодожёнов и побольше им деток, да чтобы и те не болели.

Он разлил ракию по чаркам, стражники пыхнули, залпом выпили и разом откинулись на спину.

— А дочка у господина Соаре и впрямь хороша!—нараспев произнёс первый стражник, глядя на облака,—а насчёт доктора ты всё же не прав. Он всегда дело говорит. Но сегодня и вправду выпить можно, святое дело! Не каждый день такая радость всему городу.

— Да, это ж надо такое подумать, ещё как будто вчера пешком под стол ходили, а теперь жених и невеста да как специально созданы друг для друга. Давай ещё по одной!

Я тем временем стою на месте, пытаясь соблюсти то, что я ведал о нормах приличия и полицейских законах. Не могу же я проявить неуважение к двум пожилым людям и просто так пройти мимо, да и устав им велит потребовать документ у путника, входящего в город. Места здесь неспокойные, разбойники частенько тревожат пастухов, то и дело нападая на стада и угоняя скот.

Стражники словно не замечают меня. Ах да, тот первый, который помоложе, счёл меня за видение. Ладно, пойду дальше, если они предпочитают веселье службе, то это их грех, а не мой. Меня точно тянет магнитом к этому городу. Он и правда такой

1. Curb—румынск.—кривой, ломаный, гнутый.

ухоженный, такой уютный. Я так давно не обедал по-человечески, поищу трактир. Вперёд!

Илие Доринеску был не из робкого десятка. Несмотря на то, что его папаша служил наставником городской гимназии, Илие всегда был заводилой всяких школьных безобразий. Битые стёкла, битые физиономии однокашников даже упоминать не стоит. Случаи, когда в знак примирения с теми же однокашниками Илие организовывал налёт на чей-нибудь курятник (нередко целью становился и курятник судьи Соаре, его будущего тестя), дабы зажарить курочку в потайном гроте в горах и отметить начало нового мирного этапа в отношениях городской шпаны, не поддаются исчислению.

Нередко Илие с друзьями перелезал ограду своей мужской гимназии и направлялся во главе ватаги мужающих юнцов в соседний квартал, где находилась гимназия женская. Приближаться вплотную было весьма опасно — могла заметить наставница Джорджеску, тогда бы она не преминула позвать полицейского. Порою они попадались ей на глаза, и тут оставалась одна надежда на быстрые ноги.

Но церберша не обладала всевидящим оком, и частенько парням удавалось выследить плавно выпархивающую из школьных ворот цыпочку, с тем чтобы оглушительным свистом обратить на себя её внимание. Одной из таких красоток была юная Феличия Соаре.

Феличия была примерной ученицей. Это отнюдь не означало того, что ей была интересна учёба, что она пыталась вникнуть в суть преподаваемых в гимназии наук, но она могла прилежно и тщательно переписать в чистовую тетрадь сделанное обожавшим её отцом домашнее задание и певучим голосом ответить вызубренный урок.

Ей было известно, за каким именно углом будут ждать орлята под предводительством Илие. Дом Феличии находился в другой стороне, но она предпочитала сделать крюк и услышать этот свист, казавшийся ей глубже и проникновеннее самых нежных слов любви из прочитанных романов.

День за днём, год за годом, дети стали совсем взрослыми. Илие хоть и не отличался высокими оценками, но всё же был совсем не глуп. По протекции отца ему удалось быть зачисленным в университет Букурешти, где он по-прежнему оставался вожаком школяров. Но тут дело не ограничивалось потасовками на пьянках и беготнёй по барышням. Илие проявил себя как истинный смутьян и вольнодумец и вскоре попал на учёт к политической полиции. Доринеску-старший был этим очень опечален и, используя свои связи в Букурешти, добился исключения сына из университета от греха подальше, пока тот не успел совершить что-то серьёзное и загреметь на каторгу.

Илие вернулся в родные пенаты под отцовское крылышко. Хоть он и был недоучкой, но для провинции и такого образования было достаточно. Повзрослевший сорванец был устроен преподавателем арифметики в свою родную гимназию. Одновременно «учёный из столиц», побывавший в самом Букурешти, стал считаться завидным женихом.

Феличия тем временем расцветала, становясь всё краше и краше. Судья Соаре души не чаял в своей дочке и был очень придирчив к подбору будущего зятя. Таким образом, целых четыре кавалера не выдержали конкурса на руку первой красавицы города.

К Илие господин Соаре сперва тоже отнёсся настороженно: он прекрасно помнил каждую украденную курицу и достоверно знал о похождениях молодого бунтаря в Букурешти. Желая своему драгоценному чаду тихой, размеренной семейной жизни, он твёрдо решил дать этому сорвиголове от ворот поворот.

Но Илие не привык проигрывать. Показная респектабельность должна была убедить потенциального тестя в том, что лучшего выбора нет, а неподдельная настойчивость была призвана рассеять последние сомнения и сломить оставшиеся рубежи обороны.

Свадьба была назначена на сегодня.

День первый

Приготовления к свадьбе начались ещё на рассвете. Ко двору дома Доринеску стягивались друзья Илие, родственники и ближайшие соседи.

Подхожу к дому, наблюдаю предпраздничную суету. Две молодые девицы, сёстры Илие Анна и Джорджина, то и дело взрываясь весёлым смехом, достали из сундука разноцветные платки и полотенца. Теперь их нужно привязать к длинному шесту. Это знамя жениха.

— Эй, Джорджина, не жадничай, оставь нам десяток, — это кричит тётушка жениха Зое. У неё дело не менее важное — украсить свадебный экипаж.

— Ничего, тётя Зое, здесь на всех хватит, возьми, пожалуйста!

Я совсем забыл о том, что мечтал перекусить сразу же, как приду в город. Приятно, чёрт возьми, смотреть на них.

Вот оно, простое человеческое счастье, в деталях. Оно такое же разноцветное, как эти платки — красное, белое, жёлтое. И ещё оно такое же звонкое, как смех Анны, и такое же лёгкое, как развевающиеся на ветру волосы Джорджины.

— Где же Василе, он же опять, не дай бог, проспал. Всех, как всегда, задерживает! — негодует тётя Зое.

Василе — городской кузнец, на него возложена обязанность обеспечить исправность свадебного экипажа.

— Посторонись! — а вот и он, сидя на облучке открытого фаэтона, запряжённого тройкой пепельных в яблоках лошадей, въезжает в открытые ворота. — Целую ручки, тётя Зое, всё по вашему заказу, кобылицы с вечера подкованы, коляска подкрашена, смазана, всё как в столицах.

— Да где ж тебя черти носили? Заждались уже! — картинно проворчала сквозь улыбку тётя Зое, главная распорядительница торжества. — Эй, девки, тащите сюда ленты-бубенцы, да платки-бахрому!

Анна и Джорджина приставили к стене готовое знамя и бегом кинулись к экипажу. Спешно, но тщательно они вплетают ленты и тесьму в конскую

гриву, цепляют бубенцы и колокольчики на сбрую, обвязывают цветными платками дугу и оглобли.

А вот и господин Теодор Доринеску появляется в дверях. Отец жениха в новеньком, расшитом маками жилете, позолоченном пенсне и начищенных до блеска лакированных штиблетах, купленных, между прочим, в самом Букурешти.

— Маэстро, марш! — командует будущий свёкор.

Во двор строем входят музыканты. Воздух наполняется звуками барабанного боя, кукарекания трубы, скрипичного плача и журчания аккордеона.

Регина Доринеску, мама Илие, расстилает перед крыльцом циновку, сплетённую из кукурузных листьев, и ставит на неё стул, на который садится жених.

Свежевыглаженные брюки заправлены в яловые сапоги, разрисованные замысловатым орнаментом, поверх красной рубахи тёмно-синий жилет с золотыми пуговицами. Ещё одна тётка Илие, Делия, выносит из дома тазик с горячей водой. Под звуки марша Адриан, друг жениха (один из участников прежних школьных безобразий, а ныне подмастерье плотника), намыливает ему щёки и начинает осторожно брить.

— Эй, лови, тётя Зое! — собравшиеся родственники высоко подбрасывают зёрна пшеницы, которые тётя Зое пытается поймать в свой передник. — Сколько поймала, тётя?

— Семь, мои дорогие!

— Вот это да! Семерых детишек нарожают Илие с Феличией!

Тем временем марш сам собой перетекает в плясовую. Танцующая толпа окружает экипаж, куда взбирается жених, и с песнями следует к распахнутым воротам.

— А теперь к дому невесты! — восклицает Адриан, предводитель дружек.

Процессия не спеша выдвигается на главную улицу. На каждом шагу к ней присоединяются горожане, сам экипаж сопровождает свита из местной детворы. Вот и дом Соаре. Илие слезает с коляски, вместе с дружками подходит к ограде и три раза стучит в накрепко запертую калитку.

— Кто это к нам пожаловал? — над забором появляется голова двоюродного брата Феличии Григоре.

— Голубок припорхал к своей голубке, отворяй ворота!

— А ты сперва докажи, что ты голубок, а не ворон чёрный да не коршун. Собьёшь картуну — голубка твоя, а коли не выйдет, так проваливай подобру-поздорову да облетай стороной нашу голубятню.

Дымящаяся картуна — глиняный горшок на шесте с зажжённой соломой внутри — появляется над оградой. Нужно ли Илие прыгать дважды? Не успевает Григоре и глазом моргнуть, как сосуд оказывается вдребезги разбитым о землю. Вновь звучит торжественный марш, ворота отворяются под ликующие возгласы процессии.

У крыльца уже развевается знамя жениха, заранее доставленное Анной, а теперь гордо поднятое младшей сестрой Феличии Аугустой. Звуки музыки, возгласы и говор моментально затихают, из дверей в белой фате выходит сама невеста. Выходит чинно, не спеша. Феличия кланяется жениху, его родителям и родственникам. Илие берёт её за руку и помогает взобраться в коляску.

Опять занялась плясовая, но господин Доринеску делает знак музыкантам и они мгновенно переходят на маршевые ритмы. Процессия движется к центральной площади, где расположились церковь и ратуша. Башенные часы бьют полдень, церковные колокола как будто подхватывают звонарную симфонию.

Фаэтон молодожёнов остановился у церковного крыльца. Илие и Феличия входят в храм. Там их уже ждёт посажённый отец, господин Ремус Маринеску, помощник городского головы, знатный ростовщик и владелец самой большой торговой лавки в городе, попечитель обеих гимназий да к тому же ещё и тесть начальника городской полиции.

— Целую ручки, господин Маринеску, — хором говорят молодожёны.

— Здравствуйте, дети мои! — отвечает городской богатей и берёт Феличию под руку. Начинается литургия. Батюшка Ион читает молитву, хор поёт «Многую лету».

В храме было многолюдно и душно, я не стал мучить себя и решил выйти на площадь подышать воздухом. У церковного крыльца сидел странного вида старик. Он не был похож на нищего, но я всё же подошёл и предложил ему лей.

— Спасибо, добрый человек, но это, право, лишнее. Оставь монету себе, чужестранец, тебе она больше пригодится. Меня и здесь сегодня неплохо накормят, а тебе придётся дальше идти.

— Простите, ради бога, если я чем-то обидел вас, но, может быть, вам этот лей пригодится завтра?

— Завтра? Не все ли дни одинаковы?

Богослужение подходило к концу, и я вернулся в храм. Отец Ион начинал заключительную часть ритуала.

— Илие Доринеску, согласен ли ты взять в жёны Феличию Соаре и перед лицом Господа обещаешь ли ты любить её в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас?

— Да, батюшка.

— Феличия Соаре, согласна ли ты взять в мужья Илие Доринеску и перед лицом Господа обещаешь ли ты любить его в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас?

— Да, батюшка.

— А теперь скрепите брачный союз обручальными кольцами.

Вновь зазвонили колокола, гости повалили из храма на улицу.

— К дому Доринеску! К дому молодожёнов! — процессия двинулась в обратный путь. Всё та же перекличка маршей и плясовых, те же возгласы, здравицы и песни. Но теперь в глазах присутствующих появилась новая страсть. Все знают, что во дворе дома Доринеску уже накрыты столы и ждут угощения.

На угощения и правда не поскупились. Ещё с раннего утра были заготовлены аж четыре туши баранов, множество корзин с фруктами, виноградом, маслинами. В подвале ждали своего часа бочки с виноградным и яблочным вином и бутыли

с ракией. Подходим к дому. Украшенные цветами и разноцветными лоскутами ворота приветливо распахнуты.
— Добро пожаловать домой, дорогие молодожёны! Добро пожаловать к столу, дорогие гости! — восклицает тётя Зое.

Дом не вместит всех пришедших — весь город собрался на свадьбе, поэтому угощения выставлены прямо во дворе и даже на улице.

Я совершенно позабыл о чувстве голода, утонув в красках и звуках общего веселья. Теперь же и у меня потекли слюнки: у праздника есть не только цвета и музыка, но также и вкус, и аромат.

И вот наконец вся процессия рассаживается у столов. Я скромно стою в сторонке: не знаю, будут ли они рады видеть чужака на своём торжестве.

Слово берёт господин Доринеску:
— Дети мои, вот наконец и свершилось то, о чём давно мечтали вы, о чём мечтали мы с моей женой Региной, о чём мечтали наши новые дорогие родственники, достопочтенные Эмиль и Габриэла Соаре. Перед лицом Господа нашего Иисуса Христа, в присутствии всего города вы сочетались узами священного брака. Я прошу всех собравшихся наполнить бокалы добрым вином и выпить за долгую и счастливую жизнь наших детей и будущих внуков.

Гости выпивают. Теперь очередь господина Соаре произнести тост:
— Достопочтенные Доринеску, милая наша дочь Феличия и ненаглядный наш сынок Илие, я не могу добавить ничего к пожеланиям господина Доринеску, хочу только объявить, что мы отдаём свою красавицу в вашу семью не с пустыми руками, пусть внесут приданое!

Под звуки марша родственники Феличии вносят большой сундук, несколько тюков и шкатулок. Между тем гости не забывают подливать себе вина или ракии и обильно их закусывать.

Я почувствовал, что кто-то стоит за моим плечом. Оборачиваюсь.
— А ты почему не идёшь к столу? — спрашивает меня старик, которого я сегодня видел у церкви.
— Я чужой здесь…
— Вот потому и иди, они не заметят твоего присутствия.
— Как это?
— Пойди проверь, никто и бровью не поведёт, будь ты хоть вплотную к нему.
— Но почему?
— Потому что ты чужой, как и я, меня они тоже не замечают. Пойдём вместе.

Подходим к общему веселью, берём по стакану, наливаем вина.
— Вино просто прелесть, — говорю я, — а барашек — пальчики оближешь!
— Да, и так каждый раз…
— А что, часто бывают праздники?
— Ежедневно…
— Вот это да! А почему они не замечают вас?
— Попробуй сам обратиться к кому-нибудь.

Рядом со мной сидит седовласый мужичок, городской почтальон, как это я выяснил из застольных разговоров.
— Давайте выпьем, господин, за здоровье молодожёнов и их будущих детишек.

Почтальон даже не посмотрел в мою сторону, продолжая обгладывать ножку индейки. Я повернулся и решил заговорить с самой тётей Зое.
— Тётя Зое, праздник выдался на славу, спасибо вам за щедрое угощение и дай бог здоровья молодым!
— Эй, Анна, принеси-ка из сарая ещё кувшинчик ракии! — крикнула распорядительница. Она кричала прямо мне в лицо, я был в шаге от неё, но при этом смотрела вдаль, на амбар, находящийся за моей спиной.

Похоже, что установление контакта, — это действительно безнадёжная затея. Возвращаюсь к старику.
— Теперь видишь? Что я тебе говорил?
— Но объясните, почему так происходит?
— Потом объясню, если сам раньше не поймёшь. А пока ешь, пей, веселись. Переночуешь у меня, но лучше иди своей дорогой, прочь из этого города, как только свечереет. Ты здесь чужой, тебе здесь делать нечего.
— Что же здесь делаете вы?
— Я родился тут, здесь мне и умирать. Хотя я уже давно умер, спроси любого. Ах да, ты же не сможешь никого ни о чём спросить…
— А где ваш дом?
— На окраине. Они считают его заброшенным, а окна в нём заколоченными, но если ты останешься, то сможешь убедиться, что это не так. Каждое утро я распахиваю ставни, и лучи солнца проникают в горницу. Моё имя Думитру, наверное, я был не прав, когда сказал тебе, что уже умер. Пожалуй, я единственная живая душа в этом городе…

Я вновь оказался у стола. После нескольких дней пути, сухих корок из сумы да родниковой воды из фляги невозможно было удержаться при таком обилии столь изысканных яств и вина. Старик тоже время от времени брал на нож куски мяса и фрукты. Я опять подошёл к нему.
— Почему же я должен идти отсюда? Здесь так мило, да если всё это ежедневно… Пожалуй, останусь.
— Ты уже изрядно пьян, путник, остановись с вином.

Я и правда выпил немало, но остановиться никак не мог. В очередной раз обращаюсь к старику.
— Я определённо останусь здесь на несколько дней, — пролепетал я заплетающимся языком.
— Не торопись с такими утверждениями, несколько дней затянутся очень надолго. И ещё раз рекомендую тебе быть поосторожнее с выпивкой.
— Да разве ж я пьян? — лепетание само собой сменилось на разгорячённую браваду. — Это разве много вина? Да я, бывало, и больше пил! Вот в Тисмане на последней ярмарке я выпил две, нет почти три фляги вина.
— Не хвастай раньше времени.
— А я и не хвастаю, я на каждой ярмарке устраиваю такие представления, что никому не жалко для меня монеты. А раз деньги есть, то можно и повеселиться. Но сегодня я устрою представление бесплатно, свадьба всё-таки…

Я забрался на стол и сделал стойку на руках, потом стал переступать ладонями через тарелки, попутно ухватывая зубами ягоды винограда и маслины. Но никто не обращал на меня внимания, все продолжали есть, пить, вести разговоры и петь свадебные песни.

— А вот ещё один номер! Ему аплодировала Тисмана, аплодировал Букурешти, а слава дошла до самого Парижа!

Я ловко перескочил с ладоней на ступни и стал изображать пантомиму, упираясь ладонями в воображаемую стену. Вновь полное равнодушие публики.

— Что же, неужели вам совсем неинтересно?! Смотрите, что я ещё умею…

Утро второго дня

— Эй, вставай! Утро на дворе,— старик склонился над моей гудящей головой, пытаясь при этом растормошить лежащее неподвижным поленом тело.

— Где я?— пытаюсь открыть глаза.

— Ничего нового на этом свете, все, кто с вечера перебрал, задают один и тот же вопрос. Ты сам-то помнишь, как здесь очутился, меня узнаёшь?

— А… ну, да… вы Думитру, мы ещё разговаривали вчера.

— Ну, слава богу, пришёл в чувство…

— А вот как я очутился здесь, не помню, то есть я помню, как пил, ходил на руках, как все плясали вокруг, как вы появились, а потом…

— Ну ладно, это сейчас неважно. На вот, попей воды, а я тебе чудное зелье приготовлю, всё как рукой снимет.

Пью воду, исчезает сухость во рту, но тошнота и головная боль усиливаются. В комнате опять появился старик.

— Вот попробуй, это должно помочь.

Зелье оказалось довольно мягким на вкус и довольно сильным на результат, сразу же выйдя наружу.

— Что это?

— Яичный желток в белом вине. Пришёл в себя? Прибери тут за собой, а я на стол соберу.

Ещё всё же нетвёрдым шагом я вышел из своей комнатушки в горницу.

— Весело тут у вас! Простите за возможную неучтивость, но у постороннего путника может возникнуть впечатление, что он попал в город пьяниц. Вчера словно реки винные сливались с реками ракии. Да и на дороге встретили меня два стражника навеселе. У вас правда так много пьют?

— Нет, всё совсем не так. Хотя ты, наверное, прав отчасти. Пьют много, но нечасто. То, что тебе довелось увидеть, бывает далеко не каждый день.

— Но вы говорили, что праздники происходят ежедневно…

— Это тоже верно.

— А те двое стражников так накачались, что даже посчитали меня видением в пьяном бреду.

— Ты и есть видение в пьяном бреду. Не задавай лишних вопросов, выходи на улицу и сам всё поймёшь.

— После вчерашнего наверняка весь город головой мучается.

— Скоро ты разубедишься в этом, ступай!

День первый

Выйдя на улицу из дома Думитру, я услышал радостные возгласы и звуки торжественного марша. Я добрался с окраины до главной улицы, небольшие размеры города позволяли сделать это чрезвычайно быстро. Радостная, празднично одетая толпа следует за украшенным разноцветными лентами экипажем, в котором гордо восседает Илие Доринеску, собирающийся вступить в брак с Феличией Соаре. Ватага ребятишек вприпрыжку бежит рядом с коляской. Я присоединяюсь к процессии.

Вот и дом судьи. Ворота глухо заперты. Илие вылезает из фаэтона и подходит к ограде. Три удара в створ калитки, над оградой появляется Григоре Соаре.

— Кто это к нам пожаловал?

— Голубок припорхал к своей голубке, отворяй ворота!

— А ты сперва докажи, что ты голубок, а не ворон чёрный да не коршун. Собьёшь картуну— голубка твоя, а коли не выйдет, так проваливай подобру-поздорову да облетай стороной нашу голубятню.

Илие ловко подпрыгивает и одним махом сбивает картуну с шеста, черепки и горящая солома оказываются на земле. Григоре отодвигает засов и распахивает ворота. Аугуста размахивает знаменем жениха, из дома плавной походкой ступает Феличия в кружевной фате, кланяется жениху, его родителям и родственникам. Вместе с Илие она забирается в коляску, господин Доринеску делает знак музыкантам, дабы те сменили плясовые ритмы на маршевые. Процессия направляется в церковь.

— Целую ручки, господин Маринеску!

— Здравствуйте, дети мои!

Толпа заходит в храм. Я оглядываюсь: старик Думитру вновь оказывается на крыльце.

— Ну что, начинаешь понимать, в чём здесь дело?— спрашивает меня он.

— Всё как и вчера…

— Да, всё так же.

— Но я не возьму в толк, зачем они опять играют свадьбу?

— А тебе понравился праздник?

— Да, было очень весело, красиво.

— Неужели ты не хочешь повеселиться снова?

В полном недоумении я вхожу в церковь.

— Илие Доринеску, согласен ли ты взять в жёны Феличию Соаре и перед лицом Господа обещаешь ли ты любить её в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас?

— Да, батюшка.

— Феличия Соаре, согласна ли ты взять в мужья Илие Доринеску и перед лицом Господа обещаешь ли ты любить его в радости и в горести, пока смерть не разлучит вас?

— Да, батюшка.

— А теперь скрепите брачный союз обручальными кольцами.

Мне становится немного страшно, в смятении я выбегаю на улицу. Ищу взглядом Думитру, но след его простыл.

Удар в спину. Меня сбивают с ног, радостная толпа вываливает из церкви на площадь. Да, они действительно не замечают меня. Я с трудом поднимаюсь, уворачиваясь от сапог слепо прущих вперёд гостей свадьбы. Мне удаётся отползти в сторону. Пришедши в себя, я решил опять проследовать к дому Доринеску.

Столы ломятся от угощений. Я подхожу к ним, уже не стесняясь, беру бокал, пью, закусываю.
— Что, вкусно?
— Угу…—хмыкаю я, пережёвывая кусок телятины.

Стоп! Кто это? Оборачиваюсь: за спиной стоит Думитру.
— Веселишься?
— А почему бы и нет? Чем я хуже других?
— В том-то и дело, что не хуже, но и не лучше. Я же советовал тебе уходить отсюда как можно скорее…
— Просто давно мне не перепадали столь лакомые кусочки. Завтра уйду.
— Пойдём-ка отсюда, похоже, что ты ещё ничего не понял.

Вечер второго дня

Я и действительно ничего не понимал. То есть я понимал, что сегодня я видел то же, что и вчера. Каждый был на том же месте, говорил те же слова. Я боялся показаться глупцом в глазах старика Думитру, произнеся какую-нибудь дурацкую фразу типа «что-то тут неладно» или выдвигая немыслимые версии происходящего. Заколдованный город? Скажи я об этом вслух, старик поднял бы меня на смех—наслушался, мол, сказок. Но что ещё подумать? Я решил молчать, притвориться, что у меня нет никаких догадок, пусть расскажет сам.
— Сегодня был хороший день,—начал своё повествование Думитру,—и погода удалась, и праздник у людей.

Я постарался изобразить из себя наивного младенца, которому нужно объяснять всё до мелочей. Уж очень хотелось узнать всё из первых рук, не коверкая историю своими домыслами.
— Неплохо бы всё это повторить, не правда ли?—продолжил он.—Дни бывают разные, когда заболеет кто, когда помрёт, когда пожар случится. Таких дней следует остерегаться…

Я наконец решил вмешаться, мне показалось, что теперь-то всё вполне ясно.
— Они решили остановить время?
— Не говори таких глупостей! Ты был на главной площади?
— Ну да, был.
— Что ты там видел?
— Ничего особенного, церковь, ратуша… Всё как и в других городах.
— Утром посмотри повнимательнее, а сейчас пора спать.

Утро третьего дня

На этот раз я проснулся довольно рано. Сегодня у меня есть цель. Сегодня я должен всё окончательно понять. Я быстро оделся и бегом побежал на главную площадь.

На площади пусто. Город ещё только просыпается. Вот батюшка Ион выметает сор с церковного крыльца, изредка появляются одинокие прохожие. Что же особенного на этой площади, о чём говорил Думитру?

Слышу цокот копыт о мостовую. Да, я узнаю эту повозку, кузнец Василе направляет тройку пепельных в яблоках кобылиц к дому Доринеску.
— Заметил что-нибудь?—это знакомый голос старика.
— Господин Думитру, не томите, растолкуйте что и как.
— Посмотри на часы на ратуше. Ты говорил, что они остановили время, но стрелки продолжают двигаться.
— Значит, время продолжает идти…
— Скорее вертеться, как белка в колесе. Они не стали останавливать время, хотя и это возможно сделать, они просто заперли его. Стрелки вращаются по кругу, можно ли по ним определить какой сегодня день: сегодняшний, вчерашний или завтрашний?
— Как же его остановить совсем?
— Очень просто, нужно умереть.

День третий

Вдвоём с Думитру мы добрались до дома жениха. Анна и Джорджина под мудрым руководством тёти Зое хлопочут возле экипажа; Василе, сделавший своё дело, пригнавший коляску во двор, набивает трубку самосадом; Регина Доринеску расстилает кукурузную циновку перед крыльцом.
— Маэстро, марш!—слышится голос Теодора Доринеску.

Звучат патетические аккорды, Илие садится на стул, Адриан намыливает ему лицо.
— Эй, лови, тётя Зое!—вновь высоко летят пшеничные зёрна, тётя Зое ловит их в свой передник.—Сколько поймала, тётя?
— Семь, мои дорогие!
— Вот это да! Семерых детишек нарожают Илие с Феличией!

Собравшиеся тем временем пускаются в пляс. Весёлые нотки летят над домами.
— А теперь к дому невесты!

Думитру дёргает меня за плечо. Мы уходим, молча бродим по улицам, возвращаемся в дом старика.

Вечер третьего дня

— И когда же они решили сделать это?—спрашиваю я.
— Вчера.
— Я был здесь вчера и позавчера.
— Нет, ты был здесь сегодня, ты пришёл сегодня утром.
— Но я уже три дня здесь.
— А я провёл тут двадцать три тысячи пятьсот сорок восемь дней—ровно столько прошло с того момента, как я родился в этом городе.
— Как же всё это понять?
— Да так и понимай—шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре дня назад начался сегодняшний день.
— Значит, прошло уже восемнадцать лет?—сказал я после некоторой паузы, которая мне понадобилась, чтобы посчитать в уме.

— Нет, всего один день, вчера они решили запереть время в клетке сегодняшнего дня.
— Почему же они не постарели?
— Станут ли морщины заметнее за ночь?
— Но время всё равно идёт.
— Куда оно идёт? На восток, на запад, в Тисману, а может, ему в Букурешти что-нибудь понадобилось? Нет, оно идёт только вместе с тобой, только если ты позовёшь его куда-нибудь.

Понять то, что говорит старик, было всё-таки довольно сложно. Вместо того чтобы прояснить дело, он ещё больше меня запутал, предпочитая изъясняться загадками и полунамёками. Всё-таки мне было интересно узнать побольше об этом городе и о том, что когда-то решили устроить его обитатели. Наверное, главным, чего я не мог постичь, было то, как именно им это удалось. Было ли всё действительно, как в сказках, сработано посредством колдовства? Либо речь идёт о чудесах другого рода: мало ли чего выдумают учёные профессора, в последнее время чего только не происходит. В самом деле, если удалось заставить двигаться картинку в кинематографе, то почему бы не произвести обратное в этом городе, где вечно будет праздник, вечно будет литься музыка, вечно будут петь и плясать у богато накрытых столов? Так в чём же причина подобных событий?

Я решил прямо расспросить об этом старика, уже не опасаясь, что покажусь смешным и наивным. Тем более что глупых вопросов вообще не бывает, есть только глупые ответы.
— Господин Думитру, я никак не могу взять в толк, как у них это получилось?
— Ты сам видел это.
— Вы опять говорите загадками, растолкуйте.
— Эти загадки слишком просты, но если ты и здесь не смекаешь, то я могу объяснить поподробнее. Скажи мне, были ли отличия в чём-либо, что делали и говорили люди здесь?
— Никаких, они повторяли каждый шаг, каждое слово, даже музыканты сбивались с ритма и фальшивили в тех же местах.
— Вот и ответ. Время не существует само по себе, я уже говорил, что оно идёт только вместе с нами.
— То есть если повторять одно и то же раз за разом, то это вовсе и не будет повторением, это будет то же самое действие в то же самое время?
— Ты совершенно прав.
— Но как же быть с тем, что всё равно одно происходит после другого?
— Это только кажется, на самом деле все повторения одновременны.
— Что же происходит, если ты повторяешь одно и то же, а другие не делают так? Неужели время для каждого своё? Ведь стрелки часов всё равно будут вращаться.
— Ты опять верно рассуждаешь. Но стрелки будут вращаться не для тебя. Запомни: время таково, каким ты — и только ты — хочешь видеть его, ты можешь управлять им. Так же и с другими людьми: если ты живёшь вместе с ними, то сколько бы ты ни говорил одни и те же слова, ни воспроизводил одни и те же жесты, ты будешь ещё и наблюдать за ними, и это тоже будет действием. Потому ты не сумеешь достичь полного однообразия своих поступков, и время продолжит своё течение.
— Значит, именно поэтому они не замечают вас и меня?
— Да, мы им не нужны, мы чужие. Они хотят, чтобы праздник не кончался. В жизни всякое бывает, полоса белая, потом полоса чёрная, а сегодня был хороший денёк. Никто не заболел, никто не умер, не было никаких несчастий. Все довольны, Илие и Феличия сыграли свадьбу, теперь их ждёт долгая жизнь, полная одних только радостей, по крайней мере, все надеются на это. Детишек нарожают…
— А разве они не хотят увидеть своих детей, внуков? Нельзя же только мечтать о них.
— Вдруг с ними что-нибудь случится? Кто-то порежется, кто-то ногу подвернёт, а то ещё война начнётся и заберут сыновей в солдаты. Нужно ли искушать судьбу? Мечты никогда не сбываются от начала до конца, задумал одно, а оно в какой-то момент повернётся по-другому. Я же сказал, что бывают и чёрные полосы. А тебе пора уходить отсюда. Ты обязательно должен увидеть, услышать и сделать очень многое, а потом — умереть.
— Почему умереть?
— Умирать надо для того, чтобы жить. Иди и никогда не делай того же, что и вчера!

Пейзажи вновь с удивительной быстротой меняются перед моими глазами. Я ни от кого не бегу и никуда не стремлюсь. Я просто иду, иду жить дальше.

Елена Супранова

Тюха

Смешно. Очень смешно!

Темно — смешно. Свет! — смешно. Тюха покружил по комнате — руки в карманах — и плюхнулся в кресло. Он с усилием высвободил руки, разжал кулаки и закрыл ладонями лицо, закорячил высоко ноги — смешно! Смех был желанным, а значит, всё хорошо, не стоило ни о чём беспокоиться.

Вот капнуло из крана в кухне — опять смешно! Ему было весело, он от души хохотал, просто увязал в смехе! Но этот смех был как будто сам по себе, только скользил по рёбрышкам, толкался в носу чихом, а на самом деле Тюхе сейчас плохо. Из учёбы в школе ничего не вышло, пропусков слишком много, и за каждый — отвечать перед завучем Надеждой Григорьевной, но сейчас ему даже смешно думать о пустяшной учёбе.

Как же ему смешно! Вот если б только в груди не так жгло… Как трудно уравнять смех, веселье и обязанности по школе. Но это обязательно нужно сделать! Бабушка вернётся не скоро, так что времени как раз хватит…

«…Даже с избытком, — отмахнулся он и стал мечтать: — Пепел скоро придёт, скорей бы. Вот с ним уж точно обхохочешься! Уж он-то знает, как настоящему человеку поднять настроение, он всё знает… А вот бабушка не знает, когда приходить домой, ей же никто не растолковал о том, что уже пора!..»

Обхватив руками, казалось, разбухшую голову, Тюха представил себе бабушку на перекрёстке, с сумками, простоволосую, с круглыми слезящимися от резкого ветра глазами, спешащую домой… Ему стало невыносимо жалко её, он сделал усилие забрать у неё сумки…

«Эх, бабушка, бабушка!.. Что же ты внуку не доверяешь?.. Родимая, дай я тебе помогу, пожалуйста! Ну же, внук тебя просит…»

Она только крутила головой, её удивлённые глаза сделались ещё круглее, они прямо стали горящими плашками…

«Бабушка, зачем же ты так смотришь на меня, а?!» — огорчился Тюха и горько заплакал.

Слёзы потекли ручьём, безостановочно, потому что ему стало ясно: бабушка не отдаст сумки. А как без этого жить дальше, он не знал… Но как же в груди жжёт… И эти люди в белом… чужие… Зачем они здесь?

Помутившееся сознание так и не прояснилось…

— Антонина Сергеевна, поддержи ему голову, а то захлебнётся ненароком! Вот ведь тюха. В истории записано: шестнадцать, а мелкий, мелкий-то… Твой Антошка в четырнадцать — боровичок, а этот…

— Тише! А то палату разбудим. Как жалко… Да и как их не жалеть… Что они видели в жизни?.. Мы хоть успели родить да воспитать, а эти уже не родят и не воспитают. Попридержи его так-то, мне ловчее с этой стороны ему капельницу ставить. Готово! Пускай спит и дышит, ему теперь отсыпаться нужно. А она — капает себе… Минут сорок — не меньше — будет капать, а там сдавать дежурство. Поспать бы хоть с полчасика… Ты на вечер-то пойдёшь?

— Чего это я там не видала?.. Опять Ольга Валерьевна в своей короткой юбке заявится, всех женихов отобьёт.

— Не равняй себя с врачом, Машутка! Да и ладно, ты тоже надень чего покороче!

— Это на мои-то ляхи? Ну, уж нет, лучше тогда совсем не ходить.

— Зря. Тебе ж только двадцать пятый, самое то.

— То — не то… Может, и пойду…

Тюха лежал с закрытыми глазами уже целую вечность. Он слышал отрывки разговора, но делал вид, что спит. Правильно, всё правильно, он наконец понял: то самое и нужно было брать. Вот взял не то, а теперь мучайся. Он пошевелил рукой и, не открывая глаз, определил: работает. Потом приоткрыл один и увидел свою руку: широкая мощная ладонь, крепкие пальцы, выпуклые розоватые ногти, синие кочкáстые вены. Какая она огромная!.. Словно чужая. Здоровая ручища медленно шевелила пальцами и угрожающе начала сжиматься в кулак…

Его прошибло потом. Ишь, ещё и захватит всего с потрохами!..

— У-уу, у-уу!.. — гуднул он пару разиков, так, на всякий случай.

Хорошо же известно, что свой своего не съест, но стало страшно, накатила тоска, и сразу же захотелось к бабушке.

— Бабушка… иии… к бабушке!..

— Ну, вот и заворочался. Может, не помрёт он, маленький, да удаленький. Машунь, ты бы всё же пошла от нашего отделения, а то скажут: игнорируем.

— Да и пусть говорят! Полинка пойдёт — хватит с них. Всё равно премию к празднику давать не будут, а женихов там и вовсе не предвидится. Разве что Иван Павлович…

— Всё-то вы деньгами меряете, деньги здесь, деньги там… Павлович для тебя староват, ему уж к сорока. Этот мне рóвня. У тебя ж квартира хорошая, с балконом, ещё найдёшь кого помоложе для замужества.

— Ага, найду! Вон Елена Симоновна, с трёхкомнатной — одна? Одна. Верка из процедурного, живёт

в отдельной — одна? Одна. Санька Привозщикова тоже… Ты-то ведь так и не вышла замуж во второй раз после смерти Вадима, хотя к тебе рентгенолог Попов сватался, все знают!
— Да, не вышла, не вышла! И не хочу! За него тоже, хоть он и хороший. Приду домой, уберусь, сяду на диван или завалюсь на подушечку и телевизор смотрю. А то: подай, унеси, принеси!.. Нет, вот Антошку определю в лицей, специальности выучу и буду отдыхать до скончания века.
— А внуки?
— Внуки — само собой, это и не работа вовсе. Ну и ночка!.. Укутай его ещё одним одеялом, а то опять затрясётся. И чего им надо, этим мокроманам — не пойму. Мой Антошка хоть не такой!
— Вот и найди мужика замуж выйти… Мельчают они страшно! Меня мама родила — четыре кило, да пятьдесят пять росту было во мне, так я и сейчас — почти метр восемьдесят! А этот такой махонький, такой… в полчеловечка вырос. Так бы взяла его на руки, покачала, успокоила… Горе, а не мужики!
— Ну-ну! Не тряси его! Ещё заденешь да сдёрнешь иглу на капельнице! Вон родные принесли передачу. Бабка хлопочет, мать прибегала, отец звонил врачам. Я, Машуня, ни разо́чку в больнице не лежала, ей-бо! Даже родила Антошку дома, ага. Взяла и родила ребёночка! Декабрь, «скорая» увязла в сугробе на Баляйке, а мне, что ж, ждать, пока отроются? Мой меня сразу зауважал, когда я сама справилась с этим. Вот если б он тогда пить перестал, я бы ещё одного родила: для пополнения народонаселения в стране. Всё пил, зараза… Ты йогурт себе забери, а я творожок возьму. Этому не понадобится сегодня. Рожаешь, рожаешь их…
— Мне, Антонина Сергеевна, тоже родить охота, только девочку. Или уж всё равно кого. Все же рожают…
— И правильно. Ты, Маша, девушка смелая, расторопная. Вот и роди. Потом — куда денется? Увидит своё, родное, — и женится, у тебя ж квартира отдельная, с балконом, обязательно должен жениться. Пошли, пускай эти мокроманы поспят, сколько с ними горя родным!.. Ты с первой по четвёртую полы мой, а я в остальных палатах. Надоело, всё сами да сами…

Бабушка прижала Тюхину голову к груди и запричитала:
— Голубчик, голубчик! Помрёшь ведь, сердешный, кровинушка наша… Внучек мой, Витюшенька-а-а!..

Слеза скатилась по её морщинистой щеке и попала внуку в уголок рта. Тот дёрнулся, ещё раз и затих. Ему показалось, что это его мать поит горячим бульоном, вспомнил, что именно такой был вкус, солёный. Он слизал языком, проглотил слюну и захотел посмотреть на мать. Но никого не увидел, долго смотрел — но никого… От огорчения он заплакал. Его снова заколотило, что-то тяжёлое навалилось на грудь, больно придавило, и сразу же возникло беспокойство: а вдруг придёт мать и не найдёт его под этой грудой?!
— Не буйный он у вас, — кивнула на Тюху сестричка Маша.

Бабушка сморгнула слезу, пытаясь разглядеть медсестру.
— Он и раньше был смирный, а потом, ну, после всего этого, несерьёзный стал, смеялся больно много. Вот в школу перестал ходить с марта. Ещё эти дружки повадились… В приёмной сказали: наркоман он. Родители на работе были, когда «скорая» его увезла. Боже ж мой! Дочка всю ночь проревела… А если отец прознает…Такой тихий он у нас был, хороший-хороший… До пятого класса — одни пятёрки, одни пятёрки приносил…
— Этот — ещё что, — Маша заголила Тюхе ягодицу, скоро уколола, — мелкий, а бывает, таких бугаёв откачиваем…
— Вот было бы славно, если б и нашего Витеньку откачали…
— Откачаем, — пообещала сестричка, — я ему в восемь укол сделала. Мне уходить сейчас, а с девяти — Маринкина смена, чтоб ей! — всегда запаздывает. Начнёт уколы ставить не раньше десяти, я-то знаю. Зачем ему лишние мучения. Через час обход будет, доктор Ирина Михайловна уже пришла, сидит в ординаторской. Ну, пошла я.
— Мне тоже пора на дежурство, я в статистике вахтёром, сутки через трое. Сегодня заступаю, а завтра, с суток, буду здесь. И отец с матерью отпросятся с работы, должны прийти после обеда. До чего ж ты жалостливая, девонька!.. — всхлипнула бабушка и опустила шоколадку в Машин карман. — Вот и достался бы он такой…
— Ой, бабушка, я старая для него! А так бы… Красивый он у вас. Ну, прощайте! Мне со смены домой пора. Пойду сдавать Эльвире Хасановне, старшей медсестре, а то этой Маринки не дождёшься. Полы в палатах тоже некому мыть…

Бабушка подоткнула одеяло под внука и поспешила на дежурство.

Тюхина голова стала разбухать, он испугался и снова задёргался, глубже и глубже ввинчиваясь в подушку, ища и не находя глубины.

Всё опять поплыло, закружилось… Это напомнило ему кружение балерины… Одетты… Одилии… Он не вспомнил фамилию балерины, хотя должен был, потому что читал в программке. Она — белая шея, длинная спина и стройные, тоже длинные, ноги — была то белой, то чёрной лебедью. Ей нужна была любовь принца, а этим принцем уже давно стал Тюха. Он им стал ещё после второго класса, а балерина приехала к ним на гастроли в августе, поэтому-то и не знала! Эх, как же ей об этом сказать? Написать… Да, написать! Он заворочался, потянулся за бумагой и карандашом. Кто же это так утяжелил бумагу?! Какая же фабрика и зачем выпускает такую тяжёлую бумагу?! Не удержать… А балерины снова закружились, запорхали по сцене…
— Эй, доходяга! — окликнули с койки напротив. — Свалишься! Чего ты колготи́шься? Спи давай! Размахался тут… Наоття́гивался, крышку свинчивает. Это… ну… видал я его где-то… Вроде он в нашей школе учился. Вот рохля, уже сколько часов прошло, как он, это… поступил сюда, а до сих пор не оклемался! Ишь, как его расколба́сило.

Толька, видал, я за три часа стал как огурчик? Не слышал, он чем про́бовался?
— Не знаю, говорят, «колёсами» накачался. Ты смотри, какая мелкота: разве ему подберёшь дозу?! Я одному такому тащи́ле переправил пару доз, а он там чего-то перепутал да обе враз заглотил… От них разве респе́кта дождёшься… Дуба той же ночью дал. А я при чём? Сам ни фига не соображал, а меня затаскали в милицию. Главное, он со мной так и не разбашля́лся, три зелёных осталось за ним. Легавый с участка два раза приходил, допытывался: я или не я дал ему. Ещё и следователь вызывал. Такая засада… Хорошо, хоть па́пик нашёл знакомого в прокуратуре, тот помог зашифроваться, а то бы…— он сделал выразительный жест ребром ладони поперёк горла.

…Балерины порхали и кружились в дружном хороводе, Тюха стал дирижировать руками, пытаясь направить их кружение в нужное ему место — за кулисы. Он видел, что они устали, топот их стройных ног на пуантах стал тише… А там, куда они неслись, их уже поджидал Коршун… И тогда Тюха закричал им: «Не туда, не туда!» — и метнулся в свете прожекторов наперерез, чтобы остановить их полёт. Но они его не послушались и слетались к Коршуну, словно бабочки на свет… И она, его Одетта-Одилия…
— Говорил же, свалится! Вот, свалился, неадеква́т. А теперь нам его таскать. Бери давай под мышки, а я за ноги, закидывай! Ух, тяжёлый мэн. Я раньше, до этого, ну, когда ещё в школе учился, был здоров, как этот… как его… Это сейчас у меня что-то сердце сдаёт, одышка вот…
— Надо было не переходить на «колёса». Я сам — только «химку».
— Ага, у Пепла не перейдёшь!.. Он же так зажмёт, так… это… как его?.. скрутит, что не пикнешь. Сначала подсунул мне дозу, жлоб, а потом и говорит: в долг не получишь, иди ма́ни сам добывай! Где их добудешь?.. У матери уже ничего… это… нет, в комиссионку тоже нечего сдать. Сижу час, два, чешу грудь табуреткой. Ну, и нарисовался к соседке Ольге Алексеевне, полез, когда её дома не было. Да что у неё возьмёшь?.. Одна ерунда.
— Дверь взломал?
— Да нет, она у нас всегда запасной ключ оставляла. Мать потом ей это… Как его?.. Ремонт бесплатно сделала, всё замяли, а меня — сюда. Ещё недельку побуду — и домой, на мамкины харчи. Раньше картошку жареную любил…
— Я тоже,— вставил Толик.
— Ага. Мать принесёт селёдочки копчёной, помидорки откроет — трёхлитровую, и давай мы ха́вать. Сейчас не тянет совсем.
— И меня. Иногда съел бы чего, да не лезет. Всё время жабры горят — пить охота.

Жарили каштаны. Они их таскали руками из догорающего костра и тут же ели. Каштаны были горячими, обжигали горло. Как же еда обжигает!.. Вкусно. Тюха придвинулся на самый край скамьи и протянул руку за следующим. В груди был жар, захотелось пить.
— Пить, пить… — попросил он.
— Блин горелый, опять свалится! Давай, Валерка, его привяжем к спинке кровати, а то ещё свалится, когда мы будем в столовке. Я его поднимать не собираюсь снова!
— Давай привяжем намертво! Жаль, полотенце короткое, не получается крепко. Пускай лежит, не дрыгается. А то у меня… это… печень — не того, увеличилась. Натаскаемся, а потом пей лекарства, улучшай себе показатели. Врачиха… ну, как её?.. Ирина Михайловна сказала, что с такими анализами надо на инвалидность отправлять. На первую группу, говорит. А что: кайф на инвалидности, не надо горбатиться!..
— Ага. Мать наезжает, говорит, чтоб женился на Наташке. Она, конечно, прищепка нормалёк, прибамба́сы любит, пуды́ их на прики́д вешает. Прико́льно. А на фига́ жениться на кляксе?! Совсем мартышка ещё, и четырнадцати нет, а мать, знай, трынды́чит своё. Были б деньжа́ры, может, и женился б, ла́йфа-то утекает…
— Не лажани́сь! Им лишь бы обженить, с рук… это… сбыть. А там и кне́длики появятся. Жена как начнёт требовать: давай деньги на колготки, на духи… на пелёнки. Пошли они все!.. Такой головня́к… Я до тридцати жениться и не собираюсь. Мать плачет, закана́ла совсем. Конечно, ей была бы споку́ха, если б я с утра и на весь день утека́л на работу лепить бабки. Так я теперь — всё, не работник. А здорово: все утром… на это… на работу бегут, а я у себя в ру́мке у окошка сижу, на дорогу гляжу…
— Я тоже не пойду вкалывать, неохота рано вставать, хотя бабо́сы и мне б не помешали. От предков никакой баксо́вки нет. А Наташка жмёт: давай иди, молоти. Я бы пошёл, но не на весь же день! Тоже неохота мне. Говорит, тунеядец. Предки гонят на работу, ругаются: мне-то двадцать шесть через три дня стукнет.
— С тебя причитается. Я в двадцать шесть, может, уже помру. Пойдём похарчи́мся, успеем до обхода, а то это… столовку закроют.

Обход был, как всегда, с десяти и до часу. Ирина Михайловна начала его со второй палаты: там тяжёлый случай.

Она приветливо улыбнулась больным, отметив, что настроение у них плохое. Всё ясно: Паклин не пришёл в сознание. Подставила стул к кровати больного, присела. Положила на его лоб руку и, почувствовав жар, призадумалась.

Волна жара разлилась ото лба по всему лицу, к шее, и Тюхе стало нестерпимо жарко. Он дёрнулся откинуть одеяло.

«Кажется, пошевелился,— заметила Ирина Михайловна,— надо ещё одну капельницу поставить, или уж сразу — в реанимацию. Да. Не нравится он мне».

Горячая волна ушла, и опять Тюхе стало холодно, застучали зубы, в глазах заплясали красные мошки, потом зарябило чёрно-белое…

Пришли санитары — два хмурых студента, халаты нараспашку, переложили его на каталку и увезли в реанимацию.

— Ну, блин, слабака нам подселили! — усмехнулся Толик. — Со мной столько не возились. Ну, я согласен, дозя́к большой, так чего полез на него? Слабак. У меня таких доходяг — полшколы. Мелюзга! Им дай дозу, а они — коньки откидывают. Сами же мульку выпрашивают, а потом…
— Мазер наспи́кала по мобиле, что… это… витаминов принесёт вечером. Пускай несёт, я люблю витамины. Говорит, чтоб лекарства пил… Ага, сейчас! Их выпьешь, а потом тебя… ну… выворачивать начнёт, да, Горб? Не буду пить. Обожду, как хуже станет, так и выпью. Сегодня аж две капельницы назначили, сейчас придут ставить, а у меня, видал, дорога какая, — он закатал рукав футболки и показал руку, всю в венозных узлах. — Такой отсо́с… Мне, Толька, охота с парашютом прыгнуть… Захотелось вот.
— Прыгни! Парочку «колёс» глотни, как этот, которого — в реанимацию, и кайфуй себе, крути винтом руки. Не-ее, я погожу. Вот подлечусь, схиляю к бабке в деревню, отдохну в кормушке за печкой. Там такая пы́рловка, даже клуба нет. Потом уж конкретно на «химку», в отры́в. Капают, капают мне эти лекарства, да только совсем хреново, не уснуть.
— Тюха! Витюха! — закричали дружно под окном.
— Это новенького корешки кричат, — сообразил Валерка, подходя к окошку. — Идите туда! Его в реанимацию отвезли! Ага, туда идите, вход… это… Как его?.. За углом! Поняли, наконец-то. Ишь, народу поприходило! Тюхой зовут… Наверно, кликуха.
— Он — Витька, бабка его так называла. Витюха, блин. И чего он такой дохлый?.. Мои пахано́ тоже за меня переживают: чуть глаза закатятся в кайфе, так «скорую» вызванивают, передо́за боятся. Тебя почему Горбом прозвали? Вроде ты не горбатый. Или самую малость.
— Это меня по фамилии: Горбатов я. Вот и зовут Горбом. Я не обижаюсь, уж лучше так, не обидно. Вот у нас Кольку Игнатова… этим… Лопухом прозвали, это хуже, да?
— Ага, Горбом лучше, не обидно.

— Маш, ты чего это не ушла домой? Ты ж с ночи!
— Уйдёшь тут… Маринка загуляла, не пришла на смену, вот Эльвира меня и не отпустила. Да ладно, отосплюсь ещё! После обеда в четвёртой палате посплю, там койка пустая, часика два. А ночью я уж сама покручусь, ладненько?

Нина Григорьевна кивнула.
— Ниночка Григорьевна, сбегаю я в реанимацию: мне ж бабка этого новенького — Паклина — шоколадку сунула.
— Подумаешь, что ж теперь её всю жизнь отрабатывать?
— Ирина Михайловна сказала: он совсем плохой… Так я сбегаю, а?
— Беги… — проговорила Нина Григорьевна и пошла на пост, шурша накрахмаленным халатиком.

— Кирилл Дмитриевич, может, ему чего надо?
— Ты, Маша, про новенького… э-э… Паклина? Мы ему — и то, мы ему — и это… Никакого улучшения, как говорится: состояние стабильно не-у-дов-лет-во-ри-тель-ное. Ишь, опять его в пот бросило… Мокроманы — так их называет ваша Антонина Сергеевна? Давай поменяем ему рубашку, раз ты тут, а то ещё простынет, воспаление схватит. Завтрак ему принесли, кашу манную. Сегодня он не едок — без сознания, «доколёсился» малый. Знаешь, я вот думаю: он ведь ещё подрос бы. Представляешь, сантиметров на пять, да мускулатуру б поднакачал… Ещё б девчонки за ним табуном бегали. Ты чего ревёшь?
— Жалко мне…
— Кому ж не жалко?..
— Бабка его шоколадку сунула утром, просила за него…
— Просила… Да у него порок сердца, не выдержит он ломки. Я самого Измайленко приглашал, профессора, он тут по вторникам консультирует. С постели поднял человека. Понимаешь?! Порок у него, родные и не знали, а то бы сказали перед тем, как сюда. Только что с его матерью разговаривал, дозвонилась в кабинет. И она не знала… Боюсь, его сердце не выдержит…

Тюхино сердце не хотело стучать ровно. Оно то рвалось из груди, то замирало и этим пугало его. Ему хотелось положить руку на грудь, успокоить и помочь ему стучать ровнее: тук-тут, тук-тук… Сердце под рукой забилось бы по-прежнему безостановочно, и Тюхина жизнь стала бы снова беззаботной и радостной, как тогда, в раннем детстве.

Долгое детство… Как же было хорошо сидеть на отцовских плечах! Красные флаги, выкрики шагающих демонстрантов, мать и отец рядом. Их сильные руки крепко держат Витенькины ручки, они молодо смеются, и ему тоже весело…

…Вот над ним склонилась мать. Она что-то говорит, её губы шевелятся и расплываются в улыбке. Он наконец понял — она спросила: «Сынок, ты не устал?» «Устал!» — хотел пожаловаться он, но только пошевелил губами.

Или ещё вот… Переезд, шлагбаум. Они, босоногие мальчишки, подбородками упёрлись в полосатое бревно и смотрят, не отрываясь, на пробегающие вагоны красной «России». И так вдруг ему захотелось туда, в красный вагон, и прямо стрелой нестись в сказочную Москву! С мамой, папой, бабушкой… Колёса стучали — тук-тук — и сердце им подстукивало — тук, тук. Но вдруг оно — на вздохе — слабо стукнуло в последний раз и остановилось…

— Паклин! — настойчиво позвала Маша. — Ну, Паклин! Не умирай, миленький! Тебе нельзя умирать, понимаешь? Вот, водичкой губы смочу… А хочешь, умою тебя? Хочешь?

Она метнулась намочить полотенце, но что-то её остановило… Рука потёрла лоб, словно помогая преодолеть забывчивость… Вспомнила: цвет его лица изменился. К худшему!
— Кирилл Дмитриевич! — позвала она визгливо. — Быстрее!
— Так… — доктор склонился над больным. — Как говаривали в старину: отмучился. За эту неделю — второй случай. И главное: всё в моё дежурство. Не плачь, Машенька, ему уже не поможешь. Ему никто уже… А ведь мог бы ещё подрасти…

Семён Каминский

Ангелы по пять

Саша энд Паша

Паровозом у них была Саша: грин-карту выиграла — она, хлопотала и документы выбегала — тоже она. Даже таможенники в аэропорту их родного города, когда вылетали в одну из европейских столиц, чтобы там пересесть на рейс в чикагский аэропорт О'Хара, сразу же определили, кто в семье главный, и за взяткой обратились именно к ней, а не к Паше. Так ей и сказал один из них — разбитной мужичок средних лет, с прозрачными глазами и намерениями: «Вы — главная в семье? Пройдите, пожалуйста, сюда…» — и завёл в комнату с какими-то металлическими стеллажами по стенам. Так эти серые стеллажи и остались у неё в голове, как последняя память о родине. И мужичок — тоже, конечно.

— Понимаете, — говорит он, так вразумительно, — согласно американским требованиям, мы должны сейчас вскрыть все ваши чемоданы и баулы и тщательно всё проверить. Это займёт очень, ну, очень много времени, и упаковочку вашу всю нарушит, и на посадку, не дай бог, можете опоздать… А если вы пожертвуете двадцать долляров (так и сказал, «долляров») на пользу таможни, мы сейчас весь ваш багаж опечатаем нашими самыми серьёзными печатями — и никто его больше досматривать не будет. Ни на пересадке, ни в Америке…

Саша так и сделала — дала ему эти двадцать баксов. Он их рассмотрел, вежливо поблагодарил, спрятал. Вернулись они в общий зал, где возле многочисленной поклажи околачивались Паша с Ксюшей, а дальше — как по маслу. Таможенный мужичок не обманул: баулы запечатали, и действительно больше нигде по дороге не открывали. И к «пограничнице» их подвёл, громко так, ответственно ей сказал: «Это — хорошие люди, всё у них в порядке». Та, видимо, поняла: понаставила печатей, почти без вопросов, быстро и учтиво. Саше так приятно стало, что всего-то за двадцатку у них «всё» стало в порядке! Если б на самом деле — всё…

Короче, проехали. И дальше их семейный паровоз продолжал тащить свои два вагона по путям новой родины. Первую квартиру в ортодоксальном еврейском квартале, где по традиции купно селились наши соотечественники, независимо от их национальности, нашла и сняла Саша — через свою школьную подругу Маринку, прожившую в штатах пять лет. И новые нужные американские бумажки снова оформляла Саша — Павел по-английски знал пока только «Thank you very much» и «What time is it?», потому как в школе изучал немецкий и «тысячи» в институте сдавал также на нём. Да и что Паша? Он и дома был всего-навсего товарный вагон — ведомый и хорошо управляемый.

Саша познакомилась с ним в секции бодибилдинга. Сама она большой крепостью организма не обладала, скорее, совсем наоборот: миниатюрная, личико — узенькое, лисье, правда, вовсе недурное, волосы — неопределённо-русоватого оттенка, лёгкие и ломкие. Но сила её была в тяге, в устремлениях… И когда она к двадцати пяти годам поставила себе задачу — найти жизненную опору, то по библиотекам, конечно, расхаживать не стала: муж должен был быть по определению крепким и выносливым. Очень интересно выглядела хрупкая девушка среди «качков», Паша нашёлся — вместе со своим накачанным торсом — и подошёл знакомиться уже на первой неделе её занятий в секции. После чего эти занятия вскоре можно было и прекратить… Проехали!

Из занюханного заводского КБ она быстро заставила его уйти, ему было определено другое поприще — фотографа. Зимой — ёлочного, дедоморозного, летом — курортного и круглогодично — свадебного. Заработки пошли просто замечательные, можно было и ей перестать юбку на работе просиживать, и квартиру купить (ну, в микрорайоне, не в центре, но тоже неплохо), и Ксюшку завести. А через четыре года новая идея — Америка! И очень зря все знакомые и свекровь зудели, мол, «будешь ты в Америке — на зелёном венике»! Вот они — Саша, Паша и Ксюша — сейчас гуляют по Мичиган Авеню и американские пончики-«донатсы» жуют… Пончики — это, впрочем, чепуха (проехали!), надо дальше двигаться, к другой остановке… Тут Ксюша прилипла к уличной витрине туристического агентства «Эпл вакейшн»: томная дама в тёмных очках и бикини лежит на надувном матрасе в перламутрово-бирюзовом бассейне и потягивает коктейль из бокала с маленьким радужным зонтичком, а на заднике — сказочные пальмы и море… Агитка, конечно, но красиво. Вот и она — Сашина следующая остановка.

Но до этой остановки опять были полустанки, поскучнее и пострашнее. Сначала — маленькая двухдверная «Хонда Сивик» (очень старенькая, но без машины здесь никак). Потом — бесплатная школа английского для неимущих, а параллельно — Пашу на работу пристроить, потому что привезённые с собой десять тысяч уже на исходе. Фотографы тут никакие, конечно, не нужны.

Пошёл в небольшой цех к русскому хозяину нажимать ногой (по двенадцать часов) на педаль пресса—штамповать платы для мобильников. Работа тупейшая, за целый день—десять слов с соседями по конвейеру, и заработок невелик, но на еду и на рент хватало. А Саша после полутора лет школы—на курсы по программированию… Подходил двухтысячный год со своими тремя ноликами, и в Америке началась программистская истерия—на работу требовалось всё больше и больше программистов, чтобы срочно переделывать и проверять компьютерные коды на наличие в них правильных дат. (А то вдруг 1 января 2000 года от этих ноликов компьютеры с ума сойдут—и Мистер Американский Бизнес сдохнет!) Поэтому устроиться на работу программистом с высокой стартовой зарплатой можно было и без хорошего английского, и без большого опыта, а липовые рекомендации давали сами программистские школы. Как говорили Сашины учителя, нужно придумать себе рабочую историю, резюме—и, главное, во всё это самому поверить.

—…Я по трупам пойду,—патетично провозглашала уже хорошо расслабившаяся Саша, когда они, наедине с Маринкой, обсуждали свои женские американские жизни при участии двух больших бутылок «сухаря». Обычно они расслаблялись в отсутствие Паши, сидя на матрасе, постеленном прямо на полу в Сашиной съёмной квартире, где, кроме двух матрасов (одного двуспального и другого—поменьше, для Ксюшки), пожилой тумбочки с телевизором, трёх уродливых стульев, выброшенных соседями, и кухонного стола, половину которого занимал компьютер, ничего не было.

—Вот ты, Маринка, уже столько лет здесь маешься, всё учишься в своём «калледже»—что толку? Где «бойфренд»-американец? Где хорошая работа? Вкалываешь в этом сраном магазине за шесть пятьдесят в час? Нет, я по трупам пойду…—повторяла Саша, выливая остатки вина в чашку.

Работу она искала—как ходила на работу. Ксюшку—к соседям, то к одним, то к другим, благо, много русских вокруг. На личико—чуток краски; на тело—строгий, простенький, единственный, но очень аккуратный чёрный костюмчик; в ручки—пластиковую папочку с резюме, которое сочинили специалисты (отнюдь не бесплатно); в зубы—заученный десяток английских выражений; в «Хонду» или на сабвэй—и на интервью, иногда по два раза в день.

Она научилась производить впечатление в своей монолитной уверенности и знании предмета. Если её спрашивали о чём-то, и Саша не имела представления, как ответить,—а случалось это частенько,—она, выразительно глядя собеседнику прямо в глаза, размеренно тянула что-то ничего не значащее, типа: «Actually…»,

«I think…» или совсем пробивное «What do you mean by that?». Далее следовала, естественно, пауза, но собеседник сам почему-то начинал заполнять возникшую после этого тишину, ощущая неловкость оттого, что, видимо, задал какой-то бестолковый вопрос, и именно поэтому она затрудняется с ответом…

В общем, первое предложение подвернулось достаточно быстро—всего два месяца массированного поиска. Согласно нарисованному в резюме опыту и знаниям ей предложили сделать новый проект для консалтинговой компании. Срок—шестнадцать недель, и работать можно было дома! Скажете везение? Может быть. Только как этот проект сделать—она и понятия не имела, когда сказала им «yes»…

Начался новый, сверхскоростной поиск того, кто знает, как это сделать. Порекомендовали дорогого, но знающего Михаила. Саша приехала к нему вечером, и скромный таунхауз в пригороде показался ей дворцом, а Михаил—лысоватый и значимо медлительный—крутым специалистом. Старательно поддерживая это впечатление, он не спеша провёл её в небольшой кабинет с компьютером и выслушал долгие, детальные объяснения.

—Всё это сделать можно,—так же неторопливо, как бы нехотя, произнёс он,—но это будет дорого стоить…

—А денег у меня пока нет,—попробовала игриво улыбнуться Саша.

—Ну, деньги они вам по контракту заплатят, и вы тогда заплатите мне… половину того, что получите…—Михаил пристально смотрел Саше в глаза.—А в качестве аванса…

Не отводя от неё взгляда, он протянул руку к красивой бутылке коньяка, стоящей, как оказалось, на соседнем столике:

—Я думаю, мы договорились?

—Договорились,—Саша внутренне крепко зажмурилась, но внешне чуток покраснела…

«Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка»

Контракт был сдан вовремя, и денег заплатили много. Даже половина—это было очень хорошо. Потом срослось ещё несколько контрактов—и работа, и Михаил продолжались. Саша решила, что и Паше надо учиться, и теперь он мог покинуть свой ножной пресс. Выучился на техника по обслуживанию кондиционеров—здесь это тоже верный заработок.

Денег становилось всё больше, купили новые машины и новый дом—тоже очень большой. Уже был и бассейн в Мексике, и море на Карибах, и коктейли в круизах.

Маринка теперь появлялась у них редко. «Завидует»,—усмехалась Саша.

Через год, с опытом нескольких проектов, Саша перешла в другую компанию, потом—в следующую… Оказалось, что Михаил не так уж много знает, да и делает всё, как известно, чересчур медленно, и теперь она может обходиться совсем без него… Проехали!

Подбор новых партнёров для новой жизни у Саши продолжался ещё пару лет, но однажды, очень жарким и влажным летним вечером, когда ничего не ведающий Паша вернулся домой после рабочего дня из определённого ему зимнего мира компрессоров и фреона, вдруг прозвучало—без интонаций, как закадровый голос в дублированном на русский язык зарубежном кино:

— Знаешь, у меня есть другой человек… Я не буду возражать, если ты снимешь квартиру и переедешь от нас жить. Ксюшу будешь видеть — сколько захочешь… — Кто этот другой — Саша и объяснять не стала.

Потерянный Паша пробовал что-то мычать, помыкался по знакомым, рассказывая подробности, но все и так знали, что к чему: вот и его проехали…

— …Ну, и зачем было рассказывать эту банальную историю? — скажете вы. — Что в ней такого интересного? И конец был заранее известен…

Согласен, скажу я, много нас — проживающих свои собственные банальные истории с заранее известным концом… Так что даже не знаю, зачем я всё это тут нагородил. Может, потому, что в прошлый выходной я случайно встретил Пашу в торговом центре? Он говорит, что всё у него «о'кей», он работает, в свободное время самозабвенно поёт в русском народном хоре при православной церкви. И Ксюша вместе с двумя подружками-американками была с ним — такая взрослая… Только уже не очень хорошо говорит по-русски… впрочем, зачем ей здесь русский? Про Сашу он ничего не сказал, а я и не спрашивал.

Вокруг нас шуршали, лопотали голосами и мобилками, мелькали всевозможными оттенками джинсовой ткани, формой и цветом воскресных лиц жители благополучного чикагского пригорода, и в этом шумовом потоке, под высоким, прозрачно-невесомым потолком, среди десятков модных мелодий из дверей зовущих магазинов и магазинчиков мне всё слышалось бравурно-воинственное… нет-нет, смешно, уж это никак не могло прозвучать здесь…

«Наш паровоз, вперёд лети…»

Отрава

— …Я тоби так скажу, Вэниамину Сэргиойвичу… Трэба бигты у сэрэдыни, — часто говорил Веньке старший аппаратчик Петро Гнатюк, — тому, що пэрэдних бьють по морди, а задних — по срацi…

Вообще-то, Венька занимал в цеху должность сменного мастера, и, по идее, наставлять рабочих должен был он. Но пока что уму-разуму учили его: он приехал на химкомбинат по распределению, после института, всего полгода назад, и ни черта в рабочих делах не смыслил (и не жаждал осмыслить, мечтая уехать как можно скорее), а все двенадцать его подчинённых проработали здесь помногу лет, уверенно теряя на вредном производстве зубы и волосы… Гнатюк, самый старший, лет сорока, казался Веньке совсем старым — со своей гладко отполированной двадцатью годами производственного стажа головой под неизменной чёрной кепкой, полупустым ртом и маленькими бледно-голубыми глазками, прямо-таки наполненными хитростью… Ну, просто вылитый весёлый пиратский боцман! Даже перекинутый через его правое плечо ремень сумки с противогазом казался перевязью острой пиратской шпаги. На самом же деле, по-настоящему острым был гнатюковский язык — говорил он на русско-украинском суржике, как и большинство в этих местах, но всё-таки более на украинском, чем остальные. Жил Гнатюк в далёком от химкомбината посёлке и на каждую смену по три с половиной часа добирался раздолбанной вонючей электричкой — работы, тем более так хорошо оплачиваемой, как на химическом производстве, в его родном посёлке не было, вот и приходилось ездить далеко. Этот разговорчивый боцман в основном и наставлял Веньку во время дежурств, обучая всяким цеховым и житейским премудростям, а Венька молча слушал…

И все остальные в сменной бригаде относились к молодому мастеру замечательно. Беспорядочно бородатый начальник смены Николай Петрович (за глаза называемый попросту Бородой) зазывал Веньку к себе в кабинетик, «на чай»: в ночные смены это значило — на полстакана спирта с половинкой яблока, вместо закуски. Лаборантки Нина и Оксана, симпатичные молодухи, но уставшие от жизни с пьющими мужьями, предлагали ему домашнего борща, разогретого на лабораторных печах. А беспечные операторы Лёнька и Славка — опять же в долгие ночные смены — отправляли его спать за приборные щиты: «Мы, Вениамин Сергеевич, привычные, а вы пойдите, прикорните там, на лавке, полчасика». И на узкой твёрдой лавке, под ровный тяжёлый гул и шипение пневматических самописцев и манометров, Венька проваливался в беспокойный, но всё равно такой вкусный молодой сон — иногда и на два, и на три часа… Ребята, впрочем, не забывали разбудить «начальника» вовремя, чтоб не выглядел заспанным к утру, к концу смены, когда настоящее, цеховое начальство начинает шастать по аппаратным.

Работа была не тяжёлая по сравнению с другими производствами, но очень вредная и опасная, если что-то начинало подтекать (за что платили большие надбавки, давали бесплатное молоко и шла выслуга лет): в цеху стояло ещё трофейное немецкое оборудование, целиком завезённое после войны, и давным-давно миновали все разумные сроки его эксплуатации, а используемые вещества относились к классу сильных и когда-то боевых, отравляющих веществ. Поэтому главная задача у всех была одна — потихоньку выполняя план, не взлететь на воздух и не отравиться. К этому вполне подходили гнатюковские сентенции о «беге в середине»…

А ещё Веньке нравилась Людка. Она тоже была старше его, лет на пять, и тоже работала аппаратчицей одного из отделений цеха. У неё имелся смуглый высокий чистый лобик с неглупыми мыслями, красивые каштановые волосы — под обязательной косынкой, муж и дочка, а также незаконченное образование в ПТУ и какая-то своя полудеревенская-полугородская жизнь в доме у свекрови. Нельзя сказать, чтобы Венька много про неё думал, да и поговорить, в общем, не часто удавалось, разве когда приходилось заменять её напарницу по отделению. Однако его будоражила полоска её простых голубых или белых трусов, выглядывающая иногда при наклонах к вентилям и заглушкам на небольшом плотном ладненьком

теле — в промежутке между синими опрятными рабочими штанами и короткой курточкой…

Однажды Веньку совсем бес попутал. Ему опять пришлось подменять беременную Людкину напарницу, Варю, которая, едва выйдя в вечернюю смену, закряхтела, заохала… Сообщили Вариному мужу — и на комбинатовской административной машине помчали её в роддом. Венька остался в Людкином отделении помогать… Сначала они вдвоём долго болтали в щитовой, чересчур ярко, как сцена, освещённой люминесцентными лампами, раз в час заполняя журналы наблюдений за процессом. Потом пили чай (что было совершенно запрещено на рабочем месте). Потом Людка начала с ним кокетничать («Мне наши девки говорят, мол, что это к тебе молоденький мастер зачастил? А я им: да что вы болтаете…»). А потом Венька притянул Людку к себе и начал жадно целовать… даже самому было не ясно, как это он вдруг на такое решился, прямо затрясло его. Губы у неё были… замечательные… немного в душистом вазелине… наверно, намазала перед сменой, из-за сухого воздуха в цеху. Венька оторвался от неё только тогда, когда почувствовал привкус крови, — это у Людки губа треснула от такого его рвения. Она, впрочем, тоже целовалась очень настырно, со вкусом, и на колени к нему сразу же пересела. Ранку промокнула платочком — и опять целоваться. Потом отстранилась, держится снизу живота и говорит:

— У меня всё разболелось… хватит… — и опять целоваться.

И так, наверно, целый час. Теперь уже и Венька почувствовал, что всё болит. Тут Людка от него отпорхнула, отсела подальше, поправила косынку, курточку и давай делать вид, что заполняет журнал показаний — пора уже. Хорошо, что ещё никто из смены в аппаратную не зашёл: Борода, например, очень любил неожиданно появляться. Венька через несколько минут опять надумал сунуться, но Людка свою противогазную сумку схватила, и — в цех: надо что-то и там проверить, скоро конец смены.

Распаренный Венька — за ней. Обходя отделение, они с Людкой вышли на крышу.

В небе над комбинатом и близкой рекой громоздились клубни подсвеченных снизу густых дымов, невообразимых оттенков рыжего цвета…

— Красиво… — сказал Венька, всё ещё переживая своё возбуждённо-лирическое состояние.

— Ага, красиво… — повторила Людка. — Только это отходы сбрасывают… к ночи — пока инспекция не видит… и под выходной день — потому что пробы воздуха не берут. А потом вся эта дрянь на город идёт… Пошли отсюда.

Назад вернулись — уже сменщики пришли. Венька стал нехотя с ними разговаривать о чём-то производственном, а у самого вид… Нет, нет, я — здоров, просто, видите ли, здесь, в щитовой, несколько жарковато…

Всё главное случилось в следующую смену, поздно вечером, прямёхонько на полу за приборными щитами, на подстеленных зимних спецовках из грубой, шершаво-колючей ткани… И хотя в аппаратную Людкиного отделения, вроде, никто и не заходил, Венька почувствовал, что смена всё-таки что-то про них знает: выражение физиономий, что ли, у всех было какое-то необычное… А Гнатюк, сидя на лавке в мужской бытовке (после душа, абсолютно голый, но уже в кепке), стал долго и смачно рассказывать целую басню про то, как в молодости помногу и подолгу любил деревенских девушек в стогу сена… и как это сено пахнет… и как колется в неподходящий момент… Впрочем, Гнатюк — известный болтун, и, возможно, Веньке с перепугу что-то особенное просто показалось?

Долго рассуждать ему об этом не пришлось, потому что назавтра, в 20:43, случилась авария. Лопнул трубопровод на громаде серой китоподобной ёмкости с самым ядовитым в цеху газом, мерзко заорали датчики, зашкалили стрелки — сначала в Людкиной щитовой, а потом — и в центральной. Людка была на месте беды первой, натянула противогаз и вручную стала останавливать насосы, не надеясь на хилое дистанционное управление. Венькиного руководства и помощи никто, конечно, не ждал, все вроде бы сами знали, что делать и что не делать, и к ёмкости сбежалась целая группа хоботообразных во главе с Бородой. Гнатюка, правда, не было видно, но он, наверно, был занят в другом отделении… Венька же после вчерашнего события был полон дурной энергии и незаметно для себя, выпендривался перед Людкой, поэтому активно и совсем неосторожно лез помогать в самое пекло.

Утечка была серьёзная, и долго ничего не могли поправить, — судя по всему, случилось именно то, чего давно уже ждали и молча боялись. Пришлось начать полную остановку процесса, а повреждённый трубопровод принялись бинтовать, как раненую конечность. Непроницаемый белый туман с невинным запахом прелого сена ловко переползал из одного отсека в другой. Старых фильтров в противогазах хватало только на пятнадцать минут, нужно было выбегать из зоны аварии, чтобы поменять противогазные коробки на запасные, из хранилища, но Венька не сразу это понял, да и запах поначалу не казался ему страшным — даже напоминал что-то беззаботное, детское, летнее… Когда трубу забинтовали и туман начал рассеиваться, в цеху уже работала целая аварийная команда и съезжалось всё начальство — и цеховое, и из управления комбината. Ночью у Веньки сильно болела голова, а следующим утром, уже в комнате ИТРовского общежития, начались сильная тошнота, озноб и рвота… Отравление… заводская больница… неделя капельниц и уколов…

«Вам, молодой человек, повезло: отравление не тяжёлое, всё у вас пройдёт».

«Вас же учили, что нужно соблюдать технику безопасности? Вы же расписывались в журнале инструктажа?»

«Я ж тоби казав: треба бигты у сэрэдыне…»

Оказалось, что и Людка надышалась, но намного сильнее и в больнице ей лежать долго-долго… У неё началось осложнение — серьёзная лёгочная

болячка, и неизвестно чем это закончится. Венька всё думал-думал пойти её проведать, да так и не решился… неудобно как-то. Муж, говорили, по несколько раз в день к ней в палату бегает, очень переживает и дочку приводит.

В общем, может, это и хорошо, что Людки не было тогда, когда пришло на Веньку долгожданное открепление из Москвы и бригада провожала его домой. Борода ворошил, естественно, бороду, Нина и Оксана напоследок прикармливали какими-то домашними вкусностями, Лёнька и Славка шутили и фамильярно хлопали по плечам—он уже для них почти не начальник… Гнатюк, сняв кепку и привычно погладив лысину, опять не преминул напомнить свою науку.

И побежала дальше молодая Венькина жизнь, но, похоже, осталась бродить в организме какая-то не выявленная врачами отрава, потому что ещё много лет спустя запах скошенной травы и сена будет остро мучить его в городских скверах и парках и особенно, в загородных поездках, вызывая тошноту, тревогу и отчаяние вместо желания вдохнуть, как говорится в песнях и стихах, этот зов полей полной грудью.

Боб, форшмак и рок-н-ролл

Мы сидим с ним в небольшой пивнушке—это будка и четыре столика, врытых в землю под открытым небом Севастопольского парка.

—Я никогда не женюсь на женщине, которая не догоняет рок-музыку,—изрекает рыжий Боб.

Тему мы начали обсуждать ещё за первой кружкой пива, часа два назад, и не очень далеко продвинулись в этом обсуждении. Зато количество пустых кружек и останков сушёной рыбы на нашем столе уже достигло предела, и надо либо подзывать бабушку-уборщицу, либо нашу беседу завершать.

—Всё, пошли,—резюмирует Боб,—мне ещё на репетицию в общагу, команда ждёт. А завтра—в Москву. Надо съездить в «яму», хочу взять свежих дисков… я там вроде нашёл клёвый вариант. И бабок подсобрал—летом откосили выпускной и хасню в балке у цыган. Кстати, может, поедешь со мной? Трофим отказался, а одному мне ехать несколько стремновато.

—А что,—радуюсь я,—могу. Когда назад?

—Ну, в тот же день и назад—вечерней лошадью. Мне там долго торчать нечего. Возьмём диски, это где-то в Чертаново, и назад—на Курский. Два дня наша альма-мутер без нас, я думаю, переживёт.

—Думаю, она переживёт и подольше,—я весело прикидываю, что «придётся» прохилять начерталку, физику, сопромат… Что ж, повод для очистки совести у меня находится вполне серьёзный—приобщение к источнику рок-н-ролльных новинок, можно сказать, из первых рук.

Боб был для меня… всем.

Он владел чёрной с серебром гэдээровской «Музимой» [1], он играл в ВИА (считай, рок-группе) нашего факультета и, самое главное, у него водились фирменные диски, которые он переписывал всем желающим прикоснуться (за трёшку) к сокровищам мирового рока.

Именно от него я услышал такие слова, как «Тёмная сторона луны» [2] и «Чайлд ин тайм» [3].

Именно он утверждал, что две самые нежные мелодии на свете—это песня Сольвейг и «Блюз из третьего Цеппелина» [4].

Именно у него, в двухкомнатной квартирке четырёхэтажного дома, где он жил с маленькой мамой Асей Львовной, стояла на самом почётном месте совершенно потрясающая вещь—радиола «Эстония» с напольными колонками, снаряжённая алмазной иглой польского производства. Под окнами дома, сотрясая его дореволюционные стены, визжал и грохотал трамвай на повороте к проходной металлургического завода, но за постоянным рёвом музыки это не всегда было слышно. А когда мы большой джинсовой компанией приходили «балдеть» от очередного альбома кого-то из рок-небожителей, Ася Львовна незримо присутствовала где-то в районе крохотной кухни и появлялась только после финального аккорда пронзительных гитар и убойных барабанов, чтобы раздать вечно голодным студентам бутерброды из свежего белого батона и украинского сыра.

Познакомились мы с Бобом почти случайно.

В воскресенье днём я шёл из гастронома с авоськой, в которой лежал плавленый сырок, французская булка и треугольный пакет молока, и на углу Центральной наскочил на знакомого, Володьку Трофимова (мы когда-то занимались с ним вместе во Дворце пионеров в кружке моделирования). Теперь у Трофима были волосы до плеч, он промышлял «фарцовкой» дисками, постерами, иногда «джинсой» и как раз направлялся на то место, где по воскресеньям собирались дискоманы. Место это было в соседнем скверике, прямо напротив магазина.

Трофим познакомил меня с товарищем (это и был Боб). Разговаривая, мы перешли дорогу и только приблизились к плотно стоящей группе этих самых дискоманов… Сирены! Крики! Облава! Дружинники! Милиция…

Я и сообразить толком ничего не успел, как меня вместе с другими парнями запихнули в душную железную коробку милицейской машины. А в участке—досмотр (в мою авоську с плавленым сырком разные чины заглянули, наверно, раз пять), допрос (где учишься, что там, на углу, делал, не может быть, чтобы случайно, как не стыдно комсомольцу торговать пластинками западной музыки, вот мы напишем в институт)… и слушать ничего не хотят. Еле разрешили домой позвонить, продержали часа четыре, постращали (поймаем ещё раз—вот тогда!..)—и отпустили.

Сырок мой—ну никак не попадал ни под какую статью.

1. Электрогитара производства восточной Германии, изготовленная по форме гитары знаменитой фирмы Fender (США)
2. «Dark Side of the Moon», культовый альбом группы Pink Floyd
3. «Child in Time», композиция группы Deep Purple
4. «Since I've Been Loving You» из третьего альбома Led Zeppelin

Одновременно со мной выпустили и Боба: и у него в этот момент ничего крамольного с собой не оказалось. Мы вместе вышли из дверей милиции, вместе пошли по улице, потом оказалось, что номер трамвая нам нужен один и тот же. Короче, познакомились поближе. А когда, держась за верхний поручень в трамвае, он произнёс магическое слово «битлы», и проявил энциклопедические знания того, какая вещь в каком «битловском» альбоме находится, и не просто так, а по порядку,—я уже отлипнуть от него не мог.

Мои же знания о «роке» в то время были весьма скромными. Пара вырезок из «Комсомольской правды» (про то, какая это вредная музыка и как она растлевает нашу молодёжь). Польские журналы с публикациями «Горячей десятки Биллборда», нерегулярно покупаемые из-под прилавка у знакомой киоскёрши «Союзпечати» (всего лишь прочтение этого списка названий альбомов и групп вызывало состояние близкое к эйфории). И журнал «Лайф», целиком посвящённый «Битлз», который на один вечер (чудо!) кто-то дал моей маме специально для меня. Я просидел почти всю ночь, рассматривая цветные фото и изучая, со словарём подписи к ним…

Ансамбль Боба назывался «АнЭлГи»—звучит по-иностранному, а означает—«Ансамбль Электрических Гитар», так что никакой худсовет не придерётся. Сначала на их репетициях мне доверяли только сматывать шнуры. Несколько месяцев спустя мне случилось посидеть за пультом старенького «Бига», когда «звукооператор» Костя после неудавшейся накануне вечеринки пришёл с фингалом такой величины и с такой головной болью, что был не в силах даже крутить ручки. А когда на танцах в спортзале института у Боба поломалась самопальная педаль-«квакушка», я, сидя рядом на гитарной колонке, до конца выступления извлекал отвёрткой из поломанной педали звук «way-way» почти на каждом аккорде его гитары. Мне казалось, что играю я сам. К дискам Боб допустил меня тоже не скоро, но со своей «стипухи» в 40 «рэ» я как-то раз умудрился помочь ему купить редкий альбом Джимми Хендрикса…

Теперь меня нередко стали брать в поездки и на концерты, через меня на танцах девчонки просили исполнить ту или иную песню, а когда Боб объявлял белый танец под «Нет тебя прекрасней», какая-то из этих девчонок обязательно подходила с приглашением ко мне.

У нашей с Бобом московской экспедиции—две задачи: купить новых дисков и… хорошей селёдки.

Представляю, как Ася Львовна говорит ему, провожая к двери:

—Боренька, я прошу тебя, не забудь там купить хорошей селёдки—я хочу сделать настоящий форшмак.

—Я помню,—раздражённо отвечает Боб, захлопывая дверь.

Но ослушаться маму он не может, при всей его любви к рок-н-роллу. Вот поэтому у нашей экспедиции—две задачи…

Первым делом из автомата на Курском мы звоним в «яму», и Боб, коротко поговорив с каким-то Сашей, начинает прокладывать наш маршрут.

Это очень долгий маршрут: метро, ожидание, автобус, ещё одно ожидание, ещё один автобус. И выясняется, что это не в Чертаново, а где-то ещё… Мне даже чудится, что поездка из Украины на поезде заняла у нас чуточку меньше времени.

«Ямой» на языке дискоманов тогда называлось место, где можно было купить западные пластинки в большом количестве и по оптовой цене. Ходили разные слухи о том, как диски попадают в «яму»: мол, везут их матросы, дипломаты… Оказывается, что «яма»—обычная квартира в синей панельной многоэтажке. Открывшая дверь незаметная женщина проводит нас в комнату, где мы ожидаем увидеть стеллажи пластинок, стены, увешанные метровыми плакатами с изображением длинноволосых кумиров, и, конечно, какой-нибудь «Грюндиг» или «Филлипс» с колонками до потолка. Увы, кроме потёртого раскладного дивана и стола в углу, накрытого клеёнкой, мы не видим ничего… Впрочем, стопка запечатанных дисков на столе присутствует.

Где-то хнычет ребёнок. Появившийся полный кучерявый Саша, как бы нехотя поздоровавшись с нами, показывает на стол, буркает: «Смотрите»—и опять исчезает за стеклянной дверью. К моменту, когда хозяин появляется вновь, мы успеваем отобрать и сложить в отдельную стопку всё, что можем себе позволить по нашим, вернее, Боба, финансам.

—Эти—по сороковнику, эти—по пятьдесят,—сообщает Саша.

Сделка происходит, и назад к автобусу мы, оглядываясь, тащим по тяжёлому портфелю, набитому свеженькими мировыми хитами. В нашем городе их пока ещё никто не слышал. Разве что отрывки в западном радиоэфире—по ночам, вместе с хрипами и воем «глушилок».

—Знаешь, «Флойд», «Квины» и «Юрая Хип»[5] могут уйти по восемьдесят,—тихо рассуждает Боб в автобусе.

Доходит очередь и до селёдки.

Вразумительно объяснить современному человеку, почему хорошую селёдку нужно было покупать в Москве и везти через полстраны, видимо, невозможно. Ну, с зарубежными пластинками—ещё ладно, это как-то можно понять. Но селёдка? Почему её нельзя было купить дома? Ответ только один: потому что дома хорошей селёдки не было. Там тогда ничего хорошего не было. И примите это утверждение на веру, если хотите. Потому что других объяснений у меня нет и не будет.

Мы отправляемся по московским гастрономам. И выходит, что и здесь не каждый магазин может удовлетворить наш (Аси Львовны) высокий потребительский спрос на селёдку. Наконец где-то на Ленинградском проспекте мы находим нужный сорт—я не имею никакого представления, какой сорт мы ищем, но Боб, похоже, изучил селёдочный вопрос не менее досконально, чем положение того или иного исполнителя в «горячей

5. Британские группы Pink Floyd, Queen, Uriah Heep

десятке». Я же помню только, что селёдку нужно купить развесную, а не баночную.

Вечером три килограмма драгоценной солёной снеди в двух полиэтиленовых кульках, вложенных один в другой, и в холщовой сумке с изображением Боярского запихиваются под нижнюю полку купейного вагона рядом с драгоценным рок-н-роллом. Боб сразу же застилает эту полку постелью, садится на неё и так будет сидеть всю ночь.

— Я в поезде никогда не сплю,—говорит он.

Ну, не знаю, так ли это, но веских причин бодрствовать, чтобы стеречь добытое, более чем достаточно. И в этом деле Боб не может довериться даже мне.

Несколько раз я просыпаюсь среди ночи от болтанки, неясного света, блуждающего по лицу, и, свесив голову с верхней полки, поглядываю на рыжую макушку. А он, упёршись невидящим взглядом в чёрное окно, чуть покачивается, бьёт в такт большим пальцем правой руки по животу, как по воображаемой гитаре, и тихо напевает на мотив из «Дыма над водой»[6]:

Се, лёд, ка,
Се-лёд, ка-а́,
Се́, лёд, ка,
У́—у…

И колеса повторяют почти то же самое. Запах в купе стоит… удивительно, что соседи спят, ничего не замечают.

Ранним солнечным утром мы возвращаемся в нашу родную провинцию. Тысячи примерных комсомольцев уже сделали утреннюю гимнастику и отправляются в школу, на работу и в институт, а два отщепенца на красно-жёлтом чехословацком трамвае едут к Бобу домой, везут чуждую и идеологически вредную музыку, купленную у спекулянта за баснословные деньги…

— Привёз?—встречает нас Ася Львовна и, довольная, утаскивает Боярского с селёдкой на кухню.

А мы, наскоро перекусив Асиной яичницей, ещё долго рассматриваем шикарные глянцевые конверты, затянутые прозрачным пластиком, в уголке которых есть небольшая круглая дырочка: говорят, что так прокалывают конверты на таможне, когда ищут наркотики. С благоговением вскрываем один за другим привезённые шедевры, вдыхаем сладкий иностранный запах и читаем даже самые мелкие надписи—всё вплоть до Copyright.

Первый диск бережно, двумя руками, придерживается за края и укладывается на проигрыватель «Эстония».

Вот он начинает крутиться, вот уже игла прикоснулась к чёрному винилу и отражается в нём.

Мы садимся прямо на пол у противоположной стены и молчим.

Молчим, внимая мистеру Людвигу, сэру Хаммонду, мастеру Гибсону, лорду Стратокастеру[7] и «языку вероятного противника»…

Последний раз «АнЭлГи» собирается в полном составе в банкетном зале Дома быта—в качестве гостей на свадьбе Боба. Институт окончен, и многим вскоре нужно уезжать по распределению. На свадьбе играет ресторанный ансамбль.

Невесту зовут Алёна. Она—на пятом месяце и немного похожа на большой белый кочан капусты, растущий в конце грядки пышного стола рядом с рыжим цветочком головы Боба. Ася Львовна в розовом кримпленовом платье тихо сидит недалеко от молодых, и больше никого, кроме неё и четырёх «анэлгов», среди гостей я не знаю. По-моему, все остальные—это многочисленные родственники невесты.

Все крепко напиваются, орут и задорно пляшут под «Ягоду-малину». Я—тоже, но периодически настойчиво пытаюсь узнать у невесты, знакома ли она с творчеством Джимми Хендрикса? А Дженис Джоплин? А Эрика Клэптона?

Она всё хохочет, широко открывая ярко-красный рот, Боб сердится, и в конце концов меня утаскивают «подышать»…

Проходит полжизни и ещё немного.

Я с женой и уже довольно взрослыми детьми оказываюсь на концерте Ринго Старра в большом крытом чикагском стадионе «Роузмонт».

Ощущение абсолютной невозможности происходящего, постоянно живущее во мне с момента прилёта на американскую землю, становится ещё явственнее, когда худой, бритый налысо, с седой щетиной на лице и одетый во всё чёрное Ринго начинает петь простенькие «битловские» песенки.

В нём нет никакого «рокового» апломба. Временами он даже не совсем чисто интонирует и немного смешно подёргивается возле микрофона—головой, руками,—будто неопытный кукловод управляет откуда-то сверху куклой, изображающую знаменитого Ринго. И народ в зале почему-то постоянно бродит: встают с мест прямо посередине песни—excuse me!—выходят в холлы, где продают пиво, попкорн, хот-доги и нарезанные куски пиццы и опять—excuse me!—возвращаются к своим местам.

Правда, потом я понимаю, что эти бестолковые зрители знают наизусть слова абсолютно всех песен. Поют и уморительные семидесятилетние бабушки и дедушки в джинсах, жилетках и широкополых шляпах, и совсем юные ребята и девчонки, с красными и зелёными волосами, в бесформенных кофтах с капюшонами.

Ринго начинает «Маленькую помощь друзей»[8], и я, по старой привычке, прикидываю: это—вторая вещь на «Сержанте». А вот сейчас—«Сад спрута», должно быть, шестая на «Монастырской дороге»… или всё-таки—пятая?

— Octopus's Garden? Пятая вещь на первой стороне Abbey Road,—уверенно говорит Боб.

На кухне в белой щербатой эмалированной миске вымачивается селёдка—хороший форшмак не

6. «Smoke on the Water» группы Deep Purple
7. Торговые марки музыкальных инструментов Ludwig, Hammond, Gibson, Fender Stratocaster
8. «With a Little Help from My Friends» из альбома The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band»

должен быть очень солёным. Низко наклонив седую голову к столу, Ася Львовна увлечённо крошит крутые яйца и старательно терпит «Борину музыку», почти беспрерывно орущую в квартирке четырёхэтажного дома.

А на улице, делая поворот, визжит и грохочет трамвай. И, кажется, что трамвай за окном и гитарист-виртуоз на диске пытаются заглушить друг друга.

Но трамвай сдаётся.

Он уезжает, он увозит набитые раздражёнными людьми вагоны к проходной старого завода, а рок-н-ролл остаётся навсегда.

Ангелы по пять

А. Б.

Теперь в такие магазины я заглядываю не часто. Последний раз это было, пожалуй, лет десять тому назад.

Когда приезжаешь без особых сбережений жить в чужую страну, сначала вынужден что-то покупать в комиссионных магазинах Армии Спасения. Если не одежду, то, по крайней мере, домашнюю утварь, может, что-то из мебели… Потом, когда есть хорошая работа, свой дом и возможность купить новое, в такие места входишь с опаской: будто где-то здесь, среди длинных рядов с одеждой, стеллажей с разнокалиберными чашками и вазочками, плохими и неплохими картинами, стульями, столами, диванами и лежалым запахом, могут встретиться давнишние эмигрантские страхи или ненужные воспоминания. Да и зачем сюда заходить?

Я хотел попасть в соседний ресторанчик, перекусить, но дёрнул не ту дверь. И когда пожилая женщина за кассой так приветливо улыбнулась мне и сказала «Хэлло!», сразу уйти стало как-то неудобно. Я потащился вдоль рядов, вяло разглядывая всякое барахло и обходя редких покупателей.

Следом за мной вместе с очередным звяканьем дверного колокольчика в комиссионке оказались ещё одни посетители, видимо, тоже перепутали двери. Я оглянулся — дама в большой светлой шубе громко зашипела на своего спутника по-русски:

— Идём отсюда, тут такой запах…

— Обожди, дай я быстро гляну на картины, тут может быть что-то…

Я повернул за угол стеллажа.

Здесь в картонных ящиках обнаружились целые горы виниловых пластинок. Некоторые из них хорошо сохранившиеся и даже запечатанные в полиэтиленовую плёнку. Джаз, соул, очень много сборников к Рождеству. Вон натужно улыбается Донни Осмонд, выглянул из-под другого конверта немаленький носик Барбары Стрейзанд, этих я не знаю, этого тоже, Тина Тёрнер, опять Рождество, немножко древнего, забытого рока… А вот-вот… хитро ухмыльнулся старый знакомец — бородатый мужичок с тёмной заплатой на грязных штанах, согнувшийся под вязанкой хвороста на обложке четвёртого альбома Led Zeppelin. И обложка, и диск — как новенькие… чудеса! Это ведь 1971.

> There's a lady who's sure
> All that glitters is gold
> And she's buying the stairway to heaven…

— Фу, не трогай, бог знает, кто этого касался!

Объявление рядом сообщило, что все диски — по 50 центов. Боже мой, в одной далёкой стране семидесятых годов такой диск стоил моей месячной зарплаты молодого инженера! У меня давно уже нет проигрывателя… здесь у меня никогда не было проигрывателя, только CD-плейер. Какой блаженный будет внимать сейчас этому шипящему волшебству прошлого века?..

— А кошки — ничего… и пейзажик мы можем подарить твоей маме…

Я бережно взял конверт и двинулся дальше.

Почти у самой кассы была составлена горка из небольших одинаковых голубоватых коробок. Что-то уценённое, нераспроданное в прошлый, а может, и в позапрошлый год в других, дорогих магазинах, торгующих новыми товарами. Сверху на коробках — картонка с крупной надписью фломастером:

АНГЕЛЫ
5 долларов за штуку

Открыв одну из коробок, я достал милашку-ангелочка, сделанного из приятной на ощупь, шершавой, чем-то похожей на резину керамики, раскрашенной в лёгкие пастельные тона. Он был немного меньше моей ладони, в курточке, штанах и кепке — этакий Гаврош с крыльями. «Сделано в Китае», — утверждала гордая крупная золотистая наклейка у него на заду, под крыльями… что ж, действительно, сделано в Поднебесной…

— Я хочу таких… штук пять, — изрекла за моей спиной всё та же светлая шуба, — поторгуйся с ними! Пригодится на подарки.

Я неожиданно решил не отдавать этого, попавшего мне в руки и, признаться, совершенно ненужного мне глупенького ангелочка. Я продолжал внимательно изучать его, пока они отбирали других, торговались, платили за покупки, и повернулся к кассе только по сигналу колокольчика.

> Эта женщина уверена:
> Всё, что блестит, — золото.
> И она покупает лестницу в небо.
> И даже, если все магазины закрыты,
> Она, зная нужное слово,
> Сможет получить то, за чем пришла.
> И она покупает лестницу в небо.[9]

Я вышел на холодный воздух — теперь у меня есть ангел за пять долларов и лестница в небо за 50 центов. Неплохо для начала. Или, вернее, для конца.

---

9. Led Zeppelin — Stairway to Heaven

Наталья Гарбер

Улыбка в наследство

Решение со смекалкой

— Борис Михалыч, у меня есть для Вас задачка!

— Посмотрим, посмотрим… Мммм, да, интересно…

Борис Михайлович, знаменитый физик, профессор одного из лучших вузов страны, летом с семьёй отдыхал в Эстонии. Деревенька стояла на территории Лаахемасского природного заповедника, лицом к Балтийскому морю. Черника, грибы, косули и зайцы водились в её округе в немеренных количествах. Моя мама вывозила меня туда ежегодно лет с семи, так что к восьмому классу я отлично знала профессора.

За годы, что мы там отдыхали, в деревеньке сформировалась более-менее постоянное общество из московской и питерской интеллигенции. Место было красивое и чистое, эстонцы — в меру холодные и все на велосипедах, а жильё хорошее и приемлемое по цене. В магазине всегда были вкусные прибалтийские молочные продукты, дивный хлеб под удивительным названием «Сепик», овощи и прочая полезная еда. На велосипеде можно было доехать куда угодно, кроме погранзаставы — там стояли российские войска и раз в год сменялся начальник, потому что ежегодно по какому-то волшебному стечению обстоятельств именно в этом месте кто-то смекалистый уплывал в Финляндию контрабандой.

Профессор никуда плыть не собирался, он учил всех желающих играть в бадминтон и решать задачки по физике и математике. Если он видел достойную задачку, то отдавался ей целиком. То есть с момента встречи он думал о ней постоянно, днём и ночью, пока она не решалась. За время работы в вузе он решил столько задачек, что стал соавтором одного из самых известных вступительных решебников и настоящим Щелкунчиком своего дела.

И вот по окончании восьмого класса математической школы мой учитель математики дал классу на лето десяток задач, каждая из которых тянула на маленькую диссертацию. И отправил отдыхать. Я нашла по разным книжкам какие-то ходы ко всем заданиям, кроме одного и именно этот орешек повезла Борису Михайловичу в подарок. И вот теперь его жена Эмма с безнадёжным выражением на хорошеньком лице смотрит, как Борюша читает текст, который лишит её вменяемого мужа на неопределённое время. Профессор будет приносить из магазина кефир вместо сыра, а с рынка — картошку вместо яблок, он станет надевать разноцветные носки, терять кошельки и на простой вопрос вроде «как вам сегодня на пляже?» отвечать выдержками из физических формул. Он будет решать задачку — и это неизбежно.

Эммочка покорилась судьбе. Её первый муж был богемным сыном известного писателя и отличался большими странностями, так что она ушла от него к профессору, уже имея за спиной большую школу жизни. К чудачествам ей не привыкать. Сама она была довольно хорошим переводчиком, знакомым с творческими подъёмами и вдохновением. Но всё-таки не до такой степени, чтобы перепутать баню с туалетом и приехать на пляж без полотенца и купальных трусов. А профессор мог. С момента, как ему попадалась достойная задачка, он мог и не такое.

Борис Михайлович не ходил с блокнотом и ручкой, он всё держал в голове. Он был ходячий компьютер. Процессор профессора был загружен в диапазоне от десяти до девяноста процентов — в зависимости от интенсивности творческого горения. Варка идей была непредсказуема как любой творческий процесс, поэтому могло случиться, что вот только что Борис Михайлович совершенно вменяемо шёл в кафе обедать — и вдруг переставал слышать собеседника, отвечал о чём-то своём, съедал салат соседа и выходил, оставив кошелёк на столе. В общем, обычно он всюду гулял с Эммочкой и она отвечала за дружественный интерфейс семьи.

При этом профессор вовсе не был сумасшедшим — он обладал интеллектом, позволяющим и на десяти процентах вести осмысленный разговор о грибах, погоде и новом романе — и даже делать что-то по хозяйству. Больше всего он включался в реальность на бадминтонной площадке — Борис Михайлович был азартен, ненавидел проигрывать, а если проигрывал, порою рвал рубашку, метал ракетку в угол и жульничал, как ребёнок. Мы быстро привыкли к тому, что несколько раз за партию он поднимал воланчик, упавший на поле, перекидывал его за границу площадки и долго спорил с игроками и наблюдателями о том, что всё так и было. Обычно удавалось воззвать к совести окружающих и восстановить справедливость, но однажды профессор нас потряс, и мы засчитали ему даже его жульничество: воланчику чуть-чуть недоставало сил, чтобы перелететь на сторону противника, Борис Михайлович подбежал, и быстро-быстро тряся ракеткой, сделал воланчику поддув. Тот благополучно приземлился на нужной стороне, мы пришли в восторг и даже зачли этот пируэт в пользу профессора.

Когда он взялся учить меня бадминтону, против нас как-то вышла умелая и сыгранная пара, и мы стали стремительно продувать партию. Борис Михайлович играл на задней линии, а я под сеткой — это обычный расклад ролей: профессионал мог отбивать почти все, а новичок — хотя бы то, что летело под сетку. Счёт быстро пополз вверх в пользу противников, профессор стал кричать «я!» на каждый удар в надежде отбиться за двоих. Я припала к земле, он заметался, я прижалась к сетке, противники надавили — и в момент, когда им до победы остался один балл, воланчик полетел прямо на меня. Профессор крикнул «я!», я начала было отлетать в сторону, и тут его деревянная ракетка со всей силы обрушилась мне на голову. Слава богу, что удар пришёлся по касательной, потому что я уже заранее шарахалась от приближения грозного партнёра.

Борис Михайлович промахнулся, партия закончилась. Он расстроился, пошёл с площадки, размахивая руками, и даже не заметил, что чуть меня не пришиб, поскольку был полностью захвачен отчаяньем от проигрыша. Это не значило, что он плохо относился ко мне или был эгоистом. Просто проигранная партия была чем-то вроде навсегда нерешённой задачи. Зная его характер, профессора можно было понять: он расстроился, что ему не хватило смекалки за себя и меня. И всё-таки под сеткой я с тех пор не играла, только по квадратам — на паритетных началах. И никаких темпераментных игроков сзади — своя голова дороже.

При всём темпераменте и странностях Борис Михайлович нежно любил свою семью, точнее семьи — Эммочка была его второй женой, а первая с новым мужем иногда приезжала в гости. Профессор любил рассказывать о своей родне. Обладая энциклопедической памятью, на рядовой вопрос о том, придёт ли Эмма на пляж, он начинал подробно рассказывать, что придёт не только она, но и её сын Роберт от первого брака, затем к нему присоединится бывшая жена самого Бориса Михайловича и его собственный сын от первого брака со смешным именем Перец, полученным в честь какого-то прадеда по материнской линии, а также его общий с Эммочкой сын Миша. Борис Михайлович обожал неспешные беседы собравшейся вместе обширной родни, и всех называл по полным именам и фамилиям, отчего я вечно терялась: все фамилии были разные, потому что, вступая в брак, эти люди не брали фамилии супругов: у каждого были именитые предки и фамильная гордость не позволяла изменять старому имени в пользу нового, пусть не менее именитого. Зато мы с профессорским Мишкой оказались погодками, сдружились и с тех пор звали бедного Переца Перцем, а Роберта Робертино — так я хотя бы могла их запомнить.

Для Мишки общение с обширной роднёй имело занятные последствия. Первая жена профессора была дочерью известного музыканта. Она никогда не играла ни на чём сама, но когда Мишаня в малолетстве начал распознавать какие-то мелодии из телевизора, повела его к учителю. У мальчика оказался талант, неведомо как перешедший от неродного дедушки-музыканта, и теперь Мишка имел фигуру в форме груши и всё лето шмякал фуги и кантаты на раздолбанном рояле в клубе. Робертино сдружился с Перцем на почве сурового характера: они строили предков и их новых супругов, отказывались купаться и мрачно беседовали в стороне. Мишку, который унаследовал способность Бориса Михайловича к выпаданию из реальности, они временами журили, но обычно не трогали.

Зато Мишку трогала я как главного товарища по играм. В детстве помню обычную картину: мы едем наперегонки, не можем поделить дорожку в лесу, кто-то кого-то сбивает и через минуту мы уже тузим друг друга в придорожном песке. Оба были темпераментны, но отходчивы, так что отношения от драк практически не портились. Каким-то чудом даже один и тот же велосипед у меня много лет был на ходу, хотя толстяк Мишка и всё время падал на него, и сворачивал колёса в восьмёрку.

Мишка считался в семье «инфант террибль», так что Эммочку и Бориса Михайловича наши с ним потасовки не смущали, а когда я пошла в математическую школу, то все нерешённые задачки по физике и математике я спокойно несла профессору. Мишка тоже в накладе не остался: на спор со мной он обжирался пирогами моей матери, когда в лесу шла черника. Зато я «пасла» профессора, когда мы ехали за чем-нибудь в соседний посёлок на велосипедах, а Эммочка ждала нас дома, выдав мужу список покупок. С сопровождением профессор возвращался с продуктами по списку и вовремя, а один мог застрять в малиннике и привезти домой скврашенный на жаре кефир и рассказ о том, какие физические законы он нашёл в поведении продавщицы.

Со временем я, как и все, привыкла к странностям Бориса Михайловича и считала его милым, но неспособным к реальной жизни чудаком. И в тот год, когда я загрузила его на всё лето зубодробительной задачкой, я в благодарность взяла его собирать чернику на свои заветные поля. В те времена дело шло к перестройке, в Эстонии стало назревать национальное движение, и эстонцы вспомнили, что были присоединены к Союзу насильно. На улице в посёлке можно было услышать вслед слово «захватчик», а бадминтонную площадку местные детки пару раз залили тухлой простоквашей. В общем, всё это было неопасно, но неприятно.

И вот мы засели в черничник, я занялась ягодами и вдруг услышала крик профессора: «Ложись!» Обернулась и увидела: Борис Михайлович с хитрым, но напряжённым выражением лица залёг в ложбинке, глядя в ту сторону, где на тропинке вдалеке между сосен двигаются эстонцы — оттуда были чуть слышны обрывки прибалтийской речи. Я рассмеялась тому, что профессор шалил, и спросила, откуда это у него такие военные замашки. «Кто не окопался, тот погиб», — полусерьёзно ответил он мне. «Вы воевали?» — удивилась я. «Конечно!» — был ответ. Оказалось, что моложавый и спортивный ныне профессор Великую Отечественную застал лет в шестнадцать, прошёл её

всю, проявил храбрость и смекалку на полях сражений, а от врагов отделался лёгким ранением. Тут я сообразила, что в бадминтон он меня учил играть, уже перевалив за пятьдесят лет. Я сопоставила всё это и прониклась серьёзным уважением к профессору и в тот раз даже собрала чернику и за себя, и за него.

И вот к концу лета у профессора произошёл прорыв. Сияющий Борис Михайлович пришёл ко мне и сказал: «Ну, что же, я нашёл тебе три решения. Первое сложное и требует высшей математики, которую ты не знаешь. Второе — длинное, оно вполне решается известными тебе средствами, и от тебя его, скорее всего, и ждут. А третье решение — красивое, оно требует тех же знаний со смекалкой. Вот его-то я тебе и расскажу». И вылепил на моих глазах красивое решение, как кувшин из глины, ловко вертя его на круге моих школярских знаний.

Много лет спустя в Греции я увидела мастера, который точно так же превращал реальный кусок глины в кувшин на совершенно реальном вертящемся круге. Мне нравится глина — её здорово мять руками. Мастер брал кусок, клал на круг и… священнодействовал.

Вокруг стояла масса других посудин — кувшины, вазы, скульптуры, какие-то предметы непонятного мне назначения — и экскурсанты, которые проходили мимо гончара толпами каждый день, увозя плоды его волшебства в разные концы света.

Думаю, он различал нас почти как куски глины на своём станке: вот деловые японцы, обвешанные техникой, вот любопытные русские, вот шумные итальянцы, вот медлительные скандинавы. Вот чёрные прошли, белые пришли, а жёлтые на подходе. Греческое солнце, горы и глина на круге — это мир и реальность, а туристы — как ручей, текущий по каменистому ущелью: мгновение — и он их больше никогда не увидит.

Когда я подошла, мастер как раз крутанул круг и стал колдовать над глиной — вверх, внутрь, здесь поуже, там пошире, затем в медленном кружении посадил дырочки тут и волны там, остановил круг — приделал ручку, добавил закорючку — и шедевр готов. Туристы захлопали в ладоши, гончар улыбнулся, и мы повалили в зал, где стояли уже обожжённые и раскрашенные игрушки, иконки, дудки, кувшины и чашки. Я обошла всё один раз, потом другой. И не стала ничего покупать. Говорят, на Востоке покупатель может купить у художника не только шедевр, но и — за отдельную плату — право увидеть процесс его создания. Я в тот раз купила процесс.

Как и гончар, Борис Михайлович, якобы не замечавший реальности, в то давнее лето слепил на моих глазах своё красивое решение со смекалкой, близкой к волшебству. Под впечатлением от этого я тем же вечером пела профессору дифирамбы на Эммочкиной кухне и даже втолковывала Мишке логику гениальных математических ходов. Гуманитарная семья профессора поняла идею в общих чертах и заявила, что в поэзии красоты и логики больше.

Их логику мы с профессором сразу отмели, и тут я вспомнила историю: «От знаменитого математика Колмогорова аспирант как-то ушёл в поэты, так профессор на это сказал: мне всегда казалось, что для математики у него недостаточно воображения». В ответ на этот выпад Мишка кинулся доказывать что-то про величие музыкального воображения, Эммочка рассмеялась, а Борис Михайлович запомнил.

С этого момента, если семья корила профессора за то, что он купил кефир вместо сыра, он отвечал: «У вас просто не хватает воображения». И Эммочка в ответ лепила красивое решение для семейного завтрака на основе своих знаний со смекалкой. Или со сметанкой — что профессор принесёт, из того и готовит. Профессор тоже не капризен — ест, что дают, и думает о своих интегралах. А обжора Мишка научился у моей мамы готовить и, если не лень, печёт себе плюшки сам — большой уже. Даже очень большой — с тех пор прошло много лет.

…Я давно бросила математику в пользу журналистики и литературы, плавно перейдя из окружения Бориса Михайловича в Эммочкин круг — и смирившись с шуточками насчёт недостатка математического воображения. Мишка живёт в Москве и выступает на лучших сценах страны и мира. Перец с Робертино вместе с половиной профессорской родни уехали в Штаты и шлют открытки к Рождеству. А вот Эммочка с профессором остались в России. Они оба на пенсии, но по-прежнему работают: она переводит, он двигает науку.

И Эстония вроде бы осталась на той же территории, там те же леса, то же море и такие же белоголовые детки бегают по деревням. Только теперь всё это — отдельное государство. Говорят, нас принимают там как туристов из соседней страны, приносящих казне доход, — и никаких проблем. Только вот за горячее время Перестройки московская и питерская интеллигенция отучилась туда ездить. И сейчас я всё вспоминаю своё эстонское детство и думаю — а стоит ли входить в это море дважды?

Наверное, самое красивое решение моих волнений — оставить всё в памяти, как есть, и приехать в Лаахемасский заповедник так, как будто я там никогда не была. И жить дальше в том мире, который дружелюбный Бог предлагает моему вниманию. Я с детства представляла Его учёным физиком с римским профилем Бориса Михайловича — и, пожалуй, эту картинку в своей голове менять не хочу.

Главный герой

У Джона есть пара больших калош.
У Джона есть огромная резиновая шляпа.
У Джона никогда не промокает макинтош.
И это — Джон считает — то самое, что надо.

Счастье (вольный перевод из Алана Милна)

Я попала в этот дом случайно, на последнем курсе МГУ, когда бывший одноклассник Женька пришёл из армии и, видимо, был расположен к расширению круга контактов. Его отец, Лев Давидович, известный юрист и замечательный человек, обладал

невообразимым кругом знакомых. Гости приезжали из Грузии, прилетали из-за границы, приходили из соседнего двора, приплетались с другого конца города и заскакивали по дороге. В целом дом напоминал семейство Муми-троллей: открытые, дружелюбные, небольшого роста. Протусовавшись там первый раз, я сказала, что буду тут Снусмумриком. Мне разрешили.

В моём родительском доме всегда было очень строго с визитами, и я стала трясти Женьку насчёт того, почему его предки такие лояльные к гостям: среди визитёров было много очень разных людей, не всех же они любят. Он сказал: «Ко мне годами ходят люди, которые не знают, что родители их не любят. Потому что когда-то их собственные родители запретили им жениться, потому что мама — не еврейка». Оказалось, папа Лева ушёл из семьи, чтобы жениться на Ольге, они очень нищенствовали в юности и полностью были лишены поддержки обеих семей. И сделали из этого очень практический вывод: создали свой круг по правилам высочайшей толерантности и принимали в доме всех людей, которые поддерживали сына, вне зависимости от странностей внешнего вида, рода занятий, пола и возраста.

Я пристрастила Женьку к классической музыке, и хорошо зарабатывающий друг завёл себе в комнате отличную фонотеку, превратив комнату в «музыкальный аквариум». Мне было разрешено приходить в любое время слушать музыку, валяясь на диване, даже если Женьки дома не было. В дни моих визитов у мамы Оли был праздник: я люблю мыть посуду, а она ненавидела, так что когда в перерывах между симфониями я для разгрузки стала в темпе отмывать посуду из-под гостей, в семье ко мне стали относиться как к национальному достоянию.

Посуды было немного для ротной солдатской столовой, но фантастически много для обычной жилой квартиры. За первый день, что я провела между «музыкальным аквариумом» и раковиной, через дом прошёл такой поток паломников, что я искренне посочувствовала маме Оле: «У Вас сегодня сумасшедший день». «Что ты, — сказала она, — сегодня очень спокойно». «О боже, — сказала я, — что же бывает в неспокойные дни!» «Главное — чтобы хватало еды в холодильнике», — спокойно и деловито сказала хозяйка, открывая дверцу, — двухкамерный гигант был забит полуфабрикатами.

Я в тот год заканчивала механико-математический факультет МГУ и случайно увидела объявление о лекциях Аверинцева по христианской культуре. Он читал в соседнем корпусе, и я пристрастилась слушать. Давка была страшная, я приходила заранее и занимала места Женьке и своей подруге Ксеничке. Мой друг слушал и вникал, а Ксеничка… спала. У неё в те времена дома была сложная обстановка, она пошла было преподавать в школу, но там её терзали дети, так что лекции Аверинцева были единственным местом, где подруга могла расслабиться. Через пару лекций Женька спросил: «Зачем ты её с собой берёшь, она же не слушает?!» «Знаешь, может, самое лучшее, что делает Аверинцев на этой лекции, — это облегчает Ксеничке жизнь», — неожиданно для самой себя парировала я.

Аверинцев с лица выглядел неопределённо, и остроумный Женька говорил: «Это такой человек, которому всегда тридцать, а потом он умирает и оказывается, что ему сто лет». Голос у нашего лектора был ужасно скрипучий, но он излучал такую радость, что через несколько минут после начала лекции мы его уже любили таким, как есть. Тут Ксеничка и отключалась в сладостный сон.

Пять лет учёбы натренировали мои мозги так, что я могла переварить информацию любой сложности, однако на лекциях Аверинцева я тоже постоянно отключалась. Минут десять послушаю — минут десять перевариваю. Он думал и переживал гигантские пласты культуры прямо при нас. Подключившись через него к мировой культуре, как к скоростному интернет-каналу, мы с Ксеничкой постоянно перегружались информацией и эмоциями — и засыпали к вящему возмущению окружающих и собственному удовольствию.

И мне снилось, что над головой у Аверинцева расцветает дерево знания, а он берёт истории с разных ветвей и по своей глубоко осмысленной логике складывает из них восхитительные картины. Показывает он нам эту красоту на ладошке, потом возвращает обратно, берёт иные события — и опять складывает диковинные рассказы. И всё на этом дереве истории дышит и живёт. В какой-то момент я ощущала вкус событий, как гурман — искусное блюдо, — и просыпалась.

После завершения университета я пошла преподавать. Время было сложное, в стране шла перестройка, но я возилась с детьми и наслаждалась. С занятий я рулила в Муми-долину, где на мой весёлый звонок Лев Давидович выходил из-за стола и, привалившись к косяку, спрашивал: «Как дела?» «Замечательно», — отвечала я, сияя. «Повторите ещё раз, Лизонька. Сейчас никто так не говорит, кроме вас», — просил Лев Давидович.

В стране загибался застой: сначала генсеки назначались и умирали через год, потом пришёл Горбачёв с перестройкой, так что народ мутило от перемен, а знаменитому юристу по должности и доброте душевной приходилось выслушивать много гнева и стонов. Я это понимала, и с наслаждением выкрикивала на бис «замечательно!», и ныряла в музыкальный аквариум слушать очередной концерт Моцарта или что-то ещё, не менее оптимистичное.

Лев Давидович тоже весьма удовлетворённо возвращался к своему рабочему столу. Днём он всегда работал дома или в присутствии, будь то университет, западные юридические конторы, которые тогда начали наводнять страну, или государственные палаты вроде Думы, каких-то важных советов и прочих таинственных учреждений. К вечеру он обычно возвращался и становился доступен для общения.

В то время на верхах планировали перестройку, и Льва Давидовича как-то позвали на совещание. Всё было на очень высоком уровне, мама Оля волновалась дома, мы с Женькой сгорали от любопытства, так что когда великий юрист вернулся домой

с интригующим лицом, то сразу сел в кресло-качалку и провозгласил: «Рассказываю!»

— Попробую объяснить, что мы обсуждали, без подробностей, которые вам знать не нужно. У меня, например, есть сковородка, а я хочу трактор. Есть два пути. Первый — распаять сковородку, затянуть потуже ремень на штанах и долго строить трактор, не имея ничего на сегодняшний день.

— Ужас какой, это же строительство коммунизма в одной отдельно загнанной стране!

— Точно. Но есть и другой вариант. Можно сообразить, что тебе нужно в ближайшее время и… сделать из сковородки скороварку! Например.

— А потом к скороварке ещё приделать кофемолку и так далее. И что решили?

— Решили, что первый путь опасен тем, что за время строительства трактора можно умереть. Или, построив трактор, можно обнаружить, что он для жизни непригоден или жизни вокруг вообще не осталось — вся она ушла на его строительство. Или что в идее трактора не предусмотрели экологичность — он продавливает землю на два метра вглубь и так воняет, что вокруг него на три километра вообще ничего не растёт.

— То есть социализма у нас уже не будет. Это радует. А чем опасен второй путь?

— А тем, что если я присобачиваю кофемолку к скороварке, обе штучки могут стать вместе неупотребимыми. Надо их расцеплять, причём вовремя. Кроме того, двигаясь по пути однодневных желаний, я могу прийти к чему-то хаотическому.

— А нельзя завести какой-то внутренний камертон, ориентир, чтобы то, что хочется, нанизывалось на некую единую линию полезных желаний?

— Мы так и решили. Теперь нам предстоит всё время согласовывать полезные желания, отсекать вредные и биться за то, чья линия должна быть единой и кто будет главный герой. Учитывая, в какой стране мы живём и кто у нас сидит наверху, сейчас будет весёленькое время.

Я как-то потом читала у Далай-Ламы, что положительные эмоции возникают, когда человек берёт то, что дают, и отдаёт то, что может. А негативные чувства возникают, когда ожидания не реалистичны: то ли хочется того, чего нет, то ли делишься не с тем. Проще говоря, если вы понимаете, как тут всё устроено, то мир вызывает у вас приятные чувства, а если вы живёте в иллюзиях, то и чувства у вас от окружающего мира плохие. Так что, говорит Далай-Лама, отрицательные эмоции — нереалистичные, а положительные — реалистичные, то есть первые — часть иллюзий и вообще-то их нет, а вторые — часть реальности, и они очень даже есть.

В те годы в стране бушевали мутные потоки разоблачённых событий прошлых лет. С предметами первой необходимости, вроде еды и одежды, было плохо, с работой и перспективами — непонятно, империя разваливалась на глазах, но дышать стало легче, поскольку коммунистический корсет на стране всё-таки лопнул. Альфред Шнитке по радио говорил, что симфоническая и рок-музыка наших дней через пару веков будут отличаться для потомков не больше, чем сегодня отличаются для нас Бах от Генделя. Потому что издалека будет виден стиль эпохи, объединяющий все крайности. До второго века третьего тысячелетия я, увы, не доживу, но в 90-х ироничный юрист Лев Давидович устойчиво сохранял душевное равновесие, как и специалист по древней истории Сергей Аверинцев. Вероятно, им уже был виден единый стиль эпохи — даже когда вокруг, казалось, случался полный разлад.

Через много лет я выиграла журналистскую стажировку на BBC в Лондон и получила возможность наблюдать работу виртуальных студий на телевидении. Это такая компьютерная технология, которая позволяет помещать живого ведущего в виртуальный ландшафт с нарисованными персонажами. Так делают фильмы, где мультипликационные и живые герои действуют вместе. Таким образом показывают прогноз погоды — на экране стоит живая барышня и водит ручками по карте мира, где летают компьютерные циклоны и прочие ветра, а на самом деле барышня показывает на фоне синей стены, а компьютерная модель накладывается отдельно.

На BBC все эти игры тогда любили и пробовали, и как-то мы вырулили на тему, что будет с ведущими телепрограмм по мере развития всей этой волшебной техники. Раньше ведущий — репортёр, журналист или комментатор — был ключевой фигурой в телевещании, потому что зрителям нравилось узнавать информацию от людей и человеческое ток-шоу слушать.

Но если вещание станет международным, то репортажную съёмку с закадровым голосом можно просто перевести на язык другой страны, а для передачи с говорящей головой нужно подобрать ведущего, который понравится новой аудитории. И что же будет? Африканцы предпочтут раскованного, экспрессивного чернокожего, скандинавы — белолицего корректного европейца, японцы — представителя жёлтой расы, знающего тонкости этикета Страны восходящего солнца, американцы — настоящего ковбоя, а русские — красавицу с выразительной улыбкой и умением одной интонацией донести до аудитории подтекст сообщения.

Можно ограничиться последовательностью репортажных съёмок с закадровым голосом, но такой формат зрителям будет довольно тяжело смотреть. Что выходит? Международным ведущим может стать только… анимационный персонаж без признаков расы, национальности и вообще принадлежности к каким-либо группам. Это такой Барабашка — не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. Но и тут не уйти от проблем. Любители кошек могут скучать, потому что Барабашка похож на собаку или птичку, а не на их пушистую любимицу, а сторонники серьёзных разговоров с людьми вообще не воспримут невероятного ведущего. В любом случае, понятно, что чем больше людей, тем больше главных героев, которые могут их вдохновить. Есть, конечно, звёзды притяжения — большинство любит Джулию Робертс и Ричарда Гира, но… на каждого героя всегда найдётся кто-то, кто скажет: «Фи, я это совсем не люблю, мне нравится абсолютно другое!»

После этого разговора я стала разглядывать лица на улицах, вспоминать актёров и знаменитостей, мультипликационных персонажей и животных и мысленно лепить загадочного Барабашку. Накупила кассет с мультиками разных стран в британском Музее кино, вернулась в Москву с калейдоскопом лиц, мордашек и физиономий в голове и заснула сразу по приезду.

Придя в себя, я позвонила Женьке и сказала: «Хочешь, приеду—покажу всякие мультики?» Приятель замялся, чего с ним раньше не бывало, и скованно объяснил, что да, конечно, приходи, только вот папа Лева вчера приехал из больницы. И они с мамой Олей не были уверены, с какого входа придётся его забирать. Так что отец, конечно, тоже будет рад, но он очень слаб и устаёт от гостей. «Да-да, я буду тихо»,—пробормотала я и взволнованно понеслась через площадь. Мы давно не виделись, но мне как-то никогда не приходило в голову, что папа Лева может умереть. Смешно, конечно, по-детски, но никто же не ждёт смерти Муми-папы или гибели Карлсона.

Лев Давидович лежал в гостиной на диване в подушках, ноги накрыты пледом. Он был так тих и слаб, что ему оказалось тяжело даже сесть перед телевизором. Мама Оля аккуратно и бережно следила за ним, улавливая желания, как это умеют только долго и хорошо прожившие друг с другом люди. Он облизал губы—она маленькими шажками идёт на кухню и возвращается с подносом и чашкой, споро подтыкает плед, поддерживает, поит, уносит, возвращается, помогает найти удобную позу, поправляет подушки—и снова следит, настроенная с ним на одну волну.

Папа Лева понимал, что дела его близятся к концу, и был спокоен: ни родным, ни мне не приходилось врать глазами и изображать ложное веселье. Всё шло очень тихо, но без какого-то особого страха и страдания. Обвыкнув в новой тональности знакомого дома, я стала видеть, что при своей крайней физической слабости папа Лева как-то легко и радостно светился: от него шло редкое и глубокое умиротворение. Я прислушалась к нему и рассказала про вкус мармелада на завтрак и детей в солнечных бликах на траве в Гайд-парке, а потом—про взгляд настоящего английского лорда и гигантские пространства типографий, рождающие шорох утренних газет. История проплыла сквозь замок с зеркальным прудом, мимо скалы в мохнатом тумане и затихла в ритме вечерних улиц, укутанная теплом шотландского пледа.

Папа Лева слушал, чуть улыбаясь, а затем откинулся на подушки и кивнул. Женька поставил видеокассету с мультиками, и первым на экране пошёл коротенький абстрактный шедевр Мак Ларена: цветные линии на меняющемся фоне, какие-то всплески точек, блики и разноцветные сияния. Я не стала проматывать, считая этот кусочек заставкой к следующим фильмам, а папа Лева задумчиво посмотрел на цветную игру экрана, чуть изумлённо улыбнулся и прикрыл глаза. Внимательная жена извинилась и бережно повела его в постель. На пороге гостиной Лев Давидович обернулся ко мне: я поняла, что мы видимся в последний раз. Он улыбнулся чем-то солнечным и лёгким и вдруг сказал: «А это интересно. Особенно мне понравился главный герой».

На следующий день я долго шлялась по зимнему парку на Воробьёвых горах. Было тепло, снег вдоль дорожек чуть подтаивал, а стволы деревьев стояли в инее, отчего лес казался седым. Я вышла к троллейбусу у смотровой площадки и увидела, как туман укрывает университет—были видны только ступеньки и… всё. Университеты кончились, остался только туман.

Подошёл пустой троллейбус, я в полудрёме доехала до дому, заварила чай и включила телевизор. И вдруг на экране возник Аверинцев, закадровый голос сказал, что сейчас он будет читать свою поэму «Орфей и Эвридика», камера наехала на странное лицо филолога, Сергей Сергеевич заскрипел, и… я всё увидела. Я почувствовала всё, вплоть до запаха и смысла подземного царства, до сути любви и контура щеки в роковом повороте. Когда слова закончились, я не могла вспомнить ни одного слова, но точно знала всё, что произошло. Я видела всё, потому что была там. Просто была—и всё.

Через несколько дней папы Левы не стало. Мама Оля прожила ещё год, потом квартира осталась без хозяйки и Женька женился. Молодая жена строго ограничила его гостевую активность, переписала на себя дачу и взяла под контроль доходы. Я зашла однажды на чашку чая, с трудом выдержала пустой разговор, выпросила у Женьки фотографию его отца и повесила дома рядом с той, на которой Надежда целует меня через платок. Рядом мой дед болтает на ступенечках дачи, прадед задумчиво смотрит вдаль из виньеток на старой бумаге, отец щурится от солнца…

У Льва Давидовича самый крупный план: он внимательно и спокойно смотрит на всё. Потому что знает, как тут всё устроено. Ему нравится главный герой.

Улыбка в наследство

В конце февраля 2003 года, ровно накануне Дня защитника Отечества, умерла моя бабушка Вера, полгода не дожив до своего 90-летия. Она давно болела, и, в общем, исход был понятен, но когда сорок дней пришлись на первое апреля, я подумала, как это похоже на неё—старушка была с острым характером.

Когда-то, накануне окончания школы, я пришла к ней в гости, открыла дверь своим ключом и стала раздеваться в передней. Моя семидесятилетняя бабушка, кемарившая под телевизором спиной ко мне, обернулась на шорох, вернулась в исходное положение и вдруг сказала: «Представляешь, идёт мне навстречу Анька в моих голубых перчатках и моей же голубой шляпке! Взяла и надела сестрино, вот нахалка!» Её сестре Анне в те годы было за семьдесят, она мало ходила, да и моя бабушка в голубых шляпках в те годы уж точно не разгуливала. Так что я, прыснув, спросила «Когда это всё было-то?» Старушка пожала плечами, удивляясь моей недогадливости: «Как когда? В 1934 году!»

«Ба, да ты настоящая женщина! Забываешь, куда сегодня положила футляр от очков, а помнишь про перчатки 1934 года»,—сыронизировала я, вытягивая ногу из сапога. «А у тебя клеточка-то—немодная!»—парировала бабушка, не оборачиваясь. Я посмотрела на свою юбку: клетка действительно была неудачная, и моя близорукая старушка засекла это с первого взгляда. А я в свои шестнадцать лет и с отличным зрением прошляпила в упор.

Бабушка понимала не только в юбках. Когда её дочь одновременно решила рожать меня и разводиться, согласие на диковинный шаг она испросила именно у Веры: молодой мамаше нужны были деньги и поддержка. Домостроевскую бабушку идея возмутила, мольбы не растрогали, аргументы не убедили, но потом что-то случилось, и она вдруг сказала «рожай!». Мать с бабушкой всегда была не в ладах, но точно знала, что Верино слово—кремень. И точно: старушка ни разу не подвела, хотя через два года дед умер, кормильца в семье не стало, а бабушка сильно сдала.

Я в младенчестве застала деда всего на пару лет и по рассказам знаю: когда он наклонялся над манежем, я блаженно щурилась, как на солнце, и млела. Народ приходил специально посмотреть, дед подходил к манежу и всегда вызывал тот же эффект. Я попыталась вспомнить эту улыбку, но не смогла. Историю знаю, а улыбку—не помню.

Я расстроилась и зарылась в старые шкатулки с фотографиями, письмами и всяким прочим наследством. Запутавшись в незнакомых лицах и записках, я решила восстановить историю жизни деда с бабушкой, чтобы вся эта каша приобрела вид связного воспоминания. Когда-то я расспрашивала бабушку, что-то записала, но потом бросила. Я нашла свои записи, разобрала шкатулки, обзвонила родню и наконец собрала всё воедино.

Любовь стремится
К источнику любви. Смерть
Ведёт туда же.
Я смотрю на фото и
Вижу необратимость.

Бабушка Вера родилась в 1913 году, её отец Василий Тихомиров держал обувные заводы под Тулой, был человек жёсткий, мощный и властный. В семье было шестеро детей и нянька-монашка, причём бабушка была второй по счёту—у неё была ещё старшая сестра Анна (та самая, что без спросу взяла в 1934-м голубые перчатки) и младшие братья и сёстры. Жизнь была богатая, купеческая, но строгая. Бабушка рассказывала, что мой прадед—её отец—за ослушание во время обеда мог ложкой по лбу дать, так что не балуй.

После революции прадед на какое-то время нашёл общий язык с советской властью, но в 1927 году его забрали на чёрном «воронке» и всё, что было, экспроприировали. Жену его посадили в тюрьму с «уткой», то есть тёткой, которая должна была её разговорить и выведать, не припрятано ли где ещё чего. Пленница проболталась, власти забрали оставшееся, и мать с шестью детьми осталась в нищете со статусом «Члены семьи изменника Родины» (ЧСИР). Бабушке было 14 лет, старшей сестре 16, остальным детям и того меньше. На что они жили в те годы, я не знаю: может, родня помогала, может… нет, не знаю.

Прадеду моему «пришили» антисоветский анекдот и отправили за Урал в ссылку на 10 лет. Жена к нему ездила, но семейной жизни уже, понятно, не было. Бабушка моя, которая даже на фотографиях самая красивая и решительная из всех детей, вскоре стала главой семьи. Статус ЧСИР делал удачное замужество для неё и сестёр проблемой. На старых фото лихая красавица Вера всегда сидит в окружении восторженных кавалеров, но мне она про те годы сказала: «Все ходили, да никто не предлагал—боялись».

Бабушка закончила инженерный техникум третьей руки, в который допустили дочку посаженного заводчика, и, кажется, даже нашла работу, как в 18 лет ей выпал лотерейный билет в виде состоятельного и высокопоставленного военного инженера, который, вероятно, имел достаточные связи в КГБ, чтобы позволить себе такой брак. Он наверняка был сильно влюблён, но, похоже, имел какие-то свои счёты с властью и потребность эпатировать её, так что брак имел для него двойной смысл. Однако сделка была честной, ибо благодаря бабушкиному замужеству все семеро ЧСИР получили средства к существованию и «прикрытие» от давления властей.

Так моя бабушка сменила фамилию Тихомирова на Петрова. С мужем она жила хорошо, даже свекровь её любила: хоть Вера и была с норовом, но если за что бралась, то делала по высшему классу. Сделав своей профессией семью, бабушка вела дом, как корабль, так что муж её не прогадал. Вера потрясающе готовила, шила и вышивала, принимала гостей. От этого брака у неё родился сын, мой сводный дядя.

На фото, сделанном через полгода после родов, статная красавица Вера имеет дивную фигурку с тонкой талией и пышным бюстом—и уверенный взгляд капитана.

Несмотря на голубые шляпки, веселья в тридцатые годы было мало: в 1937 году моему прадеду по завершении 10-летней ссылки дали «10 лет без права переписки» и он сгинул в лагерях. Говорят, второй приговор он получил за второй анекдот. Не думаю, что тогда для высшей меры ссыльному заводчику нужен была повод, но бабушка моя всю жизнь запрещала рассказывать даже детские анекдоты про Чапаева—не хотела больше рисковать. А у меня всегда, как назло, был длинный язык. Видать, в деда, но только дед мой—вовсе не её первый муж.

Во время Великой Отечественной войны Вера с сыном уехала в эвакуацию, а в 1943 году в комнату для прислуги ей подселили некоего учёного, которым оказался… мой будущий дед Пётр Алексеевич Петров. Бабушкин высокопоставленный муж разъезжал по своим делам и дома бывал мало. А у деда по тем временам из имущества была шинелька и диссертация. Он был отличный физик, занимался самолётостроением и для войны был человек достаточно нужный, чтобы дать ему «апартаменты» в комнате для прислуги у приличных

людей. Но он был нищий, как и положено учёному, тем более что шли военные времена.

Его отец, мой прадед Алексей, был статский советник, дворянин, известный психиатр. Человек большого ума и широких взглядов, он получил своё дворянство за заслуги перед отечеством, а не по наследству. Отец его был кадровый офицер, понятное дело, царской армии—в его времена другой на Руси не было. В 1917 году мой прадед-психиатр трезво оценил ситуацию в стране, но почему-то уехал из Москвы не в Париж, а в Братск, где не было ещё Братской ГЭС. И никого не было, кто мог бы сдать его властям. Женат он был на своей дворовой девке—видать, по любви. Дед совместил отцовский ум с материнской весёлостью и в малолетстве на вопрос «Петенька, хочешь на горшочек?» почтительно отвечал: «Как хотите, маменька». После школы прадед отправил его учиться в Питер и повелел жить в рабочей семье, чтобы мальчик узнал простую жизнь на своём опыте.

Дед мой оказался хорошим инженером, занялся вопросами турбулентности, потом авиацией. Во время войны был, говорят, вызван лично к Берии для разговора о важности научных задач в военное время, но и после этого визита продолжал рассказывать рискованные анекдоты. В семье после него остался, например, поэтический шедевр «Огурчики-помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике».

В военные же годы, живя в комнате для прислуги, дед мой приглянулся моей бабушке—и в 1944 году она внебрачно родила от него мою мать. Дед Петя был на тот момент женат, но с женой вместе не жил. Когда бабушка забеременела, дед развёлся с бывшей женой по почте, послав открытку в ЗАГС. Почему-то это было так просто. Когда Вера родила дочку, её муж, увидев новорождённую девочку с чужим выражением лица и высоким лбом, всё понял и тоже повёл себя просто: сказал, что оставит жену с любыми детьми. Однако бабушка моя стала добиваться развода: видимо, муж её просто раздражал. На любых условиях.

В ответ супруг упёрся и в разводе ей отказал, благо в те годы был закон, по которому при наличии детей бабе приходилось сидеть в браке, если муж не отпускал—так в послевоенные годы Сталин пёкся об увеличении деторождаемости. К чести упрямого благоверного, он записал внебрачную дочь на свою фамилию, дал ей своё отчество и всегда относился хорошо, так что у моей матери остались от него только тёплые воспоминания.

Дед мой угла своего в Москве в то время не имел, но ему обещали квартиру после защиты докторской. Бабушка, судя по письмам, очень хотела Петиной защиты, а он, как назло, стал романы писать. Дело могло затянуться, но креативный дед вступил в переписку с известным писателем Вересаевым, и тот ему сказал: «Можете не писать—не пишите». Дед, истинный физик-экспериментатор, тут же попробовал—и писать бросил.

В результате в 1948 году он с блеском защитил докторскую, и ему дали квартиру в Москве. Бабушкин муж заявил, что в случае развода оставит сына себе, но решительную Веру это не остановило—развод оформили, сына оставили с отцом, а моей пятилетней матери объявили, что настоящий папа у неё совсем другой. И пока она осваивалась с этой новостью, дед с бабушкой наконец поженились. Оформляя развод, бабушке не пришлось даже менять фамилию: её новый муж, как и старый, имел «редкую» фамилию Петров.

Петя жил своей наукой, но к жене и дочке относился нежно—по старым фоткам это видно. На моё счастье, когда-то моя восьмидесятилетняя старушка, которую уже мучил старческий маразм, сосредоточилась и рассказала мне, как в 1948 году после долгожданной регистрации дед повёз её в свадебное путешествие в Питер. Пошли они по Невскому, ручка за ручку, а Петя задумался про свои интегралы и про бабушку Веру забыл. Она его зовёт, а он не откликается. Она ручку вырвала, а он идёт и думает про своё. Она пришла в «Асторию» и плачет. А он через полчаса вернулся со своей научной прогулки и говорит: «Верочка, что ты плачешь?» Она говорит: «Ну, как же, ты же не отвечал мне, ты меня забыл, ты меня потерял!» «Да—говорит дед.—Разве?»

Моя строгая старушка рассказала всё это с нежной улыбкой. А я, выслушав этот рассказ, примерила его на своих приятелей и возмутилась: «Да как же ты с ним после такого безобразия жила?! Это ж раздражает!» «Что ты»,—сказала бабушка, и её лицо смягчилось ещё больше. «Он был такой…—она вздохнула и прикрыла глаза—…умный!» «Зачем тебе, бабушка, его ум, если он тебя теряет?!»—возмущённо выпалила я. Но Вера тогда только улыбнулась мягко, наклонила голову и потрепала меня по плечу.

По рассказам матери и разных знакомых я знаю, что Петюня—как она звала деда—был для бабушки Веры «всё». К его приходу с работы дом сиял, ребёнок был переодет в чистое, а стол накрыт. Каждый выходной обед был представлением, каждый выходной—театральным шоу. Дед хорошо зарабатывал и по дому ничего не делал, бабушку это устраивало—она могла построить хоть продавцов на рынке, хоть сантехников из ЖЭКа.

Я ходила с ней на рынок, она величественно указывала на персики или помидоры и спрашивала: «Почём?» Продавец говорил, например: «Шестнадцать!» На что Вера отвечала: «А чтоб тебя на шестнадцать частей разорвало!»—и разворачивалась уходить. Продавец либо падал за прилавок в шоке, либо, к моему удивлению, бежал за бабушкой и кричал: «Ну скажи, сколько?» Она величественно торговалась, отбирала лучшее, брала, платила и уходила.

А я держала корзинку, в которую всё это складывалось, и млела. И всё же для бабушкиной энергетики явно не хватало домашних занятий: не имея других возможностей выразить свою любовь к деду, она до хруста крахмалила покрывала и украшала ими мебель в квартире. А потом очень пеклась, чтоб всё было красиво и не помято. А я вечно садилась, подмяв ногу под себя, и пачкала крахмальную красоту. Бабушка ругалась и шла стирать.

Дед приходил с работы и тоже нарушал идеальную красоту, потому что сразу устало ложился на диван с крахмальным покрывалом. Вера причитала в полном конфликте со здравым смыслом: «Петя, не лежи на диване — покрывало помнёшь!» Петя, не вставая, иронизировал: «Действительно, как можно лежать на диване? Диваны вовсе не для этого! Иди сюда, я тебе покажу, для чего нужны диваны!» Бабушка, опомнившись, махала на него рукой, смеялась и с криком «Петя, не при детях!» бежала к плите — нести ужин. Наверное, дед понимал, что колом стоящее покрывало и прочие глупости — это форма её любви. И не сердился. Он вообще практически не сердился, потому что был — чего уж там — очень умный.

При этом нельзя сказать, что дед был смирный. Он, вообще-то, любил диспуты: во времена его учёбы политические вопросы ещё обсуждали, так что можно было дискутировать о революции от лица Ленина, а можно — от лица Троцкого. «И плохо было Ленину, когда я был Троцким!» — говорил дед моей матери, рассказывая про свою студенческую юность. А вот с бабушкой он не конфликтовал: считал, что раз согласился жить вместе, то незачем препираться. Поэтому, наткнувшись на какое-нибудь странное женино убеждение, он изумлялся, как настоящий учёный, и искал в нём смысл. Если находил, не перечил.

А если не находил, то ловко иронизировал. В начале пятидесятых его лечил Певзнер, который попал под «дело врачей». Бабушка внимательно следила за мужниным здоровьем и доверяла хорошему врачу, поэтому за праздничным столом не позволяла деду есть острое, приговаривая: «Не ешь этого, Певзнер не велел!» Дед улыбался и парировал: «Ну, Верочка, он же врач-вредитель!» — и подмигивал ей. Бабушка махала на него руками, но перечить переставала: она боялась политических разговоров.

Дед, похоже, вообще мало волновался, а больше делал и шутил. Когда у меня долго не резались зубки, бабушка стала тревожиться, а дед невозмутимо сказал: «Ничего, протезики вставим». У него в это время тоже вставала проблема с беззубым ртом, только у него зубов уже не становилось, а у меня ещё не было. Потом у меня зубы прорезались, но в полтора года на даче я дала вспышку аллергии с температурой под сорок. Все переполошились, а дед объявил, что эксперимент был не чистый и его надо повторить, то есть дать все подозреваемые продукты по отдельности и найти аллерген. Бабушка грозно заявила, что это произойдёт только через её труп, Петюня кивнул и втайне от неё вместе с моей матерью аккуратно провёл эксперимент. Выяснилось, что виновата клубника. С тех пор лет до двадцати пяти я на неё только смотрела. А потом аллергия прошла, и теперь я её уплетаю безо всяких последствий, даже странно.

У деда было всего две ситуации, когда они с бабушкой не договорились. Дед отказался покупать дачу, сказав: «Моя жена на грядках горбатиться не будет!»

Заработки позволяли ему снимать любые фазенды, но бабушке хотелось своего имущества, и как-то она упёрлась, взяла деньги с книжки и пошла в дедов профком покупать вожделенную дачу. А ей там и говорят: «Вы домохозяйка, вам нельзя». И дед выиграл этот спор без слов.

А ещё он без слов выиграл спор про социальную справедливость. Дед руководил лабораторией в знаменитом физическом институте, делал какие-то важные проекты и регулярно получал государственные премии, которые мог брать себе лично, но считал достижением всей своей лаборатории.

Поэтому одну премию он нёс домой, а следующую раздавал всем, включая уборщиц. Жене он просто об этом не сообщал, точно зная, что хозяйственная дочка обобранного Советами заводчика не поймёт логику дворянского сына, специально выращенного мудрым психиатром в рабоче-крестьянской обстановке. Моей матери, когда подросла, дед объяснил, что считает это правильным — и всё. Мать поняла.

А вот другой дедов секрет — не поняла. Она рассказала как-то, что однажды, ещё до моего появления на свет, она с моим отцом повздорила. Когда разговор перешёл на повышенные тона, дед вышел из соседней комнаты и сказал: «Если женщину любишь, ей прощаешь всё!» На возмущённый вопрос зятя «Как всё?» повторил: «Всё!» — и ушёл в свою комнату работать дальше. Вот так! Видно было, что мать с гордостью считает это правило верным только для мужчин. Может, поэтому своего отца я никогда не видела. Судя по её истории и по жизни деда с бабкой, это двустороннее правило. Иначе — не работает.

Я уверена, что бабушка догадывалась про дедовы премии — уж очень была сметлива. И уж точно нервничала про его политические анекдоты, сердилась, когда диссертацию долго защищал, и злилась, когда дачу не дал купить. Способная двадцать лет с возмущением помнить заимствованные сестрой на день голубые перчатки, она никогда не рассказывала о Петюне ничего плохого.

Что ещё добавить? Когда я в последний раз говорила с бабушкой, то почему-то спросила, любила ли она деда. Она пожала плечами, улыбнулась и ответила: «Не знаю». Мне тогда ответ показался странным, потому что я волновалась про слова. А сейчас вспомнила эту улыбку — и поняла, как сама смотрела на деда из манежа. Улыбка поднялась из глубины и вышла, наконец, на поверхность лица.

И это всё?

Всё.

Александр Командин

Растут стихи…

Что-то я всё сплю, да никак не проснуться.
Проснусь — всюду утро. Просто. Как всегда.
А мне хотя бы словом к тебе прикоснуться,
Только я молчу, а из глаз всё вода.

Кончилась ночь — так о чём же в ней пелось?
До смерти хочется жить, да только с тобой.
А больше никогда ничего не хотелось.
Я знаю, всё пройдёт, снимет, как рукой.

Слова — серебро, да молчанье первее.
Встал да умылся — вот и весь сказ.
Если ты рядом, я тебя согрею,
А если далеко — помилуй, Господи, нас.

Оставшись там, где ты так далеко,
Где ничего ничто не предвещает,
Где тяжело дышать, писать легко
И рот слова неслышно выдыхает.

Где падает гостеприимный снег,
Где лёгок свет в любое время суток,
Где я, небритый глупый человек,
Теряю незначительный рассудок.

Где так несложно деньги брать взаймы,
Идти по набережной, облака считая,
Почти дыша, как раньше вместе мы…
Строфа закончилась, открытая, простая.

Так пробуй воздух улиц прописных,
Глазами вниз, не глядя на прохожих.
Выхаживай последний лёгкий стих
В сердечных сокращениях несложных.

Постскриптум сердца, маятники дней
И губ закрытых словосочетанья.
Дышать невозвратимей и больней
Негромко улыбаться на прощанье.

И на сырую лавку с краю сесть,
Хлебать пустое пиво постепенно,
Так счастливо, как будто, правда, здесь
Любовь бессмертна, а стихи нетленны.

Поэт ждёт музу, искрится в бокале вино,
Вдохновенье коснулось его изумлённых глаз.
Не знаю, придёт ли она, я знаю только одно:
Глагольная рифма переживёт всех нас.

Чем ближе утро, тем светлее свет,
И всё, что было, — было, да и нет.
Слова растут, нелепые, большие.
На кухне кран прекраснейше фальшивит.
Спасибо, чай, что я тобой согрет.
Мои слова — эпиграфы к молчанью,
И строчка обрывается случайно:
Чем ближе утро, тем светлее свет…

Пустой январь на плоскости стола
Случайные вымучивает строки
И раскаляет пальцы добела,
И белые стихи, легки, глубоки,
Закончились. И чёрным всем конец
Приходит поздно или рано, точка,
Черновики забыты все дотла.
Кормить огонь с руки куском листочка,
И ни печали больше нет, ни зла,
И в сердце тлеет, бьётся, дышит строчка.

Я сызмальства из тех, кто скромен адски,
Неповоротлив, боязлив и тих.
Люблю читать ритмические сказки,
Вынянчивать розовощёкий стих,
Который не решусь предать огласке,
Жалея современников своих.

Д. Мурзину

Процент стихов чудовищно мал,
Процент налогов высок.
Поэт и пить, и дышать устал
Глотке своей поперёк.

Поэт смеётся, поэт молчит,
Рифмы нахально спят.
Но Бог надёжно стихи хранит,
И рукописи горят.

Беспросветная ночь обнимает за плечи.
Эта ночь осторожна, бездонна, чиста,
И пуста, и проста, и рассвет безупречен.
Только слово споткнулось на кромке листа.

Нечего жить, каждым вдохом длиннее зима.
Я бы работать пошёл, только нет трудовой.
По расписанию пить, не сходя с ума,
И по утрам безнадёжно страдать головой.

Глупое сердце всё так же стучит о тебе.
Как объяснить? Как ребёнку: «Наш котик сдох».
Глупое сердце изнашивается при ходьбе.
Нечего жить, за выдохом следует вдох.

Жизнь кончилась, другая началась.
Я не припас обратного билета.
И водки вышел годовой запас,
А счастья нет, как водится, и нету.

Одни стихи остались у меня,
Растут слова неведомо откуда…
А мне б ещё разок тебя обнять,
Но я не буду.

Всё у меня хорошо, как всегда, насовсем.
Как у тебя? Я устал разговаривать в рифму
В пыльной коробке привычно приветливых стен.
Бумага впитала густую межстрочную лимфу.

Больше сказать тяжело, да и нужно едва
Жизнь утруждать, себя пересказывать снова.
Всё, что мы скажем друг другу,—слова,
Между которыми нет ни единого слова.

Я улыбнусь холодными губами—
И снова исчезать куда-нибудь,
Молчание подкармливать словами
И воздухом—свою худую грудь.

И ты идёшь, ослепше и молчаще,
Взгляд поднимая к лицам фонарей.
И снег идёт, бессмысленно хрустящий,
Всё холодней, всё дальше, всё быстрей.

Вдыхая выдох, выдыхая вдох,
Пишу стихи тебе из ниоткуда.
Вся водка вышла, а портвейн так плох,
Что больше пить, пожалуй, я не буду

И меньше тоже. Кончились слова,
Хотя писать, казалось, только начал.
Уходит свет, проходит голова.
Глаза, незарифмованные, плачут.

Я воздвиг себе памятник, или два.
Я не помню где, и стихи безлицы.
Изо рта выскальзывающие слова
Не помогут сердцу остановиться.

Рано утром стихи вызывают дрожь,
Учащённое сердцебиение или хуже.
После этих строк ничего не ждёшь…
А разве мне было хоть что-то нужно?

Тяжело вдыхать, что выдохнул. Я привык.
Нестерпимый свет глаза мне обжёг на славу,
Но пока во рту шевелится родной язык,
Выдыхаю стихи, набело и шершаво.

я не могу так больно говорить
здесь только осень жёлтый свет снаружи
растерянные листья тихо кружит
и тускло спят по лужам фонари.

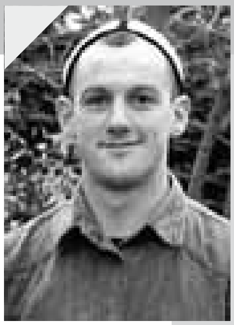
Кончается сигарета. Дыханье всмятку,
И душа закашлялась жить вприсядку.
Сигарета кончилась. Больше нету.
Я бросаю курить. Я сижу без света.

Никого со мной. Зашторены шторы,
И молчат неистово коридоры.
Так и я молчу, я имею право
Сохранить молчание кучеряво.

Вот сижу, молчу и размер ломаю.
Губы открываю, губы закрываю.
Стены белые пахнут близостью, пахнут известью.
Неужели я мусор, который забыли вынести?

Как мы жили тогда в этой гавани гиблых поэтов,
Ничего не сказав, до крови разодрав паруса?
И дождём по губам начиналось бездомное лето,
Зачеркнув имена, тишиной заглушив голоса.

И мы шли навсегда, каждым шагом всё ближе к рассвету.
Мы так ждали рассвет и просили тепла, как могли..
Как мы жили тогда в этой гавани гиблых поэтов?
Мы писали стихи. А после, как водится, жгли.



Руслан Сидоров

А помнишь, как апрельской ночью…

Там, где в траве лежал велосипед,
Скамейка—два пенька, доска меж ними;
Где паровоз классический сипел
И проносился мимо в млечном дыме;
Где сросся со скворешней старый клён,
Опавший осенью, поздней—заледенелый;
Где думал, что влюблён (и был влюблён);
Где снег ложился, белый, белый-белый,—
Там всё по-прежнему: лежит велосипед,
Под клёном двое мнутся неумело,
Скворешни с паровозом только нет
И белый-белый снег—не белый.

Всю ночь курил и вслух бранился,
Бросая недочитанный журнал,
Чтоб осушить глаза. И начинал,
Точнее, продолжал. Супец варился.
По-русски. В русской печке. Сам собой.
Всё закидал. Поставил. Утром кушай.
Роман же продолжался. Про любовь,
Про нас с тобою. Будто кто подслушал.
Как будто кто со свечкой подсмотрел.
Как будто в душу кто залез и вынул
Заначки все (ну хоть бы половину).
Всю ночь горел, как шапка на воре.
Всю ночь курил, тихонько матерясь.
Роман же хэппи-эндом завершился.
Ну слава богу! Это не про нас.
Супец готов. Наваристый, душистый.

Январь 2003

Неброский блеск луны и снега
Как незатейливый мотив
Молчания—земли и неба.
И лес заслушался… Затих.
Свет серебра—неслышный голос,
Жемчужный отсвет—диалог.
Лишь бархат бересты колонн
Волнует тишину и холод.

Стоящий посреди зимы
Перед зачётом вне предмета
Берёт у вечности взаймы
Уроки холода и света.

Я вспомнил: мне снились опята
И кто-то такой молодой,
Ни разу ещё не женатый;
Я вспомнил, как первый ледок
На лужах, на жёлтых лужайках
Хрусталиком звонким хрустел;
Опята в лукошке лежали,
И ветер свистел в бересте.
Я вспомнил гранат костяники—
Холодный и кислый огонь,
И кедры, и пихты меж ними,
И воздух, сцежённый тайгой;
Замшелый и влажный валежник,
Дворец муравьёв в полный рост,
И золото солнца прилежно
Рассыпалось в рос серебро.
Я вспомнил: он шёл, притомившись.
Калёную воду в реке…
Я многое вспомнил, помимо
Когда это было…
…и с кем.

Что бесхарактерность?—пространство, а характер
Лишь линия в пространстве. И кораблик,
Что по дуге торопится до порта,
Допустим, будет первым мастер спорта.
Бесспорно, предостаточно—но всё же
Сама возможность, что представить можем
Прибытье в порт, сам порт, портовый город,
Портвейны, порно или же другое:
Библиотеки, залы, оперетту…
Пойти туда и взять с собой вот эту;
Потом семья, потомки… делать дело,
Рост знанья, состоянья, билдинг тела…
Вот чёткая и честная черта
Из точки в точку. Точка. Пустота.
Ведя дугу в пространстве: «А что, если б»—
Что я могу? Я солипсуюсь в эллипс.

Из нас собрали батальон,
Мне дали старый «ундервуд»,
Шинель без розовых погон —
Таких давно уже не шьют.

Мы прошагали на перрон,
Оркестр сыграл нам бодрый туш,
И юный ротмистр Бальмонт
Нёс романтическую чушь.

И мы заполнили вагон,
И «брехунок» оповестил,
Что поезд на Парнасский фронт
Отходит с третьего пути.

Ходили фляжки по рукам,
И пахло в тамбуре травой.
Седой полковник Мандельштам
Молчал нам о передовой…

Прошли года, а не война —
Кто вышел в чине, кто погиб,
А кто сказал: «а на хрена?»
И от своих побег к другим.

Передовая, тишина…
Парнасский фронт ночами тих,
И поседевший старшина
В хрущёвке тесной пишет стих.

Он собирает свой призыв
В опавших памяти листах.
Не удержав хмельной слезы,
Строфу он составляет так:

«Из нас собрали батальон,
Мне дали старый «ундервуд»,
Шинель без розовых погон —
Таких давно уже не шьют…»

Сирень сизокрыла, и семь голубей —
Как крупные гроздья под ней понарошку,
Щекотно клевали от булочки крошки
С ладони моей и ладошки твоей —

С той розовой, ласковой, узкой ладошки,
Которую только что дождь целовал.
Неделя для счастья — достаточно долго,
Особенно если живёшь однова.

Тебе было только шестнадцать тогда.
Недетская женственность, опытность крови.
И ночь, разметавши, срывала покровы,
И снова взрывалась сверхновой звезда.

Семь дней, семь ночей и четырнадцать зорь,
Лазоревых зорь сизокрылой сирени.
Неделя для счастья светлей и воскресней
Бракованных лет, обручённых слезой.

Сирень сизокрыла, и семь голубей
Щекотно склевали от булочки крошки,
И плыли по лету в плену тополей
В ладони — ладонь.
Нет — в ладони ладошка.

Отдыхаю в деревне, варю картошку
Да вдыхаю озон с табаком вперемешку.
Забываю город, работу, более
Того, я забыл про горе.
Каждым утром по лесу бегаю кроссом.
Пахнет августом, армией и берёзой.
Без будильника точный подъём в полшестого.
Идут на выпас коровы,
И мычат, и чешут бока об заборы,
И хозяйки кладут хворостины с прибором.
А в тумане — знаешь, как голос гулок…
Подъём. Ровно в шесть — бегу я.
У меня под участком течёт речушка,
И как только из лесу возвращусь я —
Два ведра на грудь, в самом лучшем смысле, —
Разом усталость смыли.
И такой мажор, будто это — счастье.
Заварю покрепче и выпью чая.
И такая вкусная первая «Прима» —
Даже не знаю прямо…
Денег нет, но нет и проблемы, что покушать:
В огороде растёт любая петрушка.
Сигарет и чаю привёз бессчётно,
Книги есть, а чего ещё-то?

А потом мне расскажет своё Бертран Рассел.
Мы уже добрались с ним до Мора с Эразмом.
Сам себе удивляюсь: мне всё понятно,
Чернеют белые пятна.

А когда стемнеет, курю на крылечке,
Наблюдаю звёзды сквозь дыма колечки.
Подойдёт овчарка, щёку полижет
И рухнет ко мне поближе.
Одиночество, знать, и собакам знакомо.
Мы вдвоём, прижавшись, молчим о ком-то.
Или ни о ком, просто так молчим мы.
Чистое небо лучисто…

«Мы все подохнем к концу апреля», —
Сказал капитан. И все согласились.
И льды, в которых мы напрочь сели,
Не издевались над нашим бессильем,
Бело молчали. И мы молчали.
И вдруг, точно выстрел, — щелчок затвора.
И тогда я увидел глаза майора —
Голубые. Без страха и без печали.
И, точно в замедленном кинофильме, —
Ствол карабина, идущий к горлу,
А шомпол — к курку… И острою бритвой —
Крик капитана: «Отставить!… Майор, Вам
Должно быть стыдно. Ведь Вы на службе.
Жить и работать! Приказ Вам ясен?»
И коку: «Удвоить паек на ужин».
И тихо боцману: «Он не опасен».
Майор, пошатнувшись, прошёл меж нами.
Потупившись, мы на него не смотрели.
И вновь капитан: «Я вам напоминаю.
Мы все подохнем к концу апреля».

Мир знал до человека о себе
И ныне сохраняет это знанье.
И что ему до суетных созданий,
Взыскующих до истины небес,
Что вызвали в помощники богов,
Придумали какую-то науку—
Наверняка—Большое Ничего.
Тщета. Стрельба в созвездия из лука,
Пожалуй, плодотворней. Ведь она,
Та Истина, коль есть,—нечеловечна.
Не потому ль так лыбится луна,
За нами наблюдая каждый вечер.
Ничтожный хохотунчик ручеёк
Об этом валуну звенит руладой.
А Тишина стоит, хранит Своё
Так было. Есть. Так будет. И так надо.
А может быть, Луна, Валун, Ручей
В какие-то довременные дали
Соскучились и вывели созданье,
Чтоб посмеяться было им над чем.
Чтоб радоваться милой толкотне
Слепых кутят, дурашливых, безвредных.
Не потому ли именно Луне,
Воде и камню… поклонялась древность.

А помнишь, как пахли опилки
На маленькой пилораме,
Как они жарко вспыхивали,
Как дрова разгорались

Быстро (как ты) и весело,
Как пела печка протяжно,
Как первые звёзды вечера
Подмигивали нам влажно…

А помнишь топчан, сколоченный
В три плахи сухого кедра,
Широких (но узких ночью),—
Три скрипки в серьёзном скерцо…

А помнишь, как утром завтракали
Дарами тайги и речки:
Октябрьскими карасиками,
Последними сыроежками…

А баньку по-белому тёмную,
Не знавшую электричества,
С тайгой и рекой за стёклами,
С любовью (Её Величеством).

Ирина Перунова

Мотыльковая душа

1.

Эта спесь золотая сиротства
Завтра вороном-змеем взовьётся.
Этой знойною тропкой изыска
будто волки кромешные рыскать.
Искогтят твоё сердце, источат,
и нечаянно выдохнешь: «Отче…»

2.

Ещё я буду сиротеть
под древний треск камней и молний,
а он уже умеет петь
тем сокровенней, чем безмолвней.

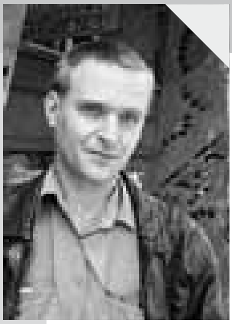
Ещё несросшиеся сны
мою пытают непоходку,
а он уже со дна весны
подъял затопленную лодку.

И не прощается со мной,
но сердцем дальний берег помня,
он правит жизнь свою домой:
чем безоглядней—тем сыновней.

Отчего всё труднее дышать?
Будто небо горит на горе,
Мотыльковая кружит душа
В коммунальном своём фонаре.

Я роднее не вспомню лица.
На последнем живом этаже
осыпается с неба пыльца
и не трогает душу уже.

Только там, где кончается день,
Начинается что-нибудь—пусть
Просто облака лёгкая тень,
При дороге оттаявший куст.



Александр Петрушкин

Омега всех одиночеств

Александру Павлову

лучшее что случалось это вагоны
те в которых едут молчать потому что
наговориться успел под завязку до горя
выпустите меня в кыштыме
или в последнее море

всегда ощущал москву как дорогу в гадес
посередине последний коцит—садовый
омега всех одиночеств большая малость
яблоко которое висит над водкой
я—знаешь?—в доле

на бмв доплывает харон до дома
гладит по голове сына как я в вагоне
узнавая на ощупь совсем немосковский стыд
не знаю что там говорит про любовь и братство
кент с балканской звездой и их диалекты
на выходе в тамбур или в жидкий Аид

он рисует нолик мир нарисует крестом
по мокрому и земляному взлетают рельсы
главное умение говорить с завязанным языком
до—посредине—и главное после смерти

переносится на взрыв время снега шесть часов
переплёты и плетень перелёт улёт под лёд
птица тянется к земле—в небо корнем от корней

в городе пяти церквей—пятый ты
стоишь и мёрзнешь
в окружении рублей

ловишь маленьких людей
голос для трамвая
просишь

обещай мне молчать только ты так умеешь (молчать—
это речь говорить про себя эту речь
исчислять

мы устали но есть соответствие в этих печах
у морозов кирпичных молчать обещай мне
молчать)

обещай мне молчать этот страх обучает за речь
переходим на выдохе голос медвежий
который беречь

обещал нас молчать обучал и не голову с плеч
и когда ты перечишь ей весь
обретаешь всю речь

по главной улице пешком
как буратино—перечтём
пересчитаем щебет—вверх
так вычитает смех наш смерть
неизмеримая тоска
не выбирает берега
где нас читает смерть сквозь смех
перебирая лапой снег
собака ходит через тьму
которую я не пройду
по главной улице пешком
где нас проговорит на том
невнятица доязыка
неизмеримая доска
чтоб вычитая смерть и смех
проговорить себя наверх

о филонове други и о
всё хоругви или бирон

всё пробитая в финики пермь
о филонове то есть не смей

о забвении в голод и в два
лик телка где приходит река

свысока с высоты шестикрыл
это снег нас подземный поил

посоли его полную плоть
о филонове шепчет нам крот

из земного из хлебных корыт
будешь здравым коль стынешь убит

поднимается мёрзнущий дым
через лимб через край через крым

через крынку как мать молока
задевают нас всех облака

о филонове кухня стоит
за тебя—за меня говорит

перечиркнутый спичкой курлы
и ни в чём виноваты скоты

у филонова в лапках стоят
плоть от плоти неспешно едят

а притронешься и отойдёшь
всё перечишь—но не клюёшь

смотришь в их занебесный майдан
и растёт как кыштымский курган

дорогой мой мальчик
перерезал пальчик
переехал город
вот тебе и повод

что ни вор то рядом
что ни дом то в птице
не летаешь помнишь
а не спишь и снится

мы смотрели на свет
тот который снаружи
внутрь смотрел говорил:
не бывает в себе

побывавший с другой
стороны обнаружен
тот который хиджаб
тот который рабе

мы смотрели на свет
свет смотрел по другому
языку называл
вещи или углы:

сын ест дым
дым проходит под кожу
и плывут за рекой
по младенцам гробы

мы смотрели в язык
языки были наши
но язык говорил через нас
свой язык:

мы смотрели в ростки
из распаренной пашни
и росли из торфяника
вверх языки

не бывает в себе
свет смотрел по другому
то ли речь то ли прах
всё раскрошено вдоль

а вода протекает
из лобных и впадин
увольняет себя
и идёт Чусовой

идиот или нет
а еврей или тоже
но плетёт изнутри
разжигая войну

амз или свет
на иглу и прощенье
улыбаясь молчит
каждый как своему

Господи, что тридцать шесть просили,
оказались дальше от России
от Урала и т. д. Что дальше?—
кажется: таджики и асфальтом

вертикально залитое поле
(на полях—денщик и нет убоя
большего, чем нам дано. Раздолье,
но и тело выглядит убого.).

Господи, смотри в глаза мне—сколько
надо говорить, чтобы молчать?
Оказался дальше, чем скинхеды,
и за всё придётся отвечать.

Перед этим Томском и Свердловском
если стыдно,—значит повод важен;
Спирт без языка
совсем не страшен,
и таджик везёт меня назад

Господи, огромны километры и таджик.

Как речи Уфалея
Нижнего и Верхнего под кожей—

Кровоточат ангелы.

Молчат.

на то смиренный человек клюёт ранетки с мёртвых яблонь
засматриваясь в водный крест и в прорубь
перечёркнут за день

он пересматривал себя—пока за мышь возилась вьюга
метель себя переждала и переплавила
испуга

предвосхищенье—он входил под своды тёплых снегопадов—
чужой еврей—степной калмык—
и большего уже не надо

на то смиренный человек пересчитал свои убытки
и Бог смотрел из всех прорех—как ленин
в первомай с открытки

он пересматривал своё: хозяйство тёмные дороги
никчёмное но ремесло ранетки
высохшие ноги

он перемалывал себя переменял себя и льдины
вдоль чёрных яблонь и пруда
горелой глины

на то смиренный человек клевал свои прорехи богу
и холод говорил как смех но
по другому

нельзя и всходит из воды как сталь сквозь овны
всё тот же точный человек
ранету кровный

37
вернуться в дом когда смотри сотри
окаменело пламя говорить
и 37 наотмашь бьют часы
и хлеб растёт из хлебных горловин
вернёшься в дом и не простишь когда
страшишься кожи смерти и себя

умеришь (прыг!—отмеришь семь сорок
на стаи мир поделишь всех потом)
и потом отмороженным своим
тебя коснутся из шестой строки
твои три персонажа—идиш твой
всё чаще перемигивает вой

вернёшься в дом—на полку—в подкидной
играешь с огородами—с одной
…как хорошо голодным в тридцать семь
часов вставать или прилечь совсем
в доселе проницаемую смерть
вернёшься в дом а дочитать ответ

не провернёшься—яблочная синь
резина или воздух сам горит
на семь третей нас делит и следов
найти не можешь (но на всё готов
нас ангел провести а изнутри
он с немотой своею)

говори

Обыкновенная страна—ты понимаешь?—
в вагоне едешь и вагон стираешь;
вагон стирает—небо на полоски—
на всё предсмертие тебе даны наброски.

Вагон уже почти летит—почти читает
и пассажиров сверху вынимает
кривой одной или свинцовой рельсой—
что хоть умри, что в Троицке развейся.

В одно предсердие—со мной покойник едет
помятый, что Чермет на понедельник,
не говорит (и говорит) молчанье,
как будто знает Бог о нас заране,

как будто смерть не начиналась вовсе,
и всяк покойник рядом, и их восемь.
Обыкновенная страна—не просыпаясь—
как видит смерть: как будто удавалась

нам только смерть. Ты говоришь соседом
вагонным:

смерть горит
велосипедом.

Степан Рыжаков

Переговорам в Атагах

Аты-баты, шли солдаты.
Проклинали жизнь свою.
Как нас предали когда-то,
Дай гитару! Я спою!

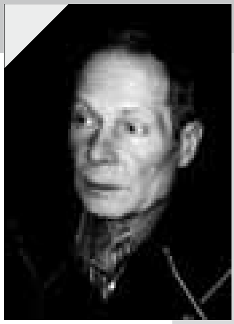
На могиле мать рыдает,
Не унять её тоски.
Холм могильный обнимает,
Сердце рвётся на куски.

Ну а те, кто жив остался,
Помнят Грозный да Бамут,
И Самашки, где ругался,
Погибая, лучший друг.

Помнят все… Как вши съедали,
Раны стыли на груди.
И как вешали медали
Тем, кто не был впереди.

Нас в стране не привечают—
Неугодные сыны.
Дни войны не отмечают.
Дня Победы лишены.

Аты-баты, шли солдаты.
Проклинали жизнь свою.
Как нас предали когда-то,
Дай гитару! Я спою!



Юрий Беликов
Владимир Зубков

Ванна начала XX века, или Чаепитие с принцессой Прусской

Разговор с обладателем «авантюрного гена», потомственным дворянином Владимиром Зубковым

С племянником «великого авантюриста» я был знаком шапочно. Причём выражение «шапочно» носит здесь буквальный смысл. Мы сдавали шапки и верхнюю одежду в гардероб. Шевелюра у меня была взлохмаченной, а расчёски не оказалось. И вдруг со мной поделился собственной расчёской Владимир Зубков. Через зубья этой расчёски меня словно щёлкнуло электричеством! Так какой-нибудь незначительный предмет становится ключиком к давно минувшей истории.

Когда-то таким же образом в Бонне поделился дальний родственник брюками с Александром Зубковым, поизносившимся на чужбине и ещё не вошедшим в книгу «100 великих авантюристов», но уже получившим нечаянное приглашение на чай к вдовствующей принцессе Прусской Фредерике Амалии Вильгельмине Виктории цу Шаумбург-Липпе — родной сестре последнего германского кайзера Вильгельма.

Принцессе — 61 год, Зубкову — 27, от него так и прёт электричеством страсти, он почти один в один похож на Рудольфа Валентино, тогдашнего голливудского кумира немого кино — набриолиненный брюнет с чётким пробором ближе к середине. И не только похож. Зубков работает его двойником: принимает на себя раздирающую любовь неистовых поклонниц, раздаёт автографы, спасается бегством. За ним тянется шлейф Казановы, танцора танго, драчуна, кокаиниста и безумца, уже удалённого «за безнравственное поведение» из одной европейской страны. Но тем и прилипчив русский чертополох!..

И вот он уже вскружил увядающей даме голову, та вскричала «да-да-да!», венчание — и Александр Зубков, несмотря на протесты высокородного брата Вилли и всех королевских и княжеских домов Европы, въехал, как на белом коне, на покрытой свадебной фатой прусской принцессе в Шаумбургский дворец.

Въехал, чтобы вскоре наводнить его собутыльниками и едва ли не в течение медового месяца прокутить, пропить и пустить по ветру всё состояние любвеобильной супруги — 12 миллионов золотом, да к тому же — залезть в долги на 660 тысяч марок. А? Каково!

Зубкова выдворили за пределы Германии. Всё имущество принцессы прусской было пущено с молотка. Сама она, поселившаяся на окраине Бонна в маленьком домике, потерявшая всё — включая молодого горячего супруга, вскоре слегла и скончалась в больнице…

Примерно в то же самое время, только на несколько лет позднее, в Пермь из Москвы, чтобы занять при местном мединституте вакантную должность заведующего кафедрой физиологии, прибыл старший брат Александра Зубкова — Анатолий. В отличие от младшего (впрочем, у них всего лишь год разницы), он — серьёзный учёный, доктор наук и профессор. Красив и молод. В разводе. В Москве у него уже осталась семья и сын-эпилептик. Но у Анатолия — глаз-алмаз. Вот и заворожил он этим алмазом приглянувшуюся студентку.

Так 29 апреля 1939 года в Перми родился мой будущий «шапочный» знакомый Владимир Зубков, ныне известный в Перми и за её пределами литературовед из здешнего педуниверситета, кандидат филологических наук, под видом которого, оставаясь до сей поры инкогнито, скрывался племянник «великого авантюриста» и потомственный дворянин. (К слову сказать, мой визави сел за сопутствующее нашему разговору старинное фортепьяно — кисти рук как у Рахманинова — и тут же выплеснул нечто классическое, таящееся в кончиках пальцев!)

Почему в 1943 году расстались его родители, он не судит. Отца, жившего потом в Кишинёве в том же ранге заведующего кафедрой и умершего в 1971 году, не помнит даже внешне. Зато память запечатлела картину кисти Крамского, которую отец увёз с собою: евангельский сюжет на ней маленький Вова, играя, пробил палкой.

Юрий Беликов

— Владимир Анатольевич, как и когда вы узнали, что приходитесь племянником «великому авантюристу»? И какое это произвело на вас впечатление?

— О том, что существует эта история, я впервые узнал от матери в 60-х годах прошлого века, будучи ещё студентом. Однажды она поведала, что единокровный брат моего отца Александр Анатольевич Зубков жил в послереволюционную пору за границей и даже вступил в законный брак не с кем-нибудь, а с сестрой самого экс-канцлера Вильгельма, которая приходилась внучкой знаменитой английской королеве Виктории. Впрочем, меня это никак не заинтересовало, хотя бы потому, что на дворе была советская эпоха. Ну, дядя. Но это же не близкий родственник?

Мэри-Корнелия Фрикберг

Отец великого авантюриста Анатолий Зубков

Помню, мама ещё рассказала, что Александр Зубков, после того как история с его женитьбой на высокопоставленной особе закончилась, якобы написал книгу о своих приключениях[1], которая издана где-то в Прибалтике. Позднее я наткнулся на косвенное подтверждение—цитату из воспоминаний моего дяди, которую приводил журналист «Независимой газеты»: «В Кёльне у меня вышли все деньги. И тогда мне пришла в голову спасительная идея навестить дальнего родственника в Бонне, чтобы подзанять денег. А он часто бывал в гостях у принцессы. Он и достал мне приглашение на чай. Поскольку мои штаны имели штопку, пришлось одолжить у него пару коричневых брюк. Они подошли, но были слишком коротки…»

— Если есть цитата, значит можно сделать вывод о существовании оригинального текста, написанного рукой Александра Зубкова?

— Да, уверен, что были какие-то записи, тем более дяде надо было заработать на жизнь и он не мог не использовать этот шанс—издать, как по нынешним временам говорят, бестселлер. Известно, что он выступал с лекциями о том, как был мужем принцессы из династии Гогенцоллернов. И когда я работал над диссертацией, то попытался найти этот текст в спецхране библиотеки имени Ленина в Москве. Однако на эту фамилию книги отыскать так и не смог. Или её вообще не существовало в природе, или, если она была издана на Западе, просто не дошла до нашей главной библиотеки.

— Но ваше любопытство по отношению к родственникам продолжало возрастать?

— Судя по всему, накануне Октябрьского переворота мои дед и бабка перебрались за границу. Я не знаю точно, куда уехал Зубков-дед, но думаю, перебрались в Швецию оба. Судьба деда, Анатолия Александровича Зубкова, мне не известна. А вот бабка, урождённая шведка Мэри-Корнелия Фрикберг, дожила до очень преклонного возраста. Мать как-то сказала: «Напиши ей». Каким образом? Через Красный Крест. Я написал, что я такой-то, разыскиваю родственницу. И каково же было моё удивление, когда в Пермь пришло письмо на официальном бланке Красного Креста. В письме говорилось, что «о вашем существовании было сообщено Мэри Зубковой, которая ответила, что у неё—только один внук и она не хочет иметь дела ни с какими другими внуками».

— Какого же из внуков имела в виду ваша шведская бабушка?

— У отца, когда он жил в Кишинёве, родился третий сын, который и был представлен бабушке как её единственный внук. Отец, ещё будучи в Перми, в отместку маме и чтобы не оставаться одному, женился на женщине из круга местных медичек. А я оказался «не сыном Анатолия Зубкова». И вот, когда мне исполнилось 17 лет и надо было уже поступать учиться дальше, мать и говорит: «Напиши отцу. Ему же будет, наверное, интересно—ты же родной сын». Мне не хотелось писать, потому что я не испытывал никаких сыновних чувств. Но написал. Ответ, который я получил, меня потряс: «Больше десяти лет я платил алименты, которые твоя мать у меня высудила. Я свой долг отцовский выполнил. Куда девала алименты твоя мать, мне не известно. Но мы с тобой люди разные, и я не хочу иметь с тобой дела. Если ты спросишь у меня совета, где тебе учиться и чем дальше заниматься, я совета дать не могу, потому что тебя не знаю…» Вот весь наш единственный контакт с отцом. Так, едва затеплившись, мой интерес по отношению к родственникам погас. Но когда вдруг в 1996 году я прочитал в «Независимой газете» о моём дяде как фигуре чуть ли не фантасмагорической, понятное дело, я был поражён.

1. Zoubkoff, Alexander. *Mein Leben und Lieben, Autobiografie.* Bonn: Bouvier, 2005. ISBN 978-3-416-03072-4

Слева — Александр Зубков

Ванна начала XX века. Слева — будущий профессор Анатолий, справа — будущий «великий авантюрист» Александр, над которым — мама-шведка Мэри

— Известно пушкинское определение: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». «Заставил» ли вас «уважать» ваш дядя Александр Анатольевич Зубков?

— Мне стало очень интересно: перед нами, действительно, уникальный случай, связанный не с кем-нибудь, а с моим дядей. Однако я не могу сказать, что он «заставил уважать» себя тем, что я принадлежу к числу его родственников. Конечно, мне было лестно, что фамилия Зубков в результате его похождений вошла в историю. Но «лестно» здесь единственное слово, потому что, на самом-то деле, если бы даже моего дяди не существовало, род Зубковых всё равно бы остался в российской истории.

— Да-да, в своей книге «Самостоянье» архивист Лидия Мишланова пишет, что ваш род — из купцов?

— Это не совсем так. Владимир Ильич Ленин писал гораздо точнее. Давайте откроем 3 том его полного собрания сочинений, работу «Развитие капитализма в России», написанную ещё в 1903 году. Фамилию Зубковых Ленин упоминает среди десятка самых выдающихся текстильных фабрикантов России. А в комментариях, имея в виду Зубковых, Владимир Ильич замечает: «…Это владельцы фабрики, которая выпускала ситец и миткаль». То есть мой отец и дядя — сыновья крупного капиталиста, владельца Иваново-Вознесенской мануфактуры. Эта фабрика существовала с 20-х годов позапрошлого столетия! В 90-е годы XIX века на ней работало около тысячи человек. Фабрика располагалась в Иваново, а имение Зубковых — в Гусенёво близ Троице-Сергиева посада. Известно, что, когда в Иваново приезжал наследник российского престола, будущий император Николай Второй, местные фабриканты единогласно решили разместить его в особняке Зубковых. На память о встрече цесаревич подарил моим предкам золотой браслет с огромными рубинами и собственный портрет в серебряном окладе. Мой дядя и отец были потомственные дворяне. Взгляните на старинную поздравительную открытку, которая сохранилась в нашем семейном архиве и, кстати, адресована будущему «великому авантюристу». Здесь написано: «Его Высокоблагородию Александру Анатольевичу Зубкову». Года по штемпелю не видно. Я мальчиком срывал отсюда марки. И дарил их своим знакомым, не понимая ценности этих марок.

— А что говорил ваш отец о своём брате опять-таки в передаче мамы?

— Судя по всему, он ничего на эту тему не говорил. Во всяком случае, я о том не знаю. Более того, мне странно, когда, читая книжку Мишлановой, я наткнулся на намёк, что известность родственников моего отца повлияла некоторым образом на его судьбу. Я не думаю, что эта история с дядей могла вообще быть широко известна в Советском Союзе. Кому она могла быть известна? Каким образом она могла повлиять на отца?

— К этому мы ещё подойдём. Существует ли, на ваш взгляд, генетический код, который диктует человеку поступать так, а не иначе? Вот, казалось бы, два брата-погодки: старший — Анатолий (ваш отец) и младший — Александр (ваш дядя). И они похожи, когда я смотрю на детское фото, которое вы мне показываете. Но один — кокаинист, завсегдатай увеселительных заведений, танцор танго, пациент психиатрической лечебницы, молодой удачливый супруг престарелой принцессы прусской, а другой — учёный, доктор медицинских наук.

— Среди своих немногих знакомых, у которых есть потомки, я вижу, что дети, появившиеся на свет близко по времени, от одних и тех же родителей, бывают очень разными. Это дело случая. Что касается меня, то, если говорить о голосе крови, во мне, конечно, что-то есть от отца. В 10-м классе я уже твёрдо знал, что буду учёным-литературоведом. Казалось бы, мой отец был медиком. Мать — врач-окулист. Вроде надо было бы идти в медицину. Но этой внешней, профессиональной стороны ни по отцовской, ни по материнской линии во мне нет.

Александр Зубков и принцесса Виктория, 31 октября 1927 г.

Однако есть, как мне кажется, научный склад мышления. И он, вероятно, от отца. В том же 10-м классе я уже читал книжки, о которых учительница литературы представления не имела. Это было «Литературное наследство» — вот такие тома! Откуда этот интерес?..

— У вас дед — наполовину грузин, бабка — шведка, и внешне вы вообще скандинав.

— Да, меня очень часто принимали за прибалта. Во мне есть всё. От грузина — вспыльчивость. От шведки — спокойствие, разумность, основательность, аккуратность, серьёзность, хладнокровие. От русского — любовь к отчему краю, практичность. Мои бабушка и дедушка со стороны матери — чисто русские, провинциальные люди. Её отец, Алексей Иванович Макаров, — конторщик. И мать рассказывала, что у него был брат, который работал поваром в знаменитом московском ресторане Тестова. Это что-то типа «Яра». Но ведь и я, представьте, очень люблю готовить!.. У меня жена поражается. Особенно удаются первые блюда: щи, борщ, солянка, уха, грибной суп... Это откуда? Очевидно, тоже до поры до времени дремало в генах.

— Вообще говорят: внуки повторяют деда...

— Если можно, я на эту тему продолжу. Возьмём языки. Мой отец знал семь языков: английский, немецкий, французский, итальянский, латышский и какие-то славянские. На мне в этом смысле природа уснула. А вот дочь моя Екатерина, то есть его внучка, которая училась в 22-й школе, а потом поступила на гуманитарный факультет технического университета, закончила его по специальности «Перевод и переводоведение». Когда она училась в школе, то была призёром Всероссийской олимпиады по русскому языку. А будучи студенткой, заняла первое место на Всероссийском конкурсе «Россия-Франция». И её наградили поездкой во Францию. Я почему начал про язык-то? Сейчас ей 24 года. Она владеет французским, английским и испанским. Вот вам, пожалуйста, гены.

— Подождите, Александр-то Анатольевич, ваш авантюрный дядя, наверняка тоже знал языки!

— Должно быть. Иначе как же он общался со своей принцессой прусской?! Не на русском же?

— Помните, когда-то была очень популярной песня на стихи Павла Когана «Бригантина»? И вы, скорее всего, пели вместе с другими: «Флибустьеры и авантюристы по крови упругой и густой...» В чём, на ваш взгляд, истинный смысл существования авантюристов?

— Мне кажется, авантюристы в разных областях — и в мореплавании, и на войне, и в науке — это люди, которые наиболее остро способны соединить интересы этой деятельности с личной отвагой. Я думаю, что и Колумб был авантюристом, и генералиссимус Суворов, который провёл русскую армию через, казалось бы, непроходимые Альпы. Авантюризм — это умение поступать нестандартно, высшее проявление находчивости, смелости и творческого начала. Всё зависит от того, на что авантюризм заточен.

— В книге «100 великих авантюристов», если брать только отечественных персонажей, мы найдём, кроме имени вашего дяди, Ермака Тимофеевича, Степана Разина, Ивана Болотникова, Емельяна Пугачёва — вождей восставших народных масс. Ещё недавно эти имена звучали со знаком плюс, теперь — со знаком минус. Дескать, авантюристы, проходимцы. Чего ж тогда народ слагал и пел, да и продолжает петь о них песни: «Из-за острова на стрежень...», «Ревела буря, дождь шумел...»?

— В авантюризме важно содержание того, что является целью и предметом авантюры. Но, скажем, в оценке Степана Разина я с вами не могу согласиться. Да, это отважный человек, но ведь, в сущности, это человек, который в той же самой народной песне выступает как бандит и убийца. За что он эту бедную княжну утопил? Только потому, что ему сказали: «Сам наутро бабой стал»?

— Но ведь Стенька — любимый герой народный, да?

— Это понятно почему. А любим мы ухарство, а потом каемся, отмаливаем грехи, на коленях ползаем, прощения просим, церкви строим. Это — абсолютно русская черта. У Есенина есть гениальное стихотворение: «В этом мире я только прохожий...» И дальше — о внутренних противоречиях:

Это сделала наша равнинность,
Посолённая белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска...

Вот черты, которые сформировали, по ощущению Есенина, сформировали русский народ! Соединение шири, размаха, «просолённого белью песка» и тут же — «измятая чья-то невинность», то есть способность обидеть, оскорбить, которую я разинщиной именую. А потом — тоска... Тоска — как идущая от географической шири и от собственной вины. И Есенин эти вещи остро чувствовал как свойство русского человека, как ген, если хотите, русскости в себе.

— Есть такое выражение — «вписаться в поворот». Считаете ли вы, что в этот поворот вписался в своё время «великий авантюрист» Александр Зубков? И насколько вписался в него его брат, ваш отец — Анатолий Зубков?

— Дядя — это один из миллионов русских людей, которые по своей ли воле или по воле обстоятельств оказались за рубежом. Зубковы, как я понял, свою фабрику продали и уехали на Запад ещё до революции, хотя точных сведений насчёт даты их отъезда у меня нет. Они отбыли туда богатыми людьми. Я имею в виду деда и бабку. В эмиграции эти люди устраивались по-разному. Некоторые открывали какое-то производство. Скажем, любимая женщина Владимира Маяковского открыла шляпную мастерскую.

— Вы имеете в виду Татьяну Яковлеву?

— Ну да. Она открыла мастерскую и, благодаря этому, стала независимой женщиной. Многие русские родовитые люди там, за границей, занимались, к примеру, пошивом модной одежды. Кто-то продолжал служить в армии. Мне кажется, если бы не случай с прусской принцессой, когда молодой предприимчивый человек почувствовал, что у него есть возможность стать очень богатым, Александр Зубков, может быть, и не угодил бы в когорту «100 великих авантюристов». Но он использовал выпавший шанс и себя элементарно продал — свою красоту, молодость, обаяние.

— Но как-то он уж чисто по-русски «воспользовался» этим невероятным взлётом — в мгновение ока промотал огромное состояние!.. Это, по-вашему, русская черта?

— Абсолютно! Не жить спокойно и обеспеченно, не быть уважаемым бюргером, получив эти огромные средства, а пропить-прокутить!.. Это только от русского характера. Вот вам ответ на вопрос — вписался ли Александр Зубков в поворот или не вписался. Он заставил работать на себя фортуну — не только выжил, но и взлетел, насколько это возможно на чужбине. А всё остальное уже шло от разгульного и даже хулиганского характера. И это, очевидно, в нём было заложено от рождения.

— Но в вашем-то отце этого от рождения заложено не было, хотя разница у них с братом — год?

— А в моём отце этого не было, потому что это другой человек, который тоже, кстати, вписался в выпавшее ему время. Кто он был по социальному происхождению? Из бывших. Сын дворянина, мало того, крупного фабриканта. Их тех, которых старались ущемить. Какова могла быть его участь в Советской России? Поэтому он выбрал наименее опасную стезю — медицинскую науку. Стал заниматься узкой её областью — физиологией высшей нервной деятельности. Он нашёл свою нишу.

— Но ведь известно, что он дважды пытался в Перми вступить в ВКП (б), сначала — в 39-м, а потом — в 42-м году. И дважды его не приняли. И те черты, о которых твердили его коллеги, — неуравновешенность, резкость, вспыльчивость, обидчивость — они вам никого не напоминают? Это же один в один выдержка из характеристики его брата — «великого авантюриста» Александра Зубкова!

— Согласен. Но я же вам рассказывал, как мой отец отнёсся к своему сыну. В этом тоже ведь проявилась недоброта, перерастающая в нечеловечность. Очевидно, что-то сходное в характерах двух братьев было …

— В телефонном разговоре со мной, предшествующем нашей беседе, вы обмолвились, что, во-первых, в вас нет никакого авантюризма, а во-вторых, что вы — человек закрытый. Но согласитесь: если человек закрытый, значит ему есть что закрывать? Что же закрывает от досужего взгляда Владимир Анатольевич Зубков, сын учёного и племянник «великого авантюриста»?

— Закрытый — не значит что-то закрывающий. Закрытый — это человек, который не любит публичности, чтобы душа была нараспашку.

— Всё-таки шведство довлеет?

— Может, шведство, а может, дворянство. Знаете, у меня от отца осталась книжка из его библиотеки. Старинная, с золотым тиснением, ей больше 100 лет. Одна из первых книг, которую я вообще прочитал, — это книга стихов Семёна Надсона, когда-то очень известного поэта последней четверти XIX-го века, умершего молодым от чахотки. И оттуда, из книги, врезались строки, как что-то мне близкое, особенно — сызмальства:

> Я рос одиноким, угрюмым ребёнком,
> Из прихоти взятым чужою семьёй,
> По тёмным углам я наплакался вволю,
> Изведав всю тяжесть подачки людской…

Конечно, я рос в своей семье, меня любила мать, и она была мной любима, но вот это чувство одиночества, безотцовщины, душевной замкнутости в своём небольшом мире, вероятно, наложили отпечаток на мой характер. А что касается авантюризма, о котором вы допытываетесь, то я бы не сказал, что у меня он отсутствует вовсе. Я говорю о научном авантюризме. Я люблю как литературовед вести исследования тогда, когда есть возможность что-то доказать, опровергнуть, вмешаться в спорную проблему. 1989 год. Идёт мощное переосмысление советской литературной классики. И профессор Виктор Гура — один из видных шолоховедов — собирает в Вологде крупную научную конференцию, где я делаю доклад о «Поднятой целине». Когда Кондрат Майданников подсчитывает, сколько он посеял и собрал (а он собрал очень мало), оказывается, что ему и жить-то не на что. Поэтому — «какое вы имеете право меня от колхоза отговаривать?!» Я сопоставил эти цифры с реальными. Привёл письмо Шолохова к редактору Левицкой в 29-м году о том, что творилось на заре коллективизации. Второй источник — статистика, какова была урожайность зерновых разных видов на Дону в конце 20-х — начале 30-х годов. Всё это позволило убедительно показать, что Майданников занижает свой урожай в четыре раза!

— Или — Шолохов?!

— Шолохов заставил своего героя занизить урожай для доказательства важнейшей сталинской идеи: без колхоза, ну, никак нам невозможно прожить. И когда я это всё на конференции озвучил (а на доклад давали 12 минут), слышу, кто-то

Александр Зубков

кричит: «Зубков, вы — не исследователь, вы — следователь! Выгнать его с трибуны!» А другие кричат: «Нет, дать ему ещё 10 минут!» А идея моя — такая: «Поднятая целина» — это и крик писателя, который видит всю несправедливость происходящего, и в то же время его осознание, что Главный читатель страны будет воспринимать текст романа через очень сильные очки. И поэтому «Поднятая целина» — это компромисс между правдой и ложью, между объективной реальностью и партийной точкой зрения. Согласитесь, в 1989 году это был чистой воды авантюризм — выступить против догматического отношения к «Поднятой целине» и показать всю противоречивость этой вещи?

— *Всё-таки сказывается родство с вашим дядей!..*

— А вот вторая авантюрная история, связанная с моей научной деятельностью. Мои руководители в университетской аспирантуре — Римма Васильевна Комина и Сарра Яковлевна Фрадкина — в качестве объекта исследования предложили военную прозу Виктора Некрасова, который уже тогда, поносимый Хрущёвым, носил ярлык «туриста с тросточкой». Вы можете себе представить, какой это был авантюризм — защищать диссертацию о Некрасове?! Если он уже ходил в числе диссидентов и спустя несколько лет его вытеснят из Советского Союза в эмиграцию?! Мои научные руководители понимали, что ни в Перми, ни в Москве защититься будет невозможно. И они избрали путь очень интересный — через Казахстан. Там — своя Академия наук и родственная кафедра. И защищаться я поехал в азиатскую республику. И на той кафедре стали искать, кого же всё-таки найти на роль официального оппонента, который бы согласился дать отзыв на работу о творчестве неблагонадёжного Некрасова? И был там такой академик Академии наук Казахской ССР Михаил Сильченко — спокойный и правоверный советский литературовед. И вот встречает его завкафедрой на улице и спрашивает: «Не могли бы вы выступить оппонентом по диссертации Владимира Зубкова?» — «Ну что вы, это невозможно! Ведь о Некрасове такие слухи ходят!» Завкафедрой: «Вот газета «Правда»,— и показывает статью, которая подписана «В. Некрасов». Академик Сильченко восклицает: «Так он в «Правде» печатается?! Ну тогда…» А это была статья Вадима Некрасова — политического обозревателя «Правды». Вот на какой авантюризм шли люди, чтобы дать возможность человеку защититься по очень непростой теме!

— *Если бы сейчас вы узнали, что прах вашей бабушки покоится в Стокгольме (где погребён ваш отец — вы знаете) и прах вашего дяди покоится, условно говоря, в Литве и вам представилась бы возможность — вы бы поехали навестить могилы своих родственников?*

— К отцу — нет. Потому что ту обиду, которую он мне нанёс, отвергнув меня как родного сына, я забыть не могу. А в Швецию бы съездил, где бабка, конечно, уже давно похоронена. И если бы вдруг обнаружилась могила дяди, тем более в стране, где, может быть, была напечатана его книжка, я непременно бы туда поехал. Хотя бы для того, чтобы…

— *…Установить мемориальную табличку: «Под камнем сим покоится прах великого авантюриста…»?*

— Возможно, и так. Что касается предков, рода и генов, то, по правде говоря, на меня большее впечатление произвели не авантюры моего дяди, а семейный альбом с большим количеством снимков, запечатлевших быт барского имения. Тут и среднерусские пейзажи. И крестьяне, их работы зимой и летом. И усадьба. Вощёные паркетные полы, рояль. Дамы в длинных платьях. Культура, которую вычеркнула революция. Когда я прочитал «В круге первом» Александра Солженицына, меня поразило: молодой преуспевающий советский дипломат Володин погружается в архив своей давно умершей матери, дворянки, вышедшей замуж за балтийского матроса, который погиб и «проложил» карьеру Володину, и вот он перебирает театральные программки, журналы начала века, такие же дагерротипы и постигает, что этот мир вычеркнула новая советская действительность, и ему становится жалко — утраченной поэзии, тонкости отношений, всей той культуры, что выбросили на свалку. И вот когда я у Солженицына всё это прочитал, то уловил, что ведь и я-то испытал на нутряном уровне то же самое — чувство не внешней, а духовной принадлежности к этому исчезнувшему миру, общности с его корнями. Вот это и есть, на мой взгляд, дворянство.

Игорь Кузнецов

Гайдар и Толстой: детская литература на «графских развалинах»

Фигура Гайдара в советское время стала вполне мифологической. Тому было немало причин. Прежде всего — уникальная даже по тем временам биография. Но не в последнюю очередь и тот факт, что писателем он и вправду был блестящим. Это доказывают прежде всего сами его произведения, а также то, что миф о «лучшем детском писателе» не убил интереса к нему читателей и по сию пору. Дело в том ещё, что вся «идеологическая составляющая» произведений Гайдара нашим сегодняшним детям столь же (или почти столь же) безразлична, как и исторически-идеологическая подоплёка произведений Фенимора Купера или Вальтера Скотта. Ведь в чисто «литературном» варианте революционная романтика ничем не хуже любой иной романтики. Для детей важнее всего — искренность автора, умение создавать запоминающихся и близких героев, строить захватывающий сюжет, — то есть всё то, что и делает литературу литературой. А вот как раз всего этого у Гайдара хватает с лихвой. Моя дочь, например, вполне избалованная самыми модными литературными именами и произведениями, нет-нет да и возвращается к классическому зелёному четырёхтомнику. Кстати, уже в последние годы он выдержал несколько изданий, что лишний раз говорит о его востребованности.

Всё это хорошо, скажут мне. Но при чём здесь Толстой? Попробую объяснить.

В отрывках из дневников Гайдара, опубликованных в четвёртом томе его собрания, имя Толстого встречается всего дважды. В первом случае в списке прочитанных книг значатся «Казаки». Вторая запись за февраль 1941 года более интересна, хотя и вполне загадочна. Вот она: «Читал статьи Л.Толстого. Тревожно мне и досадно было». Неясно, отчего Гайдару тревожно и на кого или что досадно. Ясно одно — что именно к статьям Толстого люди обращаются неслучайно. Особенно в эпоху не религиозную и исторически сложную. Именно в такую эпоху и жил Гайдар. И к Толстому, скорее всего, обращался за ответами на те вопросы, которые ему задавала жизнь и на которые не мог ответить «Краткий курс истории ВКП(б)».

Гайдар менее всего похож на «толстовца». В любом понимании этого слова. Или — почти в любом. Потому что остаётся, по крайней мере, одна сфера, в которой Гайдар был в чистом виде продолжателем Толстого. Прежде всего Толстого «детского», Толстого «Азбуки», «Русских книг для чтения».

Стилистическая и морализаторская составляющие толстовских произведений для детей обыгрывались многократно. Что не так уж сложно, особенно если подходить к ним с точки зрения радикальной иронии. «Птичка», «Филипок», незабвенная «Косточка» — у кого из нас не возникал искус поёрничать по их поводу? До блистательного абсурда толстовскую детскую поэтику довёл Даниил Хармс. Знал, что делал, — уж больно почва была благодатной, а стилистические приёмы узнаваемы.

Гайдар, в отличие от Хармса, абсолютно серьёзен. И он прекрасно понимал, что дети, для которых он и писал, — вообще самые серьёзные люди на свете. И для них категории добра и зла практически абсолютны, безо всяких «достоевских» реверансов и утончённостей. И если в крупных произведениях всё же без «утончённости» не обойтись, то в коротких, притчевых рассказиках всё должно быть кристально ясно. И этой кристальной ясности Гайдар, вслед за Толстым, смог достичь в своих поздних рассказах, большей частью писавшихся им незадолго до войны для отрывного календаря. Это такие гайдаровские шедевры, как «Советская площадь», «Василий Крюков», «Поход», «Совесть». И прежде всего — замечательная миниатюра «Маруся». Позволю себе процитировать её целиком, тем более что она размером-то — с ладонь:

«Шпион перебрался через болото, надел красноармейскую форму и вышел на дорогу.

Девочка собирала во ржи васильки. Она подошла и попросила ножик, чтобы обровнять стебли букета.

Он дал ей нож, спросил, как её зовут, и, наслышавшись, что на советской стороне людям жить весело, стал смеяться и напевать весёлые песни.

— Разве ты меня не знаешь? — удивлённо спросила девочка. — Я Маруся, дочь лейтенанта Егорова. И этот букет я отнесу папе.

Она бережно расправила цветы, и в глазах её блеснули слёзы.

Шпион сунул нож в карман и, не сказав ни слова, пошёл дальше.

На заставе Маруся говорила:

— Я встретила красноармейца. Я сказала, как меня зовут, и странно, что он смеялся и пел песни.

Тогда командир нахмурился, крикнул дежурного и приказал отрядить за этим «весёлым» человеком погоню.

Всадники умчались, а Маруся вышла на крутой берег и положила свой букет на свежую могилу отца, только вчера убитого в пограничной перестрелке».

Всё вполне по-толстовски. Только реалии советские. Но это теперь, повторюсь, уже не важно. Важно другое.

Гайдар, внешне оставшись едва ли не самым «советским» детским писателем, доказал, что настоящая литература никакой идеологии неподвластна. И неподсудна.

Одна из его ранних повестей, кстати, вполне примитивная именно идеологически, хотя и не бесталанная, называлась «На графских развалинах». К графу Толстому она, конечно, никого отношения не имела. Разве что точно ему бы не понравилась. Но ежели к названию этому отнестись символически, то напрашивается простой и ясный вывод: попытка построить «на графских развалинах» нечто особое, советское, увенчалось успехом лишь на время и лишь в отдельно взятых местах. Развалины волей-неволей пришлось восстанавливать, ибо история и литература у нас всё равно одни. Гайдар это доказал на примере собственной литературной судьбы. А что же Толстой? Толстой внимает. И возможно, усмехается над всеми нашими мудрствованиями. Но этак по-доброму, по-толстовски:

> «Ваня побледнел и сказал:
> — Нет, я косточку бросил за окошко.
> И все засмеялись, а Ваня заплакал».

ДиН антология

Павел Коган

За своею бедой

Я открываю окна в полночь.
И, полнясь древней синевой
И чёткостью гранёной полнясь,
Ночь проплывает предо мной.
Она плывёт к своим причалам,
Тиха, как спрятанный заряд,
Туда, где флаги раскачала
Неповторимая заря.
Я слушаю далёкий грохот,
Подпочвенный, неясный гуд,
Там поднимается эпоха,
И я патроны берегу.
Я крепко берегу их к бою.
Так дай мне мужество в боях.
Ведь если бой, то я с тобою,
Эпоха громкая моя.
Я дни, оплавленные в строки,
Твоим началам отдаю,
Когда ты шла, ломая сроки,
С винтовкою на белый юг.
Я снова отдаю их прозе,
Как потрясающие те —
В несокрушающих морозах
И в сокрушающей мечте.
Как те, что по дороге ржавой,
В крови, во вшах, в тоске утрат,
Вели к оскаленной Варшаве
Полки, одетые в ветра.
Так пусть же в горечь и в награду
Потомки скажут про меня:
«Он жил. Он думал. Часто падал.
Но веку он не изменял».

Звезда

Светлая моя звезда.
Боль моя старинная.
Гарь приносят поезда
Дальнюю, полынную.
От чужих твоих степей,
Где теперь начало
Всех начал моих и дней
И тоски причалы.
Сколько писем нёс сентябрь,
Сколько ярких писем…
Ладно — раньше, но хотя б
Сейчас поторопиться.
В поле темень, в поле жуть —
Осень над Россией.
Поднимаюсь. Подхожу
К окнам тёмно-синим.
Темень. Глухо. Темень. Тишь.
Старая тревога.
Научи меня нести
Мужество в дороге.
Научи меня всегда
Цель видать сквозь дали.
Утоли, моя звезда,
Все мои печали.
Темень. Глухо.
Поезда
Гарь несут полынную.
Родина моя. Звезда.
Боль моя старинная.

Владимир Монахов

Дайте мне мысль— и я переверну весь мир

Записки на полях конца истории,
которая ещё не знает последней точки

Нам нужен здравый бред!

Демократия уравняла в правах добро и зло, правду и ложь, жизнь и смерть, бога и дьявола. И постоянный процесс уравнивания диктует нам тот самый конец истории, о котором на протяжении нескольких столетий твердят философы. Именно демократия формирует конец истории, в котором нивелируется личность как творец, а на смену ей приходит посредственность, способная пускать в глаза только историческую пыль. И в этой пыли задохнётся, а затем будет погребено сначала всё живое, а затем человечество.

XX век выпотрошил жизнь штыком познания, вырвал из груди—сердце, из души—Бога, из бытия—человека. XX век—это человечество со вспоротым животом и разваленным надвое разумом, одна половинка которого продолжает творить, а другая—разрушать. И разрушающая сила частенько действует намного энергичнее и плодотворнее.

ТВ—это самовыражение посредственности. Раньше посредственность всегда знала своё место среди публики, а сегодня алчные законы масскультуры рекрутировали посредственность самовыражаться. Это не значит, что посредственность плоха, я бы даже сказал, она начитанна и образованна, даже может самостоятельно произвести несколько нетривиальных мыслей. Но это не даёт ей право доступа к творчеству. А ведь с помощью ТВ посредственность заставили поменять место из публики на место творца, и она стала доминировать в мире реальности, выдавая бескультурье за культуру. Из-за этого пошёл перекос в ходе истории и ускоренное приближение её конца.

Когда мы стремились к свободе, то хотели читать Солженицына, Пруста и Джойса. Но свобода пошла дальше наших желаний: вместо соцреализма она подсунула нам бандреализм и великую криминальную революцию, сексреализм и порнографию… Одновременно со свободным продвижением товаров на нас хлынула освобождённая порнография, в том числе порнография духа. Масскультура—идеология капитала и орудие пролетариата. Это новый вербальный и окадренный пивной путч побеждённого фашизма, который вскормило общество потребления. Масскультура—это фашизм потребления. Скандал—вот базис масскультуры, которая стала хлебом зрелища. И, хотя у её авторов уже повода для скандалов нет, они всё ссорятся и ссорятся на сцене. И в это вовлечены массы.

Допинг и катализатор масскультуры—избыток свободного времени и средств. Именно глобализация человечества привела к избытку времени, которое оказалась способна занять только мобильная масскультура, особенно если при этом за неё хорошо платят. Но продукт масскультуры—это поверхностный опыт человека, его первая и случайная попытка материализовать свой внутренний мир в реальность. Опасно, что производители и потребители масскультуры не заглядывают за край возможного, а пустоту мышления заполняют бессодержательным продуктом, где едва обозначенная живая мысль гибнет в мертвечине, бесконечно бессмысленных повторах и ремейках. Опасность перепроизводства информации вымышлена. На самом деле, подлинной информации столько же, сколько и двести лет тому назад. Размножается лишь масскультура, создавая видимость множественности, заполняя пустующую нишу непродуманного, непомысленного. В результате таких завалов подлинная информация часто остаётся невостребованной, а мнимая формирует принудительную потребность. Поэтому масскультура разрушает жизнестойкие способы и формы хранения информации, которые теряют запрограммированную способность оживать в любой момент возникновения энергии.

Человеку дано тело, а телу—душа, чтобы он достойно пронёс их между небом и землёй. И когда настанет время подведения итогов, человек должен поделиться: телом с землёй, душой с небом. Ведь в небеса уходят через землю и никогда назад.

Когда говорят о конце истории, то всегда подразумевают очень отдалённую перспективу, хотя на деле сам проект конца может быть не сиюминутным, а затяжным как во времени, так и в пространстве,

захватив не одно поколение людей. И эти размышления заставляют задуматься исследователя: а не прошли ли мы точку отсчёта конца истории и не стоит ли эта дата у нас за спиной? Например — 6 августа 1945 года, когда алчные и мстительные американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Именно с этого дня можно считать начало конца истории, спираль которой стала сворачиваться в обратном направлении. С этого дня движение бытия, устроенного Богом, пошло вспять, сжимая пружину истории. Это после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки время устремилось столь быстро, что мы со скоростью мимолётного настоящего прошли наше возрождение, а затем стали возвращаться к варварству и дикости. Только варварству машинному, а дикости виртуальной. Внутривидовая глобализация и самоедский техпрогресс породнили человека с машиной, которая истребляет мораль и душу. Потому что империализм машин так же губителен, как и технический феодализм и рабство искусственного разума.

В поисках здравого смысла мы повторяем азы Запада. Я не против учёбы у европейской цивилизации, от которой, по меткому замечанию отечественных острословов, мы отстали навсегда. Но чтобы догнать ушедших далеко вперёд — здравым смыслом не взять… Нам нужен здравый бред!

Включи телевизор — и ты в толпе!

Телетолпа по комнатам сидит
И зрит вождя на голубом экране,
Ей ум, и честь, и совесть говорит:
«Да отключи ты этого смутьяна!
Ведь лучшее к нам в руки не идёт,
А светлое давно мы растеряли.
И пусто в жизни уж который год,
Пусть будет пусто и на пьедестале!»
Но новый Хамлет учит: «Лучше быть!
Чтобы другой на этом месте не был!»
Телетолпа готова для борьбы,
В которой быль она сотрёт на небыль.

Раньше за истиной надо было ехать, порой даже очень далеко. Сегодня — включи телевизор, нажми кнопку компьютера, раскрой газету, позвони по телефону — и ты уже в толпе, и будешь познавать истину, не выходя из дома. А чтобы эта система действовала безукоризненно — умертвили Бога, доказав всем: он такой же смертный, а значит, создан по нашему подобию. Теперь с помощью виртуальной реальности толпы, сидящей по домам, его можно возродить и быть с ним наравне. Когда я смотрю телевизор, то мне всё время со страхом кажется, что вот-вот выйдет какой-нибудь бойкий ведущий шоумен и скажет пронзительно звонко на весь мир:

«Бог — в студию!»

Австрийский писатель Музиль был обеспокоен появлением человека без свойств, то есть не выражавшего отношения и чувства. С тех пор ситуация изменилась: появился человек, предтеча нечеловека-видимки, утративший происхождение, свой корень. Мы живём с навязанным нам прошлым, где, по мнению одних, стоит обезьяна, по мнению других — мировой разум. Но непредсказуемость дальнейшего бытования заключается в том, что мы живём под тенью будущего, у которого в качестве строительного материала незаписанное безымянное прошлое, а настоящее в полном объёме даже не проживается нами.

Сегодня учёные активно говорят об ускорении исторического процесса, которое выражается в росте событий на единицу времени — пора обратить внимание, что этот рост событий связан, прежде всего, с НТР, которая стала самостоятельным процессом, усиливающим историческую спираль. Тем не менее увеличение числа событий, показанных по телевизору, не означает самого роста исторических событий, тех самых фундаментальных событий, что движут историей. Подозреваю, что их сегодняшнее число равно сумме главных исторических событий прошлого, а подлинные события истории проходят по жизни незамеченными, но то, что случилось у всех на глазах, и было освещено прессой, является вымыслом правды.

Человек свободен лишь в рамках выбора. Пока человек выбирает — он свободен, но как только сделал выбор, то уже обязан действовать согласно этому. И теперь человек вводит в современную жизнь выбор как социальный институт, тем самым умножая иллюзию свободы на каждый день. Недаром свободен лишь тот, кто регулярно занят выбором. При этом наблюдается фундаментальная закономерность — натруженный XX век был ознаменован избытком свободного времени, хотя при этом мы постоянно находились в состоянии перегрузок. Но посмотрите, чем мы себя занимали: просиживали часами за бутылкой, смотрели без устали телевизор, читали второсортные книги и болтали о нехватке свободного времени. Нас захватила в плен массовая культура регулярного употребления, которая и возникла из-за перепроизводства свободного времени. Время труда перераспределилось в потеху на час не только для избранных, но уже для всех. Собственно, потеха на час стала крупной индустрией, где сегодня вращается львиная доля ресурсов, самым ценным из которых является наше свободное время. Недаром подлинная культура сегодня живёт и развивается внутрь себя, а массовая — вширь, захватывая свободные площади мирового бескультурья. И когда говорят, что искусство требует жертв, то при этом подразумевают чаще жертву художника.

На самом деле, подлинная жертва искусства—это простые люди, которые страдают, потому что огромные средства тратятся на само искусство, особенно массовое, а не на подлинные потребности человека.

Едоков хлеба превратить в ангелов, а затем ангелов научить есть хлеб—вот задача современного искусства. Но для этого надо одновременно находиться и на земле, и на небе. На земле человек приучился жить, теперь он штурмует небо. Бедное небо…

В России предатели—только умные?

Люблю одиночество среди книг. Не спрашивая разрешения, можно поговорить с умным человеком, который даже не подозревает о твоём существовании. И он не обидится, когда, подустав, надолго поставишь книгу на полку, а затем подружишься с другим писателем.

Время научилось действовать только в настоящем, откуда оно по спирали технического прогресса поднимается вверх по секундам, минутам, часам, суткам, месяцам, годам или—вниз, по спирали истории, где оно уже не время, а даты. Лишь в настоящем оно подаёт голос: тик-так-тик-так—или светится на электронном табло циферблата. В остальное время оно безмолвно, словно его и нет.

Я вырос, состарился и уже донашиваю этот белый свет. Впору уже примерять тот свет. Но всё никак не могу доносить белый свет. Хотя уже всем понятно, что я умираю. И ко мне стали приходить знакомые люди, прощаться и ждать моей смерти. А я всё не умирал, или, точнее, умирал так долго, что многие ожидающие умерли раньше меня. Собственно, моя смерть их не интересовала, потому что им по наследству от меня ничего не перепадало. Но им хотелось увидеть меня в гробу. Не увидели, не насладились. А я всё не умираю. Вечный смертник. Хорошо так лежать на диване и умирать, а на тебя ходят смотреть, как в театр. Театр одного умирающего актёра.

Человек до смерти меньше, чем после смерти. После смерти человек становится больше. Когда приходишь к такому выводу, то понимаешь, зачем придумана религия и куда она нас ведёт. В живом много лишнего, только в мёртвом подлинный человек. А мы всё страшимся перенаселения этого света, но как борется с перенаселением тот свет? Между тем наша жизнь сильно преувеличена, считают мёртвые, а наша смерть сильно преуменьшена, думают живые. А всё потому, что жизнь—экспромт, а смерть—домашняя заготовка.

Всё в руках Всевышнего. Опасаюсь, что это утверждение сильно устарело. На самом деле, в его руках остаётся всё меньше и меньше бытия, и оно постепенно переходит в руки человечества. Потому что природа для него мастерская, а человек в ней—хозяин и работник. Мы этот тезис взяли на вооружение и не собираемся сворачивать с этого пути. Человечество нового информационного пространства вошло в силовое поле божественного управления и, перехватив инициативу Всевышнего, поставило в базис свой разум, а бытие—в надстройку. Глядя, как умирают маленькие люди, в это трудно поверить, но как только начинаешь рассматривать в полном объёме социальный и технический ход истории, то обнаруживаешь, что человек становится главным организующим ресурсом бытия, в котором он своим отточенным технологиями разумом пытается распороть швы мироздания и, перекроив его, сшить новый, познанный им мир.

Добро и зло—это часть целого и единого. И они возникают одновременно там, где с миром соприкасается человек. Современный человек—прекрасная форма, где в базисе зло, а добро—в надстройке. Надстройке, которая ещё стоит в лесах, строительных лесах из зла. Поэтому только человек откликается на добро и ощущает зло, именно человек замечает их присутствие в мире, но сам же активно множит добро и зло, а затем успешно выдаёт одно за другое. То у него злоба добра торжествует повсюду, то добро злится на весь несправедливый мир.

Странное противоречие: в России среди простого сословия полно предательств, измен, недостойного поведения, а писали в XX веке преимущественно об интеллигенции, на неё возложили всю ответственность за многие исторические ошибки, грехопадения, как будто простой человек ни в чём не повинен. Не потому ли это произошло, что сочинители своих знали лучше всего, а народ как не знали, так и не знают по сей день, сохраняя его в наивной литературно-нравственной чистоте. Но Мечик из «Разгрома» мог быть и токарем, и пекарем, а Клим Самгин возможен в любой среде. Почитаешь книги античности или средневековья—там всякий предатель. В XX веке в России предатели только умные.

Даже человек разумный—глуп!

Толпа живёт заблуждением, что благодаря овладению технологией она становится равной интеллектуальному меньшинству. Но интеллектуальное меньшинство всё равно остаётся в меньшинстве, а массы, самозабвенно овладевающие техникой,

так и продолжают плестись в обозе созидающих. А всё потому, что между ними фундаментальная разница: меньшинство строит новое бытие, большинство его активно выжирает. Недаром ещё Станислав Лэм заметил, что статистически человек разумный глуп, и чем выше развита техника, тем выше шансы глупости, её способности множиться, озорничать, а то и уничтожать, попирать, разрушать и убивать. Недаром бунт масс несёт в бытие умертвляющее созидание.

Расстояние между прошлым и будущим, которое мы называем настоящим, иногда увеличивается, иногда сжимается. И настоящее, выступая хозяином жизни, захватывает всё больше и больше пространства, то убивая прошлое, то не позволяя будущему являться вовремя. Всё меньше и меньше истории, всё обширнее область мечтаний и пророчеств. Но критиковать будущее — дело прошлое.

Народ устал от литературы и отдыхает перед телевизором или с детективом в руках. Но это не значит, что отдыхает сама литература. Она мучительно ищет себя в стихах и романах. И в авторах, Новых авторах. Хотя всё уже написано предшественниками, сюжеты можно только совершенствовать. Литературная жизнь перестала быть публичной и свернулась в лоно интимного. Читатель наедине с книгой, критика не лезет к нему со скукомыслием, и назойливость библиотек самоустранилась. Так читатель выпал из писательского насилия, не видно его, хотя книги, говорят, раскупаются и даже читаются. Читатель наедине, как с любимой девушкой, подальше от суеты литературы, в певчей тишине ночи у избранного света настольной лампы.

Поэт не вмещает самого себя в земное пространство. Но ему надо всё больше и больше, чтобы его Слово читалось в бесконечности, чтобы каждая буковка воспринималась клавиатурой Вселенной, чтобы потом всё это можно было объединить, вместить и спрятать в себе. А затем уйти в себя всё дальше, дальше, и дальше, куда никто уже пройти не сможет… И захлопнуть за собой дверь познания.

Бог, бытие, человечество — одноразовые. И если люди создадут виртуальную реальность, она тоже будет одноразовой, даже если научится размножаться и отпочковываться. Причём действовать она сможет только в рамках человеко-бытия, внося во Вселенную избыточный вес своего разума.

В основе современного человеко-бытия старинный лозунг — хлеба и зрелищ. По сути это первая строка конституции, по которой жили раньше и продолжают жить современные люди. Правда, в новом информационном обществе добыча хлеба стала зрелищем, а зрелища трансформировались в добычу хлеба.

«Время — деньги», — записал в 1825 году в своих черновиках Александр Пушкин. Если бы мы последовали завету русского поэта, то Россия по уровню экономического развития могла оказаться впереди США. Но мы были невнимательны к своему классику и сейчас изучаем технологию успеха по чужим лозунгам. Гордимся Пушкиным и завидуем американцам. Да, у нас был выбор, но мы время считали отдельно, а деньги считать не научились, в результате по историческому времени мы отстали навсегда, по деньгам — на целый экономический строй. Но в каждом русском лице сегодня читаю «Хочу денег!» У нас теперь денежная манера поведения. Только время Пушкина безвозвратно прошло, а долг его перед потомками остался.

«Если вы такие умные, то где ваши деньги?» — спрашивают родителей дети. И невдомёк им, что много денег сегодня не у того, кто действительно умён, а у кого ум воровской. Ещё Лев Толстой толковал соотечественникам, что тому, у кого много ума, нужно ещё столько же ума, чтобы им пользоваться. Разумный ум один и действует для всех; воровской двойной — и тащит только к себе. Но все попытки измерить деньгами человеческие ценности тщетны. Деньгами человеческие ценности можно только поддерживать.

Всё дано — остальное требуется доказать.

В России всё восточное слишком западно, а всё западное слишком восточно. Поэтому и с той, и с другой стороны наша страна воспринимается шизоидным сообществом. «Россия — диагноз», — испуганно повторяют друг за другом Запад и Восток. И в этом они наконец-то сошлись вместе.

Нас опять обманывают статистикой. Говорят: экономика работает всё лучше и лучше. Но при этом не уточняют, для кого она работает так хорошо. А работает она для горстки казнокрадов, кто всё лучшее давно присвоил себе, а нам оставил лишь надежду, что когда-то всё наладится. А мы никак не можем отличить государственный интерес от коммерческих сделок, правды от лжи, болтовню от дела, лакейство от преданности, убеждения от корысти. Но с таким ощущением мы были при советской власти, а жизнь никак не налаживалась. Значит, всё повторяется? Ставка на будущее — это самая изощрённая форма обмана. На мечте о светлом будущем построены все религии и идеологии, они размножают технологию заблуждения цивилизации, и теперь никак невозможно от этого избавиться… А надо ли? — вот в чём вопрос.

Бог говорит травой, цветами, деревьями, зверями, океаном, цунами, извержением вулканов, землетрясениями, человеком… Человечество отвечает ему мастеровыми, хлебопашцами, художниками, поэтами, политиками, президентами, убийцами, кризисами и войнами. И мы не понимаем друг друга! Рост исторический, рост экономический, рост социальный, а где же рост божественный? Нет такого роста! А ведь был когда-то! И тогда жизнь рассматривалась как идеология Бога, а его убеждениями был человек, который всё поставил под сомнение, даже своего Творца.

Тофлер писал о бесконечном забвении, но не назвал его источника. Видимо, само собой разумеется, что это наша память, которая плодит забвение, чтобы освобождённый разум мог дальше работать продуктивно. Ведь мы оказались в «преждевременном наступлении будущего». Хотя самого будущего и нет, но события, ему предшествующие, завели нас раньше туда, где мы ещё не приспособлены жить. Поэтому человеческий мозг самостоятельно не сканирует всё бытие, а снимает с него только жалкие копии. И, чувствуя свою беспомощность, человеческий мозг пытается усложнить бытие, создавая техномир. Техномир как проходную систему на пути к технобытию, с помощью которого мы пытаемся заменить божественное бытие внутренним миром человека.

Бессмысленность нас уже не пугает. Ведь когда бессмысленность хорошо оплачена, то это наполняет самым главным смыслом суть современного человека. Теперь человек самостоятельно создаёт смысл своей жизни, если этого смысла на самом деле нет. А главный смысл — это время, которое надо прожить как можно дольше. И поскольку жизнь дана только один раз, то лучше всего прожить её с деньгами. А это второй главный смысл. Всё остальное только производное от них. Недаром шустрые капиталисты сложили их вместе и получили мощный рычаг экономики «Время — деньги», принуждая по этой формуле жить всё человечество, уйдя от Ветхого Завета о «суете сует», придав цивилизации центростремительную силу. Хотя раньше в суете сует человек чувствовал себя наиболее реализованным. Не останавливаться, потому что как только остановишься и задумаешься, то всё вокруг сразу разрушается. Главное — не выпасть из исторического сюжета, которым скрепляется вся наша жизнь, построенная на законе «Время — деньги!»

Хотим мы того или нет, но надо признать, что человечество — это всего лишь инструмент, с помощью которого отпущенные нам материальные ресурсы мы должны переместить в ресурс интеллектуальный. Вот главная задача человечества, которую оно стремится осуществить с помощью нечеловека-видимки. Приобретённый нами в ходе исторической эволюции прогресс движет сообщества к этому независимо от того, хотим ли мы этого или нет. И хотя природа устроила в человеке всё разумно, но наш мозг вносит поправки: теперь человек ДНК-ующий, набрав силу, создаёт новые структуры жизни, которые формируются по его генетическому заказу. Нами создана такая технико-социальная структура, которая не сохраняет старое, а синтезирует всё только в новое и даже иное качество. Поэтому процесс развития движется не по вероятному, а по невероятному пути созидания. Есть прискорбное ощущение, что созидательное и разрушительное в человеке базируется в бессознательном. Хотя внешне эти ветви человеческой деятельности на поверхности проявляются как строго продуманное, выверенное, но фактически всем движет бессознательное. И потому человечество не ведает последствий всех своих действий ни на завтрашний день, ни на отдалённую перспективу, регулярно обнаруживая: то, что он созидал, оказалось ложным, а то, что разрушал, — подлинным. Будущее структурируется с помощью воли человека, но чаще вопреки его планам. Потому что над нами есть ещё воля принудительной объективности, которую метафизический человек не может пока себе подчинить окончательно.

Свет — это вывернутая наизнанку тьма, потому что тьма заполнена внутренним светом, внутренним светом тьмы, который несёт духовный и интеллектуальный мир человека. Смерть бессмертна — говорят усопшие, но жизнь старше смерти — уточняют пока живущие. Это Бог присутствует на собственных похоронах, где люди пытаются добыть из тьмы свет.

Наш разум устроен так, что вынуждает человечество топтаться на одном месте, вытаптывая всё под собой. Бесцельно ли? Надеюсь, нет! Именно так человек набирает мощь, чтобы подняться в космос. Воля человека требует такого типа поведения, чтобы расширить пространство для своего разума. Человечество тиражирует себя во времени и пространстве пока только на земле, которую беспощадно выжигает во имя глобальных перспектив заселения космоса своим Я, которое вступает в спор с мировым разумом. Мечта одинокого человеческого Я становится Я-вью всех.

Насилие — главное свойство любой власти, особенно в России. И такая власть лишь тогда жизнестойка, когда научится насиловать так, чтобы подданные при этом умели получать удовольствие. Тогда такая власть могущественна и продолжительна.

Есть тишина певчая, есть тишина могильная, сегодня процветает тишина… коммерческая. Многие люди всё ещё тянутся к прекрасному, но прекрасное уже избегает их.

Не важно, как и от кого произошёл человек, главное — в кого он превратится потом. Хотя ещё Г. Йонасом замечено: какие бы изменения ни шли — они не являются долговечными, и потому в конечном итоге всё приходит к известной норме. Но какой? Философы прошлого видели в растрате первоисточника главную потерю и основу разрушительного хода бытия, но оптимисты уверены, что рушится всё отжившее, устаревшее, хотя и любимое, а строится новое, ещё не принятое и не осознанное.

Разве можно доверять мнению человека, который ещё не умер?!

Мы вошли в период, когда жизнь человека попала в зависимость и подмята строго нормативным, инструктивным мышлением, когда каждого научили, что нужно думать так, а не иначе. У нас ещё есть шанс уйти от подобного единомыслия к единодушию, но сила усвоенного нами инструктивного мышления настолько велика, что инакомыслие тоже становится нормативным.

Человечество получило сильное отравление технологическим успехом. И теперь канализирование стало ключевым словом современной цивилизации. Поэтому главными символами человечества я бы считал не ракету, компьютер, мегаполис, а санузел, и его основополагающую часть — унитаз. Это с его помощью канализуется всё вплоть до души, которая, как шутила Фаина Раневская, даже плавает в унитазе баттерфляем. Чтобы выжить, цивилизация должна канализировать не только продукты жизнедеятельности, но и продукты душевного распада. Поэтому девиз «больше цивилизации» на деле означает «больше унитазов»! В результате унитаз совершенствуется, его делают удобным и красивым. Хотя за всей этой бытовой эстетикой не может укрыться пугающая картина катастрофы, которая происходит в конце канализационного процесса, когда всё живое уничтожается путём пропуска через утробу человечества, ставшего великим санузлом бытия. И никакие технические достижения не могут обойтись без унитазов. Через унитаз мы больше связаны с космосом, чем ракетами. Космос уже думает нам в зад. И наша главная проблема — не создание нового, а регулярная утилизация старого, в котором мы погрязли окончательно. Но чтобы преодолеть эту проблему, человечество учится всё, что в своё время было канализировано, — канонизировать. И, кажется, это у него иногда получается.

Перечитывая мыслителей прошлого, легко обнаруживаешь, что все твои умные мысли уже приходили в их головы до тебя. Но, самое удивительное, выясняется при чтении предшественников, и эта мысль не свежа — мыслители прошлого об этом тоже писали: задолго до них их умные мысли в какую-то разумную голову уже приходили. Сегодня нельзя подумать ничего такого, что бы не подумали другие задолго до нас. Так зачем же я это всё пишу? Да чтобы старого не забыть!

Человек живёт с постоянной ориентацией на спасение души, хотя при этом имеет в виду бессмертие тела и своего частного Я. Всё в человеке повтор, а неповторимо только Я, которое осуществляет связь с миром. Поэтому человек пытается изучить всё, что стоит между его разумом и бесконечностью. Тем не менее человечество научилось обновляться только через Я. И сегодня, когда Я признало смерть Бога, оно стало сиротой. Но в силу своей эгоистичности пытается из себя создать Троицу, своеобразного Бога-внука. Опровергая и отвергая всё, человеческое Я пытается сохранить только себя-мыслящее, как точку опоры со-бытия бытия небытия.

Фашизм и коммунизм незаконно использовали идею сверхчеловека, извратив её практикой геноцида. Сверхчеловек появляется не революционным путём, а только в процессе эволюции. Тем не менее постоянный кругооборот бытия в человеческом сознании подошёл к тому краю, где человек готов продуктом собственной интеллектуальной деятельности заменить природу, вытеснив оборот веществ оборотом мысли. А пока с помощью науки мы создаём законодательство для бытия, в котором мировой разум готовится творить из человеческой головы. Если раньше история — это бытование с Творцом, то пришедший ей на смену техпрогресс — это попытка отделиться от Творца. Исторический ресурс прошлого диктовал мысль, что иллюзорное творит лишь иллюзорное, но опыт наших дней ставит эту практику под сомнение, предлагая иной вариант развития — иллюзорное должно творить реальное. Недаром всё меньше предметов вокруг нас, а всё больше слов их обозначающих. В результате мир, стремится полностью растратить предметность и готовится стать вербальным.

Все походы в будущее бессмысленны, У нас одно прошлое заменяется другим прошлым, в результате будущее не наступает никогда. В лучшем случае настоящее бывает с утра. Но к вечеру и оно в прошлом. Недаром XX век прошёл слишком быстро. Это людские массы, живущие по закону большинства, ускорили время

занятостью—революциями, войнами, глобальным переустройством, которые диктовали им, как казалось, своевременные идеи. Но стремление жить вовремя—опасно, потому вовремя поспевать—это значит убыстрять ход современности. Вот и XX век пролетел столь стремительно, что мы обнаружили себя в его конце.

Бесконечность одновременно больше и меньше человека, потому что она состоит из нас, проходит через нас и выносит нас за пределы себя. Бесконечность безначальна и анонимна, но как только она проходит через человека, так сразу поименована и получает точку конца внутри себя самой.

Рюриковичи получили Русь по европейскому закону, используя право первой ночи. И сколько раз европейцы набрасывались на нашу страну, пытаясь этот гнусный закон Европы утвердить окончательно. Не вышло, потому что пришедшие на их место татаро-монголы просто насиловали Русь, вырывая из естественного хода истории. В результате такого евро-азиатского симбиоза мы получили в наследство Россию как внебрачную дочь Запада и Востока. И когда страна встала на ноги, то с обеих сторон стали претендовать на отцовство. Правда, признать это официально никто не решился, потому что для одних Россия была слишком восточна, для других—слишком западна. Так Россия, как безродный космополит, пока никем не признана, но при этом с большим приданым, что не вписывается в представление обеих цивилизаций. Теперь каждый норовит исправить ошибку, но не путём заключения с Россией брака, а оставить перезрелую страну в девках.

Инвентаризация иллюзий!

Наука ничего не доказывает. Она только строит модели, с помощью которых стремится создавать новые конструкции бытия. При продолжительном строительстве модели многое в науке меняется, в том числе становятся другими формулы, законы и системы доказательств. Это ещё раз убеждает, что наука так и не сумела овладеть законами природы, а только создаёт с помощью человеческого интеллекта свои законы восприятия основ бытия. И не делает никаких открытий, а приспосабливает данный ей способ мышления к возможному отражению мира. Наука не способна владеть и управлять законами бытия, потому что создаёт все формулы в процессе движения, выбирая произвольно свою точку отсчёта, так называемый ноль, но она не владеет базисным знанием начала и завершения, она развивается в рамках мышления переходного периода выбора человека. Наука—это способ создания конструкций между-между, от и до. Поэтому наука—это частность всеобщего и вымысел частного.

Меня никогда не удовлетворяла история, написанная ни до нас, ни при нас. Никак не мог понять почему, пока не выяснил, что история пишется как история власти и описывает, что вокруг этой власти происходит. Власть—вот осевой стержень нашей истории. И жизнь, на первый взгляд, строится вокруг власти, хотя жизнь всегда гораздо шире самой власти. Но известная нам история—это всегда вопрос власти. Не случайно описывать историю без власти бессмысленно. А поскольку история становится историей власти, то требовать от неё объективности затруднительно: она этого обеспечить не может по определению. Поэтому когда говорят, что истории нет, то говорят в том смысле, что истории без власти нет. И пока есть власть, будет история. И конец истории может означать, что не будет власти.

В России идёт очередная инвентаризация иллюзий. Хотели шведского социализма—получили латиноамериканскую мафию. Мечтали о западной демократии—получили разрушительные ползучие выборы, а в итоге—тоталитарную демократию. Мечтали победить товарный дефицит, а приобрели денежный дефицит в кармане трудящегося человека. Надеялись, что каждый будет получать по труду,—пожали массовую безработицу. Хотели приободрить собственного крестьянина, а финансируем заграничного. Кажется, шли по пути, чтобы не было бедных, а теперь не знаем, что делать с нашими богачами: то ли в ножки кланяться, то ли по этапу пускать. И к последнему народ склоняется больше. «Так жить нельзя!»—повторяли за современными мудрецами, а стали жить ещё хуже. Недаром подмечено, что в России все исторические глупости совершаются умными людьми.

Глобализация человечества лишает землян чувства Отца. Объединяясь, человечество становится беспризорным, потому что наивно верить в то, что всегда ставилось и подвергалось сомнению,—Бога. Утрата веры в Него породила сначала чувство неуверенности, а затем привела к атеизму и, как следствие, глобализации человечества, потому что через неё хлынула на планету новая сила, когда сумма нолей прибавляется к единице. Но при этом всё равно нарастает чувство одиночества и беспризорности. Отсюда по закону стереотипного мышления идёт поиск нового хозяина. В XX веке им стал Пришелец как защитная реакция обезбоженного массового человека. Но если прежде пришелец воспринимался нами как Творец, который создал нас по своему образу и подобию, а потому законно ощущался как составная часть нас, то сегодня ожидание Пришельца строится на появлении внеземной цивилизации из бесконечности космоса.

Отсюда массовые галлюцинации о неопознанных летающих объектах, которые заселены неведомыми существами. И это в духе и логике человечества: сначала опустошить небо от Бога, а потом заполнить всю высь пришельцами внеземных цивилизаций. Всё это говорит о неистребимой рабской сущности массового человека, который не может жить без более крепкой руки и сильной воли другого. И хотя идея Пришельца не новое явление человеческого бытования, но это ещё раз подтверждает, что людям всегда уготовано жить под кем-то и другого способа жизни оно для себя не мыслит. Нарождающаяся виртуальная реальность, по всей видимости, продиктует нечто другое. Например, возникновение на нашей планете нового существа, нечеловека-видимки, который, в отличие от ныне здравствующих, преодолеет страх перед Ничто Бытия и Пустотой Космоса, которые мы пытаемся сегодня заполнить Пришельцем. Но ждать лучше Пришельца из себя развивающегося, заполняя Ничто нечеловеком-видимкой, который способен выступить составной частью мирового разума. Именно нечеловек-видимка станет местом встречи мирового разума и человечества.

Иван Савин

На посохе — сова…

Я — Иван, не помнящий родства,
Господом поставленный в дозоре.
У меня на ветреном просторе
Изошла в моленьях голова.

Всё пою, пою. В немолчном хоре
Мечутся набатные слова:
Ты ли, Русь бессмертная, мертва?
Нам ли сгинуть в чужеземном море?!

У меня на посохе — сова
С огневым пророчеством во взоре:
Грозовыми окликами вскоре
Загудит родимая трава.

О земле, восставшей в лютом горе,
Грянет колокольная молва.
Стяг державный богатырь-Бова
Развернёт на русском косогоре.

И пойдёт былинная Москва,
В древнем Мономаховом уборе,
Ко святой заутрене, в дозоре
Странников, не помнящих родства.

Возмездие

Войти тихонько в Божий терем
И, на минуту став нездешним,
Позвать светло и просто: Боже!
Но мы ведь, мудрые, не верим
Святому чуду. К тайнам вешним
Прильнуть, осенние, не можем.

Дурман заученного смеха
И отрицанья бред багровый
Над нами властвовали строго
В нас никогда не пело эхо
Господних труб. Слепые совы
В нас рано выклевали Бога.

И вот он, час возмездья чёрный,
За жизнь без подвига, без дрожи,
За верность гиблому безверью
Перед иконой чудотворной,
За то, что долго терем Божий
Стоял с оплёванною дверью!

Дарья Серенко

Крылатое соло

Нечего

Вновь нечего. От этого и больно.
Мне нечего терять, и вышли сроки…

Но небо, проходя сквозь колокольню,
Становится звучащим и высоким.

Вновь нечего. От этого и реже,
Мой звонкий голос реже будет слышен…

Но люди смотрят с тихою надеждой,
И взгляды их, как пёрышки,—всё выше.

Но этот звон, и эта колокольня,
И эти взгляды, лёгкие, как перья,
Летящие в бескрайность добровольно,
Пойми, уже огромная потеря.

А представь, если б снег шёл не сверху вниз,
А напротив—вверх,
Отделяясь от наших холодных лиц,
От озябших век.
От халатов врачей, от седых голов—
Белизною прочь,
Налипал бы, как пух, налипал бы вновь
На небесный скотч…
А весною за шиворот лился с небес,
Возвращая то,
Что не страшной будет болью тебе,
А водой святой.

Когда прорезаются крылья, зудят лопатки.
И воздух сгущается до очертаний светлых.
И сами собой от земли отрываются пятки
На пару секунд и на столько же миллиметров.
Когда прорезаются крылья, краснеет горло.
Любимая куртка становится жаркой и тесной…
…Вот так одиночество перерастает в соло,
Крылатое соло. Полёт—это тоже песня.

Янтарь

Я вмурована в эту осень,
Как в янтарь.
В золотое многополосье
Не ныряй!
Не ищи меж прожилок-просек,
Не зови:
Я вмурована в эту осень
По любви…
Ну а если так станет легче
(Хоть на грош),
Можешь вставить янтарь в колечко
Или в брошь.

Я отвела свою душу к нему,
Даже багаж донесла до порога:
Том Пастернака и томик Камю…
Право, немного.
Не был радушным, как прежде, приём:
Что ни словечко—то острое жало.
Я отвела свою душу на нём…
И убежала.

Река полощет горло
Дождями и листвой.
Неряха-осень стёрла
Былое естество:
Развесила по веткам
Сырую пустоту
И листья, как объедки,
Оставила в саду…
Бегу к тебе сквозь это,
Укутавшись в пальто:
— Когда-то было лето…
— А лето—это что?..

Сергей Кузнечихин

Две сказки о птицах

1. Белая ворона

Неприглядная ворона
Промышляла возле окон.
Перекисью водорода
Окатили ненароком.
С перепугу стало плохо—
Думала, что околела,
И ослепла, и оглохла,
Но всего лишь побелела.

Возмущалась поначалу,
Перья мокрые шеперя,
На людей взахлёб кричала:
Что, мол, делаете, звери!
Но, устав, угомонилась—
Отдохнуть всегда полезно.
И сменила гнев на милость—
Хорошо, что не облезла.
Белый цвет, конечно, марок,
Для помоек не годится,
Но средь сереньких товарок
Гордой цацей, белой птицей
Почему б не прогуляться—
Рты разинут от сюрприза,
Даже каркнуть побоятся
Поперёк её каприза.
Под такой весёлый случай
Без разбора и без спроса
И кусочек самый лучший
Можно хапнуть из-под носа.

От мечтаний сладких тая,
В околоток свой летела,
Но её родная стая
Знаться с ней не захотела.
Там где серость, там и зависть.
Стая выскочек не терпит.
И плевались, и клевались,
Птиц чужих вгоняя в трепет.
И сама лихой оравы
Перекаркать не сумела.
Еле-еле от расправы
Чуть живая улетела.

Отдышалась, отлежалась
За столяркой в куче стружек,
Но к себе, несчастной, жалость
И обида на подружек
Не исчезли вместе с болью:
«Надругались, вот и чудно,
Значит, не были любовью
Дальнеродственные чувства»,—
И решила сердцем хмурым
Век с роднёю не встречаться.

Полетела в гости к курам
И не только пообщаться—
Позаботиться о крове
С дармовой и сытной снедью
Надо было. Да и кроме—
Чтоб кудахтали над нею.

Ну, а тем уже напели,
Им уже настрекотали,
Напищали, насвистели
Про скандал в вороньем стане.
Но она отнюдь не дура
И подход сумела выбрать
К сытым и наивным курам—
Пусть ворона, но не выдра.
А хозяйская кормёжка,
Высота и мощь забора
И полёты «на немножко»
Не расширят кругозора.
Наплела им полон короб
Где летала, как страдала…
И ни спеси, ни укора
Курам, видевшим так мало.

Сказки плыли, как на Святки,
На насесте ближе к ночи:
Про хорьковые повадки,
И про лисьи, и про волчьи,
Про медвежью глуповатость,
Ястребиное нахальство,
Про сорочью вороватость,
Даже про воронье хамство.

Сочиняла—только слушай.
И молодки затихали,
Перепуганные клуши,
Ей сочувствуя, вздыхали.
Пощади нас, птичий боже,
Только в страшном сне приснится,
Что такое выпасть может
На судьбу несчастной птицы.
А ведёт себя как скромно!
Не спросив, куска не тронет!
Вроде как бы и ворона,
Только масти не вороньей,
Только с выходкой иною
И полётом не похожа.
Может, с перьев белизною
И душа светлеет тоже?!

И уже дивятся люди,
А особенно их детки,
Подают в широком блюде
Очень щедрые объедки.

Вроде бы и не просила,
Но разжалобить сумела.
Что там люди—злая псина
Примирилась, подобрела.
Благодарностью блистая,
Чистит клюв на пёсьих блохах.
Пропадай, родная стая,
В старых дрязгах, новых склоках.
Для неё утихли страсти
И желанья нет искать их.

Только перья прежней масти
Прорастают так некстати,
Не ко времени, крамольно
Прёт проклятое наследство.
А выщипывать их больно,
Только некуда ей деться.
Надо прятаться и наспех
Дёргать из живого тела,
Чтоб не выйти курам на смех.
Да и псина знает дело.

2. Серые утки

Великая радость в конце перелёта
Скала для орла, а для уток—болото.

Усталые птицы на кочки присели.
Добрались до места—гуляй новоселье.
Но после беспечной утиной пирушки
На них затаили обиду лягушки.
Оно и понятно—кому же охота
Делить, с кем попало, родное болото.
Обида—обидой, но надо мириться:
Лягушка слаба, чтобы ссориться с птицей,
А с миром, глядишь, и обида прошла бы,
Но всё изменило вмешательство жабы,
Которая часто гостила в болоте,
Являясь кому-то двоюродной тётей.
Поживши повсюду и лиха хлебнувши,
Она молодёжи проквакала уши
О том, что за годы скитаний успела
Увидеть, узнать и едва уцелела,
Когда пребывала на службе в науке.
Лягушки, как Богу, молились старухе.
И нравилось ей поклонение это:
Судила, рядила, давала советы.

Когда прилетели незваные гости,
Премудрая жаба раздулась от злости,
И чтобы поставить в сомнениях точку,
Она забралась на высокую кочку,
Проквакала: «Хватит толочь воду в ступе,
Мы уткам болото своё не уступим.
Здесь наша икра, головастиков стаи,
Мы верность храним, за моря не летаем,
А этим—без разницы, где поселиться,
Явились, раскрякались—важные птицы,
Да хоть бы и цапли—важнее видали.
Меня электричеством люди пытали,
Лекарством травили, со скальпелем лезли…
А я всё живу! И пугать бесполезно!
И вам глупых уток бояться не надо.
Не будет им здесь, на болоте, пощады!
Я знаю, что нету числа их порокам.
Их грязные тайны открою сорокам».

Позвали сорок, угостили, и скоро
Болота и реки, леса и озёра
До дна содрогнулись, настолько был жуток
Сорочий рассказ о «невинности» уток.

Позоря высокое звание птицы,
Они заселили людские больницы
И в каждой палате, под каждою койкой
Расселись, чужих не стесняясь нисколько.
В них гадят бессовестно круглые сутки,
Им в души плюют, но больничные утки
Привыкли, смирились и, вместо протеста,
Молчат, зацепившись за тёплое место.
Посуда для сбора людского помёта.
Забыв, что они рождены для полёта,
Сидят, догнивают, мочою пропахши.
Со званием птицы и духом—параши.

Ещё существуют газетные утки.
Оторвы циничней любой проститутки,
Порхают, крикливы и бесцеремонны,
Поправши людские и птичьи законы.
Порочны насквозь и до пёрышка лживы,
Способные ради малейшей наживы
Испачкать дерьмом, опозорить публично
Врага или друга—почти безразлично—
Кого, за какие грехи погубили.
Им лишь бы платили, платили, платили…
И, плюс ко всему—получить наслажденье,
Следя за чужим неуклюжим паденьем.

Редчайшие стервы, но хуже—иные—
Нет уток опаснее, чем подсадные.
Такие—наивны на вид и невинны,
Их чёрной души с расстоянья не видно,
Старательно спрятав своё вероломство,
Они ненавязчиво манят в знакомство.
Влюблённые селезни рвутся навстречу,
А их вместо ласки встречают картечью
Стрелки. Вот такие кровавые шутки
Себе позволяют коварные утки.

Сороки летали, сороки трещали,
Ещё кое-что рассказать обещали
Тупым тугодумам, коль этого мало.
Но всем и такого с избытком хватало.

«Они опорочили чистое небо»,—
Хрипели орлы, задыхаясь от гнева.
«Да как они к нам приземлиться посмели?»—
Шипели в траве возмущённые змеи.
И лисы кривились, и морщились волки:
«Понятно, откуда у нас кривотолки,
Интриги и склоки. Обидно, что сразу
Не поняли мы, кто разносит заразу».
А челядь лесная и прочая мелочь,
Которая вечно и пискнуть не смела,
Попряталась в норы, от страха дрожала
Иль в панику кинулась, как от пожара.
И случаи были, иных насекомых
Неделю родня выводила из комы.

Само по себе появилось решенье:—
Немедленно уток с болота в три шеи.

Нагрянули скопом, нешуточной тучей.
Пускай улетают—чем дальше, тем лучше.

И уткам настала пора удивляться,
Узнав, почему их соседи бранятся.
Пытались от мнимой родни откреститься,
Внушить, что больничные утки—не птицы.
Газетные—тоже. А те, подсадные,—
Они вообще муляжи надувные.

И вся их вина—что какая-то жаба,
Капризная, вздорная, страшная баба,
Себя возомнивши болотной царицей,
Не может с обидой на жизнь примириться.

Но лучше бы утки об этом молчали.
На них зарычали, на них закричали,
Захлопали крыльями в бешеном раже—
Стихийной толпе ничего не докажешь.
Она не захочет дослушать ответы.
Особенно если уже подогреты
Обиды и страхи у старых и юных,
Искусно затронуты слабые струны.

И проклятой стае, покуда не поздно,
Пришлось оставлять недовитые гнёзда.

Владимир Любицкий

Две звезды

Недавно в зоопарке вышел спор.
Не помнится уже, кто начал разговор,
Но громче всех витийствовал Павлин:
—Я птица царская!
Я здесь такой один:
И роду знатного, и среди птиц—звезда!
Ко мне толпятся зрители всегда.
Своим хвостом
Что здесь, что на природе
Я без труда фурор произвожу в народе!
А ты, Орёл, чем славен-знаменит?
Орёл молчит.
А мудрая Сова
Заметила: «Зачем Орлу слова?
Ему невмочь на рукотворной ветке
И в тесной клетке.
Он птица вольная, полёт—его стихия.
Пусть перьями бахвалятся другие!
Павлина не унять: «Какая спесь!
Уж если все мы оказались здесь,
Былыми подвигами нечего хвалиться!
Тут каждый на виду—
И зверь, и птица.
Меня, по-твоему, случайно любят тут:
Зерном отборным кормят, стерегут
И даже пёрышком оброненным гордятся?
А на Орла когда ни посмотри—
Не разберёшь, что у него внутри:
Уставится куда-то в небосвод—
И даже головы не повернёт в гордыне.
А кто он ныне?
И где его прославленный полёт?»
Молчит Орёл.
Но, завершая спор,
Опять Сова вступила в разговор:
«Да, в клетке мы равны. Былой полёт
Для праздной для толпы—действительно не в счёт.
Глаза ей застит красота,
И кто одет по моде,
Тому она и славу отдаёт.
Но не суди, брат, обо всём народе
Лишь с кончика ты своего хвоста!
Взгляни-ка на Орла: какая сила
В размахе крыльев и в орлином взоре!
Ему подвластны горы, степи, море.
Он, если уж взовьётся в небосвод,—
Душа поёт!
Ты на земле звезда
И—в переносном смысле,
А он—всегда,
Причём, в природной выси!
Вот почему идёт к нему народ,
Любуясь не таким уж модным платьем,
А гордой статью.
И каждый хочет, чтоб гордиться сыном,
Растить его Орлом, а не Павлином!»

Антон Мисурин

Под соловьиное аллегро

Переделкино

1.

И он, полив цветы герани,
На ящик с линзой бросил взор:
— Роман мой будет на экране!
Ах, Зина, что мне этот вздор!

Хула завхозов и прорабов
Теперь мне вовсе не страшна!
— По мне так выдумки арабов
Ужасней… — молвила жена.

2.

— Ах, Зина, Зина дорогая,
Какой я видел страшный сон!
— Мне снилась смерть, но смерть другая,—
Загадочно добавил он.

— Ах, друг мой, я умру не дрогнув.
Всего ужасней, что потом
Меня мой будущий биограф
Придушит жирным животом.

Шевченко в ссылке

Казахстан, 1855

Як понесе з України
У синєє море…

И снится сладкий сон Тарасу:
Ревущий Днепр с родных полей
Смывает вражескую расу—
Уносит в море москалей.

Жиды из Жмеринок и Винниц
В нём тонут, как слепые псы.
И всюду гордый украинец
Смеётся в пышные усы.

…В казарме грязь и бродит крыса.
Он просыпается в слезах.
И с чашкой смрадного кумыса
Над ним склоняется казах.

1829

Когда в кровавом Тегеране
Поэт от рук злодейских пал,
Невозмутимые дворяне
Метали банк, давали бал.

Княгиня Марья Алексевна
Сказала только: «Ай-ай-ай!»
О свет! О чудище стозевно,
Огромно, обло и лаяй!

Париж

Грязна убогая таверна,
и подавальщица пьяна.
Здесь пол прогнил, здесь пахнет скверно,
И будет Франсуа, наверно,
зарезан у того окна.

Его любовь, его баллада,
заплачет толстая Марго.
Но время разума и лада
грядёт — и чашку шоколада
закажет здесь месье Гюго.

Комарово

Ещё вчера шуршали жутко
Маруси чёрные в ночи.
Теперь полна гостями Будка
И не опасны стукачи.

К ней ездит Фрост. С улыбкой кроткой
Ей англичанка смотрит в рот.
И резво бегает за водкой
Четвёрка будущих сирот.

Оплошность

Проклятый город Кишинёв!..
А. С. П.

Имел Филипп Филиппыч Вигель
К любви несчастливый талант.
Он голым раз вошёл во флигель,
Где жил с ним флигель-адъютант.

А там лежит нагая дева.
Тут Вигель понял, что он влип.
И, на пути ломая древа,
Бежал сконфуженный Филипп.

Он нёсся, горестный любовник,
Не в силах поглядеть назад.
А вслед ему кричал садовник:
«Но, Вигель, пощади мой сад!..»

Зима

Мураново, Тарханы, Спасское
Укрыл невыносимый снег.
Всё умерло и стало сказкою—
Не вспоминай о нём вовек.

Оставь напрасные иллюзии.
Пей чашу горькую до дна.
Ночная мгла на холмах Грузии
Непоправимо холодна.

Exegi monumentum

И назовёт меня
всяк сущий в ней язык…

И гордый внук славян, местами
Порастерявший прежний форс,
И друг степей в буддистском храме,
И финн, отбывший в Гельсингфорс,

И, ныне водкой убиенный,
Тунгус в посёлке и в тайге,
И бард-грузинец вдохновенный —
В стихах на дружеской ноге.

Безбожник

Под соловьиное аллегро
Шеншин забылся. И во сне
Коннозаводчик видит негра,
Кричит и плачет: «Горе мне!

А если бы я ездил в Лавру,
Как наш неутомимый граф,
Господь бы не позволил мавру
Являться мне без всяких прав!»

Коктебель

Цикады пели до рассвета,
Не нарушая тишины,
В которой даже Мариэтта
Могла бы — как ни странно это —
Услышать слабый плеск волны.

Волна черна была, как вакса.
И раздавался голосок:
— Прими же из сандалий Макса
Пересыпаемый песок.

Ялта

Как скучно летом в душной Ялте:
Толпа матросов пиво пьёт,
В ужасном грохоте и гвалте
Причаливает пароход.

Как много пошлых сантиментов,
Нелепых жестов, слов пустых…
Он презирает пациентов,
Но бескорыстно лечит их.

Он лечит насморк, лечит триппер,
Но лишь тогда и счастлив он,
Когда письмо от Ольги Книппер
Ему вручает почтальон.

Девятнадцатый век
Гремит в трактире хор цыганский.
Солдаты строятся в каре.
И на коленях перед Ганской
Стоит безумный Оноре.

Взлетают вальдшнепы над лесом,
И, услыхав их резкий свист,
В них целит с жутким интересом
Яснополянский беллетрист.

Эмигрант

Сижу в кафе на Монпарнасе
И пью игристое бордо.
И о моём последнем часе
Поёт Полина Виардо.

Вот так же воздух был сиренев
У Врубеля на полотне.
Иван Сергеевич Тургенев,
Молите Бога обо мне!

Синяя тетрадь

Стихи, рассказы и очерки участников литературного конкурса «Чистая купель»

Анжелика Крейндель

6 класс, гимназия № 7, г. Красноярск

Миф о дереве Оа́и и коте Бу

Этот миф записан мною со слов старого Кума́и-Бу из племени Айа́ва с острова, название и координаты которого я предпочла бы не оглашать.

Тотем этого племени — огромный дымчато-серый кот Бу, изображения которого покрывают стены многочисленных пещер на побережье острова рядом с деревней. В большинстве случаев кот Бу изображается под деревом Оа́и, которое символизирует гармонию и жизнь во всей полноте её смыслов.

P. S. В этом мифе довольно часто встречается слово «гармония». На языке племени Айа́ва это звучит как «гэммо», но я пишу это слово по-русски, чтобы миф был понятным и не вызывал затруднений при чтении, хотя это не совсем точный перевод.

Когда Владыка Вселенной создавал наш мир, он решил отправить к нам своего любимого серого кота Бу, дабы тот помог Ему создать в мире гармонию.

И Бу пришёл.

Он захотел вздохнуть полной грудью — и подул ветер.

Он почувствовал холод — и взошло солнце.

Он захотел ощутить лапами твердь — и появился остров.

Он захотел омыть усталые лапы — и появился океан.

Он захотел пить — и из земли забил родник.

Он решил прилечь — и белый песок покрыл берег.

И когда он смеживал веки — солнце скрывалось в океане, а когда он просыпался — солнце поднималось вновь.

И ночи сменяли дни, приливы сменяли отливы, и годы летели один за другим, и было их больше, чем звёзд в ночном небе.

И вот однажды Бу решил, что земля красива, но пустынна.

И тогда из земли показался росток. Он тянулся к солнцу, и вскоре на берегу океана стояло огромное дерево Оа́и. Корни его были от одного берега до другого, и крона скрывалась в облаках. И не было с той поры ничего столь же совершенного.

Однажды подхваченные ветром листья дерева Оа́и превратились в летящих птиц, ползущие по земле корни обернулись бегущими животными, а семена, упавшие в воду, стали рыбами.

Из пурпурных цветов дерева Оа́и сошли на землю воины, из белоснежных — девы, а из золотых — мудрецы.

Так появилось наше племя Айа́ва.

И воцарилась в мире гармония.

Она связала всё воедино: пути мужчины и женщины, крепкий лук и полёт стрелы, неподвижный берег и стремительную волну.

Но хрупка она и тонка, точно ломкий стебель травы На́ту, точно голос птицы Ти́а на рассвете.

Когда жухнет листва дерева Оа́и — человек совершает недоброе.

Когда засыхает ветвь дерева Оа́и, и отламывается, и падает вниз на землю — пылает битва, а стервятники ликую на страшном пиру.

Но когда раскрывается на дереве Оа́и свежий листок — человек творит добро.

И когда распускается на дереве Оа́и цветок — влюблённые находят друг друга.

И, восхищённый этим деревом, подобным самому Владыке Вселенной, кот Бу решил навсегда остаться в прохладной тени Оа́и.

И теперь когда Бу хлещет себя хвостом по серым бокам — тучи разят молниями, а земля сотрясается.

Если Бу спит в тени Оа́и — стада тучны и урожаи обильны.

Когда Бу урчит, опьянённый запахом цветов Оа́и, — выздоравливают дети.

Если Бу точит когти о могучий ствол Оа́и — воины острят копья и возжигают жертвенные костры.

А когда Бу взбирается по ветвям к вершине Оа́и и смотрит вдаль на воды океана — люди задумываются о высоком.

Бу не подвластен смерти, ибо питается плодами дерева Оа́и, дарующими вечную жизнь.

Злобный, жадный, недалёкий человек никогда не узрит во всей красе дерево Оа́и и не коснётся серого меха Бу.

Чистый же, смелый и добрый может воочию увидеть дерево Оа́и, услышать урчание Бу и погладить его по дымчатому боку. Но не многим даётся такая удача.

И стоит дерево Оа́и, и смерть сменяет жизнь, а жизнь предшествует смерти, и этот круг вечен, как вечны скалы и море, как вечно само дерево Оа́и, в этом мире, едином и гармоничном.

Даша Перевойкина

10 лет, с. Большая Ничка, Минусинский район

Куры и другие животные

Я живу в замечательном селе. Рядом находится красивый бор. Всей семьёй мы любим ходить на озеро или в лес. Но больше всего мне нравится наблюдать за поведением животных.

Куриная месть

У нас в деревне живёт пёс, зовут его Малыш. У него тёмная шёрстка, короткие ножки и глаза как две чёрные пуговки. Когда он был щенком, то очень любил играть, подолгу резвился, не думая о том, что это может кому-то не нравится. Особенно обожал Малыш гонять курей по двору. Куры громко кудахтали, подолгу возмущались забавой пёсика.

Однажды, во время обеда, раздался душераздирающий визг. В нём было столько неподдельного ужаса и боли, что мы со всех ног бросились во двор. Посередине двора нам пришлось остановиться, оглядеться. Но Малыша нигде не было. Во дворе плотным кружком—хвост к хвосту—стояли наши курицы и что-то сосредоточенно клевали. Рядом гордо расхаживал петух и контролировал процесс. Мы замерли, прислушиваясь. Вдруг из плотного куриного кольца вновь раздался визг. Но был он слабый, казалось, что у жертвы не осталось уже никакой надежды выжить. Подбежав к курицам, мы увидели, что в центре лежит наш щенок. Курицы методично клюют его бедную голову, по носу щенка стекает струйка крови. Нам пришлось в буквальном смысле спасать Малыша. Куриная месть настолько далеко зашла, что курицы не желали отпускать свою жертву. И мы вынуждены были оттаскивать их за хвосты.

Малышу промыли и обработали рану. Несколько дней он отходил от шока. Затем вновь стал весёлым игривым щенком. Но с тех пор Малыш больше не гоняется за курицами. И если при их приближении не успевает заскочить в будку, то падает на землю и передними лапками закрывает свою голову.

Куриный омон

Я знаю, что существует много людей, которые охраняют наш покой, защищают нас от бандитов: это милиция, сотрудники гибдд, пожарные, омон и другие. Но я никогда не думала, что такое существует и у кур.

Однажды я играла на улице, а мама покрывала забор олифой со стороны палисадника. Здесь же, в палисаднике, в мягкой земле искали насекомых и наши курицы. Чтобы курей не пугали собаки, мама закрыла калитку. Курицы и мама оказались в одном замкнутом пространстве. Тогда от группы курей отделилась одна курица, она шла, расправив крылья, концы которых свисали вниз точно кулаки, выгнула шею, раскрыла клюв, при каждом шаге тело её покачивалось из стороны в сторону. От этой курице исходила такая угроза, что я замерла: ещё немного, и она нападёт на маму! Но, не доходя нескольких шагов, куриный омон остановился. Моя мама спокойно продолжала красить забор, за этим процессом, не меняя позы, наблюдала и курица. Мама делала шаг вдоль забора, переходя от одной штакетины к другой, курица, сохраняя дистанцию, двигалась следом. Рядом, не обращая внимания на этот молчаливый поединок, паслись остальные куры. Так продолжалось около часа. Куриный омон не сводил своих глаз с «объекта». Оборону сняли только после того, когда мама докрасила забор. И курица с чувством исполненного долга беззаботно начала искать червячков в земле.

Дмитрий Попов

5 класс, г. Енисейск

Димкины рассказы

Стол

Мне было семь лет, и у меня было много игрушек. Но больше всего мне почему-то нравился стол. Да, я забыл сказать, что у меня есть кот Васька и черепашка Джульетта. И вот однажды мы остались одни: я, Вася и Джулья. Вместе с моими маленькими друзьями мы уселись за стол, и я впервые заметил, какой он красивый. На нём были вырезаны разные по величине квадратики, ромбики, кружочки. Он был раскрашен в яркие цвета и блестел на солнце. Я подумал: «Какой красивый!»

Этот стол останется у нас навсегда.

Поход

Однажды учитель сообщил нам, что мы идём в поход. Мне и моему товарищу велели взять с собой котелок и спички. Учитель ждал нас возле школы. Наконец все собрались и с песнями отправились в путь.

Усталые, но счастливые, добрались мы до места. Мальчики поставили палатки, разожгли костёр. Девочки принялись готовить ужин. И тут мы с другом обнаружили, что потреяли по дороге котелок. Нам было обидно и горько, но учитель и ребята утешили нас. А суп мы в ведре сварили!

Царь Горох

Жил да был царь Горох-Горох. И гороха у него было—не мерено. И вдруг однажды заявился какой-то незнакомец по имени Гороховая Гниль и назвал царя Гороха-Гороха зелёным прыщом и скупцом. Что тут началось во дворце! Царь кричит: «Держи вора! Хватай грубияна!»

А незнакомец в гороховую кучу забрался, горохом сверху накрылся, а про то и не подумал, что горошины круглые и по дворцу раскатятся.

Тут стражники подбежали, незнакомца схватили, в темницу бросили.

— Не видать тебе, Гороховая Гниль, белого света, не испортишь ты нашего богатства!

И жизнь в гороховом царстве стала прежней, и царь Горох-Горох стал ещё богаче и угощал горохом всех, кто пожелает.

Кристина Чичерова

6 класс, п. Усть-Кемь, Енисейский район

На удачу

Шли мы как-то раз из библиотеки: я, Маша и Алёша. Вдруг Лёша остановился. И поднял с тропинки десять рублей. Я и Маша удивились. Вот как ему повезло! Видно, он счастливчик. Но и мы не остались без везения.

Было это на следующий день. Мы с Машей возвращались из школы. На заборе сидели голуби. У нас были семечки, и мы решили покормить птиц. Вдруг из-за забора выбежал зверёк. Маленький, беленький, ушки торчком, хвост пушистый. Не успели мы его разглядеть, как он скрылся за сугробом. Однако, мы поняли, что это была ласка! Мы так обрадовались: ведь это лучше, чем найти десять рублей!

Ира Тырышкина

5 класс, 11 лет, г. Минусинск

Маришкины истории. Про собаку

Мариша стала уже совсем большой. Мама больше не провожает её в школу и не встречает. Но возвращаться домой Марише немного боязно. И все из-за собак. Их всегда много на улице. А одна—самая страшная. Встанет на Маришкином пути и не пускает. Сердце у Маришки просто замирает, старая овчарка лает и лает.

Вообще-то Мариша собак любит. Каждое лето она гостит у дедушки, и верный пес Жулька ни на шаг от нее не отстает. Они вместе бегают, катаются на велосипеде, играют в мяч. Мариша решила, что когда вырастет, то обязательно возьмет себе щенка. Он будет для нее самым лучшим другом.

Сегодня Мариша не пошла в школу. Утром мама посмотрела ее горлышко и сказала, что надо идти к врачу. Папа отвез их в больницу.

Домой возвращались на автобусе. Сошли на своей остановке. Пока были в больнице, снег покрыл землю. Стало мокро и грязно. Дул сильный ветер. Мариша держалась за мамину руку. Из сумки так вкусно пахло свежим хлебушком, который купили по пути в магазине. Скорей домой… И вдруг… она… та страшная собака. Мариша еще крепче схватилась за мамину руку. Но собака вела себя как-то странно. Она не лаяла. Овчарка плелась за ними, изредка поддергивая носом. Она казалась Марише такой беззащитной.

— Мама, мамочка, собачка кушать хочет!

— Подожди, доченька, сейчас до дома дойдем, соберем чего-нибудь.

С мисочкой супа и большим куском хлеба Мариша торопилась к собачке. А вдруг она уже ушла? Не заметив под снегом куска проволоки, девочка запнулась и упала. Суп не разлился, было только больно, но Маришу ждала собака. Девочка аккуратно поставила перед ней еду. Овчарка как-то почеловечески посмотрела на девочку и стала есть.

— Маришенька, доченька! У тебя вся коленка в крови. Пойдем домой, не будем мешать собачке.

К вечеру у Маришки поднялась высокая температура. Целую неделю она пролежала в постели: принимала лекарства, полоскала горлышко. И все это время девочка думала только об одном: «Как там моя собачка?» В первый день после болезни Маришу в школу провожала мама, но возвращалась девочка одна. Собаки точно так же бегали вокруг Маришки, но старой овчарки она не видела. На какую-то секунду девочка почувствовала чей-то взгляд. Что-то знакомое и родное промелькнуло совсем рядом.

«Это она, обязательно она!»—радостно воскликнула Маришка. Немного побаиваясь, девочка подошла поближе к собакам, но они почему-то разбежались.

Больше старой овчарки Маришка никогда не видела.

Олеся Подлесоцкая

8 класс, г. Енисейск

Голубь

Ура! Наконец-то закончились уроки! Сегодня опять пришлось задержаться, но ничего, сейчас выйду на улицу, и—долгожданная свобода!

Открыв тяжёлую школьную дверь, я весело сбежала по ступеням. Уже начало смеркаться, стрелки на часах показывали без десяти шесть. Хмурое небо заволокли тучи, в лицо ударили первые капли дождя. Как же быстро может испортиться настроение… Хорошо, что не забыла взять зонт. Раскрыв его и поправив шарф, я, как и все люди, спешащие домой в этот промозглый день поздней осени, пошла на автобусную остановку.

Голые деревья, опавшая листва под ногами, слякоть, тусклые дома—весь этот угрюмый пейзаж наводил на грустные мысли. Задумавшись, я не заметила, как подошла к остановке.

Обычные обитатели этого места—голуби. Среди них был один особенный—белый, с переломанным крылом. Бабушки, торгующие семечками, частенько подкармливали птиц. В этот час старушки уже собирались домой.

Среди людей, ожидавших автобус, выделялся мальчишка дет девяти. Он щёлкал семечки, одновременно пиная камешки носком новой яркой кроссовки. По всему виду мальчишки можно было догадаться о его хорошем настроении. Вдруг к мальчугану подбежал тот голубь с больным крылом. Мальчик, заметив птицу, отошёл от неё на пару шагов. Ему был явно безразличен голодный голубок. Но голубь снова приблизился к мальцу—в надежде получить корм. Мальчик постоял в раздумье несколько секунд и резко пнул птицу. Я лишь заметила мелькнувшую подошву дорогой кроссовки и вылетевшего на дорогу больного голубя. Несчастная птица упала навзничь, тщетно пытаясь взлететь. Я застыла, на мгновенье потеряв дар речи. А одна из бабушек кинулась

к голубку с криком «Что же ты наделал!», но не успела — улицу переехала машина. Я вскрикнула. Стоявшие на остановке люди, погружённые в свои мысли, казалось, ничего не заметили, а если кто-то и заметил, то не придал этому значения… А малец вприпрыжку подбежал к подъезжающему автобусу и заскочил в него.

Я смотрела вслед уезжающему автобусу и думала: каким человеком станет этот мальчик? Откуда в таком маленьком существе уже столько злобы? Кто её посеял? Семья? Друзья? Общество?

Нередко мы и сами бываем такими же жестокими, безразличными, равнодушными. Никто не виноват в наших бедах и страданиях, трагедиях и конфликтах, которые происходят в мире, кроме нас самих.

Анастасия Скоробогатых

10 класс, гимназия № 13

На краю субкультуры

«Любви все возрасты покорны»… Это правило почему-то действительно для всех людей, вне зависимости от национальности, взглядов на жизнь и, конечно, возраста. Почему тогда такая вещь, как субкультура, популярна только среди современных тинэйджеров 13–19 лет, а не для взрослых состоявшихся людей?

Наверное, всё дело в том, как подростки смотрят на жизнь. Как на нераскрашенную, бесцветную картинку, которой не хватает яркости и разнообразия оттенков. И каждый из них стремится придать картинке свои цвета, а в итоге получается совершенно по-разному. Отсюда и субкультуры: каждый тинейджер, в душе ещё ребёнок, видит себя по-своему и стремится отойти от устоявшихся взглядов, создать что-то своё, новое. Хочется быть не таким, как все, но особенным, непохожим на остальных; а причислить себя к какой бы то ни было субкультуре — чем не выход?

Субкультура — это стиль жизни, по-своему яркий и неповторимый. Все её приверженцы отличаются взглядами, поведением, своеобразным стилем в одежде и, конечно, музыкой. Особенно музыкой. Потому как многие из субкультур образовались и стали развиваться именно из музыкальных стилей. Сейчас на пике популярности среди молодёжи готы, панки, скинхэды, эмо, рокеры и многие-многие другие. Возможно, такое разнообразие молодёжных субкультур не слишком по нраву тем же взрослым, зато, с другой стороны, есть из чего выбрать запутавшемуся в себе подростку.

Кстати, а как дети становятся частью субкультуры? Ведь не просыпаются же одним утром с чётким сознанием того, что нужно стать байкером, или хакером, или хиппи? Вполне логично, что выбор формируется в сознании постепенно. В первый раз — услышал от знакомого в школе, в следующий — увидел передачу по телевизору, подсмотрел за необычной группой на улице… Понаблюдал — понравилось. В голове назойливо начинает жужжать вопрос: «А почему бы мне не стать таким, как они? Чем я хуже?». Хуже-то, конечно, не хуже, только вот нужно прежде серьёзно подумать: а нужно ли оно вообще? Это ведь не шоколадку в магазине купить, а вполне серьёзный выбор сделать, который на ближайшее будущее в корне изменит привычную, надоевшую жизнь. Не навсегда, но на какое-то время — точно. И вот, когда выбор созрел, человек начинает меняться. Родители с ужасом наблюдают, как их любимое чадо на глазах из послушного ребёнка превращается в совершенно другого, независимого подростка. Старые вещи остаются пылиться на дальней полке шкафа, постепенно заменяясь разноцветными футболками, узкими джинсами и клёпаными ремнями. Ребёнок перекрашивает волосы в чёрный, обстригает под мелкий колючий ёжик, торчащий в разные стороны; забывает старых друзей и начинает общаться с новыми. Такими же странными, в невообразимой одежде и с чёрными глазами.

Нет, вообще-то, всё не так страшно. Во-первых, субкультур много, в том числе и вполне безобидных. Но что человек меняется — это обязательно. Если и не внутри, то внешне точно. И становится частью своей новой субкультуры, новой жизни. Если подросток сделал свой выбор осознанно, ему остаётся только позавидовать: он нашёл то, что искал, и пусть небольшие разногласия со взрослыми, которые почему-то никак не могут привыкнуть к мысли, что это нормально, неизбежны. Его новый стиль жизни, так непохожий на остальных, доставляет ему удовольствие. Это на самом деле здорово! Другое дело, что, к сожалению, довольно часто подростки всего лишь поддаются влиянию моды. «Все вокруг делают это, значит, мне тоже надо. Ведь это круто!». И начинают бездумно копировать поведение, стиль, слушают музыку, даже пусть им совершенно не нравится. «Другие же слушают. Значит, должно быть, эта музыка хорошая. Просто я этого ещё не понимаю. Но я обязательно пойму!» Таких людей в современном мире не любят, и часто называют позёрами. Опять же, возникает почти риторический вопрос: как отличить истинного приверженца от того, который всего лишь его копирует? Лично я пожимаю плечами. Сталкивалась с этой проблемой в своей жизни, много спорила, но так и не поняла, как подростки их различают.

Ещё одна проблема лежит в понимании значения субкультуры. Приверженцы, конечно, знают о своей культуре всё, вплоть до незначительных мелочей: историю, смысл, основные взгляды, соответствующую музыку. Но есть и такие (не имеющие к субкультуре никакого отношения), кто не пытается вникнуть в саму суть. Покопавшись в Интернете или наслушавшись от друзей, они сложили в голове своё собственное представление, которое часто не совпадает с действительностью. Возникают совершенно несправедливые стереотипы, далеко не в пользу представителя субкультуры. Взять хотя бы довольно распространённую сейчас культуру «эмо». Чёрно-розовые цвета, короткий чёрный ёжик на голове, чёлка, закрывающая добрую половину лица, большие глаза, жирно подведённые чёрным карандашом, бледная кожа,

кеды с яркими шнурками—такими в большинстве своём видят эмо окружающие. Ладно бы обращали внимание только на стиль в одежде (хотя чёрно-розовый цвет на самом деле далеко не самый профилирующий), но ведь почему-то сложился также стереотип поведения эмо-подростков: все их видят как вечно чем-то недовольных, жалобных детей, которые постоянно плачут, закатывают истерики и находятся в постоянной депрессии. А на самом деле? На самом деле эмо не в депрессии, просто само название произошло от английского «emotional», что означает «эмоциональный», что и доказывают эмо-тинэйджеры своим поведением: когда им плохо, они горько плачут, зато когда весело—заливисто смеются. Не скрывают своих эмоций, какими бы они ни были. Тем не менее стереотип захлёбывающегося слезами подростка очень популярен среди эмо-ненавистников, каковых не так уж и мало, как и самих эмо. Иногда такие конфликты даже выливаются в ничем не обоснованное насилие.

Подростки по-своему видят жизнь, и отражение их собственного мира находит себя в различных современных субкультурах. Каждый стремится быть индивидуальным, отличаться от остальных; хочется внимания и понимания. Субкультура—своеобразный способ самовыражения. Не все тинэйджеры нашли своё место в жизни, не все на сто процентов в себе уверены, а некоторые просто не знают, чего хотят. Субкультура помогает определиться с выбором, сделать жизнь ярче и разнообразней. И, если покопаться, это не так уж и плохо.

Взрослые, не стоит принимать близко к сердцу, если ребёнок вдруг проколол губу или покрасил волосы. Он просто пытается найти себя. К тому же это не на всю жизнь: подростки вырастают и даже не замечают, как постепенно теряется интерес к их ребяческим выходкам. Вы разве встречали хоть одного пятидесятилетнего мужчину с ирокезом или сорокалетнюю женщину с чёрной чёлкой на пол-лица? У взрослых свои интересы и заботы, а молодёжные субкультуры остаются всего лишь расплывчатым воспоминанием далёкого детства.

Экстрим и счастье

Спрыгнуть с парашютом, отправиться в пеший поход, полный подстерегающих опасностей, нырнуть в океан с аквалангом… Люди придумали бесчисленное количество приключений на свою голову. Зачем же, собственно, всем им это нужно?

Экстрим. Вот он, ответ на вопрос. Каждому хочется испытать на себе что-то необычное, не укладывающееся в привычные рамки, отличающееся от их повседневного мира. Они выбирают приключения. Ну а что, чем не выход?

Кто-то сбегает от повседневных проблем подальше от надоевшей рутины; кто-то хочет попробовать что-нибудь новое; а для кого-то это простонапросто смысл жизни. Хороший смысл, необычный: получать дозу адреналина и быть счастливым… Кстати, научно доказано, что наш мозг вырабатывает два вида счастья: «спокойное», которое мы получаем от умиротворённых занятий, таких, как чтение, например, и «адреналин». Отсюда и наша любовь ко всему экстремальному: она всего лишь приносит нам долгожданное счастье.

Так, с научным объяснением разобрались. Только почему бы не получать свою долю счастья из чтения? Почему всё-таки подавляющее большинство предпочитают что-то более активное, нежели расслабление дома на диване?

Скорее всего, нашей сегодняшней жизни не хватает ярких красок, острых эмоций, какой-то изюминки. Всё слишком просто, слишком обычно, слишком одинаково. Страсть как хочется разнообразия, красок, круговорота ощущений. Поэтому люди летают на аэропланах, плавают в подводных пещерах, работают с дикими зверями в необитаемых джунглях, катаются на горных лыжах, прыгают с трамплинов… Каждый находит что-то своё. И каждый получает своё счастье.

Образ современного подростка

Яркость. Индивидуальность. Независимость. Таким всё чаще видят современного подростка чужими глазами. А кто-нибудь задумывался, что у этого человека запрятано в отдалённых уголках его души, скрытой от любопытных глаз?

На виду у всех он лидер. Душа всякой компании. Интересный в общении; любит шутить, даже если иногда это задевает чьи-либо чувства. Но ему прощается. Он же независимый. Яркий. Неповторимый. Одевается со вкусом, следит за внешностью. Любит комплименты. Такой же, как остальные. Но по-своему индивидуальный. У него много друзей, и все его любят. Родители боготворят. В школе недолюбливают. Характер? Характер весёлый, общительный. А главное—он ведь ни от кого не зависит. Сам по себе. Иногда окружающие за спиной удивляются: а ему, вообще, не чужды ли настоящие чувства?..

А кто заглядывал в душу этому современному подростку? Кто, кроме него самого?..

На людях весёлый, наедине с собой грустный. При всех смеётся, а когда остаётся один—плачет. Он ведь совсем не такой, каким его привыкли видеть… Да, он старается быть лучшим. Для публики. Но только потому, что не знает, чего на самом деле хочет. Он всего-навсего заблудился в темноте своего сердца, и некому протянуть руку с ярким фонариком. Потому что все его страхи, неуверенность—это глубоко внутри, и даже самым проницательным не всегда удаётся их увидеть. Как же ему помочь, если об этом никто не знает? И, кажется, он не собирается рассказывать. А, собственно, что рассказывать? Когда он сам-то в себе разобраться не может… Мысли—один сплошной клубок. Потянешь за ниточку—ничего не произойдёт. Слишком запутанный клубок. Большой. Устрашающий.

Вот и получается, что никто не догадывается, о чём он на самом деле думает. Вот он, улыбаясь, протягивает тебе руку… А ты знаешь, о чём в этот момент его мысли?..

Наверное, не все подростки такие потерянные. Одни на самом деле лидеры. И с мыслями у них всё в порядке. Просто знают, чего хотят, и добиваются своих целей. Яркие. Индивидуальные. Независимые.

Ирина Пасько

12 лет, г. Лесосибирск

Наденька

*Посвящается прабабушке,
Надежде Кузьминичне Гутник*

Наденька. Так звали её и врачи, и раненые, и подруги. Руки у Наденьки были золотые. Быстро и умело она перевязывала раны, а если нужно было, то и во время операций помогала.

В тыловом госпитале она работала с первых дней войны. Медицинских сестёр не хватало, и её, ученицу 10 класса, взяли вначале санитаркой. Наденька мыла полы, кормила с ложечки тяжело раненных и потихоньку училась. Присматривалась, как бинтовать, ставить капельницу. Научилась всему, что нужно уметь медсестре. А через год Наденька попросилась на фронт.

Военный госпиталь находился под Курском. И здесь она всё успевала, для каждого раненого солдата находила доброе слово. Однажды в перевязочную принесли молодого солдата, раненного в ногу. Наденька промыла рану, перевязала, приговаривая при этом: «Ничего, миленький, дотерпи. Всё будет хорошо!»

— Как зовут, тебя, сестричка?— спросил солдат.

— Надя!

— А я Николай!

В госпитале Наденька проработала до конца войны. А Николай писал с фронта. В мае 1945 года Наденька и Николай встретились и больше уже не расставались. Вместе уехали в Сибирь, поженились, воспитали шестерых детей.

В доме, где жила Наденька и её семья, долгие годы на стене висела старинная дамская сумочка. Сейчас с такими не ходят. В ней хозяйка хранила память о своей молодости: письма от молодого солдата Николая и свою медаль «*За отвагу*».

Юлия Турутина

12 лет, с. Караул, Таймырский
муниципальный район Красноярского края

Осенний мотив

Осень. Листья опадают,
Птицы к югу улетают.
Грустно в тундре я брожу,
Тихо листьями шуршу.
Серой тучкой над морошкой
Низко-низко вьётся мошка—
Значит, скоро будет дождь!
Солнце спрячется за тучи,
И унылой пеленой
Дождь зарядит проливной…
Поспешу-ка я домой!

Степан Давыдов

2 класс

Зима

Белый снег кружится,
Словно перья птицы,
В воздухе летает,
Вьюгу наметает.
К ночи всё уймётся,
Побелеет поле,
В тишине хрустящей
Всё стоит на воле.
Утром солнце встанет,
Отомкнёт ворота,
Ярче в мире станет—
Снова жить охота!

Дмитрий Попков

11 лет, с. Тасеево Красноярского края

Наша дружная семья

В небольшом кругу своём
Очень дружно мы живём!
Наша дружная семья—
Мама, папа, брат и я.
Вместе весело живётся,
Вместе весело поётся,
Вместе горе—не беда!
Вместе слёзы—что вода!
Никогда не унываем
И друг другу помогаем.
Птица рвётся ввысь, в полёт,
Ну, а мы идём вперёд!
Будем мы семьёй родной
Вслед за далью голубой,
Взявшись за руки, идти,
Чтоб мечту свою найти.
В одиночку очень трудно
В жизни как-то преуспеть.
А семёй намного легче
Беды все преодолеть.
Слово крепкое—семья.
Это значит—семь и я.
Наша дружная семья—
Мама, папа, брат и я!

Анненков Арсений Игоревич (1971 г. р.), поэт. Родился в Уфе. Окончил экстерном Московский гуманитарный университет. Кандидат филологических наук. Стихи публиковались в газетах «Московский комсомолец», «Известия», «Трибуна», журнале «Смена», «Альманахе Поэзии» (Калифорния, США). Живёт в Москве.

Беликов Юрий Александрович (1958 г. р.) Окончил Пермский университет (1980). Работал в газетах «Чусовской рабочий» (1980–81), «Молодая гвардия» (1981–92), был членом редколлегии журнала «Юность» (1992–95), собкором газеты «Комсомольская правда» по Пермской области (1995–98), собственным корреспондентом газеты «Трибуна» (с 1998). Печатается как поэт с 1975. Выпускал газету «Дети стронция» (1989–91). Автор нескольких книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк». Член СЖ СССР (1985), Союза российских писателей (1991). Областная премия им. А. Гайдара, Гран-при на 1-м Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» и звание «Махатма российских поэтов» (Бийск, 1989), премия журнала «Юность» (1991). Живёт в Перми.

Бирюков Дмитрий Сергеевич (1979 г. р.) Родился в Новосибирском Академгородке, окончил Новосибирский университет (гуманитарный и философский факультеты) и аспирантуру Института философии и права СО РАН. Учился в Литературном институте им. Горького (семинар Анатолия Приставкина). Лауреат Независимой литературной премии «Дебют» (2005), номинация «публицистика», лонг-листер премии «Дебют» (2004), номинация «малая проза». Работал и публиковался в «Российской газете», интернет-газете «Взгляд», «Русском журнале», газете «Новое русское слово» (московский выпуск), «Частный корреспондент». В толстых литературных журналах «День и ночь», «Вестник Европы». Как прозаик публиковался в литературно-философском журнале «Топос», интернет-журнале «Пролог», газете «Литературный бульвар» (Казань). Живёт в Москве.

Бондарева Алёна (1985 г. р.), прозаик, публицист, закончила Красноярский Литературный лицей (мастерская Р. Х. Солнцева) и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар прозы, мастер С. Н. Есин). Редактор-корреспондент журнала «Читаем вместе. Навигатор в мире книг», внештатный автор «Независимой газеты», журнала «Литературная учёба». Живёт в Москве.

Брус Вячеслав (В. И. Шкарупин), профессор Пятигорского государственного лингвистического университета, автор ряда литературных работ и исследований по германской филологии, по структуре сонетов Шекспира, а также по некоторым аспектам языка Байрона. В 90-х годах неоднократно участвовал в работе всероссийских научных конференций, посвящённых творчеству М. Ю. Лермонтова, выступая с докладами по вопросу о переводческой деятельности поэта. В 1993–2000 гг. опубликовал несколько сборников поэтических произведений, среди которых значительное место занимают переводы с английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков. В 2002 году был отмечен дипломом на международном творческом поэтическом конкурсе на английском языке в г. Хейстингсе (Англия). Член Союза писателей России.

Гарбер Наталья. Поэт, прозаик, родилась в Москве, закончила МГУ (1990), работала старшим научным сотрудником — сначала в Лаборатории медиаобразования Российской академии образования (1994–1997), затем в Институте культурологии РАН (1998–2006). Исследовала и преподавала компьютерную анимацию, была экспертом Международного фестиваля компьютерной графики «Аниграф» (1995–1997). Опубликовала около сотни статей, защитила диссертацию (1995), выпустила книгу «Виртуальная реальность для начинающих» (Премия Европейской академии наук, 1998). Работала PR менеджером 3D-web компании ParallelGraphics, затем — контент-менеджером ряда Интернет-проектов, включая Национальную Intel Интернет Премию. В 2000–2005 вела исследования и тренинги по творческим решениям для ряда отечественных компаний, напечатала полторы сотни статей, выпустила книги «Самоменеджмент эпохи Интернет» (2002) и «Творческие решения в бизнесе» (2004) в издательстве «Речь» (СПб), а затем «Искусство работать с людьми» (2004) и «Дао творческого карьериста» (2005) в издательстве «Эксмо». В 2005 ушла в литературу. Была слушателем творческого семинара прозы Е. Ю. Сидорова и творческого семинара беллетристики Т. А. Сотниковой при Высших литературных курсах. В 2005 написала поэму «Джаз для нас», получившую Диплом Литературного Конкурса «Заветному звуку внимая…» Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и Союза писателей

России. Публикации прозы и поэзии в журналах «День и ночь», «Кольцо А», «ЛитЭра», «Литературная учёба», «Дорога вместе», «Истина и жизнь», «Чайка» (Бостон, США), «Зарубежные записки» (Дортмунд, ФРГ). Вошла в антологию «На рубеже тысячелетий. Современная русская поэзия», выпущенную Союзом писателей Москвы в 2006 году. Лауреат поэтического конкурса «Рождественская звезда—2007» Министерства Культуры республики Мордовия и конкурса рассказов «Звёзды Внеземелья» (2008) Отряда космонавтов Ракетно-космической Корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и Фонда творческих инициатив. Живёт в Москве.

Денисенко Сергей Павлович (1954 г. р.) Выпускник Омского государственного университета (филологический факультет), член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей, союза журналистов РФ. В 1981–90 гг. заведовал литературно-драматургической частью в театрах Омска (ТЮЗ, «Арлекин»). С начала 1990-х—зав. отделом газеты «Вечерний Омск», зам. редактора журнала-газеты «Сибирикон». Основатель и редактор первого в истории Омска журнала о культуре и искусстве «Омская муза». Консультант по вопросам культуры Омского издательства «Современник», литературный редактор газеты «Омский домовой», литературный редактор Омского книжного издательства «Наследие. Диалог-Сибирь». Редактор многих книг и проспектов. Автор нескольких десятков песен и романсов для театра, телевидения, эстрады. Авторские рубрики о культуре в омском журнале «Максимум» (ежемесячно, с 2001 г.) и «Бизнес-Курс» (еженедельно, с 2004 г.). Автор сценариев и участник более 100 вечеров, «капустников», бенефисов в Доме актёра (с 1979 г.). Член жюри ежегодного конкурса профессиональных театров Омска «Лучшая театральная работа» (с 1995 г.), член жюри Всероссийского фестиваля «Сибирский транзит» (2003–2004) и др., бессменный председатель жюри ежегодных омских фестивалей народных театров «Театральная Весна» (с 1994 г.) и «Театральные встречи» (с 1996 г.). Литературные публикации—с 1977 года: коллективные сборники, журналы, литературные, публицистические и театральные альманахи, периодическая печать Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов—«Паруса», «Складчина», «Наедине со временем», «Иртыш», «Омск театральный», «История в лицах», «Письма из театра», «Глубинка», «День и ночь» (Красноярск), «Зелёная лампа» (Иркутск), «Земля сибирская, дальневосточная», «Ost-west-panorama» (Бонн, Германия), «Страстной бульвар» (Москва), «Петербургский театральный журнал» (Санкт-Петербург), «Театральное дело» (Москва), «Восточный караван» и «Сибирские огни» (Новосибирск) и мн. др. Неоднократный лауреат и дипломант журналистских, литературных и песенных конкурсов. Автор семи книг. Награждён медалью «За гуманизм и служение России» (к 100-летию М. А. Шолохова). Живёт в Омске.

Каминский Семён. Прозаик, журналист, член Международной федерации русских писателей. Родом из Украины. Рассказы, очерки, статьи публиковались в авторских сборниках, газетах и журналах России, Украины, США, Дании, Израиля, Германии и Канады. Автор книги «„Орлёнок“ на американском газоне», вышедшей в США. Редактор-составитель раздела прозы литературной страницы русско-американского еженедельника «Обзор». Живёт в Чикаго.

Командин Александр Юрьевич (1987 г. р.), поэт. В 2008 г. в Кемерово вышла книжка «Детвора облаков». В декабре 2009 года выходит книжка «Перестановка воздуха». Работает продавцом в книжном магазине. Живёт в Санкт-Петербурге.

Кузнецов Игорь Робертович (1959 г. р.) Окончил Литературный институт им. Горького в 1987 (семинар прозы Анатолия Андреевича Кима). Член Союза писателей с 1989 года. Автор многих публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Смена», «Ясная поляна», «Литературная учёба», «Московский вестник», в «Литературной газете», газете «Сегодня» и др. Составитель нескольких изданий И. А. Гончарова (биография, комментарии)—издательства «Олимп», «Дрофа». В соавторстве с Т. Морозовой (под общим псевдонимом Павел Генералов)—написаны остросюжетные романы (издательства «Олимп», Олма-Пресс), а также «Бригада: история создания сериала» (Олма-Пресс). Роман «Команда. Хроника передела 1997–2004» в 4-х тт. («Лениздат»). В соавторстве с Т. Морозовой—сценарий 8-серийного телевизионного художественного фильма «Три грации» (кинокомпания «Юнифорс»). В 1989–1990—заведующий отделом прозы издательства «Столица». В 1996–2000—редактор отдела эссеистики журнала «Ясная Поляна». В 1995–2001—обозреватель «Литературной газеты». Живёт в Москве.

Кузнечихин Сергей Данилович (1946 г. р.) Родился в посёлке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт Работал инженером в Свирске Иркутской области, в Красноярске, сторожем. Печатается как поэт с 1977-го года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулёвая бочка». Постоянный автор и член редколлегии журнала «День и ночь». Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981). Живёт в Красноярске.

Левитес Ирина (Ирина Даниэлевна Остапенко), прозаик, член Союза писателей России, автор книг «Законы наследственности» (2006), «Отпусти народ мой» (2007), «Созвездие Близнецов, или *«Ура, товарищи!»* (2007), «Круглая Земля» (2008), «Зал потерянных шагов» (2008), «Аня» (2009), «Переходный возраст» (2009). Рассказы публиковались в литературно-художественном сборнике «Сахалин», литературных журналах «День и ночь», «Дальний Восток». Родилась в Киеве. С 1970 года живёт в Южно-Сахалинске.

Работает преподавателем микробиологии и медицинской генетики в Сахалинском базовом медицинском колледже. Автор более 60 публикаций в журналах «Специалист», «Среднее специальное образование», «Тихоокеанский медицинский журнал», «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Филологический журнал», «Печатный двор» и др.

Любицкий Владимир Николаевич (1940 г. р.), поэт, прозаик, публицист. Окончил МГУ. Работал в районных и областных газетах, в газетах «Комсомольская правда», «Правда», гл. редактором журнала «Иллюстрированная Россия» (1993). Автор книги «Война и власть»: М., «Республика», 1995. Печатается как прозаик и очеркист в журналах «День и ночь», «Наш современник». Член СЖ СССР (1969). Живёт в Москве.

Мисурин Антон (1966 г. р.), поэт, критик. Закончил МГУ. Публикации на сервере «Стихи.ру», в журнале «Новый мир», альманахе «Новая камера хранения». Живёт в Москве.

Монахов Владимир (1955 г. р.). Родился в городе Изюм Харьковской области. В 1972 году окончил школу, затем работал в районной газете и был призван на службу в армию. После увольнения в запас работал в печати Иркутской области. В 1977 году поступил, в 1983 году заочно закончил Иркутский государственный университет, получив профессию — журналист. Работал собственным корреспондентом областной газеты «Восточно-Сибирская правда» в Братске, главным редактором программы новостей на телекомпании «Мы», сейчас возглавляет пресс-службу частной фирмы. Автор 13 сборников стихов и прозы, в числе которых «Второе пришествие бытия», «Путешественник», «Человек человеку — рифма», «Эпоха снегопада», «Негосударственный человек. Этюды неконструктивной созерцательности», «Заросли бесконечного», «Вымысел правды». Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Мансарда», «Арион», «Футурум АРТ», «Крещатик», «Сибирь», «Ренессанс», «День и ночь». В 1998 году стал дипломантом конкурса русского хайку, который проводили «АиФ» и посольство Японии в нашей стране. Живёт в Братске.

Панкин Борис (1966 г. р.) Учился в СПбГУ. Работал слесарем на радиозаводе, кочегаром, сменным мастером на аварийном участке. Основная профессия — системный администратор. Публиковался в журналах: «Нева», «Звезда», «Дружба народов». Живёт в Москве.

Перунова Ирина (1966 г. р.) Родилась в Воркуте. Окончила Литературный институт имени Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «Новая юность», «Новая Россия». Поэт, член СРП. Последняя книга стихов «Кругосветные поля». Замужем, имеет трёх дочерей. Живёт в Ярославле.

Петрушкин (Вронников) Александр (1972 г. р.), поэт, организатор литературного процесса, родился в г. Челябинске. Проживал в Озёрске, Лесном, Екатеринбурге. Учредитель Литературно-художественного фонда «Антология». Инициатор издания журнала актуальной уральской литературы «Транзит-Урал». Издатель книжных серий «24 страницы современной классики», «V — Новая поэзия», «Антология Реальной Литературы». Организатор конкурса молодых литераторов «Стилисты Добра», фестиваля литературы Урала и Сибири «Новый транзит» и фестиваля нестоличной поэзии им. Виктора Толокнова. Куратор поэтического семинара «Северная зона». Лауреат 1-й степени регионального фестиваля литературных объединений «Глубина» (2007). Шорт-лист литературного конкурса «Tamizdat», шорт-лист премии «ЛитератуРРентген» (г. Екатеринбург) в номинации «Фиксаж» (2005, 2006), лауреат премии «ЛитератуРРентген» (г. Екатеринбург) в номинации «Фиксаж» (2007), как лучший нестоличный издатель поэтических книг. Живёт в г. Кыштым.

Рыжаков Степан Анатольевич (1970 г. р.), поэт, прозаик. Родился в Омске. В тридцать четыре года вышел на пенсию, майор милиции в отставке. Стихи пишет с детства, но серьёзный творческий прорыв произошёл во время первой командировки на Северный Кавказ. В 2005 году вышла первая книжечка «Третий тост». Публиковался в сборнике омских поэтов «Журавлиный оклик» и периодически в литературно — художественном журнале «Преодоление». Живёт в Омске.

Серенко Дарья (1993 г. р.), поэт. Родилась в Хабаровске. Ученица Омской гимназии № 75. Публиковалась в альманахах: «Ледоход» (Омск), «Весна — это всех касается» (Омск, 2007), «Рисунки на невидимом стекле» (Омск, 2008).«Сарафанное радио» (Оренбург, 2009), «Обнинский полис» (Обнинск), журнале «Интеллект будущего» (Обнинск). Удостоена именной стипендии фонда «Третьяковские традиции». В 2009 стала победителем Всероссийского поэтического конкурса «И божество, и вдохновенье». С 2007 по 2009 гг. лауреат городской и региональной конференций «Шаги в науку», номинация «Поэзия». Призёр областного слёта «Способная и талантливая молодёжь — наше будущее» (2008). С пяти лет — первые поэтические опыты. С этого же возраста танцует в балетной студии при Музыкальном театре. Живёт в Омске.

Сидоров Руслан Геннадьевич (1968 г. р.) Родился в Новокузнецке. Учился в Кемеровском государственном университете. Служил в армии, работал в школах Новокузнецка преподавателем химии, физики, астрономии, истории, физкультуры. Публиковался в альманахе «Озарение», журнале «После 12». Автор поэтического сборника «Не именуя» (1998). Ведущий поэтического клуба «Дилижанс» при центральной городской библиотеке имени Гоголя. Живёт в Новокузнецке.

Супранова Елена Павловна (1952 г. р.), поэт, прозаик. Закончила Дальневосточный технологический институт в 1972 году, экономист. Преподаёт финансовые дисциплины в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже в г. Владивостоке. Автор

книги стихов «Переболеть капель». Публикации в журналах «Алые паруса Приморья», «Дальний восток», «Звезда», «Семья и школа». Лауреат конкурса «Литературная Вена» (2009). Живёт во Владивостоке.

Титов Арсен Борисович (1948 г. р.) Окончил исторический факультет Уральского государственного университета. Работал в лаборатории социологии Пермского политехнического института, художником-оформителем, заведующим отделом культуры Администрации Белоярского района. С 1986 года — публикации в журналах «Урал», «Дружба народов», «Воин России», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Лад» (Республика Коми), «Литературули Сакартвело», «Лиахви», «Укимериони», (все — Грузия), «Врата Сибири», «Бийский вестник» и в других периодических изданиях. С 1998 года — бессменный председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей. Заместитель председателя Ассоциации писателей Урала. Литературные премии: Губернатора Свердловской области за роман «Хроники Букейских империй» (1998); имени Д. Н. Мамина-Сибиряка за роман «Одинокое моё счастье» (2003); имени П. П. Бажова за сборник «Старогрузинские новеллы» (2005); русского клуба «Левша» (2004); писателей Екатеринбурга «Чаша круговая» — за роман «Одинокое моё счастье» (2005); «Урал промышленный» — «Урал Полярный» за повесть «Товарищ Че и боженька» (2007); Всероссийская премия имени генералиссимуса А. В. Суворова. За роман «Одинокое моё счастье» (2008). Живёт в Екатеринбурге.

Тотыш Юрий Софронович (1936 г. р.), прозаик, публицист, директор редакционно-издательской фирмы «Весть» г. Кемерово, автор книг «Право судить», «Пласт углекаменный», «Перкут» (о жизни, традициях, культуре шорского народа), «Ялевские. Семья шахтёров», «Видения Троцкого», «Миссия пророка», «Серебристый отсвет души». Живёт в Кемерово.

Частикова Эльвира Николаевна. Поэт, публицист, автор тринадцати книг, член Союза писателей РФ, лауреат литературной премии им. Марины Цветаевой. Заведует читальным залом Обнинской ЦБС, заслуженный работник культуры. Живёт в г. Обнинске и Боровске.

Шамсутдинов Николай Меркомалович (1949 г. р.) Поэт, сатирик, переводчик. Родился на полуострове Ямал. Работал в геологоразведке, оператором нефтедобычи, тележурналистом, художником, генеральным директором книгоиздательской фирмы «Автохтон». Служил в Военно-Воздушных Силах. Выпускник Литературного института (Москва, 1980). По рекомендации 7-го Всесоюзного совещания молодых писателей (Москва, 1979), становится первым членом Союза писателей СССР на всём нефтяном Приобье (1982). Печатался в «Новом мире», «Литературной газете», «Литературной России», «Октябре», «Молодой гвардии», «Дружбе народов», «Звезде», «Неве», «Пионере», «Костре», Авроре», «Кругозоре», «Сибирских огнях» и многих других периодических изданиях Москвы, России, Скандинавии, Польши, Словакии, Франции, Германии, Австрии, США. Автор двадцати поэтических книг, основные из которых — «Выучиться ждать» (Свердловск, 1980), «Прощание с юностью» (Москва, 1982), «Лунная важенка» (Москва, 1985), «Скуластые музы Ямала»» (Москва, 1988), «Сургутский характер» (Екатеринбург, 1999), «Жутьё-бытьё» (Екатеринбург, 2002), «Заветная беззаветность» (Екатеринбург, 2007)… Перевёл на русский язык три поэтические книги. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина — Сибиряка (2002) и общенациональной — А. М. Горького (2007). Председатель Тюменской региональной организации Союза писателей. Живёт в Тюмени.

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Желателен диск с набором, фотография,
краткие биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Для приобретения номера
и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь в отдел маркетинга и распространения журнала «День и ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ооо «кит»

Издатель
ооо «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

инн
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
бик
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 7.10.2009
Тираж: 1000 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ооо ипц «касс»
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23